90 коп. Индекс 70331

В КОНЦЕ 1990—В 1991 гг. В «ЗНАМЕНИ» ЧИТАЙТЕ:

А. Д. САХАРОВ. Книга первая. Воспоминания. Книга вторая. Горький — Москва, далее везде

Г. ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман

Ч. АЙТМАТОВ. Белое облако Чингисхана. Повесть

В. МАКСИМОВ. Заглянуть в бездну. Роман

Ч. АМИРЭДЖИБИ. Куда падают звезды. Роман

Н. ШМЕЛЕВ. Сильвестр. Роман

А. ПРИСТАВКИН. Рязанка. Повесть

В. МАКАНИН. Долог наш путь. Повесть

Д. ГРАНИН. Повесть

О. ЕРМАКОВ. Заклинание против вепря. Повесть

М. КУРАЕВ. Петя по дороге в царствие небесное. Повесть

Н. ИЛВИНА. Второе возвращение

Г. АРБАТОВ. Недавнее прошлое

Я. ГОЛОВАНОВ. Королев (хроника). Книга вторая

Н. ДУМОВА. Из цикла «Московские меценаты»

В. КРИВОРОТОВ. Русский путь

Г. СТАРОВОЙТОВА. Парламент изнутри

С. ШАТАЛИН. День нынешний

Д. ШЕПИЛОВ. Воспоминания

Ю. ЧЕРНИЧЕНКО. Земля и воля

ISSN 0130-1616. Знамя. 1990. № 7. 1—240.

ЗНАМЯ 7 1990

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Июль



Ежемесячный
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал

Выходит
с января 1931 года

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

7
ИЮЛЬ
1990

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Критика

В мире журналов и книг

Из почты «Знамени»

К 80-летию А. Т. Твардовского

21 июня Александру Трифоновичу Твардовскому исполнилось бы 80 лет. И кто бы знать мог, что этот, один из самых долгих дней в году, день его рождения, окажется через десятилетия навсегда связанным с другим самым долгим днем, 22 июня, днем начала войны. И жизнь поэта, и подвиг его тоже будут навечно связаны с войной Отечественной, войной народной. Там, «На войне, под кровлей шаткой, по дорогам, где пришлось», он и создавал свою бессмертную книгу, занося в тетрадку «строки, жившие вразброс». И так же, как его герой, Василий Теркин, загадывал он не о будущей славе, пока шел бой ради жизни на земле:

«Я мечтал о сущем чуде,
Чтоб от выдумки моей
На войне живущим людям
Было, может быть, теплей,

Чтобы радостью нежданной
У бойца согрелась грудь,
Как от той гармошки драной,
Что случится где-нибудь.

Толку нет, что, может статься,
У гармошки за душой
Весь запас, что на два танца,—
Разворот зато большой».

Но этого «разворота» хватило не на одно поколение и еще не на одно поколение хватит.

Последний его прижизненный юбилей был двадцать лет назад. Живой классик, чья поэзия не декретом свыше, а сама вошла в жизнь, стала частью духовной жизни народа, он был в ту пору гоним. Кончались дни его детища, журнала «Новый мир», единственного еще не сдавшегося журнала. И гонителями его были не только чиновники-администраторы, но и чиновники-литераторы, а эти еще беспощадней и страшней, потому что тем, первым, все равно в конечном счете, кто ты, безразлично кем и чем руководить, а у этих еще и личная боль: они не прощают таланта, им надо опустить жизнь до своего уровня, вот тогда и дышится им свободней и веселей, тогда они — хозяева жизни.

Не знаю уж, по рангу ли судили, как судят в иерархическом обществе, или страх Божий все-таки жил в душах, но доносилось, что где-то в высоких сферах, которые в грехах остаются безымянными, решается или уже решено удостоить поэта высшей награды. Странно, что и для него это имело значечие. Но он же сам лишил себя этой награды. В то время посадили в сумасшедший дом биолога Жореса

Медведева, и Твардовский, зная, что преступает, поехал туда. Для него это был в ту пору поступок естественный, он сказал: «Если не я, то кто же? Если не теперь, то когда?» Но для власть предержащих это был предерзостный поступок. И — не удостоили. Помню, доносилось: решено заменить на такую-то награду... Приедет поздравлять такой-то... Нет, такой-то... И все ниже, ниже. В конце концов, никто из официальных лиц на дачу поздравлять не приехал. И—к лучшему.

Я не называю имен его гонителей, которые испортили ему последние годы жизни, сократили жизнь. Даже этой чести — остаться в литературе гонителями Твардовского — они удостоены не будут: слишком мелки. Пишу об этом только для того, чтобы сказать: начав путь в литературе так благополучно, он под конец своей жизни разделил судьбу великих поэтов России.

Там же, на даче, в маленьком своем кабинете на первом этаже, читал он мне в верстке поэму «По праву памяти», запрещенную тогда поэму. И оттого, что свое читал, волновался, явственней звучал смоленский его выговор, чего в обычном разговоре почти уже и не чувствовалось, ведь большую часть жизни он прожил в Москве. Читал и курил сигарету за сигаретой, и в широкой сильной его груди хрипело, может, уже и началась страшная его болезнь.

Журнал «Знамя» гордится тем, что первым в первые месяцы перестройки напечатал поэму «По праву памяти». Это было исполнением долга.

Будет стоять на Смоленской земле памятник «Василию Теркину», будет в Москве памятник его создателю, великому поэту. Но как в наши дни, в нашей жизни, для которой он столько сделал, не хватает Твардовского, его высшего авторитета, его мудрого слова!

Г. БАКЛАНОВ

Новелла Матвеева

ЛИРИКА

Романтики

— Художник,
К этой голой плоской дали
Не прибавляй цветущие детали!
— Не прибавляю. Только ВОЗВРАЩАЮ
Отчизне то, что у нее украли.
Нет, не украсы у меня в корзине,
А те цветы, каких не сыщешь ныне.
Да. Я пишу оазис. Потому что
Еще вчера здесь **не было** пустыни.
Нет, не чрезмерно краски наши пышны,
«Излишки» на полотнах — не излишни,
А просто — в наших снах восстановили
Мы кем-то въяве спиленные вишни.
Поэт не верит в мир без птичьих свистов,
Цветов, потоков, зарослей тенистых...
Что ж? Мир ведь БЫЛ таким, и снова станет.
Романтик, ты правдивей «реалистов»!
Туда, где нынче плесень, грязь да копоть,
Вернется ЖИЗНЬ! Так будет. Так ДОЛЖНО БЫТЬ.
Но мы еще вчера про это знали
И нечего на нас глазами хлопать.
Жизнь выдюжит. Вернется к нам обратно.
Да, с грезой схоже! Да. Невероятно.
Но мы еще вчера об этом знали,
Поскольку мы РОМАНТИКИ. Понятно?

Ландыш целебный

Нет ничего, светлейшие таланты,
Бездарней, чем идея превосходства!
Кто стал бы унижать, допустим, ланды *
За их растений с нашими — несходство,

За пышность роста, красок сумасбродство?
Но и за скромность северный мой ландыш
Ругать не след... Тогда за гордость? Ладно ж! —
В себе и сам он рад искать уродства!

Опрятнейший, за чьи-то беспорядки
Потупясь, он смущается. Невинный—
Все под ноги глядит... Преступник, что ли?

* Заболоченная низменность на Ю.-З. Франции.

Что прячет? Нет, не нож разбоя длинный
Хранят его одежд душистых складки,
А снадобье нам от сердечной боли.

Американский клен

Американский клен всегда крылат.
И, хоть не очень лист его широк,
Ты слышишь ли, как Штаты в нем шумят?
Он тоже — целый мир, а не мирок.

Тебе он даст понятие — как строг
Филадельфийский храмовый фасад,
Как мощен Ниагарский водопад,
Как питсбургский был ясен вечерок,

Как он сиял какой-нибудь семье,
Присевшей перед домом на скамье
В те времена, когда изобретен

Был первый миссурийский пароход,
На чьи гудки сбегался весь приход...
Вот ты каков, американский клен!

Сорок первый

Из каких далей,
От каких верфей,
Будто бы против ветра туго летящий
гусь, —

От каких верфей
Летел сорок первый?
Зачем сказал детям: «Я здесь
опущусь»?

Народ гулял в рощах, — веселый, беспечный!
А гусь летел вязко, так тяжко! — как шел...
Напрасно упирался
в грудь ему ветер встречный;
Тот гусь — тучей млечной —
Свалился в наш дол.

Завьюжило, замелькало... Заколыхались березки,
По колеям смерзалась предзимняя грязь...
За тем ли кордоном,
На том перекрестке
Ударила бомба — лопнула связь.

Ледяной провод
Сединой тронут, —
Сорваны провода.
Сорваны провода — и в снегах тонут
Правда и правота.
Рев судьбы трубный
Над избой бурой.

Хоть бы снились когда
Дальние города!
Но заснуть трудно
В ночь, когда бурей
Сорваны провода.

А вихрь
помазками зарев
Помахивал у развилка,
Солдатские песни по ельникам
приносил...
Сонно, так сонно мерцает коптилка,
Уютом, нам незнакомым,
пахнет керосин.

Из каких далей,
От каких верфей,
Будто бы против ветра туго летящий гусь,
От каких верфей летел сорок первый?
Зачем сказал детям: «Я здесь
опущусь!»?

Кофе

Пьем мы кофе
И чашечки держим в руках.
Пьем мы кофе — из дикой далекой земли.
Черный кофе. Который в тюках, в сундуках
Караваны везли. По саваннам несли
Полуголые черные люди в чалмах,
Иногда останавливаясь на холмах,
Чтоб на долы вниманье с вершин
обращать
И глазами большими вращать.

Что за метаморфоза, однако?
Видать,
Каффский козлик кофейную ветвь обкорнал?
Кофе, призванный бодрость в умах пробуждать,
На меня беззаконную дрему нагнал!
Отчего ж я ослабла и сникла вот так?
Или кофе нельзя принимать натощак?
Или смесь пережарена до уголька?
Или слишком кофейная гуща горька?
Только
Вместо ответа на этот вопрос
Я заснула. Без снов. Круговым сплошняком!
Словно кто позавидовал роскоши грез
И рассыпал их вдребезги, скверным пинком;
Словно черную трубку пират раскурил
И в ее загогулистом терпком дыму
Сам пропал. И, злорадствуя, в нем растворил
Мир надежд, все равно недоступный ему.
Мне, наверно, не снесть африканской жары
И невидимой черной повязки на лоб!

...С сахарином и жмыхом военной поры
Черный кофе вогнал меня в жар и озноб,
А теперь я и впрямь засыпаю. Сквозь сон

Слышу: крадучись, ходят отец мой и мать...
Снова ночь...
Снова утро... И кто-то спасен!
— Нет ли черного кофе в той чашке опять?

Черный кофе кому-то осадок дарит,
А кому-то высокий душевный подъем.
Одного усыпляет. Другого бодрит.
Все равно! Потому что мы все-таки пьем
Черный кофе! И чашечки держим в руках.
Черный кофе — из дикой далекой земли.
Черный кофе, который — в тюках, в сундуках
Караваны везли.
По саваннам несли —
Без конца, без конца, без конца...

Сквер в переулке

Памяти Чарльза Диккенса

Братьев Чириблов тропинка,
Так уж я ее зову!
Складки старческой улыбки прячет в жесткую траву.
Здесь гуляет черный самый, сдав манжеты в дымоход,
Вечным Ваською да Гамой путешествующий кот.

Здесь почти провинциальный подорожников уют.
Голуби в кругах сияний желтое пшено клюют,
А над ними (и над нами) в знак защиты и журьбы
Мощными опекунами мощно клонятся дубы,

Чтоб от жара не ослепли дети скопищ городских,
Чтобы в крыш алжирском пекле взмывший,
в маревах кривых
От зернистости карнизов, — август высказался весь
В зернах желтых, в крыльях сизых, в синей зелени древес.

Вот крадется наш Василий (о мошенник!), сделав вид,
Будто голубя хромого хищно сцапнуть норовит!
Но едва мы отвернемся, сделав вид, что не глядим,
Зверь зевнет: «де, и не думал я охотиться за ним...»

Братьев Чириблов тропинка. Так уж я ее зову.
Кто пройдет по ней за нами — сны увидит наяву:
Здесь живут воспоминанья,
И витает тут мечта
По охотничьим угодьям Васьки, черного кота.

Помнишь старые страницы?
Братья честные, вдвоем
О чужом пекутся благе и о счастье (не своем!).
За конторкою высокой пишет добрый старый клерк...
Этот след не затерялся! Этот образ — не померк.

Но уж вновь заполыхали комментаторов очки, —
Дескать: «Неправдоподобны филантропы-добрячки!
Только в склоке, только в драке, в уголовщине сплошной,
Передравшись, как собаки, люди хлеб добудут свой!

Мы считаем, что такой-то недостаточно свиреп:
Чего доброго — без драки заработает на хлеб!

Ведь «борьбу» предаст, каналья, раньше времени
поев,
Никого ни покалечить, ни прикончить не успев...»

Кровожадные! Уймитесь!
Что за радость — множить зло?
Как бы злыдничество ваше вас самих не подвело!
Слишком противоречивы и напоминают чушь
К благоденствию призывы при неверье в щедрость душ!

Коли зол от сотворенья человек (ведь вот стервец!),
Киньте, бросьте негодяя, — пусть погибнет наконец.
Если добр от сотворенья человек (а это так!),
Отчего бы его долю не вернуть ему — без драк?

Только что там понапрасну к лютым извергам взывать...
...Снег пошел. Мороз подкрался. Будем зиму зимовать.
Быстро сумерки сгустились. Лег зеленый зимний час.
Лишь глядят с небес прозрачных братья Чириблы на нас.

1985 г.

Поэзия

Не в том, какого колорита
Ваш фон. Не в том, какой вам цвет
Милей, — оракулом зарыто
Ручательство, что вы — поэт.

Вниманье к тем, чья жизнь забыта,
Чья суть забита. Чей расцвет
Растоптан злостно. Вот предмет
Заботы истинной пиита.

Поэзия есть область боли
Не за богатых и здоровых,
А за беднейших, за больных!

А там — едино: голубой ли
Иль рыжий. Вольный иль в «оковах».
Классический иль новый стих.

1987 г.

Марина Палей

ЕВГЕША И АННУШКА

ПОВЕСТЬ

В русскую литературу часто приходят из врачей. У ленинградки Марины Палей этот традиционный путь приобрел черты нашего времени: из врачей — в уборщицы, в натурщицы, в стрелки ВОХРа...

Марина объясняет этот путь нежеланием соучаствовать в том, чего не могла принять. Можно сказать, что она не испугалась потерять лицо социальное, чтобы сохранить собственное.

Начала она со стихов, в Литературный институт поступила как критик (публикации в «Новом мире», «Литературном обозрении»), диплом же защищает прозой.

Ее проза для меня явилась как-то неожиданно. Когда студентам была задана мною импровизация на тему мандельштамовской строчки «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», Марина вместо трехстраничного этюда прислала замечательную повесть — «Поминовение». Критика постепенно отодвинулась, и пошли рассказы, да не поодиночке, а целыми циклами — «День тополиного пуха», «Фабрика игрушек». Повесть «Евгеша и Аннушка», которая предлагается читателям «Знамени», будет первой журнальной публикацией прозы Марины Палей.

Милосердие, столь явственно проступающее со страниц этой повести,— может быть, самое необходимое качество жизни и литературы, которое обязательно должно вернуться к нам, если мы хотим выжить и возродиться как народ и как гражданское общество.

Евгений СИДОРОВ

I

Они не исчезли: сквозь преувеличенную белизну кафеля, сквозь белый ворох, голубой горох занавесок с голубыми — сплошное порханье — оборками, сквозь сахарное сияние импортной мойки (страшно оскорбить ее порожней стеклотарой) — сквозь всю эту еще витринную, колом стоящую уютность проступают привычные очертания тесной, похожей на колодец, коммунальной кухни, где непонятного назначения трубы, лохматясь от пыли, громоздятся вдоль стен над тремя укромно вросшими в углы столами (каждый покрыт добела истертой посередине клеенкой); к двум из них притиснуто по стулу с вылезшей сквозь дырья коленкора серой ватой; трети.. же столик (точнее, хлипкая тумбочка с кое-как прилаженной доской для теста вместо столешницы) владеет только щелястым табуретом; четвертый угол сроднился с рябым, заткнутым пробкой и тряпочкой и все равно подтекающим краном.

От кухни к лестнице, изгибаясь наподобие древнегреческого меандра, разворачивался глухой коридор.

Крюк на входных дверях, случалось, не откидывали неделю, и тогда поздними утрами проплывали замедленно в излучинах коридора, то ли грезились друг другу три тихих тени в затрепанных ночных рубашках, вернее, две: Евгеша обряжалась во фланелевый халат. Она же охотней и чаще других нарушала общее заточение. «Анна Ивановна! — стучала она в дверь Аннушки, всегда сильно повышая голос, потому что слышала еще хуже, чем та, хотя была моложе лет на шесть, а главным образом для самоободрения, поскольку не знала, жива ли находящаяся за дверью. — Я в магазин иду — так, может, хоть хлеба вам принести?»

Аннушка обычно отказывалась. В своей комнате, десяти метров квадратных, она отдыхала от жизни. Это означало, что целыми днями она лежала, смотрела в потолок и молчала. На полу, рядом с жесткой, как земля, койкой, стояли два кувшина: один с водой — ее Аннушке хватало на несколько дней, другой, погрубее, сначала бывал пуст, затем по мере иссякания жидкости в первом сосуде и, в соответствии с законом природы, наполнялся; наконец пустым оказывался первый кувшин, а второй полным. Тогда Аннушка в несколько приемов садилась, обувала войлочные тапки с налипшими на подошву длинными седыми волосами и отправлялась в долгий путь по коридору,— пошатываясь, задевая стены, расплескивая второй кувшин; все же ей удавалось добраться до уборной и опорожнить его там, а первый в кухне вновь наполнить сырой водой. После этого отправлялась она в обратный путь. Теперь жидкость выплескивалась из первого кувшина, но, к счастью, не вся — так что, добравшись-таки до своей комнаты, Аннушка снимала тапки и снова ложилась, чтобы, начав новый цикл сообщения сосудов, продолжить вечный круговорот воды.

Однако, когда Евгеша, громко хлопнув входной дверью, возвращалась, Аннушка прерывала свое занятие и опять, хватаясь за стены, теряя тапки и поминутно останавливаясь, упорно плелась на кухню, где дрожащими желтыми пальцами, наждачно шурша о корочку, подбирала со своей тумбочки половинку круглого, а затем, низко нагибаясь и сильно напрягая глаза, выкладывала на стол Евгеши семь копеек: три копейки одной монетой, копейку, копейку, копейку и еще копейку.

Я помню Аннушку крепкой шестидесятилетней старухой, когда, возвратясь по осени из деревни от дальних родственников (у которых каждое лето окапывала, окучивала, пропалывала, поливала что-то и, конечно, баловала детей), она долго мылась в ванной; я вижу в приоткрытую дверь, как она, уже в сарафане, ополаскивает у раковины свои загорелые руки, шею и лицо, пригоже обрамленное густой, особенно белой сединой, а глаза ее в серебристом прогале запотевшего зеркала зелены, ясны, с четкой точкой крыжовникова зрачка,— Аннушка накрепко вытирается чистой, вмиг темнеющей тряпочкой и утоленно вздыхает.

Полочки над умывальником располагались словно бы в соответствии с возрастной иерархией. Ниже всех притулилась Аннушкина — деревянная, со щербинкой, на которой сиротел плоский обмылок с засохшими кольцами пены (туалетное постепенно вытеснилось хозяйственным), черствый огрызок пемзы соседствовал с лысой зубной щеткой и плоской жестянкой толченого мела; над Аннушкиной — возвышалась просторная, всечасно сияющая стеклянная полочка Евгеши, где в мерном стаканчике навытяжку торчали: щеточка, футляр для щеточки, тюбик начатый, тюбик про запас целехонький — и все это образцовое великолепие, в том числе брусок детского мыла в ребристой перламутровой мыльнице, еще удваивалось прилаженным к полочке зеркальцем; выше всех пестрела моя, заляпанная белым, крышка от разломанного усилителя, на которой среди скучных принадлежностей личной гигиены валялись кремы после бритья (ими я в задумчивости иногда чистила зубы), кафешантанного вида одеколоны — для тех же приходящих мужчин, а также предметы, не имеющие к гигиене прямого отношения,— вроде объектива к фотоаппарату «Зоркий», коробочки от магнитофонной кассеты и недогрызенной горбушки.

Раньше здесь, на месте моей, висела полка семьи милиционера — и порядок на ней был схож с Евгешиным, словно бы Наташа и вся советская милиция на Евгешу равнялись. Надо сказать, Наташин милиционер был бабник, так что она часто обнаруживала в мужниной казенной шинели

записки совсем не служебного содержания. Тогда, всякий раз ревя белугой, — потому что выросла сиротой и роднее милиционера у нее никого не было, — она бежала убиваться к Евгеше, и, поскольку Наташина жизнь была так удобно устроена для Евгешиного обзора и осмысления, та умела успокаивать вдохновленно и твердо. Но Аннушка, даже через много лет после моего с Наташей обмена, так и не поняла главной причины Евгешиного против меня раздражения («Ирина — это уж, конечно, не Наташа») и, почти ежедневно передавая мне это трудноопровержимое положение, простодушно относила соседкину досаду к тому, что я не столь чистоплотна, как жена милиционера («чистоплодна» — произносила Аннушка, трогательно не прозревая грозного библейского оттенка), «хотя, — добавляла она, — Евгения Августовна неправду говорит: и Наташа в свою уборку не больно-то места общественного пользования слегóзила, так что пошла я как-то в тавалет за большое, а на полу что-то черно, пригляделась, а это кал».

Аннушка, конечно, не совсем ошибалась, когда нашим с Евгешей камнем преткновения полагала разного темперамента рвение в поддержании коммунальной чистоты. Чистота была вожделенной, маниакальной мечтой Евгеши, всю жизнь после краткого, как приснившегося, детства жившей по углам и коммуналкам, ее немеркнущей, девственной грезой, химерическим (и в этом неуязвимым) воздушным замком, высоким утопическим бредом и крестом пожизненным, а для меня всего лишь обидной закавыкой на путях в заоблачный элизиум. Поэтому в те времена, когда деятельной Евгеши подолгу не оказывалось дома, когда Аннушка отдыхала от жизни еще не так окончательно и нуждалась иной раз хоть с кем-то слово сказать (а ее «радива», уже тогда безмолвное, служило подставкой для чайника), она терпеливо дожидалась меня на нашей кухне, где я появлялась крайне редко, обнаруживая ее сидящей на низком широком подоконнике, в ночной рубашке, с неизменной фразой наизготовке: «Августа наша (так она для беззубого удобства иногда именовала за глаза Евгению Августовну) на днях, слышь, и говорит: Ирина что мыла на колидоре полы, что не мыла — ничего не видно». Вовсе не клюнув на застарелую наживку, я невольно тем самым сохраняю их давнюю коалицию, которую Аннушка с детской легкостью готова уже и нарушить. Но, молчание мое принимая за особого рода внимание, она скоро, бездумно и радостно предает Евгешины коммунальные идеалы: «Августа — она городскую грязь не понимает, она знает только свою грязь, деревенскую, — та густа така, черна, а намоешь — ну, так сразу и видать, что мыто. А городская грязь — она така, что ее не видать, а намоешь — так чистоту не видать. А она только свою, деревенскую грязь знает. А деревенская — она...» — в таком духе Аннушка продолжает очень, очень долго, воодушевленная своим, всякий раз заново переосмысленным и тут же забытым открытием и возможностью проговаривать слова после трехдневного от жизни отдыха. Я включаю свой приемничек, там что-то про космонавтов; Аннушка, выпростав из-под косынки ухо, некоторое время прислушивается и, сочтя, видно, что ее подмазка мной принята и что я никуда особо не тороплюсь, уже спокойно, с широким замахом заводит:

— А вот, знаешь, мне сестра рассказывала, а ей старые люди рассказывали, что вот, бывало, поставят лестницу и лезут на небо — думали, достанут. У нас там всё леса, леса, и небо на них лежит так низковато, прям сверху так. (Показывает рукой чуть от пола.) И вот, бывало, лезут, лезут, девка, лезут всё... А вот ведь, полетели в космос, добились. Так, значит, чувствовали чего-то...

Теперь в приемнике громыхает про Ленина. Аннушка, судя по напряженному лицу, не разбирает слов песни, но многократный рефрен, переходящий в скандированный, безостановочный лай, цепляет ее стертое годами внимание, и неожиданно она произносит:

— Ленин с нами век жить не будет. Надо учиться самим жить правильно, без Ленина.

Однако чаще повод к политическому направлению мысли Аннушка получала по возвращении из магазина Евгеши с готовым взорваться ворохом возмущающих ее совесть впечатлений, которые ей было некому как следует выложить, потому что Аннушка плохо слышала, а я плохо слушала; зато Аннушка всегда безупречно улавливала общий тон ошеломляющего Евгешиного рассказа («Ну, вы только подумайте, милые кровиночки, ну, скажите вы мне, пожалуйста, на милость, ну как им не стыдно на этом «Скороходе» выпускать такие страшные сапоги?! Ну как им не совестно красить их в такой цвет, я прямо удивляюсь на них! И где только, я не пойму, они находят таких работников?!»), — и та же Аннушка в неутомимой доброте своей не оставляла Евгешино неизменно свежее негодование без сочувственного внимания:

— Да, много вреда еще учиняют люди. Мама моя, когда новую власть стали затевать, бывало, скажет: те же портки, только гашником наружу. А ты что думаешь, девка, — минуя Евгешу, она невольно обращается ко мне, желая быстрейшего понимания, — бывшие-то, которые власть раньше держали, так все и порушились? Не-е-ет, девка, они схоронилися. А ты как думала? А ты думала, они все порушились? Не-е-ет!..

Повторив зачин многократно, она принимается в тысячу первый раз пересказывать свою притчу. У одного мужика отняли корову, а у его — мать стара, жена да дети капельные. Поехал он в Москву, к Сталину, приходит в Кремль, а в кибинете сидит мужик зажиточный — с ихней деревни. Я, говорит, заместо Сталина, как скажу, так Сталин завсегда иделает, чего тебе надо? Ну, мужик отвечает: у нас корову взяли, единственную, а дети у меня еще мелкие, голодные. Тот засмеялся: корову?! Корову, говоришь, отобрали?! У тебя корову отобрали, а меня из собственного дому выгнали! Вишь! Корову! А меня из дому выгнали! Поняла, девка? Во как. А меня, говорит, из дому выгнали. Ну, мужик и ушел. А что делать?.. Да, девка: люди все такие зáвиды, гóвны!

Этим грустным выводом вовсе не исчерпывались взгляды Аннушки на человеческое естество. Ее природная доверчивость, глубокая открытость и прочное сердечное убеждение, что все люди так же щедры, честны и добры, как она сама, и что все они ежеминутно нуждаются в неустанной жалости — потому уж, что на свет родились, — несуразно и, видимо, очень болезненно для нее самой срослись с простыми и грубыми охранительными реакциями, которыми выдрессировала ее слепая, лютая, напрочь непонятная жизнь. В первые годы Аннушкиного сюда переселения Евгеша и милиционерова Наташа героически долго отучали ее от привычки переспрашивать со всеми оттенками, «кто там?», заслышав любой, даже заранее оговоренный звонок в дверь; по десяти раз, «к кому?» — она дознавалась, уже откинув дверь на цепочку, и еще потом, впустив, с нескрываемой опасливостью зверя, разглядывала гостя зеленущими, из-под черных диковатых бровей, глазами — до тех пор, пока его, оглядывавшегося, не уводили в глубины коммунального лабиринта.

А при всем том она не боялась пускать к себе и вовсе незнакомых ей пришельцев, называвших себя лучшими друзьями или начальниками (чаще — друзьями-начальниками) ее забулдыжного племянника, посылавшего их к тетке в периоды между своими отсидками; редкостное зловоние, сопровождавшее такие визиты, прорывалось в коридор уже с лестничной площадки (Евгеша мышью шмыгала на свою жилплощадь и громко поворачивала ключ), и вскоре их громогласный алкогольный пафос без труда отмыкал детское Аннушкино сердце и слабый ее кошелёчек. В обмен на красивые и грозные легенды о Кольке, который ударным трудом получил ожоги третьей степени, о Кольке, который, будучи в ожогах, женится, а жена беременна, о Кольке, у которого ханыги выманили казенные деньги, а свои он все до копейки отправил в фонд мира, Аннушка незамедлительно отдавала все, что у нее оставалось на тот момент от пенсии в пятьдесят семь рублей (прописью). Тогда курьеры торопливо уточняли, что Колька получил ожоги ближе к четвертой степени, что Колькина жена беременна двойней, ну и так далее, — и, в соответствии со зловещим разрастанием несчастий, Аннушка дрожащими руками добавляла посланцам деньги, оторванные от неприкосновенной, даже при условии Аннушкиного опухания с голоду, заначки на похороны.

Аннушка жила на рупь в день. Из оставшихся двадцати семи рублей она оплачивала свет, газ и — всегда на три месяца вперед — комнату, в которой беспрестанно сырел северный угол, гнили рамы (Аннушка очень боялась, что они выпадут во двор и убьют ребенка), пол истлевал, а дверь

была сработана словно для другого проема. Когда нам поставили телефон (событие, сродни прибавлению семейства), мы с Евгешей, конечно, пытались оградить Аннушку от платы, тем более что (как мы ее убеждали) пользоваться-то аппаратом она будет не чаще раза в год, но ежемесячно, в день пенсии, Аннушка выкладывала на стол ответственной квартиросъемщицы (Евгеши) ровно рубль тридцать семь — а звонить ей было некуда.

Правда, я помню, как ей самой однажды, к Седьмому ноября, позвонили ее дальние родственники, и она, смущенная телефонной игрушкой, говорила трубке: «Мне прибавили к пенсии рубель семьдесят пять».

А потом только спрашивала — про детей да про детей, потому что про себя ей сообщить было больше нечего.

Так вот: пятьдесят семь минус площадь, свет, газ, телефон, плюс рубель семьдесят пять, минус неизбежные, иногда непредсказуемые траты (горчичники — нитки — троллейбус — мыло — лампочка — носки — ах, ты, Господи, не напасешься!), но, что бы ни стряслось, Аннушка все равно измудрялась откладывать себе на похороны, и эта возможность дарила ей ни с чем не сравнимую радость.

Дать ей взаймы не представлялось возможным ни при каких, даже чрезвычайных, на грани жизни и смерти, обстоятельствах. Дело было не только в ее крепком знании, что отдавать нечем, — гораздо прочнее и старше было чувство, что это ей не с руки, да и все тут.

А я у нее «стреляла» иногда рубль-другой — до вечера (до ночи, до утра), — если Евгеши не оказывалось дома, а надо было что-нибудь срочное. Не помню случая, чтобы Аннушка отказала.

И в то же время, скажи ей кто-нибудь, что я, к примеру, мастерю у себя в комнате бомбу, — она бы не отвергла это как явную чепуху. «Правда, что ли, — отстраненно, опасливо-хмуро меня разглядывая, спросила бы она, — ты, говорят... это... бонбу какую-то у себя мастеришь?» И я знаю, что, сколь бы я не отнекивалась (чем тверже и дольше, тем с меньшей для нее убедительностью), она, как в типичном русском споре, когда противника попросту не слушают, только качала бы горестно головой и в несокрушимом своем упрямстве все повторяла и повторяла бы с расстановкой: «Не знаю, девка... Не знаю».

Но что можно было поделать с ее независимостью, когда происходили случаи аварийные? Ведь бывало, например, что мы с Евгешей покупали новый замок для входной двери и пытались пригласить плотника; бывало, зазывали сантехника, отрывисто говорившего, что он не обязан; неловко всовывали чекушку починителю света — во всех этих бедственных, особенно для кармана Аннушки, происшествиях, как бы мы с Евгешей ни сопротивлялись и ни скрежетали зубами, она с пугающим, клиническим упрямством участвовала все равно, подсовывая желтые бумажечки, свою долю, нам под двери, или в кухонные ящики, или в висевшие у дверей пальто. Но иногда на нее обрушивались беды и вовсе катастрофические: покупка нового чайника взамен непоправимо прохудившегося. Несчастье такого калибра пробивало в финансах Аннушки брешь величиной в несколько с о в с е м г о л о д н ы х д н е й. Точное количество этих дней легко подсчитывалось: если у Аннушки на полке шкафа под синим гребешком лежало пять рублей, то, следовательно, ровно столько дней и оставалось до ее пенсии, а если этих пяти рублей у нее не оказывалось (как в примере), то, следовательно, именно такое количество дней и предстояло Аннушке голодать.

Вижу, как она сосредоточенно-долго чистит в ванной подобранный где-то черный гривенник.

...Тут приходил Колька, и Аннушка отдавала ему часть похоронных денег.

II

Надо ли описывать, что в это время испытывала оцепеневшая за стенкой Евгеша? В ее комнате прочно воцарялся муторный лазаретный запах выпитого, а более, вследствие дрожащих рук, пролитого корвалола. С присущей ей обстоятельностью бытового воображения она живо представляла себе посуду с Колькиными вонючими объедками, как ни в чем не бывало ожидавшую помывки в кухонной раковине; болезненно преувеличивая человеческие возможности, она уже предвидела результаты Колькиного небрежного посещения коммунальной уборной; самое тягостное, непереносимое предчувствие вызывало у Евгеши (Колька, бывало, являлся с какой-нибудь молчащей несчастной женщиной: «Тетка, знакомься: моя жена!») его совместное со шлюхой мытье в беззащитной ванне общего пользования. Евгеша в деталях предвидела объем предстоящей ей дезинфекции. И уж во всей грозной красе ей виделись последствия неплодотворности этого мероприятия.

Вообще голая механика быта, психологическая сцепка (таких слов она, конечно, не знала) житейских отправлений, их жесткая причинно-следственная связь были понятны Евгеше раз и навсегда. Она не допускала двух ответов в одной задачке. «Ирина! Спустись на землю грешную!» — было ее ко мне дежурным и ясно бесплодным призывом. На земле грешной Евгеша сознавала свою безоговорочную компетентность, потому что в заданности черных сапог и белого сахара (и их взаимодействии) не могло существовать тайн. Вот поэтому, собственно, она так уверенно пробегала мысленным взором не только зачитанную партитуру Колькиных визитов, но и любых визитов, свиданий, расставаний, невстреч; на вопрос «фрукт?» она мгновенно бы ответила «яблоко», часть лица — нос и поэт — Пушкин.

Житейская умудренность Евгеши зиждилась на ее фантастической мелочной наблюдательности (которой Аннушка, по причине старческой слабой памяти, а главным образом из-за склонности к бескорыстной созерцательности и отвлеченно-философским, более общего плана умозаключениям была лишена напрочь). Евгеша не допускала мыслей, что она не все замечает из того, что видит, тем паче, что видит не все. Единственной причиной своих промашек она считала сознательную утайку, маскировку и хитрость тех, у кого есть на то основания. Она не верила, что не все обладают такой же точно способностью, как она сама. Мою скандальную неосведомленность в некоторых вопросах, как то: погода на дворе, стоимость селедки, наличие детей у дворничихи, — она относила только на счет злонамеренного симулянтства с целью выказать свое к ней неуважение. После обычного с моей стороны замешательства и растерянного «не знаю...» она смотрела на меня с отчужденным смущением, как человек, предполагающий, что с ним вполне могут состряпать дурацкую шутку, но все равно не знающий, как себя вести. Евгеша не верила в мою рассеянность («Молодая женщина!» — восклицала она с брезгливым отчаянием, в очередной раз снимая с огня мой пустой почерневший чайник); при этом ее коробило подозрение, что на земле грешной у меня есть еще другая жилплощадь — раз я не боюсь спалить эту; лишь на полмизинчика она допускала мысль о моей мирной умалишенности, и в первом случае была неправа совершенно, а во втором, конечно, права, но это вовсе не рассеивало коммунальный призрак пожара, потопа — и сумы на старости лет. Так что надо отдать должное Евгешиной ко мне лояльности!

Сведения об окружающем мире добывались ею с легкостью виртуозной, точнее сказать, она получала их совершенно бесплатно. Ей не надо было подглядывать, подсматривать, потому что она без усилий видела и, несмотря на совсем слабый слух, слышала. Стоило ей даже просто спуститься вынести мусор — не в южный, пестрый и болтливый двор, а в наш угрюмый, безлюдный петербургский колодец, — как она уже доподлинно знала: кто-что, кого-чего, кому-чему, кем-чем и так далее. О ком, собственно, могла идти речь на нашей бесприютной, темной, словно вымершей лестнице? Но для Евгеши лестница бурлила жизнью, и, что самое необыкновенное, ей были известны не просто застылые факты, а все их начала и все концы, и она была неколебимо уверена в собственной трактовке самого х о д а любого, даже заочно происходящего случая.

Да что резину тянуть; вот Евгеша возвращается из магазина, а там разбито дверное стекло: «Мальчишки-то, которые вчера еще, я обратила внимание, стояли, знаете, у того нового дома, а там же еще доски, палки от забора накиданы, убрать-то некогда, у нас все некогда, так они вечером-то, видно, пошли гулять на угол, теперь милиционер там не стоит, ну, и,

видно, заняться-то нечем, вот и стали палками, как эти, как их, ну, мушкетеры, пихаться, а там еще скользко так, все льется из этой трубы и сразу замерзает, мороз-то вчера был градусов двадцать, не меньше, я, как вышла, так вздохнуть не могла, ну, видно, толконул-то один другого, поскользнулись, а палкой-то и в дверь, хорошо, не в глаз, вот бы подарок матери-то, ну и бежать, осколки до сих пор лежат, дворника-то нет, этот дворник, что еще без двух пальцев, он пьяный к тем ноябрьским угорел, а новые-то все квартиру просят, а где им у нас квартиры, сами-то вон как живем, я, считай, сорок лет отработала, а эти без квартиры не идут, это только мы могли вкалывать за так, да еще старались, как лучше, эх, и дура же я была, так и будут лежать осколки эти бедные до тех пор, пока из магазина уборщица не выйдет, так, может, хоть подберет».

Думаю, любому теперь понятно, что Евгеша никогда в жизни не опустилась бы до чесания зубов на скамейке с дворовыми кумушками (летом и наши мертвые дворы слегка одушевляются), потому что она не нуждалась в получении сведений из вторых рук, потому что от прилюдного перемывания костей ее хранили природные робость и стыдливость (а для сплетен ей вполне хватало ушей Аннушки) и главным образом потому, что такое времяпрепровождение пришлось бы диким для ее деятельной натуры. Свою обстоятельную приметливость она не распыляла на праздные абстракции, а ставила в одну упряжку со здравомыслием и практической смекалкой.

А всех, кто был устроен не так, Евгеша считала непутевыми. Это был ее самый частый эпитет. Непутевыми назывались не только люди (разумеется, я, Аннушка), но и вещи, и даже сама Евгеша — стоило ей, скажем (случай из ряда вон, связанный с нездоровьем), упустить на плите молоко. Себя она, кстати сказать, вовсе не считала знатоком каких-то более сложных структур жизни (где заправляли жрецы власти, денег, искусства), все эти элитарные сферы «людей с положением» были не вполне доступны для ее понимания, тем более для реального, каким-то боком в них проникновения; эта недосягаемость проистекала исключительно, как считала Евгеша, от отсутствия у нее хитрости и у м е н и я ж и т ь (их она, впрочем, уравнивала) — да, хитрость с Евгешей и рядом не лежала. Так что Евгеша была очень далека от самодовольства.

Но людей, пренебрегавших посильными благами: горячей пищей, одеждой по сезону, здоровой семьей, — людей, не способных к общедоступным знаниям (обязательным разделом которых являлся, скажем, режим работы продуктового магазина), а также людей, непонятных неизвестно почему (во все эти категории попадали опять-таки мы с Аннушкой), она считала самодурами.

Сама она непутевости и самодурству, как могла, сопротивлялась. Потом, когда Аннушка, обездвиженная хворобой, быстротечно угасала, но еще не угасла, Евгеша на кухне толково и деловито научала меня — «у тебя-то получится» — срочно хлопотать в исполкоме об Аннушкиной площади: оформить как непригодную для жилья, чтобы п о с л е туда не вселили пьяницу.

III

Сегодня приходил Колька. Он забрал у Аннушки будильник — последнее, что еще можно пропить. А зачем Аннушке время, если подумать?

Один еврей все ходил в ГПУ спрашивать, который час. Они ему: чего шляешься?! Он: вы у меня все конфисковали, и часы тоже.

Вот и Аннушка повадилась ко мне спрашивать время, хотя ее будильник конфисковала не я.

Придет. Вопрос — ответ. Помедлит. Доковыляет до кресла. Присядет на краешек. Помолчит. Вдруг: «Ай халат никак ты себе, девка, новый справила? Да краси-и-ивый какой! Где брала?»

Нету здесь Евгении Августовны: она бы живо восстановила истину. «Анна Ивановна! Ну не чудите же вы бесплатно! Ирина этот халат уже двенадцать с половиной лет как носит, еще на первом курсе сшила; тогда еще Николай Васильевич жив был, а она купила на занавески, но вышло коротко». «Не помню», — виновато улыбалась бы Аннушка. «Ну как же? Нина тогда еще съездила в санаторий, в эту, как его, Хосту, а у вас тогда

дверца от тумбочки была отваливши, мы с Ириной чинили». «Не помню», — повторила бы Аннушка и, видя, что Евгеша не вполне ей верит и уже сердится, твердо ответствовала бы: «Нет, Евгения Августовна. Я не помню».

На другой день повторилось бы то же самое.

Аннушка обладала счастливым свойством все забывать. Нет, в отличие от меня, она все, что надо, запирала-выключала (да еще, бывало, вернется, проверит), но чудесные волны забвения мгновенно вымывали из ее памяти отпечатки событий простых и однообразных, чтобы Аннушка могла опять насладиться их новизной и неожиданной яркостью. Так же, например, и с моим халатом. Аннушка вовсе не нарочно выискивала предмет для разговора, она ничего не умела делать н а р о ч н о, да и готовых бесед у нее было сколько угодно, в большей степени потому, что, забывая, она повторяла их ежедневно.

Вот и теперь после вопроса «который час» она начинает подбираться к креслу: ай никак картинка у тебя новая, да красивая какая, где брала. Вопрос «где брала» формален, точнее, ритуален. Это зачин.

Ну, допустим, я скажу: в комиссионке. И тогда Аннушка ответит, что в молодости очень любила ходить по магазинам: бывало, все обежишь, а теперь ноги не ходют. Но это тоже лишь зачин. «Да, девка, старому быть плохо. Я смолоду все старикам завидовала: сиди! отдыхай! Так, бывало, устанешь, ну, сил нет! А теперь, вишь, старой стала, а и толку нет: руки млявые, ноги не ходют, спина не сгинается. Нет, девка, плохо быть старым».

Но и это зачин. Я-то знаю...

«Ирина, вот ты ученая, скажи: для чего люди рождаются?»

Нет, счастливо все-таки была устроена память у Аннушки: она и в другой раз не знала, для чего.

История с часами имеет продолжение. Как-то Аннушка поймала меня уже в дверях — я убегала надолго; Евгеши дома не было тоже. Аннушка горестно обронила: у кого же мне теперь время спрашивать? Я сказала: наберите ноль-восемь. (Пользоваться телефоном мы ее уже научили.) В досаде она махнула рукой: «Тьфу! Я же ему надоем». «Кому?» «Этому, в телефоне». «Там же автомат!» «Все равно. Автомату надоем».

Несколько раз в периоды сверхдолгого вынужденного анахоретства она все же отважилась обеспокоить телефонный голос. Надо было слышать, как она говорила: «Спасибо».

Главным правилом Аннушки значилось н е б ы т ь л ю д я́м в т я г о с т ь. И то, что она предпочла меня автомату, означало, конечно, родственное ко мне доверие.

Но менее всего Аннушка позволяла себе быть в тягость государству, которое она считала и без того уж обремененным самим фактом своего рождения и вечно занятым в трудах праведных. До ее ли сырого угла тут? Сырой угол плодил мокриц, и Евгеше в жилконторе объяснили, что это протекает крыша, дав понять, что сложность починки тождественна невыполнимости. Евгеша очень не любила все неправильное, несправедливое и, хотя всегда верила, что начальству виднее, но начальники на местах, которых она лицезрела в жилконторе (куда входила неизменно съежившись и с лубочной улыбочкой), а также в магазинах, гардеробах, пунктах приема стеклотары и в других ответственных казенных точках, казались ей столь малыми калибром, такими уж паршивенькими и завалящими, безо всякого тебе облика и подобия (а в другой раз она все равно входила в жилконтору, съежившись и с лубочной улыбочкой), что, возмущаясь, она позволяла себе подвергать их безудержной публичной критике. А заодно доставалось и вовсе уж простым смертным. Она костила, шерстила и песочила не только тех, с кем ее смешивало в мясорубках очередей, транспорта, присутственных мест, — но и других, чьи неправильные действия наблюдала издали, а все равно расстроилась, — потому что это все были частные проявле-

ния непорядка на местах, а Евгеша любила, чтобы на местах, доступных взгляду, обонянию и прочим земным чувствам, все было бы опрятно. «...А я ей и говорю, не побоялась: чего же это вы делаете, сволочь вы этакая!» — доносилось из кухни.

Несколько раз Евгеше в ЖЭКе все же обещали, что придут.

Задолго до назначенного дня Аннушка начинала готовиться. Полупарализованной рукой («Дайте помогу, Анна Ивановна!» — «Нет, я сама») выволакивала она в коридор доски от койки, «етажерку», фанерный шкаф и ложилась в девственно пустой комнате, постелив газеты «Правда» и «Ленинградская правда», что выписывала Евгеша.

Никто не приходил. Удесятерив срок ожидания, Аннушка, в том же порядке, втаскивала имущество назад.

«Да сходите вы туда сами! — ни на что не надеясь, посылала ее Евгеша в контору.— Может, они сжалятся: пожилой, больной человек! А то,— Евгешу, как всегда швыряло в крайности,— стукните там кулаком по столу да пошлите их всех хорошенько матом, чтоб чертям тошно стало!» «Да разве они меня испугаются?» — слабо улыбалась Аннушка (матерных слов отродясь не знавшая). «Да уж, это точно! — яростно заключала Евгеша.— Боятся они нас, как ежик задницу! И все равно! Надо матом кричать, стучать кулаком!» (Самым сильным Евгешиным выражением было приведенное «сволочь вы этакая» — дурацкий плод любви несчастной ее осмотрительной робости и вздорности непредсказуемой.) «Нет,— на поджигательские призывы Евгеши твердо отвечала Аннушка.— Я не хочу попасть в самашедшую. (То есть в психиатрическую больницу.) У нас живо попадешь». «Что вы опять свое, Анна Ивановна! Туда не так просто устроиться!» — «У нас, в Советском Союзе,— просто». «Еще вас Советский Союз обидел! — распалялась правоверная Евгеша.— Он вам пенсию дал! На дом приносят!» «Пенсию я заработала,— спокойно отвечала Аннушка. Потом прибавляла: — Ее тоже начисляют неправильно».

В ее путаных представлениях о социальном устроении нашего государства (которое, устроение то есть, ее занимало, правду сказать, гораздо меньше восхитительно-отвлеченных мудрствований вроде: «Для чего сделан космос?») преобладало традиционно-крепкое убеждение, что на самом-то, самом верху, в хрустально-прозрачной синеве безукоризненно-правильный перст Человека Всемудрого нажимает безукоризненно-правильную (других там нет) кнопку, а вот пониже почему-то затевается стыд, смрад и бестолковщина. Таких же взглядов была и Евгеша. Она приглашала меня разделить ее гражданское ликование, когда по телевизору наш новый руководитель обольстительно улыбался американскому (Евгеша свято верила, что политика делается под барабанный бой и звон литавров). «Какой он умный, нет, ты только подумай, какой умный!» «Да уж, Россия умными правителями не избалована, ублажить нетрудно». «Ну уж тебе-то, Ириночка, конечно, все дураки, это я давно знаю».

И все же, что касается Аннушки, то была в ее стройных убеждениях какая-то досадная сбивчивость, заноза, привносящая ощущение зудящего, неясного беспокойства,— одним словом, зрелый — твердый и ровный — плод законопослушия был словно надкушен позорным червяком. Задачка, тревожившая иногда Аннушку, если перевести ее на язык общих цитат, звучала примерно так: может ли Бог сотворить камень, который сам не может поднять?

...Я ставлю для Аннушки пластинку. Поют муж и жена, они аккомпанируют себе на гитарах; он — автор музыки на тексты классических стихотворений. Аннушка знает этих ребят и, как ни странно, помнит, путая лишь имена. (Некоторое время они жили у меня, вызывая ее безоговорочную любовь и,— поскольку мне приходилось иногда ночевать у нее,— незамедлительное возмущение Евгеши.)

Аннушка слушает пластинку очень внимательно и в конце каждой песни порывается спросить: а как их дети? а как родители? а это за деньги или так? (Серафически незамутненная душа Аннушки гениально догадывается, что искусство, в сущности, должно быть «за так».) Они получили по восемьдесят пять рэ на нос,— мимоходом отвечаю я, тайно наблюдая, какое впечатление произведет на Аннушку эта сумма — не астрономическая, конечно, но солидная в сравнении с ее пятьдесят семь прописью. Она шевелит губами, подсчитывая: наверное, умножает на два... Получаются деньги и вовсе хорошие! Она оживляется. Продолжает считать. Грустнеет: видно, вспомнив ребенка, поделила на три... Ах, если б она умела разделить эту сумму на пять лет жизни безо всяких средств к существованию!

«У нас государство, вишь, для людей...— неуверенно заводит Аннушка.— Не буржуазное...» Она явно смущена той схемой, в которой близкие, осязаемые люди попали в какой-то эксплуататорский класс — и одновременно напугана их музакантской природой: снаружи свои, вроде, ребята, а на поверку-то, видно, не те?.. Государство, оно зря не будет... «Правда, и они люди...— беспокойно начинает Аннушка через пару минут,— не находя душевного равновесия от своего предыдущего вывода и вдвойне смущенная новорожденным ответом задачки.— Им тоже надо... да... Ну, у нас об трудящих думают»,— не очень-то веря собственному голосу, заключает она с ударением на «трудящих».

По отношению к человеку у нее были две формы поведения: ласка и опаска. И если она чувствовала, что во второй нет нужды, то проявляла исключительно первую форму.

Под лаской не надо понимать сопли в сахаре. Аннушка никогда не сюсюкала. С годами у нее осталось сил только на пассивное проявление ласки. Она ничем не беспокоила своих дальних родственников — ни во время инфарктов-параличей, ни под угрозой отправки в интернат (родственников, о которых, перебирая всех поименно, с невыразимой любовью рассказывала Евгеше) — это и было с ее стороны проявлением величайшей к ним ласки, потому что иным способом осуществить ее Аннушка уже не могла.

Странно была устроена Аннушка! Я скорей бы приняла за чистую монету, что ее послали в космос, сочтя самой здоровой женщиной страны, у нас это возможно (еще во времена Нерона блудницы официально объявлялись девственницами — и наоборот); нежели поверила бы, что она обидела кого-то или обиделась.

Покуда она держалась еще на ногах, то всегда посылала — к Седьмому ноября, к Первому мая — добытые в нашем магазинчике (ходить дальше она не могла) гостинцы для малых деток этих родственников: бедные вафли, обломки печенья в грубом бумажном пакете, кулек карамелей,— я уверена, что детки ни разу ничем из этого не прельстились.

Чудно́ мне всегда было, как это она не озлобилась,— от другого на ее месте еще при жизни остался бы прах. Ну, конечно, на злобу-то ведь тоже силы нужны, а где их взять? Но я имею в виду не крайний, безусловно, талантливый, случай инфернальной злобы-матушки, а расхоженькую, рядовую, не ахти какую,— мелочную озлобленность средней руки: перекошенный ротик, щучий оскал, просевшее серенькое лицо,— всеобщий, как прописка и могила, удел.

Ведь что получается: Бог лепит себе в радости розового младенца — сырого, никакого, всякого. Потом глядит пристально, долгие годы глядит: никак тот чем его удивит?! Тот, ясно, не удивляет. Господу Богу нашему делается скучно с нами и, в досаде своей великой, дланью своей всемогущей, принимается он потихоньку младенца бывшего приминать-демонтировать (морщинки, складки дряблые, все такое) — чтоб, в ожидании чуда, снова плюхнуть его в чан с первоосновной, чавкающей, серого цвета глиной.

Морщинки, складки дряблые — все это было у Аннушки, тело независимо проделывало свой смертный цикл, но незамутненность ее сердца наводила на мысли теософского характера. Возьмем лежащее на поверхности объяснение: Аннушка верила в Бога (платочек... ладанка... иконка... куличи...).

Но Аннушка в Бога не верила. Она не успела в свое молодое время даже услыхать про небесного Отца, потому что прежде у нее вышибли из-под ног почву (как табуретку из-под ног висельника), а небо заколотили наглухо, так что еще до рождения своего (в 1913 году), а, точнее, еще до зачатия, Аннушка была лишена даже шанса на спасение.

Я слышу, как она говорит: «Нет, ихние праздники леригиозные я не справляю: у церквы все такое непонятное, ничего не запомнить,— а я вот лучше наши праздники, советские, понимаю». И точно: недалеко от наше-

го дома стоял и, слава Богу, красуется сейчас собор Николы Морского, — Аннушка в нем не была ни разу. Зато, пока ноги ходили, она отправлялась в кинотеатр «Москва», где с утра до вечера просматривала фильмы, шедшие в этот день во всех трех залах — Розовом, Синем и Зеленом.

Вернувшись домой, она бралась пересказывать их нам с Евгешей, держа в руках зеленую кружку с пустым остывшим чаем.

Но тут выяснялось, что она ничего не помнит.

Она всегда помнила, если в фильме убивали детей. Ей как-то слабо верилось, что это невзаправду. Она тут же затевала тягучую свою песнь, что нет, мол, одинокой-то жить лучше («Одна голова не бедна, а и бедна, так одна»); не надо детей родить, бабы глупые, ведь это же ужас, какая жисть тяжелая, а они себе все родют — а на что? на мучения и погибель? Я понимаю, говорила Аннушка, хочется с мужиком, но надо же себя держать, надо дисциплину, а они? — чтобы потом в огонь?! чтобы живьем закапывать?! Они же ведь маленькие — как это можно — в огонь?.. (Сюжет фильма, прежде чем навсегда заглохнуть в зыбучих беспамятных песках, внезапно взмучивал страшные картинки оккупированной Псковщины.)

Вижу ее лицо, перекошенное горестным изумлением.

Ясно, всякий психически нормальный индивид не одобрит, когда человек убивает человека, тем более, ребенка. Ясно, что обратные радости чувства я испытывала, когда Аннушка рассказывала, как за их деревней Ануфриево много дней ш е в е л и л а с ь з е м л я, поглотившая еще живые тела. Или вот случай: приходят к женщине партизаны, просят хлеба; женщина, отняв от своих детей, отдает им все, что есть в доме; партизаны, отужинав, не торопясь, расстреливают и женщину, и детей ее — «за содействие партизанам», потому что оказываются не партизанами вовсе, а фашистскими провокаторами. В этой истории есть уже элемент коварства. И все же здесь речь идет о капле крови, а у нас, затопленных океаном, чувствительности к капле нет. И мне страшно оттого, что по этому поводу могу я испытывать только «глубокое возмущение», бессильное, стертое негодование, — иногда, может быть, животный ужас, — но удивление, удивление?.. Может быть, удивилась бы я обратному сюжету: пришли люди убить людей, а пожалели, дали хлеба. Может быть.

Но ведь Аннушке-то кровавой похлебки досталось поболе многих. Так почему же это девственное удивление было в ней так сильно? Словно остальные чувства не успели еще нарасти, подмять, задавить. Только с удивлением Авеля могу я сравнить его.

Своих детей у Аннушки, как можно догадаться, не было. Да и откуда бы им взяться? Весь объективный ход истории, еще до ее рождения, обрек Аннушку на существование без корней и побегов, чтобы даже тень тени не оставила она после физического своего уничтожения. Конечно, можно было бы, очертя голову, назло (себе, детям) взять вон да и нарожать вдосталь, как делали и делают несознательные бабы, которых Аннушка, никого не судившая, осуждала. Но псковская Даная 1913 года рождения, в предчувствии ли обобществления или иных апокалипсических зверств, а, может (посмотрим шире), в обостренном удивлении перед самим фактом смерти, — не захотела превращать Золотой дождь в бренное мясо, а потому «держала дисциплину».

А ведь за ней ухаживали! Потом, потом, когда от человека остаются документы, наткнулась я на маленькую фотку для старого паспорта, откуда рванулись ко мне, как из распахнутого окна, и соболиные брови, и медвяные губы, и гордые ноздри, и ясные глаза — все то, что мы, недоверчивые, считаем существующим только в фольклоре. Да и сама Аннушка как-то к слову рассказывала, что в деревне к ней пытался прилабуниться один парень, а потом и в городе «один положительный мушшина», и в обоих случаях она, по ее замечательному выражению, «скрылась от него в народе», то есть, понятное дело, дала стрекача.

IV

У Евгеши тоже не было детей, и им тоже неоткуда было взяться. Казалось бы — неоткуда! Дело-то плевое. Но она появилась в мир образца

1919 года, и ей тоже, задолго до появления, наравне с равными, было отказано оставить по себе память.

Она выросла в Новгородчине, в семье железнодорожника, уроженца Эстонии. Двух последних качеств оказалось, конечно, достаточно, чтобы в тридцать пятом Август Янович не вернулся с работы. До того — был крепкий гостеприимный дом, необычайно вкусная, впрок идущая пища (Евгеша всегда предпочитала простые каши и овощные супы острым и пряным блюдам, — она и сама словно была сделана из чего-то пресного, как овсянка, безвкусного, бесцветного, но отлично слаженного, жизнеупорного и радостно-хлопотливого, как мельничная вода; она часто рассказывала, брезгливо нарезая на серой бумажке мокрую пакостную колбасу, как по утрам, наполняя толстостенные глиняные горшки, в русской печи уже стояли-поджидали детей разные — на выбор — каши на чистом коровьем масле — и что́ это были за каши! А как белотела была рассыпчатая картошка! А как густы сливки! «А у нас корова была, ведровичка. А лук на огороде — большущий, как шуба!» — вторила Аннушка); до того — была дружная семья, и мать, идя в лес с тремя маленькими дочерьми, всегда оставляла для них на тропинке, — играя, свой путь помечая, — то цветок, то грибок, то странноватого вида корень; до того — Евгешу звали Женни, точнее Сенни, потому что в эстонском нет шипящих, — и русские соседи называли ее так же, — а фамилия Сенни была Йыги, что означает «река». Но все рухнуло разом: утратив мужа, мать слегла, стала молоть чепуху, не узнавала дочерей, а соседям вдруг сделалось трудно произносить имя «Сенни», будто в русском нет свистящих. В Ленинграде Женни посчастливилось быстро выйти замуж, и, хотя муж погиб в первые дни войны, он оставил ей угол и русскую фамилию. Теперь она значилась как Евгения Краснова и, как бы поощряя приобретенную доброкачественность, Бог-отец послал ей зачатую во браке дочь. Но то ли потому, что Он рьяно осуществляет надзор за правилом «сапожник — без сапог» (Евгения работала детской медсестрой), то ли потому, что и Бог-сын, в белом венчике из роз, неожиданно для себя оказался приписан к устроителям тотального уничтожения, а только дочь была тут же и отнята: «туберкулезный менингит». (Не все ли равно?) Как ее звали?..

Тем временем Евгения попыталась узнать что-нибудь о судьбе отца — в том знаменитом, мрачном, как сыпнотифозный кошмар, Здании на Воинова, бывшей Шпалерной. Но там ей мгновенно дали понять, что их служба не предоставляет сведений, а, напротив того, их получает. И Евгения, перещупанная вурдалачьими глазками каких-то людей в форме и еще других, тихих, жутких, без формы, — была отброшена на улицу тяжкими дубовыми дверьми. И точно (не тронь лиха, пока тихо): щупальца Избушки на упырьих ножках, мерзко виясь, подобрались к ней сами.

В госпиталь, где она служила (там ее монашья чистоплотность еще более укрепилась и даже — о добрые старые времена! — была отчасти удовлетворена), поступила анонимка на дочь врага народа.

Евгеша до сих пор удивляется следователю, к которому в том же самом Здании ей довелось попасть. Что им руководило, она понять не может. После пятьдесят шестого года она пыталась найти его, но все приметы у нее уже тогда, в тот день умопомешательства, отшибло начисто.

Следователь, пробежав глазами донос, принялся громко спрашивать ее паспортные данные и одновременно писать что-то на клочке бумаги; Евгеша, почти в обмороке, — ее чудовищная наблюдательность! — заметила какое-то несоответствие в его действиях. Следователь подал ей эту бумажку, приказал пальцем молчать, и она прочитала: приходите сегодня во столько-то... и далее адрес. Дав ей очнуться, перечесть, запомнить, он забрал записку и сжег ее в пепельнице.

Евгеша говорит, что к нему домой на шестой этаж (только и запомнила этаж: тело запомнило) она ползла на карачках. Ничего она не знала, кроме того, что он позвал ее «попользоваться». У его дверей она лежала без сил. Потом позвонила. Все произошло молниеносно.

Он открыл сразу, будто караулил, и в коридоре, не зажигая света, сказал ей слова, смысл которых дошел до нее только на улице: срочно иди

в военкомат — и на фронт, я звонил, все устроил; на фронте ты еще, может, спасешься, а здесь у тебя нет ни шанса.

Почему он повел себя так? Неизвестно. Евгеша говорит: может, пожалел мою молодость. Неисправимая Евгеша! Вот и сейчас, когда она ходит говорить тихим голосом в исполком, и там ей очень вежливо врут (а она не всегда понимает, поскольку в извилистостях поведения не преуспела, — и даже такая, нового поветрия, ленивая изобретательность ставит ее в тупик), — иными словами, если в присутственных местах на нее накричали не сразу, а квалифицированно имитировали внимание и не зевали в лицо, если фразу «зайдите через месяц» изрекали «интеллигентными» голосами, — она возвращается домой в уверенности, что это произошло исключительно потому, что о н и «пожалели ее старость».

Дальше мои сведения о прошлом Евгеши путаются. Она действительно попала за пределы города, по-моему, в Ленинградскую область, но работала и в блокадном Ленинграде, и это абсолютно точно, поскольку я отчетливо помню ее рассказы о блокаде.

Она, например, говорила, что, возвращаясь домой из госпиталя, каждый раз ждала найти под подушкой кусочек хлеба. (Перевоплощение рождественского подарка на нашей горестной почве.) Так что, войдя в свою госпитальную каморку, Евгения тут же бросалась шарить под подушкой. Кто это такой всемогущий, великодушный и сумасшедший мог положить ей хлеб — или же хлебушек иной раз самозарождается под подушкой, Евгения даже и не гадала, она просто з н а л а, что он там о б я з а т е л ь н о б у д е т. Не обнаружив хлеба в очередной раз, она еще тверже знала, что завтра уж он будет точно. С этим знанием, не раздеваясь, она проваливалась в сон. Цепляясь за эту приманку, она месяц за месяцем переползала через тьму хищной блокадной ночи. И, благодаря этой вере, Евгения выжила.

Но то ли несколько дней не добрала она до установленного в верхах срока, то ли тоскливые конторские курицы неверно выправили ей документы, а только, как, впрочем, многие, не попала она в официальные списки блокадников; снова не довелось ей насладиться «дополнительным хлебушком», грошовой подачкой, существующей опять-таки более в области воображения, — и по-прежнему пусто под старой подушкой.

С ожесточением вспоминала Евгеша каких-то обидчиков военной поры, которые нагло обворовали ее, и, больше всего жалея пропавшую шубу, в сердцах повторяла, что она все равно не пойдет подлецам впрок и что Бог накажет. Под Богом она понимала, если б умела объяснить, разумный ход вещей, пусковым моментом которого неукоснительно считала, конечно, материю и верховную власть государства. По крайней мере, одним из ошеломивших Евгешу уличных впечатлений, которое иллюстрирует ее простосердечный атеизм, было следующее.

Рядом с нашим домом синеет куполами Троицкий собор, похожий на важного генерала в отставке (и уже тем хотя бы известный, что Достоевский венчался там со Сниткиной), а ныне используемый как склад. Однажды, когда Евгеша подрабатывала в газетном киоске как раз напротив этого храма, она вернулась в непомерном возбуждении и с испугом заявила, что по этой улице взялся ходить с у м а с ш е д ш и й п а р е н ь. «И, знаете, — добавила она с искренней жалостью, — такой молодой!» Я заинтересовалась основаниями для диагноза, и она отчеканила, что с о б с т в е н н ы м и г л а з а м и в и д е л а, как он — «ну вы только подумайте!» — мимо храма проходя... н а н е г о к р е с т и л с я!

С войны у нее саднили еще другие обиды — скорее на непутевых людей, нежели на руководителей. Военным начальством Евгеша как раз была довольна — уже потому, что, как она рассказывала, санитарное состояние города в блокаду блюлось очень тщательно; с армейской четкостью распространялись среди населения дезинфицирующие, бактерицидные таблетки, и эпидемии не вспыхивали. А обида ее проистекала от противного ее естеству задания, которое она, поступясь брезгливостью, вынуждена была выполнять у линии фронта. (Тут опять сгущаются сумерки, потому что я толком

не помню места и времени; могу только сказать, что это было то спасительное от города удаление, которое ей жестко порекомендовал следователь.) Бедной Евгении приходилось (вижу кошку, с отвращением отряхивающуюся после прикосновения нечистых рук) сопровождать забеременевших в военно-полевых условиях женщин прямехонько в эвакотыл. («Ну вы только подумайте, милые кровиночки: они там нагуляли с мужчинами, это... свое удовольствие получили — и готовы барыни! А мне с ними тащись — да под пулями! да без дороги! да в мороз! да ночью! — с какой такой стати, скажите вы мне на милость?! А другой раз душу уж до того измутузят — тошнит их, видите ли, или хочет чего-то, знаете, необычного, фифа такая, — ну, кажется, прямо убила бы на месте!»).

Надо думать, не убила бы. Часто, в неожиданно бурном запале, наговорив мне или кому другому обидные, несправедливые слова, — она незамедлительно тяжко расстраивалась, стыдясь своей мелочной вздорности, и переживала выходку всегда гораздо больней и дольше обиженного, неизменно втихомолку плача и слезами разбавляя горький корвалол. Но ее добросердечность, в отличие от бездумно текущей через край доброты Аннушки, придирчиво искала себе толкового и достойного применения. Непутевость и бестолковость (под которыми она разумела любое отклонение от плакатно-канонизированной прямой) вызывали у нее какую-то щекотку вестибулярного аппарата — сродни неуютному чувству брезгливости в отсутствии бытовой чистоты. Показательна одна ее фраза, относящаяся к послевоенному житью в сельской местности, где Евгения (и швец, и жнец) вкатывала квелым свиньям сквозь дубовую кожу их растворы неведомых еще в войну антибиотиков и (в дуду игрец) принимала младенцев у представительниц рода человеческого. И вот одна незамужняя, по словам Евгеши, с нагулянным брюхом, отправилась куда-то на сносях, да и разродилась на зимней дороге, причем примерзла кровавыми тряпками; Евгения, по счастью подоспевшая, ее, конечно, отодрала, а младенец оказался живехоньким, и хоть бы ему хны. Вот в связи с этим Евгеша и сформулировала на кухне один из главных своих постулатов: «Незаконные-то — они всегда легко выскакивают».

Себя Евгеша относила к гораздо менее везучим пра́вильникам. После войны она вышла замуж за человека, старше на шестнадцать лет, — разница, казавшаяся ей показателем мезальянса, или, говоря ее языком, собственной непрактичности. Правда, по Евгешиным понятиям, он был «большой человек». Уже в этой квартире, с коридором-меандром, он привечал таких же «больших людей»; супруги принимали гостей все в той же остылой комнате с окнами на север, где Евгеша обитала посейчас, — иными словами, на жилплощади, которую ее высокопоставленный муж, следовавший в своей жизни идеалам всеобщего равенства и не делавший для себя исключения (по глупости, — говорила Евгеша), предпочел реальной отдельной квартире. Он еще сильно п о ч у д и л перед смертью, но Евгеша, в которой сила долга была прочнее любого «чувства», оказалась крепка. Старик забывал включать, выключать, запирать, спускать воду; он не понимал времени, путал лекарства и обвинял Евгешу в чудовищных, практически невыполнимых злодействах. Не зная, к чему бы себя приткнуть, он, в отсутствие работавшей жены, жаловался на нее кому попало, но, к счастью, чаще других ему попадалась Аннушка (которая уже тогда понемногу наладилась отдыхать от жизни). Согласно сумеречной логике больного, Евгеша, целый день проводившая на службе, только тем и занималась, что изменяла ему ежечасно, а вот Аннушка целые дни проводила дома и, значит, Аннушка по своей природе была бы верная жена. Кроме того, Аннушка находилась ближе к нему по возрасту и состоянию здоровья, что еще более укрепляло старика в его матримониальных намерениях. Аннушка по нескольку раз на дню терпеливо отклоняла его скоропалительные брачные предложения, указывая деду на его неправоту и всякий раз резонно объясняя, что для ухода за больным и старым как раз и нужно, чтобы женщина была помоложе да покрепче, а вовсе не такая млявая, как Аннушка, которой с собой бы как-нибудь справиться (точнее, тут она грустно соотносила себя с «женихом», говоря: нам бы, старикам, с собой уж как-нибудь совладать, не быть бы людя́м в тягость), а про Ев-

гешу обязательно повторяла: Евгения Августовна — женщина порядочная, она худа никогда не сотворит.

После смерти измучившего болезнями мужа в Евгеше укрепилось чувство обиды на всю, целиком, так непутево сложившуюся жизнь, и вместе с обидой желтой пеной вскипала прокисшая зависть ко всем другим — тем, кто прожил свою жизнь легче, веселей, — видимо, в отличие от нее, Евгеши, зная тайные ловкие ключи. Сама она была не способна к прохиндейству — по своей природной порядочности и какой-то старомодной женственности: кроме того, ее сердце питали нордическая страсть к раз и навсегда установленному общественному порядку — и российский страх перед ним. Таким образом, катастрофически не умея ловчить, Евгеша себя за то в раздражении корила. Она то и дело взрывалась накопленным неудовлетворением, — и долго еще по воде шли круги, а подземные толчки и раскаты на небеси давали себя знать, ежели ей вдруг грезилось, что кто-то в сходной ситуации применил недоступный ей «ум». Так, однажды, получив на свой вопрос — почему такой-то все не женится? — мой обтекаемый ответ — «молодой еще», — она вдруг злобно вспыхнула, закричав, что, конечно, чего им торопиться, они себе и в семьдесят найдут молодую дурищу, чтобы к ихним коленкам горчичники прикладывала!

Жизнь с недужным мужем, предварившая ее второе и окончательное вдовство, виделась ей теперь совсем в ином свете. Как в воду канули его «большие» друзья — умерли, сильно уменьшились, а другие, напротив, так увеличились, что исключили свою для Евгеши досягаемость, — и жизнь с ним казалась теперь Евгеше действительно дымом безо всякого огня, — таким бутафорским дымом, что клубится под ногами патлатых эстрадных крикунов.

Я вижу ее в торчком стоящем белом колпаке и картонной жесткости медицинском халате, — ей как нельзя лучше шла эта негнущаяся стерильная одежда на посту старшей медсестры отделения — с его санитарными листками о том, что ватно-марлевой повязкой можно уберечься от гриппа, зубы следует чистить два раза в день, а больной раком не заразен. Помимо безупречного исполнения основных обязанностей, Евгения еще неусыпно следила за моральным обликом и бытоустройством медсестер — взволнованных городом соплюх-лимитчиц, которых всех, в строгой очередности, повыдавала замуж за лиц с постоянной ленинградской пропиской, а иногда даже за инженеров. Нельзя сказать, чтобы они, пребывая в законном браке, все до одной благоденствовали, но рельефные детали их жизни, как и подробности существования милиционеровой супруги Наташи, были у Евгении на виду, и еще до возникновения консультаций по вопросам семейной жизни (где по соседству с треснувшей желтой указкой громадный мужской член на учебном плакате, беззащитно явленный в продольном и поперечном распилах, праздно топорщится научными названиями) эти благочестивые курехи, украсив свой паспорт, вполне могли рассчитывать на ее совет и сочувствие. Да: Евгеша была слугой царю, отцом солдатам, коль скоро заменим царя на заведующего отделением, солдат — на средний и младший медперсонал, и отца, соответственно, на мать. Несколько раз я видела ее в деле, когда приходила проведать родственника, угодившего в их заведение.

Евгеша понимала только свой строй языка, и разговаривать с ней всегда было мучительно трудно. Но даже когда собеседник производил соответствующий перевод, она умела отключать свой воспринимающий аппарат, стоило ей заслышать любую непонятную (а, значит, так или иначе угрожающую порядку) интонацию. Дома, уже на пенсии, такие «отключения» она делала реже, ибо хотела развлечься и потому шла на риск. Но на ее службе я с ужасом натыкалась на неожиданно оловянный взор. Я слышала обращенную к ней реплику больного: «Да будьте же вы человеком!» и ее твердый ответ: «Не имею права». Во время тех мимолетных, вынужденных встреч с Евгешей на ее службе я успела задать ей несколько вопросов, касавшихся, например, местонахождения суднá и часов приема лечащего врача, но на все эти пустяковые и, в сущности, дежурные для нее вопросы, которые, конечно, возникали у меня «живьем», — ответы я получала как бы раз и навсегда заготовленные, совсем в иной, административной тональности, — и бесплодно, ни за что не зацепляясь, скользила я взглядом по непроницаемой, как стерильный халат, поверхности ее лица.

Вообще у нее было сильно обострено чувство опасливости, но, в отличие от Аннушкиного, главенствовал в нем оттенок готовой враждебности; особенно выпирало неприятие всего чужеродного, чужака, так что, несмотря на собственную половинную принадлежность к «нацменьшинствам» (и полной ценой за то расплату) с интернационализмом дело у нее обстояло туго. «Другие» были в ее сознании на положении тех незаконнорожденных, что, конечно, «всегда легко выскакивают». Все в ней напрягалось, заведомо ожидая каверз от лица не ее крови, и однажды, в самом начале нашего с ней совместного проживания, она заявила, что русские с евреями жить не могут. Потом, конечно, пила корвалол.

Чтобы закончить с ее службой, надо добавить, что и тут несчастливая Евгешина планида вполне себя проявила: какие-то непутевые напутали с Евгешиным годом рождения, на год ее омолодив, и Евгеша, свою работу любившая, но уже всем существом нацеленная на пенсию, опрометчиво позволив себе расслабиться и, в предвкушении отдыха, устать сильней обычного, вынуждена была этот настрой сломать. Она долго плакала, но потом покопалась в какой-то дальней заначке, поскребла по сусекам — и собрала-таки еще немного сил — ровно столько, чтобы хватило на долгий, нестерпимо долгий календарный год.

Выйдя наконец на пенсию и лишившись привычного применения силы, она попыталась вначале направить ее на перевоспитание нерадивой Аннушки. «Чего у вас эти страшные занавески висят, стыдно смотреть! Придет кто-нибудь, скажет: дожилась бабка — срамоту такую держит! У вас же новые в шифоньере хранивши были, Анна Ивановна!» «И вправду!», — с радостным удивлением отзывалась Аннушка. «Ну, дак и повесьте их, какого же ляда эти держать!» «Вот когда эти сношу, там уж и повешу», — отвечала отдыхающая от жизни Аннушка. «А чего вы в рубашке драной лежите, — не унималась Евгеша, — вы же мерзнете! Вы же халат новый три года как купили, не одевши ни разу!» «А халат — он, да, новый, точно. Нет, Евгения Августовна, в рубашке я не мерзну». «Вот вы бы лучше, чем Кольке последние деньги-то совать, купили бы себе кожаные тапки! — продолжала неистовствовать Евгеша. — А то войлочные — милые кровиночки! — только волосá всюду растаскивают». «Ай разношу разве?.. У мине вȯлос нынче не сильно падает, весь уж выпал. А в кожаных склизко: навеṗнесся, завалисся. Такая наша теперь стала жисть».

Евгешу, конечно, коробило Аннушкино обобщение — «наша». Евгеша бы с ума сошла лежать день-деньской в драной рубашке, без штанов да еще наезжать глазами на эти портяночные занавески. Со свежим возмущением и словами — «Ну какой же вы все-таки упрямый человек, Анна Ивановна!» — она отходила от Аннушки, однако от нее не отставала, а только делала свои наскоки дробными — и перебрасывалась на меня. «Если бы в деревне так мыли полы! Да там сноха-то только намоет, только насухо вытрет, а свекровка-то — ка-а-а-ак шуранет ногой по ведру! — вот тебе и море разливанное, и ничего не попишешь, снова намывай, жаловаться некому!»

Но все, все это было только обрамлением самого главного, самого драгоценного ее свойства, которое в одно слово не вмещается, а блеск его так силен, что освещает, пожалуй, самую сумеречную полосу моей жизни. Каждому доводится упереться когда-нибудь в такой тупичок и там, лицом в стенку, тлеть пластом прошлогодних листьев. Болезнь эта протекает с разной степенью тяжести — от насморка до чумы. У меня была чума. Ее истекающие гноем бубоны я видела в небе на месте звезд. Это длилось долго. У меня не было сил одеться, я потеряла счет дням, не различала времени года. Иногда вдруг меня сбрасывало на холодный пол, я надевала пальто прямо на голое тело и ползла среди тусклой петербургской желтизны по каким-то жизненно важным, как мне казалось, делам (наперсток в

магазине, бумажка в жилконторе); дела были всё надуманные, маловыполнимые и тем более абсурдные, что я с бессильной жадностью ждала конца. Обезображенный гангренозный труп восемьдесят третьего года распух, лопнул, потек, — и чудовищный, новехонький, предсказанный Оруэллом кадавр придавил своей тушей слетевших с круга. Пик самоубийств в отечестве пришелся на оруэлловский год. Если б я могла тогда знать, что где-то, пусть на другой звезде, существует что-то помимо этой вечности отчаяния и пустоты, что жизнь, в принципе, может иметь иные внутренние приметы, что наблюдаемый случай — всего лишь ничтожная частность, — может быть, я не задохнулась бы чернотой ночи. Но дата рождения лишила меня возможности сравнивать, и я выросла с анемичным сознанием, что житуха на других меридианах и даже в других измерениях, если таковые существуют, — может выглядеть и богаче, и сытнее, и разноцветней, но в самом главном, внутреннем механизме своем, она так же однообразно мерзопакостна, неизменно подла, и нет мне в ней места.

Так я лежала лицом к стене, не различая времени года, и только запах Евгешиного кофе давал мне ненужное знание, что сейчас семь утра очередного мартобря между днем и ночью, никоторого числа. Евгеша вставала ровно в семь, чтобы выпить свой любимый кофе из розовой фарфоровой чашечки. После этого приступала она к тихоструйному своему вязанию. В девять часов она варила кашу, с обстоятельной опрятностью ела, мыла посуду и шла в магазин. По приходу из него аккуратно расставляла продукты: в холодильник, за окно, в настенный шкапчик; затем мыла полиэтиленовые мешочки, все их развешивала, ставила кипятить молоко и, пока оно, дав обильную пену, успевало вскипеть («Порошковое! — с отвращением определяла Евгеша), она, с очками на носу, прочитывала последнюю страницу «Ленинградской правды». После этого садилась она что-нибудь шить: переделывать старый меховой воротник в шапку — или наоборот.

Но излюбленным ее занятием была стирка — с долгим, дарящим сладостное предвкушение замачиванием, с яростным любовным истязанием худенького, подросткового, ребрами наружу, тела стиральной доски — и вообще со всем этим излучающим благолепие пейзажем: райскими облаками кипячения, плывущими над полноводными реками синьки в крахмально-кисельных берегах, послегрозовым, черемуховым запахом белоснежного белья и, наконец, равнинным, мирным благовонием очага — горячего утюга, уюта. Евгеша из ложной скромности еще и критиковала свою работу, всячески принижая ее качество («Постирала — не устала и стиранного — не узнала»), а, может, и впрямь была собой недовольна. А потому добирала количеством: еженедельно стирались комнатные занавески, занавески от кухонных полочек, половички прикроватные и самодельные дорожки (голландские мостовые сиротеют без рачительных рук Евгеши); самым рискованным трюком была стирка диванной обивки, которую следовало сначала от гвоздей освободить, потом мочить-сушить по особенному, гладить через три слоя марли; роскошь десерта заключалась в прибивании тех же гвоздей.

Когда нам установили телефон, обнаружилось, что у Евгеши много подруг, — даже еще больше, чем я предполагала, исходя из вороха открыток, который она всенепременно получала к Седьмому ноября и прочим такого рода датам. Несокрушимое простосердечие ее поколения гарантировало адресату, что он при жизни забвению предан не будет. (Мои сверстники писем, конечно, не пишут; характерны реплики по поводу кропания влюбленным Андреем Белым ста страниц ежедневного эпистолярного бреда для Любови Менделеевой: поглупее — спрашивают, где он брал время, поумнее — где брал впечатления, совсем умные спрашивают, где он брал силы; Евгешины подруги где-то все это брали, — там, где давно кончилось.) И вот, с обычной своей добросовестностью, Евгеша часами объясняла терпеливой абонентке, сколько ложечек сахарного песку класть в кефир, что делать после петли с накидом и что прогнозам погоды не следует доверяться ни в коем случáе.

Вечером она звала Аннушку смотреть телевизор и продолжала вязание, а после фильма, если он был «жизненный», активно проявляла свою позицию, тщетно пытаясь разжечь в Аннушке, вечно путавшей, кто с кем остался, достойный сюжета полемический азарт. Ложилась она в одинна-

дцать — или в одиннадцать тридцать, смотря по тому, когда кончался фильм, плюс-минус односторонние дебаты.

Это все были дела повседневные, сливавшиеся в ровнотекущую реку, но на ее островах экзотическими цветами красовались деяния крупные, яркие, значительные. Вот шестидесятивосьмилетняя Евгеша, самостоятельно побелив в своей комнате потолок, переклеив обои, выкрасив рамы, двери, плинтуса, батареи, — придирчиво оглядывает свою работку и говорит, что следующий ремонт будет делать лет через восемь, не раньше; наскучив доступностью диванной обивки, она загорается купить новый диван — и еще золотые челюсти, для чего устраивается работать в газетный киоск (безобразно черные руки, непутевые покупатели); наконец она приобретает диван, челюсти, кошелку апельсинов, которые с разбором, не торопясь, пережевывает новыми зубами, аккуратно зубы на ночь вынимает, стряхивает их со стола вместе с золотыми апельсинными кожурками и навсегда отправляет в бак пищевых отходов.

Делом из ряда вон выходящим было и чтение книг. Евгеша просила их у меня, когда после какой-нибудь хвори она шла на поправку, но занять руки еще было невозможно; выбор книг диктовала программа телевидения: после соответствующих фильмов она прочла «Анну Каренину», «Поединок», «Джен Эйр» — и потом на кухне с готовностью демонстрировала свою свежую осведомленность в именах, названиях, датах, давая понять, что дышала бы одной литературой, сложись благоприятно обстоятельства.

Я по-прежнему лежу в сумеречной мути, точа лбом стену. Я отказываюсь потреблять тела животных и растений. Я отказываюсь грабить их силу, чтобы давать работу своей кишечной трубке. Я отказываюсь пить воду, чтобы промывать свою безродную, слабую, ненужную кровь. Если б можно было брать энергию напрямую от Солнца — и возвращать ему свет такой же силы и красоты. Но я знаю: освети я даже весь мир, я увижу только бельма слепых.

...Что заставляет эту женщину ежеутренне варить кофе ровно в семь часов? Я не могу понять, какая сила заставляет ее варить кофе, чтобы завтра снова, ровно в семь, варить кофе. Меня поражает этот слепой бесцельный механический завод. Он несокрушим и велик, он един с заводом вращения планет, солнц, галактик. Пчела в улье пчел так же зна́чима, как вселенная в улье вселенных. Бог любит пчелу больше человека: не нарушая инстинкт, она не доставляет Ему хлопот, и в награду Он обращает инстинкт для нее из закона — в смысл. А иной человек все тянется потрогать пальчиком Бога, забыв свои прямые обязанности — насыщения, испражнения, размножения, и вот такой наглой твари Он и делает окорот — от ворот поворот. Земля вращается вокруг Солнца, по месту своей прописки, и не спрашивает «зачем?» — хорошо ли, плохо ли. И силы где-то берет. Таков и тебе положен предел: крутись, крутись. А ты бодаешь лбом стенку. Ну, бодай. А роевáя жизнь, воспетая классиком, в частном своем проявлении знай себе кипит сейчас на коммунальной кухне, — она проста и неуязвима, эта роевая жизнь, у нее стопроцентный иммунитет ко всему, что не есть форма существования белковых тел, она то и дело ныряет в беспросветное варево будней — барахтается там, култыхается — и выходит на свет молодая, пуще прежнего красивая, как Иван-царевич, прокипевший в заколдованном молоке.

Я лежу в своей комнате лицом в стену. Аннушка лежит в своей — лицом в потолок.

...Сейчас Евгеша зайдет к себе (одеться), теперь выйдет (за сумкой, на кухню), и вот сейчас — я это наперед слышу — хлопнет дверью... хлопнула! — ушла к открытию магазина.

Аннушка всегда перевыполняла норму (в калоши на «Красном треугольнике» вклеивала алое плотоядное нутро), потому что ее работа была нужна государству, а также людям, и за работу давали деньги на еду, а еще потому, что раскулаченная должна была ударным трудом доказать... искупить... перед своей совестью... (Подвожу рациональную базу под Аннушкину природную добросовестность.) И вот государство, высосав, пе-

рестало в ней нуждаться, а деньги на еду дало так, задарма, но Аннушка не ест, потому что не знает, зачем. Я теперь даже думаю, что Аннушкин «отдых от жизни» был, помимо физической выношенности, еще и лежачей забастовкой. Может быть, бессознательно она выражала так свой протест этой бессмысленной, а впрочем, честно отбываемой каторге. Она часто спрашивала меня: «Ирина, ты в институте училась: если человек все равно умрет, то зачем он свою жисть проживает?» — так что у Евгеши, конечно, были все основания считать ее чокнутой.

Я лежу лицом в стену. Я мертва, как мумия, спеленутая пустотой. Напористый скрежет ключа... хлоп! — Евгеша вернулась из магазина. Сейчас хлопнет дверца холодильника... хлопнула. Сейчас чиркнет спичка... чиркнула. Сейчас застрекочет швейная машинка... раздается стрекот. А сейчас затеется стирка. Нет, здесь иной ритм: кипячение молока, шитье, стирка. Точнее, так: кипячение молока! — шитье! — стирка! — кипячение молока! — шитье! — стирка! — кипячение молока!..

Мне кажется, задумай какой-нибудь злодей остановить ее завод — нет, не нажатием внутренней кнопки, это компетенция Неба, а каким-то грубым внешним вмешательством: навались он, сдерживая Евгешино сопротивление, уйми на мгновенье мельканье ее рук,— где-то в самой глубине ее существа раздастся скрежет, треск, хруст, потом наступит тишина и что-то погаснет.

V

И нечто сходное, но, к счастью, не так необратимое, происходило с ней, когда заявлялся Колька. Деморализованная бездействием, Евгеша пряталась в своей комнате и тщетно напрягала бедный слух.

С приходом Кольки они словно менялись местами: это Евгеша теперь лежала на кровати и смотрела в потолок (только не по-Аннушкиному задумчиво, а горестно и затравленно), это Аннушка теперь, гордая объективной необходимостью, отправлялась на кухню хлопотать обед.

Готовила Аннушка из рук вон плохо. Когда она — только Колька был тому виной — принималась за это дело, в квартире воцарялась такая лютая, адская, всепроникающая вонь, что в голову лезли самые чудовищные предположения относительно эту вонь источавшего, постреливавшего на сковородке жира.

Еще в те времена, когда Аннушка спускалась в мир с нашего предчердачного, ближайшего от неба этажа, она, случалось, делала кое-какие запасы. Добытая ею снедь была скупа и как-то плохо сочетаема. Например, до следующего своего схождения во мглистую петербургскую долину она набирала груду серых морковин и лиловатую сельдь,— но и это, правду сказать, не всегда поедала сама, а, сопровождаемая осуждающим взором Евгеши, несла припрятать (холодильника у нее, конечно, не было; нашими она пользовалась в исключительных случаях) между черными от сырости оконными рамами, где снедь, в зависимости от сезона и милости погоды, с попеременным успехом дожидалась племянника. Когда Колька являлся, она непременно принималась готовить и первое — не менее зловонное, чем второе,— втискивая в мутнокипящую воду крупные стебли грубой сухой травы, которую доставала из холщового мешка. Чад жира соединялся с миазмами варева,— и новообразованный сказочный смрад гнал нас с Евгешей (в порыве редкого единодушия) потихоньку откинуть входную дверь на цепочку.

Да, готовить Аннушка не умела. И где ей было этому научиться?

В шестнадцать лет она бежала со Псковщины от раскулачивания в город Петра и Владимира, где, налюбовавшись Невским проспектом, начала вести жизнь не вполне даже правдоподобную. Основным удручающим элементом этой жизни — для Евгеши, например,— был, безусловно, элемент антисанитарный: шутка ли — спать под скамейками! (Может быть, сама Евгеша предпочла бы Сибирь, если б ей там были гарантированы хлорка и средство от клопов.) А как же прописка, Анна Ивановна? Оказывается, Аннушка была «приписана» к тому заводу, куда ее взяли дышать резиной и сотворять калошам их воспаленный зев. И вот в том же цеху ей тоже удавалось иногда переночевать, если не видел мастер. А паспорт? Заводское начальство хлопотало о паспорте...

Но чаще всего Аннушка ночевала на вокзале.

А что? Вокзал обустроен разумно. Все в нем соразмерно, циклично, все в нем очень серьезно, есть расписание; на вокзале все попарно, симметрично, как в архитектуре классицизма: отправление-прибытие, туалетик-буфетик, встречающие-провожающие. А вон милиционер, выписывая круги, обходит спящих на газетках, журналах и просто на голяке, все равно как на матери сырой земле: поскрипывая казенной сбруей, он долго, подробно расталкивает каждого спящего, при этом всякий раз аккуратно беря под козырек; растормошенный изображает пробуждение, смущение, повиновение; милиционер добросовестно трясет следующего; предыдущий мгновенно забывается. Прочная попеременность незаконного сна и законного из сна выведения дарит спящему, равно как и наблюдающему, чувство полноты и неслучайности жизни. Ты спишь, потому что хочешь, и, не имея права спать где попало, все равно делаешь это,— значит, и сетовать не на что; с другой стороны, тебе это делать вовсе не позволяют, и это тоже хорошо, потому что, стало быть, кто-то о тебе заботится, ты нужен людям, и есть благое начало в мире.

Снимать угол было не на что, да и не у кого; Аннушка говорит, что людям и самим-то жить негде было. (Эх, российская считалочка: не на что, нечего, негде, некому, нечем, незачем — все нипочем!) Но главная причина Аннушкиной бездомности состояла в том, что она боялась побеспокоить людей — в данном случае с логическим ударением именно на «боялась». Ее и так душил страх разгуливающего на свободе государственного преступника, и ее девственную, вечно девственную совесть разъедала вина перед доверчивостью этого детски-близорукого государства, которое вот же, проглядело кулацкую дочь, поручило ей ответственную работу — и не гонит, не бьет, и выдает ежемесячно деньги на еду,— и, может, я думаю, из-за этой самой вины она истязала себя ночевками под скамейкой — а иначе, чего на скамейку-то не лечь?

Она ломала две нормы, чувствуя грех за корову, которой до обобществления единолично владела мироедка-мать; но вот, в самом начале лета сорок первого года, через двенадцать лет после раскулачивания, почему-то решив, что уже можно, Аннушка вернулась в деревню.

И попала в оккупацию.

Тут следуют многие рассказы Аннушки, из которых значилось, что немцы относились к ней хорошо, а «свои» были хуже немцев. И она заводила, что рожать не надо, бабы глупые, и так далее, но говорить это мне было все равно, что ломиться в открытую дверь.

После окончания войны Аннушка опять уехала в Питер из голодной и уже чужой деревни. В городе она была принята на прежний завод, что торчит кирпичными, цвета запекшейся крови, стенами на том берегу Обводного канала. Раньше здесь ютились всякие беглые, беспаспортные (да ведь и наша Аннушка была такова,— правда, не все таковы, как Аннушка), издавна отиралась всякая голь, и теребень кабацкая,— тот берег Обводного канала, бесприютный, голый, убогий, кажется, только и создан был для кабалы нищего труда. Переходя через мост на тот берег, я стараюсь убить в себе чувства. Кажется, одна минута пребывания на том берегу придавливает тяжестью десяти лет, и стремительно дряхлеющему труженику уже не вернуться прежним.

На том берегу Аннушка проработала еще лет двадцать.

В этот период она уже осмелилась снимать углы; то были всё какие-то неотапливаемые чердаки, затопляемые подвалы,— точнее, Аннушка сама попадала в лапы сметливых хозяев, у которых она еще нянчила детей, домработничала и, отдавая хозяевам три четверти зарплаты, считала их своими благодетелями. Впрочем, разве хозяева были виноваты, что четыре четверти Аннушкиной зарплаты составляли сумму микроскопическую?..

В сорок с чем-то лет Аннушке дали общежитие — то есть койку в комнате, где каждый из остальных трех углов был заселен семейной парой. Ясно, что семейные не по-хорошему завидовали Аннушке, — не без основания, впрочем, считая, что она (одна) пользуется бо́льшими по сравнению с ними благами. Вот из этого-то общежития, из этих комнат, из этих-то углов и попадали люди в самашедшую, — перед которой у Аннушки остался на всю жизнь такой страх, что она до последнего сопротивлялась вызову эскулапов на дом, хотя бы и отдавала концы; стремление не быть им в тягость стояло, пожалуй, даже на втором месте.

В пятьдесят восемь лет Аннушка получила эту каморку десяти метров квадратных на пятом этаже без лифта, в квартире, где уже проживали Наташа со своим милиционером и Евгеша. Северный угол каморки сырел, но там не жила семейная пара, и можно было сколько угодно отдыхать от жизни. Можно было даже привечать племянника Кольку, несмотря на явное неудовольствие Евгеши. «Какой ни есть — а родная кровь, — твердо стояла Аннушка. — И к тебе ходют».

Евгеша застывала от возмущения. И к ней, видите ли, ходят! Да разве можно сравнивать!

VI

Дело в том, что у Евгеши, словно для симметрии, была племянница. Она приехала из украинской деревни, где жила замужем ее мать, сестра Евгеши. Итак, племянница припорхнула в Питер свеженькой и смазливой (пополнив легион свеженьких, смазливых, обманутых городом, рано увядших...). Короче говоря, в институт она не поступила, что также, видно, было заложено в программу избитого сюжета. Евгеша, не любившая неопределенности, тут же направила ее по своим стопам, то есть в медучилище, не оставляя, впрочем, намерений (сильно нервировавших племянницу), дать ей диплом вуза и мужа-инженера. Затем она взяла ее работать к себе в отделение и, возможно, без всяких перебоев, племянница разделила бы бройлерную судьбу курируемых Евгешей лимитчиц, но тут любовная страсть, словно в отместку казармам Содома и Гоморры, показала ослепительный свой, первобытный оскал.

...Он был нордического образца, снисходительно поднимал бровь, будучи уколот периферийным акцентом обмиравшей Евгешиной племянницы, а иногда, конечно, и отдыхал скучающими глазами на ее, как в песне поется, носике-курносике — и старательно обесцвеченных спиральках волос.

Но дальше этого он как-то не шел.

Племянница, между тем, скоротечно усыхала. Евгеша считала, что он ведет себя непутево, и называла его за глаза змеем подколодным, гусем лапчатым и паршивым козлом.

Тогда, чтобы переломить ситуацию, племянница предприняла достаточно действенный и традиционный для таких случаев ход.

Конечно, это было «пар депй». В сопровождении подружки она отправилась на юга, откуда обе вернулись с уловом, но племянницын улов был даже с некоторым избытком. В связи с этим избытком Евгеша взахлеб пила корвалол и отрывисто говорила, что с ней-то (имея в виду подружку), конечно, никогда ничего такого не случится, этой стерве сам черт не страшен, она-то уж такая, что, знаете, огни и воды прошла, так что сроду не забеременеет.

Однако данная история в самом начале развивалась все же на розовом фоне. Во-первых, кавалер был честных намерений, то есть, «когда открылось...», оказался покорен брачно-семейной перспективе, одним уж этим будучи лучше скучавшего негодяя. Во-вторых, у него, хоть и на Севере, а имелась своя квартира, и там его родня не стала бы держать камня за пазухой насчет осчастливленной лимитчицы, а тут еще неизвестно, чем обернулось бы, наверняка этим самым. И, хоть он заметно выпивал и рано облысел, а все-таки был наш, рабочий парень, хорошо зарабатывал, — не чета всяким там инженеришкам с их нищетой да пустым ехидством.

И племянница укатила на Север.

О содержании ее писем можно было судить по тому, что к Евгешиному обычному в мою сторону — «вы-то, конечно, грамотные очень, работать не привыкли» — прибавилось: ты-то уж, конечно, в родах тех мук не перенесла, что племянница; ты-то уж, конечно, тех трудностей после родов не познала, что племянница: вовремя от мужа сбежала; ты-то уж, конечно, себя так поставить в семье не можешь, как моя: ее слово всегда первое, и он ей до копейки отдает; ты-то уж, конечно, так в стирке не надрываешься, а у нее ребенок от чистоты «сверкает, как зуб, скрипит аж».

Однако эти эпистолы, видимо, все же расходились с действительностью, — так что однажды, классически прижимая уакающий сверточек к впалой груди, племянница, почти в одном исподнем, оказалась в комнате Евгеши. И тут выяснилось, что ее северная эпопея проходила под знаком расхожей триады «пил-бил-гулял» — с преобладанием первого компонента, который бы она еще терпела, кабы не второй.

К Евгешиным репликам в мой адрес присовокупились: у тебя-то уж, конечно, муж не пил («ваши не пьют»), и: тебе-то уж, конечно, не было нужды ехать на Север.

Непутевость жизни тушей пьяного мамонта иавалилась на Евгешу, но не подмяла ее. Она так же в семь утра варила свой кофе, только забот у нее стало больше раз в сто. И вот оказалось, что если регулярно варить кофе в семь утра, если быстро и чисто стирать пеленки, если любовно проглаживать их утюгом с двух сторон, если драить детские бутылочки до алмазного блеска, если, прежде чем вылить детский горшочек, тщательно разглядывать и обсуждать с соседями его содержимое, если вот так, с бесперебойной бодростью, варить — стирать — гладить — драить — варить — стирать — гладить — драить, — если делать это долго, то, честное слово, судьба, не выдержав натиска, смягчится и вывалится кирпичик из, казалось бы, непробиваемой стены, а в отверстие хлынет свет.

В лучах света на Евгешиной жилплощади девятнадцати метров квадратных появился новый жених племянницы. Точнее, он стал появляться регулярно каждый день, в свой обеденный перерыв, и Евгеша, заблаговременно уйдя как бы в магазин, давала возможность племяннице заложить прочный интимный фундамент будущей семьи. Жених был не инженеришка и не «простой работяга», а шофер, что ставило его в промежуточное положение, с преобладанием все же элитарности по отношению ко второму варианту, ибо шоферская баранка теоретически исключала алкоголь, по крайней мере в больших количествах. Он был малорослый (зато партийный), младше племянницы (зато с машиной и дачей), к браку ранее не привлекался, — и это обстоятельство вкупе с перечисленными «зато», больно било по израненному самолюбию племянницы.

Так что пришлось Евгеше отправиться по страшным присутственным местам, заблаговременно — му́ка несусветная! — заручившись поддержкой «больших» друзей покойного мужа (они, конечно же, долгонько не могли ее припомнить). Это был шанс, который используют раз в жизни. И произошло чудо. Племянницу прописали к тетке, то есть, по понятиям советской паспортной генеалогии, к человеку совершенно чужому. Только после этого спектакля законная ленинградка без ущерба для своего достоинства отдала претенденту руку как бы в сугубо свободном выборе. Все произошло строго по ритуалу — с талонами на туфли и твердую колбасу, со своей дешевой водкой, заведомо принесенной в ресторан, с халдеями, икающими в ожидании трешки.

Молодые поселились у Евгеши за шкафом. Теперь необходимость неожиданно срываться в магазин для нее отпала; законное племянницыно время она пережидала ночью на кухне. Иногда там маялась бессонницей и Аннушка; старухи шептались, что им, тугоухим, давалось мучительно. Евгеша говорила, что скоро молодые получат свою какую-то площадь («до подхода») и уж там будут ожидать отдельную квартиру, а, когда получат квартиру, Евгеша обменяет свою комнату на лучшую, а потом съедется с племянницей, — с тем, чтобы, когда она, Евгеша, умрет, к внуку Женечке перешла своя отдельная комната.

Наконец они переехали.

Теперь племянница с семьей наведывалась к Евгеше только по воскресеньям: Женечка, племянница и муж племянницы в строгой очередности мылись в ванной, потом пили чай с пирогами. Отношения Евгеши с племянницей, точнее, с племянницей-дочерью, как водится, улучшились, что еще больше укрепило ее мечту.

Аннушка, бесхитростно предававшая Евгешу заочной репликой: «По-

думаешь, барыня: полы ей намыли не так»,— прибавила к ней новую: «Ходют сюда, грязь свою носют».

Странно, казалось бы? Пока молодые жили здесь постоянно, грязи наносили побольше, но это недовольства Аннушки не вызывало. Ах ты, Боже мой! Да и сейчас в Аннушкином сердце не было недовольства. Оно неуклюже отрабатывало приемы той борьбы, которую невольно навязывала ему Евгеша. Кроме того (атака — лучшая оборона), Аннушка загодя собирала на чашу весов маленькие грехи противоположной стороны, чтобы хоть как-то эти весы уравнять до того, как заявится со своими большими грехами племянник Колька. Вот как извилисто и чудно́ проявлял себя в Аннушке забытый, насмерть забитый инстинкт продолжения рода! Ведь Колька был ей племянником-сыном. Она мечтала лишь о смерти, но далекий побег жил своей жизнью, и она, как могла, эту жизнь защищала. Когда Аннушка неумело роптала: «Ходют, грязь свою сюда носют!» — кто бы мог догадаться, что именно таким петлистым путем она слепо продлевала свою, отдельную от себя жизнь.

А вскоре племянница-дочь запила. Как тщательно ни скрывала это Евгеша, до коммунальной кухни докатилось, что она измывается над своим безропотным, положительным, нелюбимым мужем (принародное выражение — «Он не мужчина» — было у нее в обиходе; во время пьянок она запиралась от него, и он не попадал в дом); как Евгеша ей ни внушала, что с любым человеком в конце концов наступают будни и что она как законная жена и как мать должна быть примером для всех, кто не жена и не мать,— племянница-дочь, очертя голову, пила с подружками, с дружками, с «друзьями-начальниками» (отчего все так повторяется?!) и несколько раз являлась в расхристанном виде — гораздо безнадежней того, в каком она бежала с Севера — к осевшей от горя тетке.

Однако в ней недостало куражу познать те бездны падения, кои изведал Колька, и краткий бунт против заданного, как похоть, и узаконенного умирания, сменился тупой агрессивной покорностью. С приумноженным остервенением она поставила во главу угла умеренность и домовитость, а на службе даже преуспела в каллиграфии, которую не смог подточить кривой алкогольный червь.

Так что Евгеша была, конечно, абсолютно права, когда, возмущаясь, отвечала на Аннушкино — «И к тебе ходют» — безапелляционным — «Да разве можно сравнивать!».

Обмен этими ритуальными репликами происходил у них во все времена года, кроме летних, когда Евгеша была в деревне.

VII

Несмотря на давнее переселение в город, их жизнь просто и жестко зависела от времени года, как зависят от него жизни травы, льда, талой воды. Сейчас я напишу для забавы: «Зима. Весна. Лето. Осень»,— и ткну пальцем наугад.

Осень.

Я возвращаюсь из Москвы с каких-то экзаменов, и Аннушка, открывая мне дверь («Кто там?», скрежетанье замка, лязганье крюка,— и вот она: седая, слепая, взбудораженная, в ночной рубахе), непременно заметит ласково и ублаготворенно: «Ну вот, все дела ты свои по теплу справила...»

Осенью возвращается из деревни Евгеша. Квартира сбрасывает обморочное летнее оцепенение и оживает язычески. Евгеша смачно шинкует капусту, засаливает огурцы, маринует грибы, закатывает компоты и варит варенья. Эти занятия сопровождаются живыми вкусными звуками, дикарскими запахами земли, зелени, чеснока, сырости, грибницы и, конечно, рассказами Евгеши: что где брала; не остаются в стороне техническое и санитарное состояние дома, характеры соседей (нерях), нравы местных животных, а также достойное удивления благоразумие внука Женечки — на фоне богатого спектра пороков окружавших его детей. Аннушка, не успевающая постичь три четверти из быстрой, возбужденной речи Евгеши, взахлеб утоляет летний слуховой голод. Она только изредка вставляет реплики вроде: «Не ндравится мне эта городская жисть: ходишь, как цыган с торбешкой. В деревне все, бывало, свое» или: «Поглядишь в городе на женщин — как бурлаки: всё тащут, тащут...»

А преимущества деревенской жизни очевидны: на столе у меня и Аннушки уже красуется по горке пупырчатых крепких огурцов («Свои, свои»,— приговаривает Евгеша), стоит по миске черной смородины, в кастрюли напиханы плотским соком налитые помидоры, и сквозь девственную дымку розово дыхание мохнатой малины.

Осенью, единственный раз в году, Аннушка принимала Евгешины подношения спокойно, без выкладывания желтеньких — и угроз «отдать чем-нибудь другим». Дары были не магазинные, а земные, земельные, имеющие родственное отношение к каждому.

Зима. Крестьянин торжествуя.

Это время года навсегда связано для меня с замечательным выражением Евгеши «взойти к теплу». Мы-то говорим «зайти в тепло»,— всякому не намертво глухому, думаю, очевидна разница между вульгарно-физическим оттенком второго выражения и евангелическим — первого.

Зима у нас в квартире оказывалась насыщена событиями гораздо больше прочих сезонов. Это было связано с тем, что зимой справлялись два дня рождения — Евгешин и мой. (День рождения Аннушки не знал никто, на вопрос она всегда досадливо-смущенно отмахивалась.)

Евгешин день рождения приходился на православное Рождество. К этому времени, как она говорила, «день прибавлялся на воробьиный скок». Но ей и скока хватало, чтоб учинить Великое Зимнее наступление на сор и грязь, хоть я не знаю, где она у себя в комнате их отыскивала.

В запале Евгеша чистила даже мой черный, как пиратская метка, чайник и, на волне великодушия, могла поставить рядом с ним полпачки индийского чая.

Аннушка не одобряла яростный Евгешин размах, в результате которого Евгешина комната приближалась по условиям к операционной. Аннушка не могла конкурировать с Евгешей и знала, что та после этой грандиозной уборки, конечно, будет ее еще жарче, к слову и не к слову распекать и воспитывать. И действительно, стоило Аннушке, как обычно, в драной ночной рубашке отправиться из кухни восвояси (чтобы телом воссоединить два сосуда), как Евгешу тут же прорывало: не дай Бог,— страстно шептала она,— дожить до таких лет, чтобы так опуститься! чтобы так за собой не следить! Перспектива выжить из ума ее волновала гораздо меньше. И то сказать: на что нам абстрактный ум — раковая опухоль на теле простых и ясных чувств. Но так уж выпасть из разума, чтоб штаны на себе не сменить,— ну уж, милые кровиночки...

Кроме того, Аннушку смущала и та, военно-морского образца, чистота, кою Евгеша заодно наводила («чтоб от гостей не было совестно») на палубе нашей кухоньки, в мелких отсеках общего пользования и закоулках коридора. Аннушка знала, что и эту планку ей не осилить, и опять чувствовала стыдную свою вину. И потому (и еще потому, конечно, что хотела прижаться к моему боку) она говорила мне втихаря: «Ну чего этот пол слегозить! У меня вот мама аккуратная была женщина, чередна́я: пол, бывало, натрет песком, а он и щеклатится... А наш пол сроду светлым не будет, он же дубовый, его не отмоешь...»

Ах, но все эти зимние картинки — ничто в сравнении с одним перышком, с белым куриным перышком... Я вижу его в руках Евгеши, когда вхожу рождественским утром в кухню. Здесь так хорошо, так ласково обволакивает тепло, что хочется жмуриться и мурлыкать. В окне, над голубым бархатом джунглей, завис красноватый желток солнца,— и почти такой же плавает перед Евгешей в блюдце. Аннушка ради такого дела сидит в новых серых валенках на босу ногу. Ее ночная рубашка держится на розовых бретельках. А не холодно, наоборот: дыхание домашнего теста, его ласковый, с кислинкой, аромат, растворенный в жарком, густом над плитой воздухе, размаривает — размягчает — раздабривает, и тянет смежить веки да глядеть бесконечно свой детский мимолетный сон. Коммунальная кухня притворяется: это стряпня в Доме моего детства, и не Евгеша колдует куриным пером, а моя бабушка обмакивает его во взбитое яйцо, чтобы смазать для пущей румяности корочку нацеленного в духовку пиро-

га. Моя жизнь видится мне пустынной, нарочной, придуманной, и я знаю, что живого, настоящего и было в ней только вот это белое перо в руках моей бабушки...

«Ох, совсем нечего на стол поставить! Опозорюсь я!» — опускает меня на землю грешную отчаянный, а впрочем, дежурный для таких случаев возглас Евгеши. «Ничего, немало у вас всего, Евгения Августовна, слава Богу», — откликается атеистическая Аннушка. «Бог не Микишка, у него своя книжка», — нравоучительно заключает Евгеша, намекая, что могут произойти еще всякие казусы. Но казусы не происходят. Евгения обряжается в новое ситцевое платье собственного пошива и надевает парик, придающий ее честному лицу развратное выражение; иногда она размахивается до «химии», превращающей ее в негатив с негра.

Не преуспевшая в дипломатии, руководимая исключительно своим неиссякаемым здравомыслием, она всегда четко разделяла поток гостей по принципу тканевой несовместимости, так что день рождения протекал перманентно примерно неделю, и на протяжении всех этих дней пирогов с капустой, говяжьего студня и селедки «под шубой» хватало всем. Кроме того, на столе царствовали дары огорода-сада и леса; нам с Аннушкой перепадало обязательно (яства ждали на наших столах, в блюдечках, накрытых чистыми салфетками), и Аннушка, конечно, яростно сопротивлялась; исхитрившись, она все же возвращала противнику половину продовольствия и только потом капитулировала, заявляя, что отправит это детям в деревню. («Да не чудите же вы бесплатно, Анна Ивановна!»)

Мой день рождения проходил под знаком демократических бутербродиков, проколотых разноцветными прибалтийскими шпажками, и Евгеша, не опознав современных примет родной ей культуры, такой нерусский стол очень не одобряла.

Аннушка, дабы погреть свой бок о Евгешу, на другой день, случалось, говорила, что «у Ирины всю ночь громостáли», а мне (без Евгеши) рассказывала историю, дающую понять ее уважение к «громоставшим»:

— Вчера у тебя гости были, а мне надо было в тавалет, да, думаю, как гýкну, так и не выйти со срама. Жалась, жалась в комнате — вроде помягчело...

Мы с Евгешей всегда делали друг другу подарки, но вот тут-то она, единственный раз в году (в отличие от меня, единственный раз в году помнящей: Рождество...) о моей дате забывала напрочь и с ужасом спохватывалась только при виде моих знаменательных на кухне приготовлений. Тогда она поспешно отправлялась в магазин и покупала цветы и что-нибудь сладкое. Я находила эти предварительные дары на кухонном столе, дополненные открыткой, изображавшей благонравного зайчика с воздушным шариком, щенка с голубым бантом — или что-нибудь в этом роде, — на которой она писала (у нее был безобразный почерк — то есть единственно тот, который мог мне понравиться; он намекал на неприлизанность натуры, словно посреди царства всеобщего арифметического порядка, в самых тайных уголках Евгешиной души, схоронилась какая-то глокая куздра, расхлябанная раскаряка с нечесаной шерстью): поздравляю... желаю... и подписывалась — пунктуацию сохраняю — «Евгения Августовна или как вы все называете Евгеша». (Под «вы все» разумелась моя семья, жившая отдельно.) Через несколько дней она протягивала мне новорожденные, собственного изготовления, варежки или носки.

Финальным аккордом зимы можно было считать февральское окно, насморочные сосульки за ним, Аннушку, сидящую в ночной рубашке на низком подоконнике, и ее реплику:

— Вот проголосуем, справим государственные дела, а там и весну ждать будем.

Весну я ощущала как разреженный дырявый воздух. Что-то выпадало из него — а скорее, кто-то, — конечно, Евгеша, которая дни-деньские проводила в беготне по магазинам, обстоятельно собираясь на дачу.

Если б я была не я, а другая, лучшая, или, например, родись я Петром Ильичом — так, чтобы времена года естественно и беспечально перетекали друг в друга под сухими беглыми пальцами, — чтó мне тогда эти сомнительного свойства слова!

Но нет, не выпало мне такое счастье, и придется словами, то есть весьма приблизительно, обрисовывать, как Евгеша притаскивает из магазина то ведро, то лейку, то садовые грабли, то малярную кисть и как Аннушка, по-детски дотрагиваясь — и отдергивая руку, всякий раз спрашивает: «А это для чего, Евгения Августовна? А это? Где брали?..»

Если есть у Евгеши время (пока кипят в кастрюльке анатомические непристойные сардельки), она, конечно, изложит — с множеством косноязычных подробностей, с точным названием цен и адресов, а нет времени — ответит резко и — щелк — своя дверь, щелк — входная, — унесется опять в магазин.

А между тем в природе происходят гон, брачные игры и бурление соков, так что, видно, чувствуя это, Аннушка заводит со мной разговоры на матримониальные темы.

— Что, Таня теперь замужем, так ей, наверное, криво, — не так свободно, как в девушках?.. — вспоминает она мою родственницу, отбывавшую брачную повинность почитай лет уж десять. — А вот у нас в деревне... — заводит Аннушка. А вот у них в деревне одна тоже вышла замуж, а он пил, а у нее от него трое детей. Ну, она терпела, детям отец нужен, а *подогнала* как детей (подрастила то есть до разумного состояния), — и посадила мужика. Ну и гулящая такая бабенка стала. Ее свои, деревенские, спросят: чего это ты дверь на ночь не замыкаешь? А она: миленький придет, мне шеколадку под дверь подтиснет!

Евгеша по весне платила дань своему семейному прошлому. В приподнятом настроении она загодя обзванивала подруг, потом ставила в ведро банку с серебряной краской, втыкала кисть, упаковывала рассаду и отправлялась на кладбище. «Старые девы» (как Евгеша называла себя и вдовых подруг) наводили порядок на могилах мужей и других родичей, а потом, обмякшие и растроганные, выпивали по чуть-чуть красненького, еще больше обмякали — и закусывали всякими разностями.

Аннушке не к кому было прийти на могилу, и на ее кухонном столе («У меня желудок притупился, сношенный») подолгу торчал из алюминиевой миски синий ком гречневой каши.

И наконец наступает лето.

Вылупила бельмы финская белесая ночь, словно в гляделки играет, не моргнет. Воздух в нашем жилище легок и жидок. Евгеша уехала, исчезли взвинченные ею водовороты смерчей, улеглись песчаные бури. В такие ночи хорошо думать о смерти. Славно верится, что смерть — это часть жизни, точнее, наоборот. Бестелесое небытие со сгущениями белой сирени (призраком умершей черемухи) дает пробуксовку времени, общий наркоз чувств...

«Ирина, ты знаешь, плохо только, что глубоко кладут, это мне не нравица. Вот если бы так, чтоб неглубоко, а сверху так немного засыпать...»

Окаянная наша болотистая почва, торфяная ржавая Лета, с готовностью обнажающая страшное русло под первым штыком лопаты! Наша коричневая северная вода («повышенной цветности»), хлюпающая плакальщицей на похоронах, почвенная вода забвения, предмет страдания суетливых стариков! Моя прабабка больше всего боялась, что ее «будут класть прямо в воду». Почему-то ей было неуютно от этой мысли. Да и в Писании сказано, что в *землю* вернешься, а вовсе не в воду, — хотя по науке последнее, вроде, верней.

И вот если бы *неглубоко*, — Аннушка давно уже облюбовала в мечтах этот образ, — она дала бы свое согласие с радостью... «Ирина, ведь это же вечный, вечный отдых! Ведь это же счастье!» — голос ее звенел с несвойственной экзальтацией.

И снова осень.

Земля завершила круг, справно предъявляя в разных частях своих где надо — плоды, где надо — льды, и, независимо от наших надругательств, вступила в новый круг, чтобы когда-нибудь остыть совсем. А мне кажет-

ся, что все быстрее, быстрее несется она вокруг Солнца, не уменьшая при том расстояние свое до него, что было бы объяснимо, а наоборот — удаляясь... удаляясь... все быстрее... все дальше...

Я снова возвращаюсь из Москвы. Лежа на верхней полке, гляжу на дорогу. Я знаю, что снова меня встретит Аннушка и в узком коридоре снова будут выставлены доски от койки, «етажерка» и фанерный шкаф — в безнадежном ожидании ремонта. И все-таки нечто изменится: на один круг Земли мы стали ближе к чему-то, не имеющему настоящего названия. Глядя на дорогу, я думаю о головокружительной своей свободе, которую только в дороге и доводится испытать. Я уже не принадлежу тому городу, из которого вырвалась, я к нему восхитительно равнодушна. Я только удаляюсь, меня не догнать. Я неуязвима.

Но тут ловлю себя на простенькой мысли, что, удаляясь от Москвы, я приближаюсь к петербургским болотам — и все больше принадлежу им. А что, если представить себе вечное удаление, только удаление — без приближения к осязаемой яви?..

Сначала вдоль дороги плотной лентой потянется сумеречный ельник, потом замелькают слепые просветы, потом все реже, реже будут встречаться одинокие обглоданные елки. И наконец ровная, без единого пятнышка белизна захлестнет пространство.

А дорога будет длиться и длиться — без намека на приближение к чему-либо, без надежды на прибытие, удаление станет ее сущностью, и я пойму, что время погасло.

Тем не менее, каждому воздается по вере. Евгеша каждую осень возвращалась с дачи, которая, надо сказать, была для нее не больно-то дачей. Евгеша, бедный канатоходец, как могла, удерживалась над бездной раздоров и склок — между своей остепенившейся, хронически надутой племянницей-дочкой, сына которой, а своего внука, она там нянчила, — и родителями второго мужа племянницы-дочки, сватьями, то есть которым (представим все щекотливые сложности приживальства) эта дача и принадлежала. Евгеша на той даче испытывала страшное, только дипломатам посильное напряжение, и продолжалось это лет десять.

На одиннадцатое лето чуть-чуть поменялся порядок привычных житейских сочетаний, что-то щелкнуло, сдвинулось — и где-то, может быть, отозвалось тектоническими катаклизмами.

Недалеко от деревни, где Евгеша нянчила Женечку, приютилось село со сказочным названием Гусли. Там, в заброшенном доме, помирала от рака легких одинокая старуха. Она обещала подарить дом тому, кто будет ее кормить и ухаживать за ней, но даже за такую цену желающих в той деревне не нашлось.

Нашлась Евгеша. Продлевая непонятную старухину жизнь, она исправно выполняла свои обязанности все лето и к осени отправила ее умирать в больницу.

— Старуха-то, — рассказывала мне Евгеша на кухне, — говорит: «Женя, я боюсь, ты уедешь, а они меня голую в гроб положат!» «Лиза, милые кровиночки, ты подумай: ну где это ты видела, чтобы в гроб ло́жили голыми?» — Евгешины честные водянисто-голубые глаза глядят на меня с детским удивлением. — Знаете (волнуясь, Евгеша всегда говорит мне «вы»), это неприятно: она так запустила все, даже картошку последнее время себе не варила, только курила. Два кота у нее было, распущенных, гадили прямо под нее. Ну и такое, знаете, все вокруг, что меня, грех, прямо на рвоту тянуло. Я, как в больницу ее поло́жила, — потом, поверите, прямо вилами все вытаскивала и на огороде сжигала. А она как в последний раз из дома выходила, — она, знаете, это, нервничала. До того — племянник приезжал: «Ну, тетка, где тебя хоронить?» Она говорит: «Где вам удобней». Он отвечает: «Похороним в Кисловке. А ты, небось, хочешь в Пустоши, а нам далеко. Ну, я поехал. Бывай здорова».

Осенью Евгеше все звонили из больницы: Лиза просила принести то палочку, то судно́.

И к зиме посеребренный инеем домик-пряник в селе Гусли перешел в полное владение Евгеши.

А зима в этом году наступила быстрей и быстрее иссякла.

Все же Евгеша снова успела провернуть форсированный ремонт своей комнаты и снова сказать, что следующий будет лет через восемь.

Вообще у Евгеши, равно как у Аннушки, отношения с категорией времени были странные. Я, например, не могу с уверенностью сказать, буду ли жива через пять минут. Не так было у них. Вот Евгеша, нацепив очки, читает Аннушке газетную байку про то, что к двухтысячному году... каждая ленинградская семья... Они долго обсуждают, может ли одинокий человек считаться семьей. Евгеша звонит Свете, своей блокадной подружке, которую побаивается за суровый характер и высокое положение: Света работает на телефонном узле. Света отвечает, что да, одинокий человек по советским законам может считаться семьей и, следовательно, будет обеспечен отдельной квартирой.

Евгеша принимается старательно считать вслух. В первом действии она вычитает из двухтысячного года год текущий. Получается число, которое можно расценить по-разному — в зависимости от темперамента, типа высшей нервной деятельности и способности к абстрактному мышлению. Во втором действии она прибавляет данное число к числу, обозначающему ее возраст. И, наконец, в третьем действии, — то же число прибавляет к возрасту Аннушки. Та слушает ее, открыв рот, как ученица — свою первую учительницу. Полученные ответы их занимают более в философском плане, нежели в сугубо практическом. Евгеша говорит, что ведь бывают долгожители. Вот у них на работе... Потом она еще раз пересчитывает, проверяет, после чего произносит свое обязательное: ну, ты-то уж, конечно... («Ну, ты-то, Ирина, уж, конечно, получишь».) «Ага, — откликаюсь я. — На Ваганьковом». «А где это?» — навостряет ухо Аннушка. «В Москве». «Ну, в Москве-то у тебя знакомых полно», — заключает Евгеша.

Знакомые обнаружились и у Аннушки. И даже родственники. То есть дальние стали наезжать и сделались ближними. Это были племянницы, обеим лет за пятьдесят: Надежда — костистая, с нежданным голосом и дешевыми серьгами в больших плоских ушах, и стройная, с прозрачными глазами, с густыми — ровным крылом — русыми волосами, — Мария. Они затеялись приезжать, потому что мы с Евгешей оповестили их, что Аннушке все хуже, а приход гостей, их житейски-взволнованное копошение невольно делали видимость того, что все лучше. Они всякий раз учили меня и Евгешу не открывать Кольке дверь никогда, но эта наука была напрасной: Аннушка, объявись он, ползком открыла бы ему дверь, и еще потому напрасной была эта наука, что он как раз и не объявлялся давным-давно. Он канул с весны, а теперь уж зима была на исходе.

Да, в этом году зима завяла быстрее, так и не расцветя. Евгеша сама, своим нетерпением, словно ускорила время: не дожидаясь тепла, она принялась бегать по магазинам, пытаясь обнаружить хоть что-нибудь пригодное для ремонта унаследованного домика и, возвращаясь ни с чем, называла змеями продавцов, покупателей и нерадивых работников.

Этой весной она уехала совсем рано. Еще лужи не подтянулись, не обрели цвета солдатских гимнастерок, еще лежали они, раскинувшись, — бесстыжие, глупые, синие, и я не знаю, как она добиралась по этому бездорожью в свое тридесятое царство.

А может, ее подтолкнул на то случай, который она корвалолом запивала, валидолом закусывала.

Аннушка начала терять на ходу; по выражению Евгеши, с нее стало падать. Не донесенная Аннушкой до уборной субстанция шлепалась возле ее собственных дверей или возле отхожего места, — других вариантов, к счастью, не было, и, пока я убирала эти вещественные доказательства последней старческой немощи (Аннушка ничего не замечала, а то мне даже трудно представить, что с нею было бы), Евгеша все приговаривала, что не дай Бог дожить... Но вот однажды позорная материя обнаружилась возле дверей Евгеши. Она прибежала ко мне красная, в слезах, судорожно вопрошая, что бы это значило. Я ответила, что, ясно, не имею к тому отношения. Евгеша, конечно, и без того догадалась, кто к этому криминалу причастен, но ее здравомыслие пошатнулось под напором тоски, нахлынувшей от бесплодности санитарно-гигиенических устремлений, — так что

она усмотрела в этом казусе глубоко оскорбительный для собственного достоинства выпад. Кроме того, она разобиделась на меня за легкость тона и отсутствие должного сочувствия. Из-за этого я превращалась как бы в сообщницу. Евгеша села на телефон и принялась обзванивать своих подруг, плача и жалуясь на судьбу.

Через несколько дней после этого она и уехала.

...Весна плелась календарная, формальная, анемичная — недоношенная весна: голое окно между зимой, которой не было, и летом, которого не будет. Все сдвинулось: мы с Аннушкой остались одни на сезон раньше, а на дворе лежал черный снег (значит, не-снег), но, раз лежал, то все сдвинулось как бы даже на два сезона. Время раскисло в р ы х л я в о м (замечательное выражение ребенка: рыхлом плюс трухлявом) пространстве.

Мне снится. То есть во сне я не знаю, что это сон, и нет большей пошлости и лжи, чем пересказывать сны, но я перескажу.

Я сижу в закутке коридора. Ночь. Я слышу, как в моей комнате открывается дверь. Шаги. Я знаю, что в комнате никого нет, раз я сижу в коридоре. И тем не менее о т т у д а к т о-т о и д е т. Сейчас о н о покажется из-за угла. Внезапно я понимаю, к т о э т о. Это (шаги приближаются...) — я сама. В том виде, какая есть н а с а м о м д е л е.

Из-за угла появляется старуха. Я в ужасе бросаю в нее пустую бутылку. Звон стекла. Старуха невредима, она движется на меня. Швыряю бутылку! Звон стекла... Старуха движется...

Просыпаюсь! (В явь, в другой сон?) Старуха и я — одно. Я сижу в коридоре и вижу свои синие старушечьи ноги. Из комнаты напротив моей слышатся шаги. Теперь я не боюсь. В комнате напротив моей живет Аннушка. Это идет она, — хватаясь за стены, теряя войлочные тапки, останавливаясь...

Вот она вылезает из-за угла — старая, нестрашная Аннушка, проходит мимо, открывает дверь уборной... Я гляжу Аннушке в спину и внезапно, как со стороны, вижу собственный взгляд — хищный, прицельный, — он с беспощадным равнодушием ощупывает жидкие Аннушкины руки, обшаривает «млявые» ноги — и жадно, жадно ищет перемен к худшему. Мгновенно я становлюсь Аннушкой. Я чувствую на своей беззащитной спине, руках, ногах — плотоядный взгляд старухи Ирины. Я чувствую холодный взгляд этой внешне еще крепкой Ирины, которой я, старуха Анна, нянчила и жалела сыночка, приговаривая: отдыхай пока, ты еще маленький... скоро в школу пойдешь, там устанешь... Нет, мне, старухе Анне, совсем не страшно, — мне страшно и жалко старуху Ирину, которая так хищно на меня смотрит, потому что старуха Ирина думает: мразь ты, старуха Ирина, ведь Аннушке страшно. Нет, Аннушке не страшно.

А мне, мне страшно! Я впиваюсь ногтями в подушку, мычу, вою. За что, за что же вы погубили мою бессмертную душу?! «За что!» Вот Аннушкину-то не погубили, сколько ни зверствовали. На кого ты все хочешь свалить? А что?! Ведь она каждый день талдычит мне, что смерть — это счастье! Не надоело ли мне это слушать?! Зачем ей эта жизнь, если она ее не хочет?!

А у меня на площади пятнадцать метров квадратных в тараканьей коммуналке сосуществуют: девяностолетний, с отвислой челюстью, дед, который мочится в баночку, харкает на пол, стонет не переставая и ежечасно устраивает скандал моей выпотрошенной матери; там же, сквозь щели трущобы, глядит на свет Божий мой маленький сын. Горбатясь в углу над книжками, он слышит в свой адрес шипящее: «Тише!» Он, никогда не видевший отдельной квартиры, дает ей исчерпывающее определение: «Отдельная квартира — это такая квартира, где можно, чтобы жила киска». Сын слышит в свой адрес «Тише!» от моей выпотрошенной матери, и, когда он смолкает, еще отчетливей визгливый мат пролетарских соседей — из кухни, из коридора, из уборной, из их конуры, отовсюду, — иначе друг с другом и со своими детьми не говорящих. У сына тик: дергается щека, шея, судорожно моргают глаза, кривится рот, издавая хрюкающий звук. Моя мать возит моего сына на край города к гипнотизеру, который говорит за червонец: «Отвлеченные мысли тебя не беспокоят» и считает до десяти; мать платит деньги, оторванные от еды, ребенку нужна диета, у него диабет, нет денег и нет продуктов, и, вернувшись на свою жилплощадь, ребенок видит и слышит прежнее; мать валится с гипертоническим кризом, и теперь мой сын и дед, испуганные и дрожащие, смолкают без понукания, а мат пролетарских соседей звучит громче. Но мать выкарабкивается, и они снова грызутся, как пауки в банке, у сына по-прежнему дергаются рот, щека, шея, веки, все идет по-прежнему, и я не переступаю порога этой ловушки, потому что ничего не могу изменить. Нарушен естественный порядок смены поколений, старые дерева губят подлесок, подлесок губит старые дерева; им не разойтись; они взаимно укорячают свой и без того недолгий срок на жесткой земле. Кто-то должен выбыть из этого противоестественного симбиоза — именно физически выбыть, потому что ареал обитания нам не изменить. Если сын будет жить со мной в одной комнате, то матери и деду станет полегче, но тогда умру я — в прямом, физическом смысле, — потому что не смогу заниматься работой, которая меня держит в жизни. Если все останется по-прежнему, то первой выйдет из игры (назовем это так) моя мать — еще задолго до лучезарного двухтысячного года, — а сын сойдет с ума. Кому же выбывать, кому? И куда? И разве нам это решать? Кто-то нашептывает на ухо: «Старику». Ерунда. Старик из долгожителей. И хватит об этом! Но кто-то нашептывает имя человека, который сам хочет смерти (я отчетливо слышу имя, его нашептывают прямо в душу, она корежится, пытаясь увернуться); человек говорит мне об этом ежедневно, и это по-житейски так понятно! Но я-то живу не «по-житейски» и знаю, что одной лишь такой мыслью моя душа загублена. Да, но за что страдает мой сын! Ведь даже животные не живут на голове друг у друга, они не размножаются в таких условиях! «Всем я родился в тягость», — говорит ребенок.

Вокзал. Огромная очередь в буфет. Отделившиеся от головной части с жадностью запихивают в рот хлеб и хлебные котлеты. Середина очереди и особенно хвостовая ее часть с хищным нетерпением глядят в их ротовые отверстия. В том же порядке очередь переходит в сортир. От головной части отделяются люди, с чувством заслуженного удовлетворения садятся на «очки», ничем не огороженные от жадных взоров очереди: ее середина и хвостовая часть с хищным нетерпением глядит в направлении отверстий, противоположных ротовым.

Вот и все. Это не метафора, а («взятая из жизни») схема условий, в которые мы все поставлены.

Хотелось бы, конечно, чтобы Аннушка и Господь Бог простили меня за мои хищные мысли во сне, когда я была собой.

Себя-то я не прощу.

VIII

...С утра перегорели пробки, а денег было на метро. Я села в метро со случайной приятельницей, и мы поехали одалживать черт знает куда. Нам дали денег на пробки, а мы устали и купили только молока.

Белая ночь шла на убыль, но в июле, усилием воли, можно еще об этом не думать. Мы вернулись домой в девять вечера.

Аннушка, услыхав, открыла свою дверь и сказала, что сильно болело сердце и тошнило. Я удивилась, что она об этом докладывает.

Аннушка перенесла два инфаркта, о которых мы с Евгешей узнали, что называется, постфактум. Аннушка, стиснув зубы, рвала на себе рубашку и скребла стенку, а Евгеша, тоскуя, думала, что мыши. Помню, Аннушку хватил инсульт, и мы тоже узнали не сразу, потому что она и в обычном состоянии не выходила из комнаты, в связи с чем племянница-дочь говорила обеспокоенной Евгеше: «Завоняет когда — так узнаем». Лишенную возможности сопротивляться, нам удалось тогда отправить Аннушку в больницу. Когда я пришла ее навестить в первый раз, в казенном окошечке меня спросили: сами переодевать будете? белье принесли? Я поняла, что переодевать надо т е л о, и обмерла от ужаса. К счастью, это оказалось не так. Аннушка лежала в палате на двадцать человек, у самой двери и, как всегда, ни на что не жаловалась. К ней я пробиралась по смрадному коридору, где заживо разлагались недвижные старухи с гноящимися дырочками глаз; черные мухи в поисках последней влаги облепили их провалившиеся рты. Старухи тоже не жаловались.

...Мы так и остались стоять в коридоре, держа бутылки с молоком, похожим на июльскую ночь. Аннушка легла на свою жесткую койку — дверь ее оставалась открыта — и вдруг резко соскочила на горшок. Она сказала отчетливо: «Мне бы счас наган, девка, — я бы застрелилась». Я дала ей таблетки, чай, вызвала «неотложку». Толстый врач оставил после себя на столе две пустые ампулы. Аннушке легче не стало. Я хотела позвонить Марии, но она запретила: у нее внуки, ей некогда. Я снова вызвала «неотложку», и пока тот же толстый врач возился в сумерках с Аннушкой, мы пошли на кухню выпить молока. Врач несколько раз проходил в ванную мыть шприцы, с живым любопытством разглядывая старинную квартиру. Он погусиному проплывал сквозь туман белой ночи, светившейся испарениями болот, кладбищ, умерщвленного залива...

Мы с приятельницей пили молоко. Врач сделал еще укол и ждал в Аннушкиной каморке. Мы выпили уже все молоко. Врач направился мыть шприц. Он зашел на кухню и сказал: бабушка умерла.

Я не поняла. Он повторил. Потом спросил время. Я не поняла, а приятельница сказала, что полночь.

Потом все было просто и криво. Толстый врач позвал одну из нас присутствовать в качестве свидетельницы, пока он переберет в Аннушкиной сумочке ее медицинские справки. Я отказалась. Он сказал: да она нормальная лежит. Пошла приятельница. Потом он звонил в свою контору и говорил: «В присутствии» (что на халдейском их языке значит: больная скончалась в присутствии врача). И вызвал милиционера. Для чего? Оказывается, так положено, раз Аннушка была одинока и скончалась скоропостижно. В ожидании милиционера он со вкусом пил чай.

В три часа ночи, громко стуча в дверь («Стучите, звонок не работает»), вошел поскрипывающий сбруей участковый, а с ним — мужчина и женщина. Мы встречали их со свечами. Врач ушел.

Мужчина и женщина, воспользовавшись сумерками и стульями напротив Аннушкиной койки, тут же (мне было видно в дверь) принялись обниматься — и целоваться взасос. Возле их ног резвился принесенный ими котенок. Это напоминало какой-то африканский обычай совокупления молодоженов возле мертвого тела — для доказательства своему племени его неослабевающей жизнеспособности.

Наконец участковый написал бумажку и велел передать тем, кто приедет. А кто приедет? — спросила я. Труповозка, ответил милиционер. (Я мгновенно увидела телегу, наполненную мертвыми телами, — «негр управляет ею» — и пирующих во время чумы.) Я не могла приспособить это слово к местным условиям. Когда же она приедет? — спросила я. Позвоните, она и приедет, сказал милиционер уходя. Целуясь, ушли понятые. По их африканским обычаям следовало уходить целуясь.

Мы с приятельницей по очереди набирали номер конторы, где парковались труповозки. Никто не подходил. Все негры спали.

Возле дверей Аннушки поминутно происходил шорох. Я занесла забытого котенка в свою комнату. Мне казалось, сейчас выйдет Аннушка и спросит, который час.

В пять часов утра раздался громкий стук в дверь. Двое спросили: где свет и где труп. Я сказала: света нет, а труп там. Они занесли в Аннушкину каморку носилки военно-полевого образца, а я пошла на кухню, потому что бумажку участкового, где Аннушка называлась «труп гражданки», я по привычке положила на ее же столик, куда мы с Евгешей всегда клали ей приглашение на выборы, «Правила пользования газовой плитой» и другие скудные деловые бумажки. Я подала им справку в коридоре и спряталась в ванной. Они, приговаривая, мертвых не бойтесь, бойтесь живых, и громко топая, вышли на лестницу. Слышно было, как они разворачиваются, приноравливаются, сопят. Хлопнула дверь.

На Аннушкиной полочке остались: темный обмылок с засохшими кольцами пены, черствый огрызок пемзы и лысая зубная щетка.

...Не могу позабыть, как Аннушка никогда не умела скрыть тоскливое свое беспокойство, когда я после уборки, бывало, выносила на помойку старье. Дай мне, не выбрасывай, — говорила она. (Евгеша, в соответствии со своей скорой диагностикой, классифицировала это как бзик.) У Аннушки в шкафу, таким образом, скопились гладкие пластмассовые обломки игрушек моего сына вперемешку с хрусткой мишурой пластмассовых моих «драгоценностей», старой нашей обувью и разными несвойственными обиходу старости экстравагантностями вроде моей электрозавивалки «Локон»... Иногда Аннушка притаскивала назад вещи, уже выброшенные мной на помойку, невольно нанося сокрушительный удар по асептическим и антисептическим чувствам Евгеши.

Не выбрасывай! — говорила она жалостно. Это не было крохоборством.

«Не выбрасывай!..»

Аннушки не было, но я еще не чувствовала непоправимости ее отсутствия. Ведь ее еще не похоронили, она лежала, как хотела — так неглубоко, сверху, и стужа холодильника явилась еще одним звеном всетаки земного пути перед последним холодом космоса, а может, всего лишь могилы. Можно было подумать, что Аннушка, например, уехала в деревню к дальним родственникам, куда ездила лет десять назад.

На другое утро после труповозки, еще в постели, я услыхала скрежет ключа, щелчок входной двери, деловитые шаги Евгеши, а затем — отчетливо в тишине квартиры — ее стук в дверь Аннушки и вопрос, не нужно ли той хлеба. Не дождавшись ответа, она торопливо пошла к себе.

Ее приезд произошел вот отчего. Домик-пряник требовал денежных вложений, и Евгеша, закрыв глаза, скрепя сердце и очертя голову, сдала свою комнату на лето двум бойким шлюшкам из Института советской торговли. Ее подвела интуиция, точнее, отсутствие современного опыта в общении с осьмнадцатилетними девами, вырвавшимися за шлагбаум деревни. Она как-то застыла в своих представлениях о сем предмете на тех, пятнадцатилетней давности, благостных буренках из ее отделения, мечтавших исключительно о муже и ребеночке.

Она свято верила, что ее квартирантки не курят. Между тем изобретательные девы учинили на ее жилплощади нескучный бордель. Сбежав после очередного скандала, они оставили батальную картину такого эпического размаха, что, узри ее Евгеша, она тут же наложила бы на себя руки. Я навела, как могла, у нее порядок, и под матрасом (чехол которого Евгеша еженедельно стирала и гладила с двух сторон) обнаружила игривые трусики потаскушек. Я оставила их в качестве вещдока и написала Евгеше письмо. Евгеша приехала. Я сказала, что Аннушка умерла, но она не услышала. На ней не было лица. Она кричала:

— Вы подумайте, такие дорогие трусы оставили, цацы! А мне на что?! Я и за сестрой сроду не одевала!

Потом она нашла под столом окурок и заплакала. Я повторила про Аннушку, — она кивнула, продолжая плакать.

Два дня она проболела от горя, страшась приблизиться к зачумленной постели и лежа в одежде на обернутой в полиэтилен раскладушке. Она пила корвалол и публично проклинала себя за непутевость, доверчивость и отсутствие ума. За эти два дня тем не менее она успела провести дезинфекцию, а безотказный зять врезал ей новый замок.

И она укатила в свой звенящий от чистоты теремок.

Остается добавить, что именно Евгеша кормила блаженную нашу Аннушку, а, кабы не Евгеша, Аннушка померла бы раньше. Евгеша кормила ее, когда покупка чайника пробивала в финансах Аннушки невосполнимую брешь, и когда Аннушку грабил племянник, и позже, когда та почти не двигалась, а деньги, против ее воли, обменивались на дорогие бесполезные лекарства. Кормежка эта, с учетом особого Аннушкиного характера, была делом, безусловно, сверхъестественным.

Как это происходило? Может быть, Евгеша связывала Аннушке рукиноги и разжимала ей зубы ножом? Может, применяла гипноз? Питательную трубку? Чепуха, какая чепуха!

Я не знаю, как она это делала.

Муж Марии сказал, что она стирает. Я позвала ее; сказала. Назвала адрес морга. Через минуту вспомнила еще что-то, позвонила. Муж ответил, что Мария стирает.

К вечеру Мария приехала. Она забрала во что одеть Аннушку.

Этой одеждой оказался новый ситцевый халат. Я вспомнила, что за день до того, как перегорели пробки, Аннушка сползла с пятого этажа и купила его. Потом она целый день — последний свой день — разбирала тряпки: рвала, разглаживала, собирала узлы. И последним ее действием, если вспомнить (я ездила тогда одалживать деньги), был, как выяснилось, поход в баню. Почему она поползла в баню на «млявых» своих, полупарализованных ногах, непонятно. Она никогда туда, по крайней мере за время житья в этой квартире, не ходила: даже если отключали горячую воду, Аннушка пережидала и мылась в ванной. То ли эта баня добила Аннушку, то ли Аннушка, чувствуя что-то, напоследок, по-христиански, пошла в баню, не смея сопротивляться укорененному вне ее головы обычаю? А может, просто не могла мыться без света — но почему она знала, что делать это надо срочно?

Так или иначе, все Аннушка сделала правильно. Она сама себя обмыла (и сообщила Марии, чтобы не быть потом в тягость). Халат, что она купила, родственники надели на нее, и в гробу, прикрытый простыней, он вполне сошел за нарядную блузу. Узлы, что она увязала, они забрали, сэкономив время.

Одно Аннушка сделала неправильно. «Не дожила двух дней до пенсии», — сказали родственники.

«Не дождалась она Кольку», — говорила потом Евгеша. Я была поражена. Я забыла о нем. А она ждала свою краснорожую скотину (он пугал Евгешу еще и тем, что хочет оформить над Аннушкой опекунство), ждала, почитай, больше года; я краешком естества ощущала только благодать, как если бы исчез невыносимый запах, сверлящий звук, мерзкий, тревожный цвет. А она страдала и не находила места. Потом нашла.

Я рада, что государство выделило отдельную могилу для Аннушки. Несмотря на дефицит земли, на которой надо строить, потому что дефицит жилья, и сеять, потому что дефицит жратвы, и много чего надо делать тактико-стратегически необходимого, — для Аннушки все же нашлась отдельная могила. Там не будут течь угол, гнить рамы, проседать полы, точнее, мы не знаем, что там будет, а чего нет, но и то хорошо, что обремененное государство, к чести его, без особой проволочки передало Аннушку в неподведомственную инстанцию, и теперь мне с отрадой почему-то сдается, что Аннушка на месте и ей хорошо.

А иначе — как могло быть? Вполне могло быть иначе. Не окажись у Аннушки Марии и Надежды — отправили бы ее после холодильника на вскрытие, а оттуда — куда? — людям на пользу. Когда мы в мединституте анатомировали трупы, нам говорили: это бомжи и те, кто без родственников. На экзамене по анатомии мы подходили к трупу и пинцетиком припрятывали друг для друга между его наформалиненных мышц спасительные «шпоры». Иначе экзамен было практически не сдать. А это значило: остаться без сорока рублей стипендии. С учетом того, что подрабатывать нам было строго запрещено, это обещало попросту нищету и голод — в первом словарном значении. Таким образом, окажись Аннушка на учебном анатомическом столе, она и тут принесла бы пользу.

Да что там! Впоследствии выяснилось, что родственники не обнаружили у Аннушки в заветной сумочке ее похоронных денег. Возможно, я беру грех на душу, но твердо подозреваю того толстого суетливого врача, который долго в одиночку возился возле Аннушки, и задним числом звал нас свидетелями, чтобы снова, для вида, поковыряться в сумке, где лежали деньги и справки. Потом мне объяснили, что искать справки было излишним. Мне также рассказали, что такой вид кражи — самый рядовой. И что же? Конечно, в итоге родственники похоронили Аннушку за свой счет. И я хочу сказать Анне Ивановне, которая теперь, на месте, конечно, меня слышит хорошо, что ведь этим-то самым, утратой накопленной суммы, она подарила им возможность почувствовать себя людьми честными, выполнившими свой долг. Таким образом, пользу она им принесла неоценимую.

...И вот освободилась комната. Я долго не решалась туда зайти. Но как-то Евгеша заметила мне: «Чего ты боишься? Она была человек добрый, простой, легкий, — и ничего в этой комнате страшного нет».

И точно. Я зашла — и северная комната показалась мне светлой. Легкая душа Аннушки, возвратясь в лучи золотистого света, ничем о себе не напоминала. А тело ее с пользой освободило жилплощадь, на которой будет расти мой сын.

Я подошла к окну и долго смотрела на золотые купола Никольского собора. Да что же это! Как ни поверни — обречена она была, что ли, приносить только пользу, пользу, ничего, кроме пользы? Почему так?! Холстомером она родилась, что ли?..

...В тот день с утра шел дождь, и я долго добиралась до монументального, похожего на райком партии, здания судебно-медицинского морга.

Наконец добралась. Я вошла в зал, где стояли закрытые гробики, и на каждом была фотография ребенка. Перед каждым гробом, не двигаясь, стояла женщина в черном — и неотрывно смотрела на фотографию. Мне объяснили, что это зал для детей, погибших так, что их невозможно показать матерям.

Я вышла на воздух.

Потом я заглянула в другую дверь и спросила санитара, здесь ли находится такая, такая-то. Он ответил: да, здесь.

Ответ был на удивление быстр. Странно. Приди я при жизни Аннушки в ЖЭК, поликлинику, исполком — любую контору и спроси: здесь ли находится (в списках) такая, такая-то? — там долго бы рылись, искали, с раздражением тявкая, что ее тут нет, возможно, вы ошиблись, приходите (позвоните) завтра, вот выйдет из отпуска такой, такой-то... Сразу стало бы видно, что Аннушка, даже отрытая в завалах государственных бумаг, ютилась там случайно, полузаконно, из милости.

А в морге я спросила: здесь? Мне мгновенно ответили: здесь. Как будто это задолго уготованное ей место было единственно законным.

Я вошла в зал. Я обнаружила Аннушку по ее племянницам. Они серьезно смотрели в гроб.

Аннушка в гробу была очень красива. На лбу, из-под белого платочка, виднелась узорчатая бумажная ленточка с молитвами. Гроб, насколько я разбираюсь, был вполне пристойным. В гробу Аннушка была удивительно на месте, и эту гармонию уже невозможно было сломать.

...Дождь продолжал идти, потом перестал. Мы ехали в похоронном автобусе вдоль того берега Обводного канала, мимо сумрачных, сосущих душу зданий.

> В соседнем доме окна жолты,
> По вечерам — по вечерам
> Скрипят задумчивые болты,
> Подходят люди к воротам...

— А вот тут тетя работала, — сказала Мария. — И вот тут она работала. Тетя, посмотри, ты всю жизнь тут работала, попрощайся...

Стоял обычный тусклый петербургский день. Мы ехали окраинами. Мелькали указатели, потом стало пусто, и Надежда сказала, что не помнит, как ехать. Мария заплакала. Они решили похоронить Аннушку недалеко от деревни, где жила еще одна, неизвестная мне племянница. Там уже все утрясли в сельсовете. И вот мы сбились.

Мы плутали, как в дурном сне. Черные горбатые елки торчали по обочинам безымянной дороги.

Потом мы приехали. Ветер со всех сторон обдувал этот бесприютный клочок земли, катал пустые бутылки по могилам, которые можно было перечесть на пальцах, — он гонял бумажный цветочный сор по малочисленным виноватым могилам, словно случайно и временно оказавшимся

здесь. Это было место на самом краю света, и я поняла, что никто никогда не навестит здесь Аннушку: живые не ездят по этой дороге дважды.

Я сразу же забыла, как оно называлось, это место, — то ли Задорóжье, то ли Забрóдье, то ли За́боровье, — только помню, что — за... за... за...

Местная безымянная племянница терпеливо дожидалась, когда гроб выгрузят из автобуса, поставят на землю, снимут крышку, расступятся, — чтобы, выдержав необходимую паузу, правильно открыть рот, взять сколько следует воздуха и в безошибочной тональности заголосить: «Ах, тетушка, родненькая, сколько же я тебя, дорогую, звала сюда приехать, а ты все не могла, кровиночка, и вот — собралася!.. Приехала!..»

Мария и Надежда грамотно подпевали.

Прохладные лапки дождя принялись трогать сухие щеки тех, кто не плакал, гладить мокрые лица плакавших и залезли в гроб к безучастной Аннушке. Племянницы забеспокоились. Следовало опускать гроб в могилу, Мария теребила длинные полотенца, могильщики нервно переминались, матерясь пока втихаря, а между тем застрял где-то в дороге, заплутал на личной машине сын Марии с чады и домочадцы. Мария несколько раз выходила встречать машину далеко на дорогу и стояла подолгу на перепутье — прямая, напряженная, ждущая.

Спине Марии подошли бы библейские холмы. Я видела их голубые пологие склоны, нежную пыль на пустынной дороге, над которой плыла к нам по воздуху Мария, мелко и радостно крестясь. Сзади нее заблудшей овечкой вырастала личная машина сына. Машина догнала Марию и приняла ее в свое лоно.

IX

Мокрый ветер стер паутину, и в синем сиянье повисли сахарные облака. Мария обсыпала могилу белым сладким рисом. Надежда украсила её разноцветными цветами, и больше было розовых цветов. Воробьи чвирикали, слетаясь к холму, к рису, — подтверждая правильность ритуала; места и риса хватало всем. Мария дала и мне ложечку кутьи («Так у нас принято»), Надежда поднесла стакан красного. Остальные выпили водки.

Нет, что ни говори, Аннушка была Богу угодна. Вот ведь не погибла она в детстве, чтобы обездвижить горем свою мать. И не вмерзла в кровавый навоз на сибирском тракте. И не в больничном коридоре, по горло в собственных испражнениях, она угасла. И она не озлобила своих дальних родственников пустыми хлопотами вокруг разлагающейся плоти. Она умерла в преклонном возрасте, на своей жилплощади, на собственной койке, просто и быстро. Она успела справить земные дела и устать. Да и время года подгадала она наилучшее — белые ночи, сладостный июль, маковку лета, податливую, ласковую, родственную всему живому землю, а вовсе не стужу и грозный петербургский мрак, и не пришлось могильщикам трудно долбить яму, а родственникам переплачивать за переусердие. И вот еще: ведь и погода летняя бывает всякой, а наша-то чаще всего — наигнуснейшей (и в те времена, когда Петербург, притворяясь Венецией, смущает горожан бутафорской небесной синевой, — такая погода еще хуже привычной промозглости, как улучшение перед смертью, — и так тревожат эти опереточные небеса, и не хочется привыкать к ним...). А тут, вот ведь, после дождичка вдруг сделалась ясная, но — и без ярких Италий — тихая такая, сугубо местная погодка. Стакан красного стучал в моей голове, расширяя ее до границ видимости, невидимости, растворял, делал невесомой, неуязвимой для тревог и страхов. Вот только то плохо, что положили Аннушку глубоко, хотя и не в воду.

Издали могилка была похожа на маленький дворец из сказки Джанни Родари. Нет, проникла, проникла все-таки сюда заемная лучезарная Италия. Нету у нас под белесыми небесами в достаточном количестве таких красок, чтобы хватало всем при жизни.

Вино выпихивало меня в открытый космос. Оттуда, из голых просторов, я видела чуть сплющенную с полюсов голубую телевизионную землю, где на северо-западном краю белела-розовела нарядная могилка Аннушки.

Никогда, никогда — никогда при жизни, понимаете вы?! — ей не довелось обладать такой красотой.

...На поминках в доме безымянной племянницы было нешумно и пристойно; разрумянившаяся русоволосая Мария зорко следила за мужем и сыном, чтоб не хватили лишку. Они все же хватили лишку, но и это было пристойно, потому что на поминках и должен кто-нибудь хватить лишку. Я выпила еще стакан красного и вышла.

В огороде, после теплого июльского дождя, все сияло и перло из черной земли. Здесь царил порядок, как на небесах или в добровольческой армии. Зеленые, подтянувшись, стояли в рядах с зелеными, красные объединялись с красными, белые толпились и пенились белым.

А за воротами, в канаве, царил гражданский лохматый беспорядок лопухов, крапивы и чертополоха. Но и в том безудержном беспорядке был смысл: он служил рамкой порядка. А может, наоборот.

На крылечке появилась безымянная племянница. «Я Анне Ивановне-то всякий месяц пошлю, бывало, летом — ягодок, осенью — грибочков, зимой — пирожков, — говорил ее беззвучный рот; слова, отдельно от него, стучали в моей голове, пузырились и лопались. — Вот всегда ей пошлю, бывало, гостинчиков, — открывала она рот; в голове моей что-то пульсировало и объемно гудело, — летом ягодок... осенью грибочков... зимой пирожков...»

— Она была святая, — вдруг сказала я, с интересом слушая не свой голос. — Святая, — повторила — и ударила кулаком по перилам крыльца.

Кулаку не было больно. Голос оставался чужим. Слезы хлынули из моих глаз, которые были отдельно, потому что меня самой не было на том крыльце, — а там, где я была, меня корчило болью, она выхлестывалась наружу рекой, река впадала в море, а море — в океан — земной и небесный; и река эта отворилась с л о в о м. Кто-то за меня — мной — произнес с л о в о, которое оказалось ключом, — и отворилась дверь, и я поняла т а м что-то такое, что сразу забыла, потому что всегда это знать нельзя; если б я знала это теперь, то пила бы горькую или болталась бы в петле, а может, сохла телом и расцветала душой в монастыре — что угодно, — только не сидела бы, как сейчас, за столом, где хоть и не мед вкушаю, но все же уютно светит лампа, а белые листы под рукой и черная ночь за окном дарят задор, — и, поднатужившись, вполне можно самой вытащить себя за волосы из болота, как это делал барон Мюнхгаузен.

Честно говоря, я не верю в загробную жизнь. Голубой с золотом христианский рай, где зачумленно мечутся анатомически ущербные серафимы, не имеющие возможности присесть из-за отсутствия седалищ, — не хотела бы я, чтобы в таком раю пребывала моя Аннушка.

Но я чувствую, что она — н а м е с т е, и душа моя спокойна. И это ощущение, что она на месте, и тот покой, который дарит это чувство, может быть, есть главное доказательство того, что рай существует.

Слава Богу, недалеко живет Евгения Августовна, которой, обменявшись с моими родственниками, удалось спуститься поближе к земле грешной, с пятого на второй этаж, и — больше всего я люблю ее за это — никогда не поймет, как это семье можно предпочесть наркотическое вдыхание чернил и азартные игры с бумагой. Я очень хочу, чтобы сбылась ее главная мечта: оставить внуку Женечке комнату, а уж потом умереть.

И вот еще что.

Священные чудовища у кормушки верховной власти! Все было сделано вами для того, чтобы даже тень тени не оставили эти старухи.

А разве по-вашему вышло?

Они и сейчас сидят в моей кухне.

— Ирина-то вчера целый день гуляла, а хоть бы картошки, непутевая, себе купила! — говорит Евгеша.

— Землю в этом году у племянницы картошкой не засевали, пускай земля погуляет, — говорит Аннушка.

Ленинград

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Стихи 50-х — 80-х лет

●

Хрустальные, холодные
Урочища бесплодные,
Безвыходные льды,

Где людям среди лиственниц
Не нужен поиск истины,
А поиски еды,

Где мимо голых лиственниц
Молиться Богу истово
Безбожники идут,

Больные, бестолковые
С лопатами совковыми
Шеренгами встают,

Рядясь в плащи немаркие,
С немецкими овчарками
Гуляют пастухи,

Кружится за́меть вьюжная,
И кажутся ненужными
Стихи.

●

Густеет теплый воздух
И видно в вышине,
Как проступают звезды
На синем полотне.

И я один на свете,
Седеет голова,
И брошены на ветер
Бумажные слова.

●

Затерянный в зеленом море,
Обняв сосновый ствол стою,
Как мачту корабля, который
Причалит, может быть, в раю.

И хвои шум, как шум прибоя,
И штормы прячутся в лесу,
И я земли моей с собою
На небеса не унесу...

●

Я ищу не героев, а тех,
Кто смелее и тверже меня,
Кто не ждет ни указок, ни вех
На дорогах туманного дня.

Кто испытан, как я — на разрыв
Каждой мышцей и нервом своим,
Кто не шнур динамитный, а взрыв,
По шнуру проползающий дым.

Средь деревьев, людей и зверей,
На земле, на пути к небесам
Мне не надо поводырей,
Все, что знаю, я знаю сам.

Я мальчишеской пробою стал
Мерить жизнь и людей — как ножи:
Тот уступит, чей мягче металл —
Дай свой нож! Покажи. Подержи.

Не пророков и не вождей,
Не служителей бога огня,
Я ищу настоящих людей,
Кто смелее и тверже меня.

●

Ни версты, ни годы — ничто нипочем
Не справится с нашим преданьем.
Смотри — небеса подпирает плечом
Северное сиянье.

И нас не раздавит глухой небосвод,
Не рухнет над жизнью овражьей,
Не вплющит в библейский узорчатый лед
Горячие головы наши.

Порукой — столбы ледяного огня,
Держащие небо ночами...
Я рад, что ты все-таки веришь в меня,
Как раньше... как в самом начале...

●

В гулкую тишину
Входишь ты, как дыханье,
И моему полусну
Даришь воспоминанье,

Прикосновенье твое
К моей бесчувственной коже
Гонит мое забытье,
Память мою тревожит.

Горсть драгоценных рифм
К твоему приходу готова,
Ртом пересохшим моим
Перешептано каждое слово.

Осторожно кладу
Их в твои ладони,
Мой постоянный труд,
Жемчуг, который не тонет.

●

Мы родине служим — по-своему каждый,
И долг этот наш так похож иногда
На странное чувство арктической жажды,
На сухость во рту среди снега и льда.

●

В судьбе есть что-то от вокзала,
От тех времен, от тех времен —
И в этой ростепели талой,
И в спешке лиц или имен.

Все та же тень большого роста
От заколдованной сосны,
И кажется, вернуться просто
В былые радужные сны.

●

Мятый плющ, томленый бархат
Догорающей листвы,
Воронье устало каркать
На окраине Москвы.

В океане новостройки
Утопает старый дом,
Он еще держался стойко,
Битый градом и дождем,

И заткнув сиренью уши,
Потеряв ушной протез,
Слышит дом все хуже, хуже
И не ждет уже чудес.

●

Безымянные герои,
Поднимаясь поутру,
Торопливо землю роют,
Застывая на ветру.

А чужая честь и доблесть,
В разноречье слов и дел,
Оккупировала область
Мемуаров и новелл.

И новеллам тем не веря,
Их сюжетам и канве,
Бродит честь походкой зверя
По полуночной Москве...

●

Скрой волнения секреты
Способом испытанным.
День, закутанный в газету,
Брошен недочитанным.

Будто сорвана на небе
Нежность васильковая.
Отгибает тонкий стебель
Тяжесть мотыльковая.

Озарит лесную темень
Соснами багровыми
Замечтавшееся время
Испокон вековое.

●

Тихий ветер по саду ступает,
Белый вишенный цвет рассыпает.

И одна из песчаных дорожек —
Как вишневое платье в горошек.

Лепестки на песке засыхают,
Люди ходят и тихо вздыхают...

Ветер пыльные тучи взметает —
Белый вишенный цвет улетает.

Поднимается выше и выше
Легкий цвет, белый цвет нашей вишни.

●

На садовые дорожки,
Где еще вчера
На одной скакала ножке
Наша детвора,

Опускаются все ниже
С неба облака.
И к земле все ближе, ближе
Смертная тоска.

Нет, чем выше было небо,
Легче было мне.
Меньше думалось о хлебе
И о седине.

●

Любая из вчерашних вьюг
Мне не грозит бедою.
И орошен иссохший луг
Целебною водою.

Здесь до моих страстей и мук
Кому какое дело.
Свобода тут — из первых рук
И юность — без предела.

И не касаются меня
Настойчивой рукою
Заботы завтрашнего дня
С их гневом и тоскою.

●

К нам из окна еще доносится,
Как испытание таланта,
Глухих времен разноголосица,
Переложенье для диктанта.

Но нам записывать не велено,
И мы из кубиков хотели
Сложить здесь песню колыбельную —
Простую песенку метели.

И над рассыпанною азбукой
Неграмотными дикарями
Мы ждем чудес, что нам показывать
Придут идущие за нами...

●

Косноязычие богов —
Неясность таинства для смертных.
И ты, поэт, и ты — таков:
Открытое тебе — несметно

И не вмещается в тюрьму,
Где слова жесткая решетка,
И ты отыскиваешь тщетно
Равновеликое ему.

●

Зови, зови глухую тьму —
И тьма придет.
Завидуй брату своему,
И брат умрет.

●

Когда от засухи измучась,
Услышит деревянный дом
Тяжелое дыханье тучи,
Набитой градом и дождем,

Я у окна откину шторы,
Я никого не разбужу.
На ослепительные горы
Глаза сухие прогляжу,

На автогеновые вспышки
Грозы, на ливня серебро,
А если гроз и ливня слишком —
Беру бумагу и перо.

●

Я двигаюсь, как мышь
Летучая, слепая,
Сквозь лес в ночную тишь,
Стволов не задевая.

Взята напрасно роль
Такого напряженья,
Где ощущаешь боль
От каждого движенья.

Моей слепой мечте
Защиты и оплоты
Лишь в чувства остроте,
В тревожности полета.

И что переживу,
И в чем еще раскаюсь,
На теплую траву
Устало опускаясь...

●

Вдыхаю каждой порой кожи
В лесной тиши предгрозовой
Все, что сейчас назвать не может
Никто — ни мертвый, ни живой.

И то, что так недостижимо,
Что не удержано в руке,
Подчас проходит рядом, мимо
Зеленой зыбью на реке.

Мир сам себе — талант и гений,
Ведущий нас на поводу.
И ритма тех, его смятений
Нам не дано иметь в виду.

Ведь это все — одни отписки;
Баркасы, льдины, облака...—
Все то, что без большого риска
Бросает нам его рука.

●

Отощавшая скотина,
Блудословя и резвясь,
Опускается в долину,
Переплескивая грязь.

Небеса вгоняя в краску,
Обнажается земля,
Воскрешенные на Пасху,
Поднимаются поля.

Полусонная телега
Заскрипела, наконец,
Недососанного снега
На опушке леденец.

●

Просто — болен я. Казалось,
Что здоров,
Что готов нести усталость
Старых слов.

Заползу в свою берлогу.
Поутру,
Постою еще немного
На ветру.

Подышу свободной грудью
На юру,
Постою там на безлюдьи
И — умру.

●

Похолодеет вдруг рука,
И кровь с лица мгновенно схлынет,
И смертная дохнет тоска
Тяжелой горечью полыни.

Я умолкаю. Я клянусь,
Беззвучно шевеля губами,
Что я еще сюда вернусь,
Еще вернусь сюда — за вами!

Рассказы из цикла «Воскрешение лиственницы»

ГРАФИТ

Чем подписывают смертные приговоры: химическими чернилами или паспортной тушью, чернилами шариковых ручек или ализарином, разбавленным чистой кровью?

Можно ручаться, что ни одного смертного приговора не подписано простым карандашом.

В тайге нам не нужны чернила. Дождь, слезы, кровь растворят любые чернила, любой химический карандаш. Химические карандаши нельзя посылать в посылках, их отбирают при обысках — этому есть две причины. Первая — заключенный может подделать любой документ, вторая: такой карандаш — типографская краска для изготовления воровских карт, «стирок», а стало быть...

Допущен только черный карандаш, простой графит. Ответственность графита на Колыме необычайна, особенна.

Поговорили с небом картографы, цепляясь за звездное небо, вглядываясь в солнце, укрепили точку опоры на нашей земле. И над этой точкой опоры, врезанной в камень мраморной доской на вершине горы, на вершине скалы, укрепили треногу, бревенчатый сигнал. Эта тренога указывает точное место на карте, и от нее, от горы, от треноги, по распадкам и падям, сквозь прогалины, пустыри и редины болот тянется невидимая нить — незримая сеть меридианов и параллелей. В густой тайге прорубают просеки — каждый затес, каждая метка поймана в крест нитей нивелира, теодолита.

Земля измерена, тайга измерена, и мы ходим, встречая на свежих затесах след картографа, топографа, измерителя земли — черный простой графит.

Колымская тайга исчерчена просеками топографов. И все же просеки есть не везде, а только в лесах, окружающих поселки, «производство». Пустыри, прогалины, редины лесотундры и голые сопки исчерчены только воздушными, воображаемыми линиями. В них нет ни одного дерева, чтобы обозначить привязку, нет надежных реперов. Реперы ставятся на скалах, по руслам рек, на вершинах гор-гольцов. И от этих надежных библейских опор тянется измерение тайги, измерение Колымы, измерение тюрьмы. Затесы на деревьях — сетка просек, с которых в трубу теодолита, в крест нитей, увидена и сосчитана тайга.

Да, для затесов годится только черный простой карандаш. Не химический. Химический карандаш расплывется, растворится соком дерева, смоется дождем, росой, туманом, снегом. Искусственный карандаш, химический карандаш не годится для записей о вечности, о бессмертии. Но графит, углерод, сжатый под высочайшим давлением в течение миллионов лет и превращенный если не в каменный уголь, то в бриллиант, или в то, что дороже бриллианта, в карандаш, в графит, который может записать все, что знал и видел... Большее чудо, чем алмаз, хотя химическая природа и графита, и алмаза — одна.

Инструкция запрещает топографам пользоваться химическим карандашом не только при метках и затесах. Любая легенда или черновик к легенде при глазомерной съемке требует графита для

бессмертия. Легенда требует графита для бессмертия. Графит — это природа, графит участвует в круговороте земном, подчас сопротивляясь времени лучше, чем камень. Разрушаются известковые горы под дождями, ударами ветра, речных волн, а молодая лиственница — ей всего двести лет, ей еще надо жить — хранит на своем затесе цифру-метку о связи библейской тайны с современностью.

Цифра, условная метка выводится на свежем затесе, на источающей сок свежей ране дерева, дерева, источающего смолу, как слезы.

Только графитом можно писать в тайге. У топографов в карманах телогреек, душегреек, гимнастерок, брюк, полушубков всегда огрызки, обломки графитных карандашей.

Бумага, записная книжка, планшет, тетрадка — и дерево с затесом.

Бумага — одна из личин, одно из превращений дерева в алмаз и графит. Графит — это вечность. Высшая твердость, перешедшая в высшую мягкость. Вечен след, оставленный в тайге графитным карандашом.

Затес вырубается осторожно. В стволе лиственницы, на уровне пояса, делаются два пропила и углом топора отламывается еще живое дерево, чтоб оставить место для записи. Образуется крыша, домик, чистая доска с навесом от дождя, готовая хранить запись вечно,— практически вечно, до конца шестисотлетней жизни лиственницы.

Раненое тело лиственницы подобно явленной иконе — какой-нибудь Богородицы Чукотской, Девы Марии Колымской, ожидающей чуда, являющей чудо.

И легкий, тончайший запах смолы, запах лиственного сока, запах крови, развороченной человеческим топором, вдыхается как дальний запах детства, запах росного ладана.

Цифра поставлена, и раненая лиственница, обжигаемая ветром и солнцем, хранит эту «привязку», ведущую в большой мир из таежной глуши,— через просеку к ближайшей треноге, к картографической треноге на вершине горы, где под треногой камнями завалена яма, скрывающая мраморную доску, на которой выцарапаны истинная долгота и широта. Эта запись сделана вовсе не графитным карандашом. И по тысяче нитей, которые тянутся от этой треноги по тысячам линий от затеса до затеса, мы возвращаемся в наш мир, чтобы вечно помнить о жизни. Топографическая служба — это служба жизни.

Но на Колыме не только топограф обязан пользоваться графитным карандашом.

Кроме службы жизни, тут есть еще служба смерти, где тоже запрещен химический карандаш. Инструкция «архива № 3» — так называется отдел учета смертей заключенных в лагере — сказала: на левую голень мертвеца должна быть привязана бирка, фанерная бирка с номером личного дела. Номер личного дела должен быть написан простым графитным карандашом — не химическим. Искусственный карандаш и тут мешает бессмертию.

Казалось, к чему этот расчет на эксгумацию? На бессмертие? На воскресение? На перенесение праха? Мало ли безымянных братских могил на Колыме — куда валили вовсе без бирок. Но инструкция есть инструкция. Теоретически говоря — все гости вечной мерзлоты бессмертны и готовы вернуться к нам, чтобы мы сняли бирки с их левых голеней, разобрались в знакомстве и родстве.

Лишь бы на бирке поставили номер простым черным карандашом. Номер личного дела не смоют ни дожди, ни подземные ключи, ни вешние воды не трогают лед вечной мерзлоты, иногда уступающий летнему теплу и выдающий свои подземные тайны — только часть этих тайн.

Личное дело, формуляр — это паспорт заключенного, снабженный фотокарточками фас и профиль, отпечатками десяти пальцев обеих рук, описанием особых примет. Работник учета, сотрудник «архива № 3», должен составить акт о смерти заключенного в пяти экземплярах с оттиском всех пальцев и с указанием, выломаны ли золотые зубы. На золотые зубы составляется особый акт. Так было всегда в лагерях испокон века, и сообщения по поводу выломанных зубов в Германии никого на Колыме не удивляли.

Государства не хотят терять золото мертвецов. Акты о выбитых золотых зубах составлялись испокон века в учреждениях тюремных, лагерных. Тридцать седьмой год принес следствию и лагерям много людей с золотыми зубами. У тех, что умерли в забоях Колымы — недолго они там прожили,— их золотые зубы, выломанные после смерти, были единственным золотом, которое они дали государству в золотых забоях Колымы. По весу в протезах золота было больше, чем эти люди нарыли, нагребли, накайлили в забоях колымских за недолгую свою жизнь. Как ни гибка наука статистика — эта сторона дела вряд ли исследована.

Пальцы мертвеца должны быть окрашены типографской краской, и запас этой краски, расход ее очень велик, хранится у каждого работника «учета».

Потому отрубают руки у убитых беглецов, чтобы для опознания не возить тела,— две человеческие ладони в военной сумке гораздо удобней возить, чем тела, трупы.

Бирка на ноге — это признак культуры. У Андрея Боголюбского не было такой бирки — пришлось узнавать по костям, вспоминать расчеты Бертильона.

Мы верили в дактилоскопию — эта штука нас никогда не подводила, как ни уродовали уголовники кончики своих пальцев, обжигая огнем, кислотой, нанося раны ножом. Дактилоскопия не подводила — пальцев-то десять — отжечь все десять не решался никто из блатарей.

Мы не верим Бертильону — шефу французского уголовного розыска, отцу антропологического принципа в криминологии, где подлинность устанавливается серией обмеров, соотношением частей тела. Открытия Бертильона годятся разве что для художников, для живописцев — расстояния от кончика носа до мочки уха нам ничего не открывали.

Мы верим в дактилоскопию. Печатать пальцы, «играть на рояле» умеют все. В тридцать седьмом, когда заметали всех, меченных ранее, каждый привычным движением вставлял свои привычные пальцы в привычные руки сотрудника тюрьмы.

Этот оттиск хранится вечно в личном деле. Бирка с номером личного дела хранит не только место смерти, но и тайну смерти. Этот номер на бирке написан графитом.

Картограф, пролагатель новых путей на земле, новых дорог для людей, и могильщик, следящий за правильностью похорон, законов о мертвых, обязаны пользоваться одним и тем же — черным графитным карандашом.

[1966—1967]

ГОРОД НА ГОРЕ

В этот город на горе второй и последний раз в жизни меня привезли летом сорок пятого года. Из этого города меня увезли на суд, в трибунал, два года тому назад, дали десять лет, и я скитался по витаминным, обещающим смерть командировкам, щипал стланик, лежал в больнице, снова работал на командировках и с участка «Ключ Алмазный», где условия были невыносимы,— бежал, был задержан и отдан под следствие. Новый срок мой только что начинался, следователь рассудил, что выгоды государству будет немного от еще одного, нового следствия, нового приговора, нового начала срока, нового счисления времени арестантской жизни. Меморандум говорил о штрафном прииске, о спецзоне, где я должен находиться отныне и до скончания века. Но я не хотел сказать: аминь.

В лагерях существует правило — не посылать, не «этапировать» вновь судимых заключенных на те прииски, где они раньше работали. В этом есть великий практический смысл. Государство обеспечивает жизнь своим сексотам, своим стукачам, клятвопреступникам и лжесвидетелям. Это — их правовой минимум.

Но со мной поступили иначе — и не только из-за лени следователя. Нет, герои очных ставок, свидетели моего прошлого дела уже были увезены из спецзоны. И бригадира Нестеренко, и заместителя бригадира десятника Кривицкого, и журналиста Заславского, и неизвестного мне Шайлевича уже не было на Джелгале. Их как исправившихся, доказавших преданность, уже увезли из спецзоны. Стало быть, стукачам и лжесвидетелям государство честно платило за их работу. Моя кровь, мой новый срок были этой ценой, этой платой.

На допрос меня больше не вызывали, и я сидел не без удовольствия в туго набитой следственной камере Северного управления. Что со мной сделают, я не знал, будет ли мой побег сочтен самовольной отлучкой — проступком неизмеримо меньшим, чем побег?

Недели через три меня вызвали и отвели в пересыльную камеру, где у окна сидел человек в плаще, в хороших сапогах, в крепкой, почти новой телогрейке Меня он «срисовал», как говорят блатные, сразу понял, что я самый обыкновенный доходяга, не имеющий доступа в его мир. И я «срисовал» его тоже; как-никак, а я был не просто «фраер», а «битый фраер». Передо мной был один из блатарей, которого, рассудил я, везут куда-то вместе со мной.

Везли нас в спецзону, на знакомую мне Джелгалу.

Через час двери камеры нашей раскрылись.

— Кто Иван Грек?

— Это — я.

— Тебе — передача.— Боец вручил Ивану сверток, и блатарь неторопливо положил сверток на нары.

— Скоро, что ли?

— Машину подают.

Через несколько часов, газуя, пыхтя, машииа доползла до Джелгалы, до вахты.

Лагерный староста вышел вперед и просмотрел наши документы — Ивана Грека и мои.

Это была та самая зона, где шли разводы «без последнего», где овчарки выгоняли на моих глазах всех поголовно, здоровых и больных, к вахте, где развод на работы строился за вахтой, у ворот зоны, откуда шла крутая дорога вниз, летящая дорога сквозь тайгу. Лагерь стоял на горе, а работы велись внизу, и это доказывало, что нет предела человеческой жестокости. На площадке перед вахтой два надзирателя раскачивали, взяв за руки и за ноги, каждого отказчика и бросали вниз. Арестант катился метров триста, падал, внизу его встречал боец, и, если отказчик не вставал, не шел под тычками, ударами, его привязывали к волокуше, и лошади тащили отказчика на работу — до забоев было не меньше километра. Сцену эту я видел каждодневно, пока не отправили меня с Джелгалы. Сейчас я возвратился.

Не то, что скидывали сверху по горе — так была задумана спецзона,— было самым тяжелым. Не то, что лошадь волокла работягу на работу. Страшен был конец работы — ибо после изнурительного труда на морозе, после целого рабочего дня надо ползти вверх, цепляясь за ветки, за сучья, за пеньки. Ползти да еще тащить дрова охране. Тащить дрова в самый лагерь, как говорило начальство, «для самих себя».

Джелгала была предприятием серьезным. Разумеется, тут были бригады-стахановцы, вроде бригады Маргаряна, была бригада похуже, вроде нашей, были и блатари. Здесь, как и на всех приисках в ОЛПах первой категории, была вахта с надписью «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Разумеется, тут были доносы, вши, следствия, допросы.

В Джелгалинской санчасти уже не было доктора Мохнача, который, видя меня каждый день на приемах в амбулатории несколько месяцев, по требованию следователя написал в моем присутствии: зэка, имярек, здоров и никогда с жалобами в медчасть Джелгалы не обращался.

А следователь Федоров хохотал и говорил мне: назовите мне десять фамилий из лагерников — любых, по вашему выбору. Я пропущу их сквозь свой кабинет, и они все покажут против вас. Это было истинной правдой, и я знал это не хуже Федорова...

Сейчас Федорова на Джелгале не было — перевели в другое место. Да и Мохнача не было.

А кто был в санчасти Джелгалы? Доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зэка.

Доктор Ямпольский не был даже фельдшером. Но на прииске «Спокойном», где мы с ним впервые встретились, лечил больных только марганцовкой и йодом, и любой профессор не дал бы прописи, которая отличалась бы от прописи доктора Ямпольского... Высшее начальство, зная, что медикаментов нет, и не требовало многого. Борьба со вшивостью — безнадежная и бесполезная, формальные визы представителей санчасти в актах, общий «надзор» — вот и все, что требовалось от Ямпольского высшим начальством. Парадокс был в том, что, ни за что не отвечая и никого не леча, Ямпольский постепенно копил опыт и ценился не меньше любого колымского врача.

У меня с ним было столкновение особого рода. Главный врач той больницы, где я лежал, прислал письмо Ямпольскому с просьбой помочь мне попасть в больницу. Ямпольский не нашел ничего лучшего, как передать это письмо начальнику лагеря, донести, так сказать. Но Емельянов не понял истинного намерения Ямпольского и — встретив меня — сказал: отправим, отправим. И меня отправили. Сейчас мы встретились снова. На первом же приеме Ямпольский заявил, что освобождать от работы меня не будет, что он разоблачит меня и выведет на чистую воду.

Два года назад я въезжал сюда в черном военном этапе — по списку господина Карякина, начальника участка Аркагалинской шахты. Этап-жертву собирали по спискам по всем управлениям, всем приискам и везли в очередной колымский Освенцим, колымские

спецзоны, лагеря уничтожения после тридцать восьмого года, когда вся Колыма была таким лагерем уничтожения.

Два года назад отсюда меня увели в суд — восемнадцать километров тайгой,— пустяк для бойцов — они спешили в кино, и совсем не пустяк для человека, просидевшего месяц в слепом темном карцере на кружке воды и трехсотке хлеба.

И карцер я нашел, вернее след от карцера, ибо давно изолятор, лагерный изолятор, был новый — дело росло. Я вспомнил, как заведующий изолятором, боец охраны боялся выпустить меня мыть посуду на солнце — на проток, не речки, а деревянного желоба с бутары,— все равно это было лето, солнце, вода. Заведующий изолятором боялся пускать меня мыть посуду, а мыть самому было не то что лень, а просто позорно для заведующего изолятором. Не по должности. А арестант, сидевший без вывода, был только один — я. Другие штрафники ходили — их-то посуду и надо было мыть. Я и мыл ее охотно — за воздух, за солнце, за супчик. Кто знает, не будь ежедневной прогулки — дошел ли бы я тогда на суд, вытерпел ли бы все побои, которые мне достались.

Старый изолятор был разобран, и только следы его стен, выгоревшие ямы от печей оставались, и я сел в траву, вспоминая свой суд, свой «процесс».

Груда старых железок, связка, которая легко распалась, и, перебирая железки, я вдруг увидел свой нож, маленькую финку, подаренную мне когда-то больничным фельдшером на дорогу. Нож не очень был мне нужен в лагере — я легко обходился и без ножа. Но каждый лагерник гордится таким имуществом. С обеих сторон лезвия была крестообразная метка напильником. Этот нож отобрали у меня при аресте два года назад. И вот он снова у меня в руках. Я положил нож в груду ржавых железок.

Два года назад я въезжал сюда с Варпаховским — он давно был в Магадане, с Заславским — он давно был в Сусумане, а я? Я приезжаю в спецзону вторично.

Ивана Грека увели.

— Подойди.

Я уже знал, в чем дело. Хлястик на моей телогрейке, отложной воротник на моей телогрейке, бумажный вязаный шарф, широкий полутораметровый шарф, который я тщетно старался скрыть, привлек опытное око лагерного старосты.

— Расстегнись!

Я расстегнулся.

— Сменяем,— староста показал на шарф.

— Нет.

— Смотри, хорошо дадим.

— Нет.

— Потом будет поздно.

— Нет.

Началась правильная охота за моим шарфом, но я берег его хорошо, привязывал на себя во время бани, никогда не снимал. В шарфе скоро завелись вши, но и эти мученья я был готов перенести, лишь бы сохранить шарф. Иногда ночами я снимал шарф, чтобы отдохнуть от укусов вшей, и видел на свету, как шарф шевелится, движется. Так много было там вшей. Ночью как-то было невтерпеж, растопили печку, было непривычно жарко, и я снял шарф и положил его рядом с собой на нары. В то же время шарф исчез и исчез навсегда. Через неделю, выходя на развод и готовясь упасть в руки надзирателей и лететь вниз с горы, я увидел старосту, стоявшего у ворот вахты. Шея старосты была закутана в мой шарф. Разумеется, шарф был выстиран, прокипячен, обеззаражен. Староста даже не взглянул на меня. Да и я поглядел на свой шарф только один раз. На две недели хватило меня, моей бдительной борьбы. Наверно, хлеба староста заплатил вору меньше, чем дал бы мне в день приезда. Кто знает. Я об этом не думал. Стало даже легко, и укусы на шее стали подживать, и спать я стал лучше.

И все-таки я никогда не забуду этот шарф, которым я владел так мало.

В моей лагерной жизни почти не было безымянных рук, поддержавших в метель, в бурю, спасших мне жизнь безымянных товарищей. Но я помню все куски хлеба, которые я съел из чужих, не казенных рук, все махорочные папиросы, много раз попадал я в больницу, девять лет жил от больницы до забоя, ни на что не надеясь, но и не пренебрегая ничьей милостыней. Много раз уезжал я из больниц, чтобы на первой же пересылке меня раздели блатари или лагерное начальство.

Спецзона разрослась; вахта, изолятор, простреливаемые с караульных вышек, были новыми. Новыми были и вышки, но столовая была все та же, где в мое время, два года назад, бывший министр Кривицкий и бывший журналист Заславский развлекались на глазах у всех бригад страшным лагерным развлечением. Подбрасывали хлеб, пайку-трехсотку, оставляли на столе без присмотра как ничью, как пайку дурака, который «покинул» свой хлеб, и кто-нибудь из доходяг, полусумасшедших от голода, на эту пайку бросался, хватал ее со стола, уносил в темный угол и цинготными зубами, оставляющими следы крови на хлебе, пытался этот черный хлеб проглотить. Но бывший министр, был он и бывший врач, знал, что голодный не проглотит хлеб мгновенно, зубов у него не хватит, и давал спектаклю развернуться, чтобы не было пути назад, чтобы доказательства были убедительней.

Толпа озверелых работяг набрасывалась на вора, пойманного «на живца». Каждый считал своим долгом — ударить, наказать за преступление, и хоть удары доходяг не могли сломать костей, но душу вышибали.

Это вполне человеческое бессердечие. Черта, которая показывает, как далеко ушел человек от зверя.

Избитый, окровавленный вор-неудачник забивался в угол барака, а бывший министр, заместитель бригадира, произносил перед бригадой оглушительные речи о вреде краж, о священности тюремной пайки.

Все это жило перед моими глазами, и я, глядя на обедающих доходяг, вылизывающих миску столь же ловко, думал: «Скоро на столе появится хлеб-приманка, хлеб-«живец». Уже есть, наверное, здесь и бывший министр, и бывший журналист, делодаватели, провокаторы и лжесвидетели». Игра «на живца» была очень в ходу в спецзоне в мое время.

Чем-то это бессердечие напоминало блатарские романы с голодными проститутками (да и проститутками ли?), когда «гонораром» служит пайка хлеба или, вернее, по взаимному условию,— сколько из этой пайки женщина успевала съесть, пока они лежали вместе. Все, что она не успевала съесть, блатарь отбирал и уносил с собой.

«Я паечку-то заморожу в снегу заранее и сую ей в рот — много не угрызет мерзлую... Иду обратно — и паечка цела».

Это бессердечие блатарской любви — вне человека. Человек не может придумать себе таких развлечений, может только блатарь.

День за днем я двигался к смерти и ничего не ждал.

Все еще я старался выползти за ворота зоны, выйти на работу.

Только не отказ от работы. За три отказа — расстрел. Так было в тридцать восьмом году. А сейчас шел сорок пятый, осень сорок пятого года. Законы были прежние, особенно для спецзон.

Меня еще не бросали надзиратели с горы вниз. Дождавшись взмаха руки конвоира, я бросался к краю ледяной горы и скатывался вниз, тормозясь за ветки, за выступы скал, за льдины. Я успевал встать в ряды и шагать под проклятия всей бригады, потому что я шагал плохо; впрочем, немного хуже, немного тише всех. Но именно эта незначительная разница силы делала меня предметом общей злобы, общей ненависти. Товарищи, кажется, ненавидели меня больше, чем конвой.

Шаркая бурками по снегу, я передвигался к месту работы, а лошадь тащила мимо нас на волокуше очередную жертву голода, побоев. Мы уступали лошади дорогу и сами ползли туда же — к началу рабочего дня. О конце рабочего дня никто не думал. Конец работы приходил сам собой, и как-то не было важно — придет этот новый вечер, новая ночь, новый день — или нет.

Работа была тяжелей день ото дня, и я чувствовал, что нужны какие-то особые меры.

— Гусев... Гусев! Гусев поможет.

Гусев был мой напарник со вчерашнего дня на уборке какого-то нового барака — мусор сжечь, остальное в землю, в подпол, в вечную мерзлоту.

Я знал Гусева. Мы встречались на прииске года два назад, и именно Гусев помог найти украденную у меня посылку,— указал, кого нужно бить, и того били всем бараком, и посылка нашлась. Я дал тогда Гусеву кусок сахару, горсть компоту — не все же я должен был отдать за находку, за донос. Гусеву я могу довериться.

Я нашел выход: сломать руку. Я бил коротким ломом по своей левой руке, но ничего, кроме синяков, не получалось. Не то сила у меня была не та, чтоб сломать человеческую руку, не то внутри какой-то караульщик не давал размахнуться как следует. Пусть размахнется Гусев.

Гусев отказался.

— Я бы мог на тебя донести. По закону разоблачают членовредителей, и ты ухватил бы три года добавки. Но я не стану. Я помню компот. Но браться за лом не проси, я этого не сделаю.

— Почему?

— Потому что ты, когда тебя станут бить у опера, скажешь, что это сделал я.

— Я не скажу.

— Кончен разговор.

Надо было искать какую-то работу, еще легче легкого, и я попросил доктора Ямпольского взять меня к себе на строительство больницы. Ямпольский ненавидел меня, но знал, что я работал санитаром раньше...

Работником я оказался неподходящим.

— Что же ты,— говорил Ямпольский, почесывая свою ассирийскую бородку,— не хочешь работать.

— Я не могу.

— Ты говоришь «не могу» мне, врачу.

«Вы ведь не врач»,— хотел я сказать, ибо я знал, кто такой Ямпольский. Но «не веришь — прими за сказку». Каждый в лагере — арестант или вольный, все равно, работяга или начальник — тот, за кого он себя выдает. С этим считаются и формально, и по существу.

Конечно, доктор Ямпольский — начальник санчасти, а я — работяга, штрафник, спецзонник.

— Я теперь понял тебя,— говорил злобно доктор.— Я тебя выучу жить.

Я молчал. Сколько людей в моей жизни меня учило жить.

— Завтра я тебе покажу. Завтра ты у меня узнаешь...

Но завтра не наступило.

Ночью, вырвавшись вверх по ручью, до нашего города на горе добрались две машины, два грузовика. Рыча и газуя, приползли к воротам зоны и стали сгружаться.

В грузовиках были люди, одетые в иностранную красивую форму.

Это были репатрианты. Из Италии, трудовые части из Италии. Власовцы? Впрочем, «власовцы» звучало для нас, старых колымчан, оторванных от мира, слишком неясно, а для новеньких — слишком близко и живо. Защитный рефлекс говорил им: молчи! А нам колымская этика не позволяла расспрашивать.

В спецзоне, на прииске Джелгала, давно уже поговаривали, что сюда привезут репатриантов. Без срока. Приговора их везут где-то сзади, после. Но люди были живые, живее колымских доходяг.

Для репатриантов это был конец пути, начавшегося в Италии, на митингах. Родина вас зовет. Родина прощает. С русской границы к вагонам был поставлен конвой. Репатрианты прибыли прямо на Колыму, чтобы разлучить меня с доктором Ямпольским, спасти меня от спецзоны.

Ничего, кроме шелкового белья и новенькой военной формы заграничной, у репатриантов не осталось. Золотые часы и костюмы, рубашки репатрианты променяли по дороге на хлеб — и это было у меня, дорога была длинная, и я хорошо эту дорогу знал. От Москвы до Владивостока этап везут сорок пять суток. Потом пароход Владивосток — Магадан — пять суток, потом бесконечные сутки транзиток, и вот конец пути — Джелгала.

На машинах, которые привезли репатриантов, отправили в управление — в неизвестность — пятьдесят человек спецзаключенных. Меня не было в этих списках, но в них попал доктор Ямпольский, и с ним больше я в жизни не встречался.

Увезли старосту, и я в последний раз на его шее увидел шарф, доставивший мне столько мучений и забот. Вши были, конечно, выпарены, уничтожены.

Значит, репатриантов будут зимой раскачивать надзиратели и швырять вниз, а там привязывать к волокуше и волочить в забой на работу. Как кидали нас...

Было начало сентября, начиналась зима колымская...

У репатриантов сделали обыск и привели в трепет всех. Опытные лагерные надзиратели извлекли на свет то, что прошло через десятки обысков на «воле», начиная с Италии,— небольшую бумагу, документ, манифест Власова! Но это известие не произвело ни малейшего впечатления. О Власове, о его РОА мы ничего не слыхали, а тут вдруг манифест.

— А что им за это будет? — спросил кто-то из сушивших возле печки хлеб.

— Да ничего не будет.

Сколько из них было офицеров — я не знаю. Офицеров-власовцев расстреливали; возможно, тут были только рядовые, если помнить о некоторых свойствах русской психологии, натуры.

Года через два после этих событий случилось мне работать фельдшером в японской зоне. Там на любую должность — дневальный, бригадир, санитар — обязательно принимался офицер, и это считалось само собой понятным, хотя пленные офицеры-японцы в больничной зоне формы не носили.

У нас же репатрианты разоблачали, вскрывали по давно известным образцам.

— Вы работаете в санчасти?

— Да, в санчасти.

— Санитаром назначили Малиновского — позвольте вам доложить, что Малиновский сотрудничал с немцами, работал в канцелярии, в Болонье. Я лично видел.

— Это не мое дело.

— А чье же? К кому же мне обратиться?

— Не знаю.

— Странно. А шелковая рубашка нужна кому-нибудь?

— Не знаю.

Подошел радостный дневальный, он уезжал, уезжал, уезжал из спецзоны.

— Что, попался, голубчик? В итальянских мундирах в вечную мерзлоту. Так вам и надо. Не служите у немцев!

И тогда новенький сказал тихо:

— Мы хоть Италию видели! А вы?

И дневальный помрачнел, замолчал.

Колыма не испугала репатриантов.

— Нам тут все, в общем, нравится. Жить можно. Не понимаю только, почему ваши в столовой никогда не едят хлеба — эту двухсотку или трехсотку — кто как наработал. Ведь тут проценты?

— Да, тут проценты.

— Ест суп и кашу без хлеба, а хлеб почему-то уносит в барак.

Репатриант коснулся случайно самого главного вопроса колымского быта.

Но мне не захотелось отвечать: «Пройдет две недели, и каждый из вас будет делать то же самое».

[1966—1967]

Письма А. Солженицыну

В. Шаламов и А. Солжеиицын познакомились в редакции «Нового мира» в 1962 году. Все сближало их — и лагерная судьба, и глубокое понимание причин тотального насилия, и яростная непримиримость к нему.

Солженицын тогда жил в Рязани, часто наезжал в Москву, они встречались, переписывались. Переписка охватывает 1962—1966 годы. Шаламов был более открыт в этой переписке: его письма — это воспоминания о Колыме, и символ веры, и глубокий анализ прозы Солженицына, и эссе о лагерной прозе вообще. Иногда черновик письма переходил в запись впечатлений от беседы с Солженицыным, словно продолжая ее и находя иовые аргументы.

Солженицыи в письмах более сдержан и по-деловому краток, но всегда внимателен к иемногим успехам Шаламова (книжке, публикации) и высоко оценивает его стихи и прозу: «...И я твердо верю, что мы доживем до дня, когда и «Колымская тетрадь», и «Колымские рассказы» тоже будут напечатаны. Я твердо в это верю! И тогда-то узнают, кто такой есть Варлам Шаламов».

Этот день пришел. И, думается, сейчас, когда литература о лагерях так обширна, настало время выслушать суждения Варлама Шаламова о ней.

После моего обращения к А. Солженицыну с просьбой разрешить опубликовать его переписку с В. Шаламовым Александр Исаевич попросил прислать ему копии писем и затем ответил таким письмом от 17.1.90 года:

«Уважаемая Ирина Павловна! На печатание писем Шаламова ко мне Вам тоже требуется разрешение, и я Вам его даю. Они представляют и общественный интерес.

Напротив, имеющиеся у Вас мои письма к нему (у Вас комплект их не полный, не все тут) такого интереса не представляют. К тому же я не хочу поощрять начавшуюся лавину печатания моих писем, обычно без спроса. Моих писем к В. Т. печатать не разрешаю.

Всего доброго. А. СОЛЖЕНИЦЫН».

Публикация писем и записей В. Шаламова подготовлена по черновикам, сохранившимся в его архиве (ЦГАЛИ, ф. 2596, оп. 2, ед. хр. 95).

И СИРОТИНСКАЯ

Дорогой Александр Исаевич.

Я две ночи не спал — читал повесть[1], перечитывал, вспоминал...

Повесть — как стихи,— в ней все совершенно, все целесообразно. Каждая строка, каждая сцена, каждая характеристика настолько лаконична, умна, тонка и глубока, что я думаю, что «Новый мир» с самого начала своего существования ничего столь цельного, столь сильного не печатал. И столь нужного — ибо без честного решения этих самых вопросов ни литература, ни общественная жизнь не могут идти вперед — все, что идет с недомолвками, в обход, в обман — приносило, приносит и принесет только вред.

Позвольте поздравить Вас, себя, тысячи оставшихся в живых и сотни тысяч умерших (если не миллионы), ведь они живут тоже с этой поистине удивительной повестью.

Позвольте и поделиться мыслями своими по поводу и повести, и лагерей.

Повесть очень хороша. Мне случалось слышать отзывы о ней — ее ведь ждала вся Москва. Даже позавчера, когда я взял одиннадцатый номер «Нового мира» и вышел с ним на площадь Пушкинскую, три или четыре человека за 20—30 минут спросили: «Это одиннадцатый номер?» — «Да, одиннадцатый».— «Это где повесть о лагерях?» — «Да, да!» — «А где Вы взяли, где купили?»

Я получил несколько писем (я это говорил Вам в «Новом мире»), где очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя ее сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо. Дело, очевидно, в том, что материал этот такого рода, что люди, не знающие лагеря (счастливые люди), ибо лагерь — школа отрицательная, даже часа не надо быть человеку в лагере, минуты его не видеть, не смогут оценить эту повесть во всей ее глубине, тонкости, верности. Это и в рецензиях видно, и в симоновской, и в баклановской, и в ермиловской. Но о рецензиях я писать Вам не буду.

Повесть эта очень умна, очень талантлива. Это — лагерь с точки зрения лагерного «работяги», который знает мастерство, умеет «заработать», работяги, не Цезаря Марковича и не кавторанга. Это — не «доплывающий» интеллигент, а испытанный великой пробой крестьянин, выдержавший эту пробу и рассказывающий теперь с юмором о прошлом.

В повести все достоверно. Это лагерь «легкий», не совсем настоящий. Настоящий лагерь в повести тоже показан и показан очень хорошо: этот страшный лагерь — Ижма Шухова — пробивается в повести, как белый пар сквозь щели холодного барака. Это тот лагерь, где работяг на лесоповале держали днем и ночью, где Шухов потерял зубы от цинги, где блатари отнимали пищу, где были вши, голод, где по всякой причине заводили дело. Скажи, что спички на воле подорожали, и заводят дело. Где на конце добавляли сро́ка, пока его не выдадут «весом», «сухим пайком» в семь граммов. Где было в тысячу раз страшнее, чем на каторге, где «номера не весят». На каторге, в Особлаге, который много слабее настоящего лагеря. В обслуге здесь вольнонаемные надзиратели (надзиратель на Ижме — бог, а не такое голодное создание, у которого моет пол на вахте Шухов). В Ижме... Где царят блатари, и блатная мораль определяет поведение и заключенных, и начальства, особенно воспитанного на романах Шейнина и погодинских «Аристократах». В каторжном лагере, где сидит Шухов, у него есть ложка, ложка для настоящего лагеря — лишний инструмент. И суп, и каша такой консистенции, что можно выпить через борт, около санчасти ходит кот — тоже невероятно для настоящего лагеря,— кота давно бы съели. Это грозное, страшное былое Вам удалось показать и показать очень сильно сквозь эти вспыш-

ки памяти Шухова, воспоминания об Ижме. Школа Ижмы — это и есть та школа, где и выучился Шухов, случайно оставшийся в живых. Все это в повести кричит полным голосом, для моего уха, по крайней мере.

Есть еще одно огромнейшее достоинство — это глубоко и очень тонко показанная крестьянская психология Шухова. Столь тонкая высокохудожественная работа мне не встречалась, признаться, давно. Крестьянин, который сказывается во всем,— и в интересе к «красилям» [2], и в любознательности, и природно цепком уме, и умении выжить, наблюдательности, осторожности, осмотрительности, чуть скептическом отношении к разнообразным Цезарям Марковичам, да и всевозможной власти, которую приходится уважать. Умная независимость, умное покорство судьбе и умение приспособиться к обстоятельствам, и недоверие — все это черты народа, людей деревни. Шухов гордится собой, что он — крестьянин, что он выжил, сумел выжить и умеет и поднести сухие валенки богатому бригаднику, и умеет «заработать». Я не буду перечислять всех художественных подробностей, свидетельствующих об этом. Вы их знаете сами.

Великолепно показано то смещение масштабов, которое есть у всякого старого арестанта, есть и у Шухова. Это смещение масштабов касается не только пищи: когда глотает кружок колбасы — высшее блаженство, а и более глубоких вещей, и с Кильгасом ему было интереснее говорить, чем с женой, и т. д. Это — глубоко верно. Это — одна из важнейших лагерных проблем. Поэтому для возвращения нужен «амортизатор» не менее двух-трех лет. Очень тонко и мягко о посылке, которую все-таки ждешь, хотя и написал, чтоб не посылали. Выживу — так выживу, а нет — не спасешь и посылками. Так и я писал, так и я думал перед списком посылок.

Вообще детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы. Стоит вспомнить только невыжатую тряпку, которую бросает Шухов за печку после мытья полов. Таких подробностей в повести — сотни — других, не новых, не точных вовсе нет.

Вам удалось найти исключительно сильную форму. Дело в том, что лагерный быт, лагерный язык, лагерные мысли немыслимы без матерщины, без ругани самым последним словом. В других случаях это может быть преувеличением, но в лагерном языке — это характерная черта быта, без которой решать этот вопрос успешно (а тем более образцово) нельзя. Вы его решили. Все эти «фуяслице», «...яди», все это уместно, точно и — необходимо. Понятно, что и всякие «падлы» занимают полноправное место, и без них не обойтись. Эти «паскуды», между прочим, тоже от блатарей, от Ижмы, от общего лагеря.

Необычайно правдивой фигурой в повести, авторской удачей, не уступающей главному герою, я считаю Алешку, сектанта, и вот почему. За двадцать лет, что я провел в лагерях и около них, я пришел к твердому выводу — сумме многолетних, многочисленных наблюдений,— что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу сохраняли и сохранили неизменно человеческие черты,— это сектанты и вообще религиозники, включая и православных попов. Конечно, были отдельные хорошие люди и из других групп населения, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Сектанты же всегда оставались людьми.

В Вашем лагере хорошие люди — эстонцы. Правда, они еще горя не видели — у них есть табак, еда. Голодать всей Прибалтике приходилось больше, чем русским,— там все народ крупный, рослый, а паек ведь одинаковый, хотя лошадям дают паек в зависимости от веса. «Доходили» всегда и везде латыши, литовцы, эстонцы раньше из-за рослости своей, да еще потому, что деревенский быт Прибалтики немного другой, чем наш. Разрыв между лагерным бытом больше. Были такие философы, которые смеялись над этим, дескать, не выдерживает Прибалтика против русского человека,— эта мерзость встречается всегда.

Очень хорош бригадир, очень верен. Художественно этот портрет безупречен, хотя я не могу представить себе, как бы я стал бригадиром (мне это предлагали когда-то неоднократно), ибо хуже того, чтобы приказывать другим работать, хуже такой должности, в моем понимании, в лагере нет. Заставлять работать арестантов — не только голодных, бессильных стариков-инвалидов, а всяких — ибо для того, чтобы дойти при побоях, четырнадцатичасовом рабочем дне, многочасовой выстойке, голоде, пятидесяти-шестидесятиградусном морозе, надо очень немного, всего три недели, как я подсчитал, чтобы вполне здоровый, физически сильный человек превратился в инвалида, в «фитиля», надо три недели в умелых руках. Как же тут быть бригадиром? Я видел десятки примеров, когда при работе со слабым напарником сильный просто молчал и работал, готовый перенести все, что придется. Но не ругать товарища. Сесть из-за товарища в карцер, даже получить срок, даже умереть. Одного нельзя — приказывать товарищу работать. Вот потому-то я не стал бригадиром. Лучше, думаю, умру. Я мисок не лизал за десять лет своих общих работ, но не считаю, что это занятие позорное, это можно делать. А то, что делает кавторанг — нельзя. А вот потому-то я не стал бригадиром и десять лет на Колыме провел от забоя до больницы и обратно, принял срок десятилетний. Ни в какой конторе мне работать не разрешали, и я не работал там ни одного дня. Четыре года нам не давали ни газет, ни книг. После многих лет первой попалась книжка Эренбурга «Падение Парижа». Я полистал, полистал, оторвал листок на цигарку и закурил.

Но это — личное мнение мое. Таких бригадиров, как изображенный Вами, очень много, и вылеплен он очень хорошо. Опять же — в каждой детали, в каждой подробности его поведения. И исповедь его превосходна. Она и логична. Такие люди, отвечая на какой-то внутренний зов, неожиданно выговариваются сразу. И то, что он помогает тем немногим людям, кто ему помог, и то, что радуется смерти врагов,— все верно. Ни Шухов, ни бригадир не захотели понять высшей лагерной мудрости: никогда не приказывай ничего своему товарищу, особенно — работать. Может, он болен, голоден, во много раз слабее тебя. Вот это умение поверить товарищу и есть самая высшая доблесть арестанта. В ссоре кавторанга с Фетюковым мои симпатии всецело на стороне Фетюкова. Кавторанг — это будущий шакал. Но об этом — после.

В начале Вашей повести сказано: закон — тайга, люди и здесь живут, гибнет тот, кто миски лижет, кто в санчасть ходит и кто ходит к «куму». В сущности об этом — и написана вся повесть. Но это — бригадирская мораль. Опытный бригадир Кузёмин не сказал Шухову одной важной лагерной поговорки (бригадир и не мог ее сказать). Что в лагере убивает большая пайка, а не маленькая. Работаешь ты в забое — получаешь килограмм хлеба, лучшее питание, ларек и т. д. И умираешь. Работаешь дневальным, сапожником и получаешь пятьсот граммов, и живешь двадцать лет, не хуже Веры Фигнер и Николая Морозова держишься. Эту поговорку Шухов должен был узнать на Ижме и понять, что работать надо так — тяжелую работу плохо, а легкую, посильную — хорошо. Конечно, когда ты доплыл, и о качестве легкой работы не может быть речи, но закон верен, спасителен.

Каким-то концом эта новая для Вашего героя философия опирается и на работу санчасти. Ибо, конечно, на Ижме только врачи оказывали помощь, только врачи и спасали. И хотя поборников трудовой терапии и там было немало, и стихи заказывали врачи, и взятки брали — но только они могли [спасти] и спасали людей.

Можно ли допустить, чтобы твоя воля была использована для подавления воли других людей, для медленного (или быстрого) их убийства. Самое худшее, что есть в лагере,— это приказывать другим работать. Бригадир — это страшная фигура в лагерях. Мне много раз предлагали бригадиром. Но я решил, что умру, но бригадиром не стану.

Конечно, такие бригадиры любят Шуховых. Бригадир не бьет кавторанга только до той поры, пока тот не ослабел. Вообще это наблюдение, что в лагерях бьют лишь людей ослабевших, очень верно и в повести показано хорошо.

Тонко и верно показано увлечение работой Шухова и других бригадников, когда они кладут стену. Бригадиру и помбригадиру размяться — в охотку. Для них это ничего не стоит. Но и остальные увлекаются в горячей работе — всегда увлекаются. Это верно. Значит, что работа еще не выбила из них последние силы. Это увлечение работой несколько сродни тому чувству азарта, когда две голодных колонны обгоняют друг друга, эта детскость души, сказывающаяся и в реве оскорблений по адресу опоздавшего молдавана (чувство, которое и Шухов разделяет всецело),— все это очень точно, очень верно. Возможно, что такого рода увлечение работой и спасает людей. Надо только помнить, что в бригадах лагерных всегда бывают новички и старые арестанты — не хранители законов, а просто более опытные. Тяжелый труд делают новички — Алешка, кавторанг. Они один за другим умирают, меняются, а бригадиры живут. Это ведь и есть главная причина, почему люди идут работать в бригадиры и отбывают несколько сроков.

В настоящем лагере на Ижме утреннего супа хватало на час работы на морозе, а остальное время каждый работал лишь столько, чтобы согреться. И после обеда также хватало баланды только на час.

Теперь о кавторанге. Здесь есть немного «клюквы». К счастью, очень немного. В первой сцене — у вахты. «Вы не имеете права» и т. д. Тут некоторый сдвиг во времени. Кавторанг — фигура тридцать восьмого года. Вот тогда чуть не каждый так кричал. Все, так кричавшие, были расстреляны. Никакого «кондея» за такие слова не полагалось в 1938 году. В 1951 году кавторанг так кричать не мог, каким бы новичком он ни был. С 1937 года в течение четырнадцати лет на его глазах идут расстрелы, репрессии, аресты, берут его товарищей, и они исчезают навсегда. А кавторанг не дает себе труда даже об этом подумать. Он ездит по дорогам и видит повсюду караульные лагерные вышки. И не дает себе труда об этом подумать. Наконец, он прошел следствие, ведь в лагерь-то попал он после следствия, а не до. И все-таки ни о чем не подумал. Он мог этого не видеть при двух условиях: или кавторанг четырнадцать лет пробыл в дальнем плавании, где-нибудь на подводной лодке, четырнадцать лет не поднимаясь на поверхность. Или четырнадцать лет сдавал в солдаты бездумно, а когда взяли самого, стало нехорошо. Не думает кавторанг и о бендеровцах, с которыми сидеть не хочет (а со шпионами? с изменниками родины? с власовцами? с Шуховым? с бригадиром?). Ведь эти бендеровцы — такие же бендеровцы, как кавторанг шпион. Его ведь не кубок английский угробил, а просто сдали по разверстке, по следовательским контрольным спискам. Вот единственная фальшь Вашей повести. Не характер (такие есть правдолюбцы, что вечно спорят, были, есть и будут). Но типичной такая фигура могла быть только в 1937 году (или в 1938 — для лагерей). Здесь кавторанг может быть истолкован как будущий Фетюков. Первые побои — и нет кавторанга. Кавторангу — две дороги: или в могилу, или лизать миски, как Фетюков — бывший кавторанг, сидящий уже восемь лет.

В тридцать восьмом году убивали людей в забоях, в бараках. Нормированный рабочий день был четырнадцать часов, сутками держали на работе, и какой работе. Ведь лесоповал, бревнотаска Ижмы — такая работа — это мечта всех горнорабочих Колымы. Для помощи в уничтожении пятьдесят восьмой статьи были привлечены уголовники — рецидивисты, блатари, которых называли «друзьями народа», в отличие от врагов, которых засылали на Колыму безногих, слепых, стариков — без всяких медицинских барьеров, лишь бы были «спецуказания» Москвы. На градусник в 1938 году глядели, когда он достигал 56 градусов, в 1939—1947 — 52°, а после 1947 года — 46°. Все эти мои замечания, ясное дело, не умаляют ни художественной правды Вашей повести, ни той действительности, которая стоит за ними. Просто у меня другие оценки. Главное для меня в том, что лагерь 1938 года есть вершина всего страшного, отвратительного, растлевающего. Все остальные и военные годы, и послевоенные — страшно, но не могут идти ни в какое сравнение с 1938 годом.

Вернемся к повести. Повесть эта для внимательного читателя — откровение в каждой ее фразе. Это первое, конечно, в нашей литературе произведение, обладающее и смелостью, и художественной правдой, и правдой пережитого, перечувствованного,— первое слово о том, о чем все говорят, но еще никто ничего не написал. Лжи за время с XX съезда было уже немало. Вроде омерзительного «Самородка» Шелеста[3] или фальшивой и недостойной Некрасова повести «Кира Георгиевна». Очень хорошо, что в лагере нет патриотических разговоров о войне, что Вы избежали этой фальши. Война полностью говорит там трагическим голосом искалеченных судеб, преступных ошибок. Еще одно. Мне кажется, что понять лагерь без роли блатарей в нем нельзя. Именно блатной мир, его правила, этика и эстетика вносят растление в души всех людей лагеря — и заключенных, и начальников, и зрителей. Почти вся психология рабочей каторги и внутренней ее жизни определялась, в конечном счете, блатарями. Вся ложь, которая введена в нашу литературу в течение многих лет «Аристократами» Погодина и продукцией Льва Шейнина,— неизмерима. Романтизация уголовщины нанесла великий вред, спасая блатных, выдавая их за внушающих доверие романтиков, тогда как блатари — не люди.

В Вашей повести блатной мир только просачивается в щели рассказа. И это хорошо, и это верно.

Вот разрушение этой многолетней легенды о блатарях-романтиках — одна из очередных задач нашей художественной литературы.

Блатарей в Вашем лагере нет!

Ваш лагерь без вшей! Служба охраны не отвечает за план, не выбивает его прикладами.

Кот!

Махорку меряют стаканом!

Не таскают к следователю.

Не посылают после работы за пять километров в лес за дровами.

Не бьют.

Хлеб оставляют в матрасе. В матрасе! Да еще набитом! Да еще и подушка есть! Работают в тепле.

Хлеб оставляют дома! Ложками едят! Где этот чудный лагерь?

Хоть бы с годок там посидеть в свое время.

Сразу видно, что руки у Шухова не отморожены, когда он сует пальцы в холодную воду. Двадцать пять лет прошло, а я совать руки в ледяную воду не могу.

В забойной бригаде золотого сезона 1938 года к концу сезона, к осени, оставались только бригадир и дневальный, а все остальные за это время ушли или «под сопку», или в больницу, или в другие, еще работающие на подсобных работах бригады. Или расстреляны: по спискам, которые читались каждый день на утреннем разводе до глубокой зимы 1938 года,— списки тех, кто расстрелян позавчера, три дня назад. А в бригаду приходили новички, чтобы в свою очередь умереть или заболеть, или встать под пули, или издохнуть от побоев бригадира, конвоира, нарядчика, парикмахера и дневального. Так было со всеми забойными бригадами у нас.

Ну, хватит. Поехал я в сторону, не удержался. Пересчет бесконечный — все это верно, точно, знакомо очень хорошо. Пятерки эти запомнятся навек. Горбушки, серединки не упущены. Мера рукой пайки и затаенная надежда, что украли мало,— верна, точна. Кстати, во время войны, когда шел белый американский хлеб, с подмесом кукурузы, ни один хлеборез не резал загодя, трехсотка за ночь теряла до пятидесяти граммов. Был приказ выдавать бригаде хлеб весом не резаный, а потом стали резать перед самым разводом.

Именно КЭ-460. Все в лагере говорят «кэ», а не «ка». Кстати, почему «зэк», а не «зэка». Ведь это так пишется: з/к и склоняется: зэка, зэкою. Невыжатая тряпка, которую Шухов бросает на вахте за печку, стоит целого романа, а таких мест сотни.

Разговор Цезаря Марковича с кавторангом и с москвичом очень уловлен хорошо. Передать разговор об Эйзенштейне — чужеродная для Шухова мысль. Здесь автор показывает себя как писателя, чуть отступая от шуховской маски.

[У лагерника] обеднен язык, обеднено мышление, смещены все масштабы дум.

Произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи.

И еще один вопрос, очень важный, решен Шуховым очень верно: кто находится на дне? Да те же, что и наверху. Ничем не хуже, а даже, пожалуй, получше, покрепче!

Очень правильно подписал Шухов на следствии протокол допроса. И хотя я за свои два следствия не подписал ни одного протокола, обличающего меня, и никаких признаний не давал — толк был один и тот же. Дали срок и так. Притом на следствии меня не били. А если бы били (как со второй половины 1937 года и позднее) — не знаю, что бы я сделал и как бы себя вел.

Отличен конец. Этот кружок колбасы, завершающий счастливый день. Очень хорошо печенье, которое нежадный Шухов отдает Алешке.— Мы — заработаем. Он — удачлив. На!..

Стукач Пантелеев показан очень хорошо. «А проводят по санчасти!» Вот что такое стукач, вовсе не понял бедняга Вознесенский, который так хочет шагать в ногу с веком. В его «Треугольной груше» есть стихи о стукачах, американских стукачах ни много ни мало. Я сначала не понял ничего, потом разобрался: Вознесенский называет стукачами штатных агентов наблюдения, «филеров», так их зовут в воспоминаниях.

Художественная ткань так тонка, что различаешь латыша от эстонца. Эстонцы и Кильгас — разные люди, хоть и в одной бригаде. Очень хорошо. Мрачность Кильгаса, тянущегося больше к русскому человеку, чем к соседям прибалтийцам,— очень верна.

Великолепно насчет лишней пищи, которую ел Шухов на воле и которая была, оказывается, вовсе не нужна. Эта мысль приходит в голову каждому арестанту. И выражено это блестяще.

Сенька Клевшин и вообще люди из немецких лагерей, которых обязательно сажали после,— их было много. Характер очень правдив, очень важен.

Волнения о «зажиленных» воскресеньях очень верны (в 1938 году на Колыме не было отдыха в забое. Первый выходной получил я 18 декабря 1938 года. Весь лагерь угнали в лес за дровами на целый день). И что радуются всякому отдыху, не думая, что время все равно начальство вычтет. Это потому, что арестант не планирует жизнь дальше сегодняшнего вечера. Дай сегодня, а что там будет завтра,— посмотрим.

О двух потах в горячей работе — очень хорошо.

О сифилисе от бычков. Никто в лагере не заразился таким путем. Умирали в лагере не от этого.

Бранящиеся старики-парашники, валенок, летящий в столб. Ноги Шухова в одном рукаве телогрейки — все это великолепно.

Большой разницы в вылизывании мисок и в отирании дна коркой хлеба нет. Разница только подчеркивает, что там, где живет Шухов, еще нет голода, еще можно жить.

Шепот! «Продстол передернули». И «у кого-то вечером отрежут».

Взятки — очень все верно.

Валенки! У нас валенок не было. Были бурки из старой ветоши — брюк и телогреек десятого срока. Первые валенки я надел, уже став фельдшером, через десять лет лагерной жизни. А бурки носил не в сушилку, а на починку. На дне, на подошве наращивают заплаты.

Термометр! Все это прекрасно!

В повести очень выражена и проклятая лагерная черта: стремление иметь помощников, «шестерок». Работу по уборке в конце концов делают те же работяги после тяжелой работы в забое подчас до утра. Обслуга человека — над человеком. Это ведь и не только для лагеря характерно.

В Вашей повести очень не хватает начальника (большого начальника, вплоть до начальника приисковых управлений), торгующего среди заключенных махоркой через дневального зэка по пяти рублей папироса. Не стакан, не пачка, а папироса. Пачка махорки у такого начальника стоила от ста до пятисот рублей.

— Дверь притягивай!

Описание завтрака, супчика, опытного, ястребиного арестантского глаза — все это верно, важно. Только рыбу едят с костями — это закон. Этот черпак, который дороже всей жизни прошлой, настоящей и будущей,— все это выстрадано, пережито и выражено энергично и точно.

Горячая баланда! Десять минут жизни заключенного за едой. Хлеб едят отдельно, чтобы продлить удовольствие еды. Это — всеобщий гипнотический закон.

В 1945 году приехали репатрианты сменить нас на прииск Северного управления на Колыме. Удивлялись: «Почему ваши в столовой съедают суп и кашу, а хлеб берут с собой. Не лучше ли...» Я отвечал: «Не пройдет и двух недель, как вы это поймете и станете делать точно так же». Так и случилось.

Полежать в больнице, даже умереть на чистой постели, а не в бараке, не в забое, под сапогами бригадиров, конвоиров и нарядчиков,— мечта всякого зэка. Вся сцена в санчасти очень хороша. Конечно, санчасть видела более страшные вещи (например, стук о же-

лезный таз ногтей с отмороженных пальцев работяг, которые срывает врач щипцами и бросает в таз и т. д.).

Минута перед разводом — очень хороша.

Холмик сахару. У нас сахар никогда не выдавали на руки, всегда в чаю.

Вообще весь Шухов, в каждой сцене очень хорош, очень правдив.

Цезарь Маркович — вот это и есть герой некрасовской «Киры Георгиевны». Такой Цезарь Маркович вернется на волю и скажет, что в лагере можно изучать иностранные языки и вексельное право.

«Шмон» утренний и вечерний — великолепен.

Вся Ваша повесть — это та долгожданная правда, без которой не может литература наша двигаться вперед. Все, кто умолчат об этом, исказят правду эту,— подлецы.

Очень хорошо описана предзона и этот загон, где стоят бригады, одна за другой. У нас такая была. А на фронтоне главных ворот (во всех отделениях лагеря по особому приказу сверху) цитата на красном сатине: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства!» Вот как!

Традиционное предупреждение конвоя, которое всякий зэка выучил наизусть, называлось у [нас]: «шаг вправо — шаг влево считаю побегом, прыжок вверх агитацией!» Шутят, как видите, везде.

Письмо. Очень тонко, очень верно.

Насчет «красилей» — ярче картины не бывало.

Все в повести этой верно, все правда.

Помните, самое главное: лагерь отрицательная школа с первого до последнего дня для кого угодно. Человеку — ни начальнику, ни арестанту — не надо видеть. Но уж если ты видел — надо сказать правду, как бы она ни была страшна. Шухов остался человеком не благодаря лагерю, а вопреки ему.

Я рад, что Вы знаете мои стихи. Скажите как-нибудь Твардовскому, что в его журнале лежат мои стихи более года, и я не могу добиться, чтобы их показали Твардовскому. Лежат там и рассказы, в которых я пытался показать лагерь так, как я его видел и понял.

Желаю Вам всякого счастья, успеха, творческих сил. Просто физических сил, наконец.

В 1958 году (!) в Боткинской больнице у меня заполняли историю болезни, как вели протокол допроса на следствии. И полпалаты гудело: «Не может быть, что̀ он врет, что̀ он такое говорит!» И врачиха сказала: «В таких случаях ведь сильно преувеличивают, не правда ли?» И похлопала меня по плечу. И меня выписали. И только вмешательство редакции заставило начальника больницы перевести меня в другое отделение, где я и получил инвалидность.

Вот поэтому-то Ваша книга и имеет важность, не сравнимую ни с чем — ни с докладами, ни с письмами.

Еще раз благодарю за повесть. Пишите, приезжайте. У меня всегда можно остановиться.

Ваш В. Шаламов.

Со своей стороны, я давно решил, что всю мою оставшуюся жизнь я посвящу именно этой правде. Я написал тысячу стихотворений, сто рассказов, с трудом опубликовал за шесть лет один сборник стихов-калек, стихов-инвалидов, где каждое стихотворение урезано, изуродовано.

Слова мои в нашем разговоре о ледоколе и маятнике не были случайными словами [4]. Сопротивление правде очень велико. А людям ведь не нужны ни ледоколы, ни маятники. Им нужна свободная вода, где не нужно никаких ледоколов.

В. Ш.

[ноябрь 1962]

[Запись В. Т. Шаламова.]

30 мая после получения письма [5] дал телеграмму и стал ждать 2-го в воскресенье приезда.

2 июня. Солженицын. Рассказ «Для пользы дела».

«Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано как малодушие, приспособленчество.

Пьеса «Олень и шалашовка» задержана по моей инициативе. Театр (Ефремов) настаивал, чтоб дал в театр читать, чтобы понемногу готовить, но я отказался наотрез. Я написал две пьесы («Олень и шалашовка» и «Свеча на ветру»), роман, киносценарий «Восстание в лагере» [6].

Получил огромное количество писем. Написал пятьсот ответов. Вот два — одно какого-то вохровца, ругательное за «Ивана Денисовича», другое горячее, в защиту. Были письма от з/к, которые писали, что начальство лагеря не выдает «Роман-газету». Вмешательство через Верховный суд. В Верховном суде несколько месяцев назад я выступал. Это — единственное исключение (да еще вечер в рязанской школе в прошлом году). Верховный суд включил меня в какое-то общество по наблюдению жизни в лагерях, но я отказался. Вторая пьеса («Свеча на ветру») будет читана в Малом театре».

[Запись В. Т. Шаламова.]

А. Солженицын. 26 июля 1963 года. Приехал из Ленинграда, где месяц работал в архивах над новым своим романом. Сейчас — в Рязань, в велосипедную поездку (Ясная Поляна и дальше вдоль рек), вместе с Натальей Алексеевной [7]. Бодр, полон планов. «Работаю по двенадцать часов в день». «Для пользы дела» идет в седьмом номере «Нового мира». Были исправления незначительные, но неприятные. За границей об «Иване Денисовиче» писали много, английские статьи (до 40) читал со словарем. Разных позиций, самых разных. И то, что это «одна политика» (перевод «Ивана Денисовича» был посредственный, тональность исчезла), и то что это «начало правды», большой творческий успех. Весь мир переводил, кроме ГДР, где Ульбрихт запретил публикацию.

«Новый мир». Твардовский расположен. Члены редакции остались к Солженицыну безразличны, как и писатели!

— Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой четырех, по существу, лет (четыре года благополучной жизни).

Сообщил свою точку зрения на то, что писатель не должен слишком хорошо знать материал.

Разговор о Чехове. Я: — Чехов всю жизнь хотел и не мог, не умел написать роман. «Скучная история», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека» — все это попытки написать роман. Это потому, что Чехов умел писать, только не отрываясь, а безотрывно можно написать только рассказ, а не роман.

Солженицын: — Причина, мне кажется, лежит глубже. В Чехове не было устремления ввысь, что обязательно для романиста,— Достоевский, Толстой.

Разговор о Чехове на этом кончился, и я только после вспомнил, что Боборыкин, Шеллер-Михайлов легко писали огромные романы без всякого взлета ввысь.

Солженицын: — Стихи, которые я привозил печатать («Невеселая

повесть в стихах»),— это доведенные до кондиции выборки из большой поэмы, там есть хорошие, как мне кажется, места.

Приглашал на сентябрь в Рязань для отдыха.

14 августа 1963 года.

Дорогой Александр Исаевич.

Все хотелось дождаться выхода седьмого номера «Нового мира» с рассказом, взглянуть на него уже другими глазами. Ведь рукопись — одно, машинописный текст — другое, журнальный текст — третье, а книга — четвертое. В переиздании, «Избранных» опять текст выглядит всегда по-своему.

Восторг мой по поводу «Для пользы дела» усилился. Название рассказа уж очень точно, исчерпывающее; лучше, значительней, удачней, тоньше, важнее назвать нельзя.

Потеря в образе Хабалыгина ощутима, там зажевано важное размышление Грачикова насчет Хабалыгина и очень важный абзац (он весь остался — о коммунистах, которых надо гнать из партии), но как-то повис в воздухе, он был раньше укреплен гораздо лучше. Больших потерь, по-моему, нет, да и для читателя это — не потеря. Во всяком случае, было лучше.

«Для пользы дела», как я уже Вам говорил,— очень тонкая работа, по существу, своеобразное отражение вовсе других, неравнозначащих событий, авторский ответ на вопросы, которые вовсе не исчерпываются содержанием рассказа.

Главное в рассказе — это глубоко педагогическая мысль, что ложь перед молодежью трижды большее преступление, о том, что энтузиазм, конечно, еще будет, и еще раз, но... Все это ведь осталось, пострадал только Хабалыгин и суждение насчет «внутреннего капитализма».

Я лежал и с удовольствием вчитывался в пейзаж — в эти белые, быстро летящие облака, в собравшийся дождь, в то, что хоть немного продуло и освежило.

В первом чтении, где сочленения Кнорозова описаны очень хорошо, и левая рука, поддерживающая правую, у Федора Михеевича тоже хороша, я упустил бухгалтершу, которая закусила губу и — вышла.

Поздравляю Вас от всего сердца.

Вчера проделал опыт на том же отрезке улицы, который в ноябре я проходил с одиннадцатым номером «Нового мира», с «Одним днем Ивана Денисовича», когда меня остановили четыре человека: «Вышел журнал? Вышел? Вышел? С этой повестью? Да? Где Вы взяли?» Нынче прошел тот же путь, держа в руках стеклянную банку с топленым маслом. Спросили «Где взяли?» только два человека. Мораль: не хлебом единым жив будет человек.

Как Ваша поездка с Натальей Алексеевной на велосипедах? Дороги? Как южные планы? Жду Вас в Москве. Желаю здоровья, силы, Наталье Алексеевне лучший мой привет. Ольга Сергеевна[8] приветствует обоих.

Ваш В. Шаламов.

Дорогой Александр Исаевич.

28 августа я сдал новую книжку стихов в «Советском писателе». Не то что она сдана в производство (до этого еще далеко), но рукопись включена в план (сентябрь) и прошла подбор и гребенку пер-

вого редактора, имя которого будет значиться на титуле. Еще — два чтеца, кроме Главлита. Экземпляр рукописи «Шелеста листьев» (так называется книжка) я берегу для Вас и Натальи Алексеевны и передам, когда увижу Наталью Алексеевну. Многое Вы знаете, кое-что есть новое. Как и «Огниво», «Шелест листьев» больше редакторское достижение, чем авторское, но я устал сопротивляться. И это — не тот сборник, который мне хотелось бы иметь.

Книжка пройдет почти все этапы до 10 сентября, вероятно.

Я думал взять с собой в Рязань «воровской материал»[9], кроме чистой бумаги, как мнение Ваше? Благодарю за приглашение на дачу, я обязательно при всех обстоятельствах приеду. Сердечный мой привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна приветствует Вас обоих.

Ваш В. Шаламов.

Взять «Бутырская тюрьма»[10], «Подполковник медицинской службы»[11].

Дорогой Александр Исаевич.

Наталья Алексеевна была у меня, любезный ее разговор я никогда не забуду, и мы сговорились, что я приеду не 9-го, а 11-го. Эта отсрочка... вызвана желанием моим ускорить сдачу книжки. Двухлетнее движение подошло к концу (к концу ли), и книжка включена в план сентября. Раньше ее хотели включить в октябрь, а я просил во второй квартал, и ее передвинули на сентябрь (это было еще до получения Вашего письма). Я рассчитывал твердо сдать книжку (и сдал) в августе. Но рассчитать сроки редакционного чтения очень трудно, и получилось так, что консультант издательства (главная фигура на моем пути) возьмет книгу только 9-го числа (вместо предполагавшегося 1-го). Я просил его прочесть в один-два дня.

Я мог бы бросить любые [нрзб] дела и приехать 9-го, ибо эта встреча мне бесконечно важна, но оставить сдачу книжки я не могу.

Так что я приеду не 9-го и не 10-го, как мы сговорились с Натальей Алексеевной, я пришлю телеграмму. Но, может быть, это будет более позднее число, чем 10-е и 11-е.

Теперь о самом сборнике. Помните, при нашей первой встрече в «Новом мире» Вы говорили, что вот теперь пора выпустить хороший сборник. Такой сборник и сейчас выпустить невозможно. Все колымские стихи сняты по требованию редактора. Все остальное, за исключением двух-трех стихотворений, получило пригладку, урезку. Редакторы-лесорубы превращают дремучую тайгу в обыкновенное редколесье, чтоб высшему (поли-тическое, выступающее под флагом поэ-тического) начальству легко было превратить труды своих сотрудников в респектабельный парк. Еще одну-две статуи захотят в парк поставить. Я пишу все это Вам затем, чтобы Вы прониклись моим настроением. Ведь эти несколько дней решают почти все для книжки. В «почти» входит Главлит и некоторые форс-мажоры. Но там я бессилен, а сейчас хоть и в арьергарде боя, но сражаюсь за каждую строку.

Желаю Вам и Наталье Алексеевне всего самого, самого лучшего.

Я приеду сейчас же, как определится решение и мое присутствие не будет необходимым. Я мог бы приехать 9-го с тем, чтобы уехать 15-го. Но ведь такой визит хуже, да и неспокойным он будет. Поэтому простите меня за эту вынужденную задержку. Я уже все собрал — вещи, придумал, что взять с собой для работы.

Сердечно Ваш В. Шаламов.

Сердечный привет.

[Вариант]

На фельдшерских курсах, где я учился, был преподаватель «внутренних болезней» Малинский. Он все там твердил: «Самое главное в вашей будущей практике — научиться верить больному. Не будет в вас этой веры, медицинский работник из вас не выйдет».

Историю эту припоминаю я сейчас вот по какому [поводу]. Никто в семье (в том числе, не исключая и самых близких) не понимает, насколько тяжело (или трудно) и как именно я болен.

После вчерашней подробной и сердечной беседы с Натальей Алексеевной я все же вынужден отказаться от приглашения и к Вам не поеду. И вот почему.

Переезд в вагоне до Рязани и на телеге до Солотчи неизбежно выведет меня из строя на несколько дней, потребуется, вероятно, и присутствие врача и т. д., а лежать двое-трое суток придется.

Второе. Я уже семь лет варю себе еду сам и ни в какой столовой обедать не могу. В этой тщательности диеты — одна из моих побед, и я не могу поставить на карту все, что сберегалось в течение многих лет. Я не ем никакого мяса, никаких мясных супов, никаких консервов, ничего приготовленного из консервов, ничего жареного.

Третье, наконец — увы, холода. А поддерживать печи в избе я совершенно не способен.

Вот все мои очень человеческие доводы против поездки. Не ищите ничего другого, что бы было за этим отказом (как сделал бы Теуш [12] или Твардовский). Мне очень хотелось поехать. Я уже собираться начал (собрал воровской материал), да и беседы с Вами мне очень интересны,— но, увы,— я не в силах ехать в дачные условия. Простите меня. Может быть, в будущем году, когда у вас будет более просторная квартира в Рязани.

Желаю Вам успеха, рабочего настроения, пишите.

Ваш В. Шаламов.

Москва, 28 декабря 1963 года.

Дорогая Наталья Алексеевна и Александр Исаевич.

Ольга Сергеевна, Сережа [13] и я от всего сердца поздравляем вас с Новым годом. Новый год — единственная дата, которую я отмечаю.

Желаю Александру Исаевичу успеха и удачи в сложном пасьянсе, который раскладывает Комитет по Ленинским премиям. Казалось бы, какие могут быть сомнения, и все же. Книжку мою, как только выйдет, я сейчас же пришлю. Это — крошечная книжка.

Желаю вам обоим душевного мира, здоровья и покоя, благодарю за доброе слово. Из хорошего, настоящего прочел за это время «Джан» Платонова.

Ольга Сергеевна сейчас в Голицине, так называемом Доме творчества. Это — очень хороший дом.

Ваш В. Шаламов.

21 января 1964 года [14].

Дорогой Александр Исаевич.

Теснимые сверху московские литераторы превратятся в эстетов, прославив Платонова, как Кафку, и будут его расхваливать на все возможные лады (не на всевозможные лады), эта тонкость тут необходима. Зачем? Затем, чтобы противопоставить Платонова Солженицыну, которого москвичи не любят, не верят — во что? Под спудом тут: москвичи не хотят верить в возможность появления большого таланта где-то в Рязани и т. д. «Путь наверх» всех поголовно писателей наших, включая, конечно, и Федина,— это долгий многолетний путь продвижения со щепочки на щепочку, со ступеньки на ступеньку, взаимная поддержка не только литературная, это черепаший ход, во время которого черепахи учатся верить, что никаких других путей в литературу нет. Союз писателей — эта та, вовсе не символическая организационная форма, которая именно этому движению со щепочки на щепочку и соответствует.

Даже Пастернак не нарушает этой схемы. Но Солженицын нарушает — а поэтому у него выискивают всяких блох, готовы принизить, обойти и т. д.

Чуть-чуть самоуверен. Чуть-чуть слишком верит в свою способность угадать человека. Вроде Вольфа Мессинга пользуется рукой собеседника — дергает непроизвольно, наверное, [это] что-то ему говорит. Из-за самоуверенности впадает в слепоту — недостаточно ясно понял и почувствовал причину моего отъезда из Рязани [15]. Но — пустяки все это.

Дорогой Александр Исаевич.

Вы, наверное, уже вернулись в Рязань. Пусть Вас не смущают никакие газетные статьи. Комитет по Ленинским премиям не может, просто не может не назвать Вашу повесть. «Иван Денисович» лучшее, что есть в советской литературе, в русской литературе за десятки лет.

Жму Вашу руку, верю в победу правды. Благодарю за внимательный разбор «Шелеста листьев». Конечно, названные Вами стихотворения (да еще «Ни зверя, ни птицы») самые важные в сборнике. Что касается «неприемлемых» и чересчур свободного обращения с явлениями природы, то ведь тут дело в том, что поэзия — это всеобщий язык и тем велика, что любое явление жизни, науки, общества может «перевести» на свое, умножая тем самым свои дороги. Тут дело не в новых «реалиях», как часто любят выражаться,— а в желании и возможности освоить любой жизненный материал (кроме порнографии, что ли). Поэзия — это мир всеобщих соответствий, и именно поэтому развитие ее безгранично.

Поговорим при случае. Знаете, кто у меня был недавно? Варпаховский [16]. Я ведь как-то говорил, что знаю его по Колыме. Мы ехали в одном этапе в 1942 году в спецзону Джелгала — один из сталинских Освенцимов того времени. Меня туда довезли, там и осудили через несколько месяцев. (На десять лет). Для этого, наверное, и везли. А Варпаховского отстояли на последней ночевке этапа его колымские друзья. И года через два после этого я с Варпаховским встречался. Сейчас он приехал ко мне за «Колымскими рассказами» — где-то услышал о них, и я ему дал читать. Я говорю: — Вы, Леонид Викторович, держали ведь в руках отличную пьесу — «Свечу на ветру» Солженицына.

— Я читал. Мне показалось похоже на Леонида Андреева. Вот где бы прочесть «Олень и шалашовка»? У Вас нет?

— Нет. А на Андреева походить плохо?

— Да. Сила Солженицына в его реализме. Не правда ли?

— Я, Леонид Викторович, не очень твердо вижу границы реализма в любом искусстве. Японский график нарисовал Хиросиму — реализм или нет?

И еще у меня есть для Вас разговор, но — для личной встречи.

Привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

Ольга Сергеевна и Сережа шлют свой привет.

[май 1964 г.]

Дорогой Александр Исаевич.

Сердечно был рад получить Ваше письмо. Провокация с трибуны по Вашему адресу [17] настолько типичное явление растления сталинских времен и столько вызывает в памяти подобных же преступлений, безнаказанных, ненаказуемых, виденных во множестве в течение десятков лет,— так живо я их вспомнил с огромной душевной тяжестью. Будем надеяться, что с этим покончат все же.

О «Свече на ветру» у меня мнение особое. Это — не неудача Ваша. «Свеча на ветру» ставит и решает те же вопросы, что и в других Ваших вещах,— но в особой манере, и эта особая манера — родилась не в андреевской тени.

Рассказы мои по Москве ходят, я слышал. Дело ведь в полной невозможности работать регулярно из-за головных болей и т. д. Конечно, я не оставляю и не оставлю работы этой. Но идет она плохо, туго. Очередная задача моя описать Джелгалу, всю Колымскую спецзону (один из сталинских Освенцимов), где я был несколько месяцев и где меня судили. Я недавно столкнулся с очень интересным фактом. Я пытался оформить десятилетний подземный стаж (чтобы с инвалидной уйти на возрастную пенсию), но мне сообщили из Магадана, что в горных управлениях (по их сведениям) я проработал 9 лет и 4 месяца, поэтому просьба о выдаче справки за 10 лет отклоняется [18]. Одновременно я узнал вот что. Оказывается, уничтожены все «дела» заключенных, все архивы лагерей, и никаких сведений о начальниках, следователях, конвоирах тех лет в Магадане найти нельзя. Нельзя найти ни одного из многих меморандумов, которыми было переполнено мое толстущее «дело». Операция по уничтожению документов произошла между 1953 и 1956 годом. Официально мне дали ответ: сведений о характере Вашей работы не сохранилось. Такая же история повторена и на Воркуте, так в двух самых крупных спецлагерях Сталина.

Приезжайте, жду Вас, в квартире у нас ремонт. Ольга Сергеевна и Сережа на даче, но иногда приезжают. Я же — все время дома,— могу только уйти в магазин.

Сердечный привет Наталье Алексеевне. Ольга Сергеевна [шлет] сердечный привет вам обоим.

Года два назад журнал «Знамя» предложил мне написать воспоминания «Двадцатые годы», Москва 20-х годов. Я написал пять листов за неделю. Тема — великолепна, ибо в двадцатых годах зарождение всех благодеяний и всех преступлений будущего. Но я брал чисто литературный аспект. Печатать эту вещь не стали, и рукопись лежит в журнале по сей день [19].

[май 1964 г.]

1 ноября 1964 года.

Дорогой Александр Исаевич.

В Вашем письме об «Анне Ивановне» [20] есть одна фраза, одно замечание, которое я оставил на потом, чтобы подробнее Вам ответить.

Вы написали, что лучше бы у героя «Анны Ивановны» вместо тетради стихов было бы что-нибудь другое. Тетрадку сделать чем-то вроде чертежей Кибальчича было бы очень легко. Но нужно совсем не это. Мне кажется, что традиционно как раз описание героизма деятелей науки, техники и т. д. Традиционна боязнь изобразить человека искусства наиболее чутким (ведь это так и есть и иначе быть не может). Второе — я знаю несколько случаев самых тяжких наказаний за литературную деятельность в лагере. Сюжет «Анны Ивановны» подкреплен живой правдой о мертвых, убитых людях.

Не говоря уже о том, что преступление писать стихи — одно из худших лагерных преступлений. Наказаний за литературную деятельность только я знаю и видел десять, наверное, случаев, если не больше. Стало быть, жизненной правды тут нет недостатка или искажения.

Но суть вопроса гораздо шире, глубже лагерного горизонта, сюжетного хода пьесы. Дело в том, все ученые (любого масштаба) и все инженеры (любой квалификации) всегда «на подсосе», на прикорме у правительства при любой власти. Они и страдают гораздо меньше, да и духовная жизнь их идет несколько в стороне от столбовой дороги страстей. Стоит припомнить недавний ответ профессора Китайгородского на анкету «Вопросов литературы» [21]. События, во время которых бедные космонавты оказались начисто забыты [22], дают нам истинный масштаб литературы, и жизни, и науки. (Как ни требует внимания инстанций мистерия «Голубой крест» — в свистопляске идеологических страстей требовалось иное — «Голубая кровь».)

Кто же истинный герой? Я считаю, что долг каждого честного писателя — героизация именно интеллигенции гуманитарной, которая всегда и везде, при всякой смене правительств принимает на себя самый тяжелый удар. Это происходило не только в самих лагерях, но во всей человеческой истории. Борьба с «идеологией» из той же области.

Здесь почти нет исключений, кроме Ферми и Демидова [23], может быть.

Профессор Китайгородский в ответе на анкету журнала «Вопросы литературы» сообщил, что физики ничего не читают — ни классиков, ни современников — ничего. И не нуждаются в чтении. Все это Китайгородский говорит «от имени», постоянно поминая «мы», у «нас» и т. д. Он говорит, что ученые читают только детективы и на психологический роман у них не хватает духовных сил. Это признание значит, что ученые не читают ничего, ибо чтение детективов — это так называемое «отвлекающее» чтение, необходимое каждому писателю, каждому ученому, каждому работнику искусств. Суть тут в том, что мозг работает на пониженных оборотах, но не выключается совсем (как во время какой-нибудь лодочной экскурсии или пилки дров). Детективы как отвлекающее чтение читал и Хемингуэй и очень дельно рассказал об этом. Для очень многих (например, Грин) таким отвлекающим чтением является чтение энциклопедических словарей, справочников и т. д. Я тоже читаю справочники с этой же целью. Есть еще вид писательского чтения — это так называемое «стимулирующее» чтение (Пастернак читал классиков, В. М. Инбер — Диккенса, Вы читаете словарь Даля). Для работы Вашей словарь Даля совершенно не нужен, но как известного рода допинг — допустим.

Теперь пойдут дела домашние. Недавно мне пришло письмо из Вологодского отделения Союза писателей с просьбой дать книгу, написать «писательскую» автобиографию. Писательская автобиография должна (по тексту письма) быть написана «сочно», «образно». Честное слово, так и пишут, письмо у меня.

Вологда никогда не обращалась ко мне. В рассказах, которые я написал в тридцатых годах, были вещи и на вологодском материале,— никто оттуда ничего не говорил, не писал. С 1957 года печатают мои стихотворения, указывая, что автор — вологжанин. Никаких рецензий в вологодской газете. В 1961 году выходит «Огниво», имеет рецензии в нескольких городах, только не в Вологде. В 1962 году я сидел в кабинете одного ответственного товарища в «Литературной га-

зете». Товарищ этот говорит: «Слушайте, Варлам Тихонович, хотите, я Вам устрою книжку стихов?» Еще бы.

Берет телефон, заказывает Вологду, и через пять минут говорит не то с Мальковым, не то с Малковым [24].

— Завтра вологодская книжка [будет]. Слушайте телефон.

— Я слушать не могу.

И каждый ответ он мне повторяет шепотом.

— Нет, это очень трудно, у нас своих много, а Вы еще с каким-то Шаламовым. Надо, чтобы написал предисловие какой-нибудь московский писатель.

— Каждый московский писатель будет считать долгом дать предисловие к книжке Шаламова.

— Ну, хорошо, мы напишем ему сами. Дайте его адрес.

Записывается мой адрес, и все.

Моему доброхоту было очень стыдно встречаться со мной.

Выход «Шелеста листьев» не произвел на Вологду никакого впечатления. И только после рецензии Инбер в «Новом мире» они вдруг обратились ко мне с просьбой написать «сочно» и «образно» и прислать две книжки, уже изданных, из которых они выберут.

Я хотел сказать, что разговор начат не с того конца, что они должны бы просить у меня ненапечатанных стихов или прозу, но передумал и написал просто короткий отказ.

Я тут увлекся рассказом о моих вологодских разговорах и упустил главное, что я хотел Вам сказать. Я начал свою автобиографию и написал уже листа четыре. Хочу показать Вам. Это вещь не для Вологды — велика по объему, так сказать, называется «Несколько моих жизней» [25]. Не претенциозно название? Прочтете?

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

Москва, 15 ноября 1964 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Написал Вам целых два письма [26], но из-за нетранспортабельности, негабаритности в чисто физическом смысле — не отправил и думаю вручить Вам лично, при встрече. Там есть мои замечания на Ваше чтение «по долгу службы».

Желаю здоровья, хорошей работы, успеха «Свече на ветру».

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

Дорогой Александр Исаевич!

Очень рад был получить Ваше письмо [27]. Жаль только, что Вы сузили тему разговора — за бортом осталась наиболее важная часть. Но и в оставшемся «оттенки» выражены явственно, и итоги обсуждения «подбивать» еще рано.

Долг писателя — героизация именно судеб интеллигентов, писателей, поэтов. Они имеют на это право несравненно большее, чем какие-либо другие «прослойки» общества. (Не следует думать, что другие прослойки этого права не имеют.) Дело в степени, в сравнении, в нравственном долге общества. Противопоставление судеб гуманитарной и технической интеллигенции тут неизбежно — слишком велика разница «ущерба». Хорошо Вам известные приключения господина Рамзина [28], который позволил себе принять участие в известной комедии — с орденоносным «хэппи-эндом» и ведром прописной морали, вылитой по этому поводу на головы зрителей и слушателей,— это единственный пример «ужасного», «крайнего» наказания «вольнодумного» представителя мира науки и техники. Все другие отделывались еще легче (шахтинцы [29] и т. д.).

С поэтами и писателями был другой разговор. Мандельштам, Гумилев, Пильняк, Бабель (и сотни других, чьи имена не записаны еще на мраморную доску Союза писателей, хотя их явно больше, чем погибших в войну, и по количеству и по качеству) — были уничтожены сразу. Хотя любой прямоточный котел и любой космический корабль в миллионы раз стоят меньше, чем стихи Мандельштама.

Жизнь Пушкина, Блока, Цветаевой, Лермонтова, Пастернака, Мандельштама — неизмеримо дороже людям, чем жизнь любого конструктора любого космического корабля. Поэты и писатели выстрадали всей своей трагической судьбой право на героизацию. Здесь суть вопроса — «оттенки». Именно так должен быть поставлен и решен этот вопрос. Это нравственный долг общества. И говорить, что изображение убитого художника подобно тому, как бы «художник рисовал собственное ателье»! Ведь художник-то убит в своем ателье.

В вопросе об «ателье» Вы ошибаетесь, Александр Исаевич, даже если взять этот вопрос в Вашем понимании. История литературы, да и история человеческой души знает не одно «ателье» подобного рода, которое рисовал художник, «Детство и отрочество», например. Разве это не «ателье», которое описывает художник Толстой. Конечно, «ателье». В прозе таких «ателье» очень много — их воспитывающая роль неоспорима.

В поэзии примеры привести столь же легко.

«В трюмо испаряется чашка какао,
Колышется тюль — и прямой
Дорожкою в сад, в бурелом и хаос
К качелям бежит трюмо» [30].

«Ателье»? Ателье. Дача. И в то же время эти строки — высочайшая вершина русской поэзии XX века, века очень богатого в русской литературе, украшенного немалым количеством блестящих имен.

Это — решение вопроса в Вашем понимании «ателье». Для меня же «ателье» художника — это его душа, его личный опыт, отдача скопленного всей жизнью, и в чем это будет выражено, к чему будет привлечено внимание,— не суть важно. Будет талант, будет и новизна. Будет новизна, неожиданность, будет и победа. У искусства много начал, но цели его — едины.

Недостаточно правильную позицию, мне кажется, Вы занимаете и в отношении к современным «бытописателям», вроде Шелеста и Алдан-Семенова [31]. Тут аргумент «правды» и «неправды» недостаточен. И вот почему. Ведь Алдан-Семенов тоже может сказать, что он, Алдан-Семенов, описывает «пережитое» правдиво, а Солженицын — лжет. Алдан-Семенов скажет: кто дал Солженицыну право судить о том, что в лагере верно и что неверно, если Солженицын лагеря не знает (потому-то и потому-то), а он, Алдан-Семенов, был столько-то лет на Колыме (на Колыме!) и может представить документы, вместе со справкой о реабилитации. Ведь с представлением документов уже был казус, о котором Вы когда-то мне писали [32]. На мой взгляд, Вам (или тем, кто представлял Ваши интересы) вовсе не нужно было представлять какие-то документы о своем заключении. Действовать так — значит вытолкать обоих авторов из литературы — пусть ведут поединок на газетных страницах. Где же истина? Где обе правды, о которых так хорошо знал XIX век России — правда-истина и правда-справедливость?

Почему Вам кажется, что лжет Алдан-Семенов или Дьяков [33], а не лжет Шаламов в его «Колымских рассказах»?

Вот Ажаев [34], классик литературы подобного рода, включился в разработку золотых рудников, написав «Вагон»,— где герои партийцы избивают уркачей и играют в «жучка» в вагоне, хотя с тех пор, как существуют каторга и «жучок»,— в вагонах в «жучка» не играют. Ну, Ажаев и удостоверений предъявлять не будет. Это просто рыцарь золотого руна.

Вы меня простите, что я поставил Ваше имя рядом с Алдан-Семеновым, но это на секунду, для иллюстрации ошибочной Вашей мысли. Пусть о «правде» и «неправде» спорят не писатели. Для писателя разговор может идти о художественной беспомощности, о злонамеренном использовании темы, спекуляции на чужой крови, о том, что Алдан-Семенов, сочиняя свои небылицы, не может говорить от имени лагерников — не в силу своего личного опыта, а из-за своей бездарности. Тут опять-таки вопрос таланта, Александр Исаевич. Исполнение писательского долга и связано именно с талантом. Именно поэтому важно, скажем, Ваше мнение, а не мнение Алдан-Семенова. Или — шире: важно мнение Пушкина о Борисе Годунове, который был исторически, фактически не таким, не тем, как изобразил его Пушкин. Талант — это очень серьзная ответственность. Ну — это — несколько другой вопрос.

Я бы ответил на Ваш вопрос так. Этим людям-лжецам: Шелесту, Алдан-Семенову, Серебряковой [35] не надо было давать дорогу в художественную литературу. Все они лжецы как раз потому — что они бездарны. На свете есть тысячи правд (и правд-истин, и правд-справедливостей) и есть только одна правда таланта. Точно так же, как есть один род бессмертия — искусство.

Дорогой Александр Исаевич!

Рад был получить от Вас письмо. На Асеевском вечере выступить не пришлось — меня просто известили, что вечер переносится, а потом из газет я узнал, что вечер состоялся. «Маленькие поэмы» [36] будут Вас ждать и вовсе не на «временно». Радуюсь известию о «Свече на ветру» [37]. На мой взгляд, ничего переделывать там не надо. О произведениях Дьякова, Шелеста и Алдан-Семенова пишу Вам подробнее, хотя все эти авторы заслуживают лишь краткого, но крепкого слова по их адресу.

Когда выходил «Иван Денисович», предполагалось: либо повесть будет ледоколом, который откроет дорогу правде к обществу, к молодежи, растолкает лед, и в очистившуюся воду войдут новые многочисленные корабли. Или — публикация «Ивана Денисовича» лишь крайняя точка размаха маятника, который начнет ход назад. И в этом, горьком, втором случае следовало ожидать мутной волны ловкачей на все руки, которые будут торговать собственной кровью (а главное — чужой, что гораздо хуже).

В публику допущены три «бывалых» человека — Алдан-Семенов, Шелест и Дьяков. Сомнительный опыт Галины Серебряковой тут явно не годился. Что касается авторов нескольких сочинений на тему «люди остаются людьми», то знакомиться с этими произведениями не было нужды, поскольку главная мысль выражена в заголовке. В лагерных условиях люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого и созданы. А вот могут ли люди терпеть больше, чем любое животное — главная закономерность тридцать восьмого года,— это, по-видимому, авторами не имелось в виду.

Алдан-Семенов — личность хорошо известная в журнально-газетных кругах. За всевозможные «искажения», разнообразную «клюкву» его упрекали не раз. В одном его только никогда не упрекали: в не-

достаточном подхалимстве. При полном отсутствии таланта и вкуса это качество позволило «создать» (как выражаются с некоторых пор) «Барельеф на скале».

Мне на глаза попала большая статья, напечатанная в «Магаданской правде», где сравниваются произведения Дьякова и Алдан-Семенова. Отдается предпочтение Дьякову как достигшему истинно художественных вершин и т. д., а Алдан-Семенов критикуется за то, что изобразил начальника не типичным, ибо лагерные работы после войны были упорядочены, лагеря выведены из-под контроля начальников (далее перечисляются «пункты», из которых явствует осведомленность автора рецензии в перипетиях лагерной организации тех лет). Алдан-Семенова хвалят за то, что он уделил внимание «барельефу» — как явлению, по существу «имевшему место» в тех или иных формах.

Алдан-Семенов Вам кажется «расконвоированным». Тут вот в чем дело. Лагерная Колыма — это огромный организм, размещенный на восьмой части Советского Союза. На территории этой в худшие времена было до 800—900 тысяч заключенных. (Поменее, стало быть, Дмитлага, где во времена Москанала было 1.200.000 человек списочного состава).

На Колыме тех времен было несколько исполинских горнопромышленных управлений (Северное, Южное, Юго-Западное, Западное, Тенькинское, Чай-Урьинское и т. д.), где были золотые прииски, оловянные рудники и таинственные места разработки «малого металла». На золоте рабочий день был летом четырнадцать часов (и норма исчислялась из 14 часов). Летом не бывало никаких выходных дней, «списочный состав» каждой забойной бригады менялся в течение золотого сезона несколько раз. «Людские отходы» извергались — палками, прикладами, тычками, голодом, холодом — из забоя — в больницу, под сопку, в инвалидные лагеря. На смену им бросали новичков из-за моря, с «этапа» без всяких ограничений. Выполнение плана по золоту обеспечивалось любой ценой. Списочный состав бригад (где не было никого живого, кроме бригадиров) поддерживали на «плановом уровне».

Золото, золотые прииски — это главное, ради чего Колыма существует. Ведь то, что на Колыме есть золото,— известно триста лет. Но никогда и никто не решался использовать труд заключенных в таких суровых условиях. В этих вопросах есть какой-то моральный предел, рубеж. Оказывается, этот рубеж можно перейти очень легко и не только «выбивать» из заключенных план, но и заставлять арестантов подписываться на займы (это делалось регулярно). И не только на займы, но было предложение собирать подписи под Стокгольмским воззванием.

Большего презрения к человеку, большего презрения к труду нельзя встретить. Поэтому те, кто восхваляет лагерный труд, ставятся мной на одну доску с теми, кто повесил на лагерные ворота слова: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Попасть на золото — значило попасть в могилу. Случайность судьбы, когда список разрезают надвое — одни идут умирать, а другим достается жизнь и работа, которую можно вынести, перенести, пережить. И разве не каждый день такой список разрезают на две части. Список судьбы каждого. Большей частью — это случайность. Но иногда может быть приложено и волевое усилие — как я и показываю, например, в «Тифозном карантине», рассказе, заключающем сборник [38].

Спасение, избавление от золота — только инвалидность (здесь все саморубы, самострелы, им имя — легион). Хотя саморубы юридически

не пользуются статусом инвалида — фактически заставить его работать нельзя.

Для определения инвалидности, дающей право на «инвалидность», нужно решение, протокол Центральной врачебной комиссии при Санотделе управления, в Магадане. В остальных случаях все больницы возвращают инвалидов на старые места.

На золотых приисках сосредоточено 90 % лагерного населения Колымы.

Второе по величине управление — Дорожное. Центральная «трасса» Колымы — около 2000 километров. Эта дорога имеет десятки ответвлений, подъездных путей к приискам, морским портам и полярным аэродромам.

Дорожники строят «шоссе». Там все «шоссе» — так называемая «американка» (легкое покрытие и постоянный бдительный уход-ремонт). Все дорожники (размещенные по всей территории края) делятся на две большие группы: строителей и эксплуатационников. Работа строителей в дорожных управлениях неизмеримо легче работы на золоте. (Здесь кадры пополняются только в исключительных случаях, стало быть, надо беречь людей, как берегут скот, и сам режим другой, чем на приисках.) Работа дорожников гораздо легче работы на золоте, хотя тут тоже грунт, тачка и кайло. Эксплуатационники (в мое время большинство их были «вольняшки», т. е. бывшие зэка) действуют лопатой и метлой.

Строители-дорожники — разностатейны, малосрочны, но все без московских «спецуказаний» «об использовании только на тяжелых физических работах» и т. д. В дорожных управлениях нет промывочного сезона, нет «металла». Там десятичасовой рабочий день, регулярные выходные (три в месяц). И хоть кормят дорожников «по идее» хуже, чем работников золотых приисков, на деле все оказывается наоборот. Хлеб давался тут всем одинаково — независимо от выработки — «восьмисотка». Блатных по понятным причинам среди дорожников мало, а если и есть — на «конвойных» дорожных командировках. Такие командировки существуют (как средство устрашения остальных дорожников) на тех участках, где «фронт пошире», в особых штрафных зонах, где состав постоянно меняется. Остальные дорожники «расконвоированы». Вот в этом-то управлении где-то около Аркагалы и работал сколько-то лет Алдан-Семенов. Он — 1) расконвоированный, 2) к работе на золоте он не имеет ни малейшего отношения.

Кроме Дорожного управления, на Колыме существует Угольное управление (Дальстройуголь), где на отдельных шахтах в разных местах Колымы живут и работают люди опять-таки по-своему, по-угольному, а не по-«золотому». Неизмеримо легче золотого. Есть речное управление — обслуга пароходства на Колыме и Индигирке. Там был вообще рай. Есть геологоразведочные управления (так называемые ГРУ), где только живут многочисленные расконвоированные с «сухим пайком». Там общение вольнонаемных и заключенных гораздо теснее, чем на золоте, ибо в глухих разведочных закоулках иногда, когда нет наблюдающего стукаческого ока и власти центральных инструкций — люди и остаются людьми.

Есть управление «второго металла», оловянный рудник касситерита (Бутугычаг, Валькумей), руды, которую все зовут «костерит». Есть управления секретные, где заключенные получают зачеты семь дней за день. Это относится к урану, к танталу, к вольфраму. Заключенных на этих предприятиях мало: тут действуют контингенты «В», «Г», «Д» и так далее.

Есть управление совхозов, где заключенные живут дольше, какими бы слабыми они туда ни попали,— там, как и в Мариинских лагерях, всегда находится что-то такое, что можно есть,— зерна пшеницы, свекла, картофель, капуста. Попадающие туда считают (и справедливо) себя счастливыми, в управления совхозов входят и большие рыбалки на всем Охотском побережье. Попасть туда — достаточно, чтобы жить, а не умереть. Вот генерал Горбатов на такую спасительную рыбалку и попал после больницы на 23-м километре Магаданской трассы, той самой больницы, в которой я — через шесть лет после того, как там побывал инвалид Горбатов,—окончил фельдшерские курсы, спасшие мне жизнь.

Я был и на Оле (где работал Горбатов) уже вольнонаемным фельдшером в 1952 году, но моя анкета не подошла для «национального района» (тоже особая жизнь на Колыме — у эвенков, юкагиров, якутов, чукч — где своя, но очень особенная советская власть, не входящая в руки Дальстроя). Заключенные там тоже есть — единицами, случайностью занесенные.

Есть управление автохозяйства, очень большое, со своими мастерскими, автобазами,— не меньше тысячи машин, работающих день и ночь, зиму и лето. Заключенных там очень много. И шоферы, и автослесари, и т. д. Но все это, конечно,— не золото.

Есть управление подсобными предприятиями — всевозможными мастерскими пошива, отнюдь не индпошива. Если для высадки в Нормандии требовалось астрономическое количество солдатских пуговиц, для чего пришлось создавать в Англии большую организацию— то сколько надо рабочих, чтобы шить беспрерывно (а главное, беспрерывно чинить) известные лагерные «бурки» из старых брюк и телогреек.

Есть заводы ремонтные, которые давно перестали быть ремонтными, а стали механическими, строящими станки (чтоб освободить Колыму от «импортной» зависимости в виде машин с «материка»).

Есть заводы по производству аммонита, электролампочек и т. д., и т. д. Всюду работают арестанты. Есть поселки Санитарного управления, где свои законы, своя жизнь.

Словом, на Колыме важна не только «общая» удача — попасть на хорошую работу, в придурки, или получить «кант»,— но и попасть в то или иное из десятков управлений Колымы, где в каждом — разная, особая жизнь.

Страшнее всего, зловещее всего — это золото, золотые прииски. Ничто другое в сравнение не идет. Если в других местах были месяцы трудностей или есть штрафзоны непереносимые, то на золоте каждый самый благополучный прииск кажется труднее и страшнее любой штрафной зоны любого другого управления. Загнать на золото — вот чем грозят везде, во всех управлениях. А работа на золотых приисках — это 90% всех людей Колымы. Для этих забоев по всем управлениям беспрерывно работают комиссии, чтобы вогнать каждого трудоспособного именно на золотые прииски.

В этом беспрерывном страхе — заключенных за свою судьбу, а начальства — за свою недостаточную бдительность — тоже один из важных растлевающих моментов лагерной жизни.

Теперь о генерале Горбатове, о четвертом нашем мемуаристе. Его воспоминания [39] — самое правдивое, самое честное о Колыме, что я читал. Горбатов — порядочный человек. Он не хочет забыть и скрывать своего ужаса перед тем, что он встретил на прииске «Мальдяк» — когда его привезли на Колыму в 1939 году. Посчитайте время с момента, когда он приехал и начал работу в забое, и до того часа, когда он заболел и был отправлен как необратимый инвалид в Магадан (в больницу на 23-м км). Там была Центральная больница для заключенных. Там я окончил фельдшерские курсы и об этих курсах

написал (не тогда, конечно, а много позднее). Посчитав все сроки, Вы увидите, что Горбатов пробыл на «Мальдяке» всего две-три недели, самое большее полтора месяца и был выброшен из забоя навечно как человеческий шлак. А ведь это был 1939 год, когда волна террора уже спала, спадала. Горбатов приехал на Колыму «к шапочному разбору» и все же был напуган, ошеломлен навек. О самом прииске «Мальдяк» Горбатов недостаточно осведомлен. Это — большой прииск, а Горбатов был на одном из участков «Мальдяка», где было всего 800 человек с фельдшером зека. Начальником санчасти прииска «Мальдяк» была в то время молодая женщина, молодая врачиха Татьяна Репьева, которой Колымская ее административная власть и офицерские пайки так понравились, что она осталась там на всю жизнь. Еще год-два назад ей к 25-летию Дальстроя выходил какой-то важный орден. Список награжденных печатался в «Правде».

Горбатов и о ворах правдиво написал, об их лживости, об их правилах нравственности в отношении фраеров, об открытом разбое.

Попасть в то или иное управление — случайность. Конечно, если не иметь в виду всевозможных «спецкарт», «разработок» и «меморандумов». Но каждый бывший заключенный, желающий говорить от имени лагерной Колымы, не имеет права забыть о том, что творилось на золоте,— все равно — дорожник ли он, расконвоированный или лагерный стукач, работающий статистиком в КВЧ. Ведь никакого секрета, никакой тайны приисков не было. Кроме того, для каждого колымского арестанта, день или год проработавшего на Колыме в любом управлении, должен быть делом чести и совести главный вопрос. Можно ли славить физический труд из-под палки — палки вполне реальной, палки отнюдь не в переносном смысле как некий род тонкого духовного принуждения. Можно ли говорить о прелестях принудительного труда? И не есть ли восхваление такого труда худшее унижение человека, худший вид духовного растления? Лагерь может воспитать только отвращение к труду. Так и происходит в действительности. Никогда и нигде лагерь труду не учил. В лагерях нет ничего хуже, оскорбительнее смертельно-тяжелой физической подневольной работы.

Нет ничего циничнее надписи, которая висит на фронтонах всех лагерных зон: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

В «Колымских рассказах» я старался указать на важные закономерности человеческого поведения, которые неизбежно возникают в результате тяжелой работы на морозе, побоев, голода и холода.

Блатари (мир, который подлежит беспощадному уничтожению) за свое нежелание работать заслуживали бы уважения, если бы уклонения их от работы не оплачивались щедро чужой кровью, кровью несчастных фраеров.

Этот важный вопрос Горбатов решает так: «тяни, пока можешь». Кинематографическое движение теней с бревнами на плечах, изображенное Горбатовым как образец лагерного труда полумертвых людей (радующихся, что они — не в золотом забое), весьма выразительно. Такое «тяни, пока можешь» — очень далеко от прославления лагерного физического труда, от героизма принудительного труда, от лизанья палки.

Я тоже «тянул, пока мог», но я ненавидел этот труд всеми порами тела, всеми фибрами души, каждую минуту. В лизанье лагерной палки ничего, кроме глубочайшего унижения, для человека нет.

В статье Карякина[40] как раз этот вопрос трактовался неверно. И это и есть главная ошибка статьи. Но, к счастью, это ошибка. Если бы «Иван Денисович» был героизацией принудительного труда, автору этой повести перестали бы подавать руку.

Это один из главных вопросов лагерной темы. Я готов обсудить его в любое время и в любом обществе.

На принудительный труд в лагерях (в Соловецкое время) всегда делалась скидка (почему-то в 40% [нормы], как я отлично помню). Однако «перековка» и все, что известно под именем «Беломорканала», показали, что заключенный может работать лучше и больше вольного, если установить шкалу «желудка» — принцип, всегда сохраняющийся в лагерях, проверенный многолетним опытом, и разработать систему зачета рабочих дней. Первое — более важно. Второе — менее важно. Тут уж затронуты какие-то важные, донные элементы человеческой души, о которых животные и понятия не имеют. Лошади не подписываются на займы, не ставят копытом оттиски под Стокгольмским воззванием.

«Перековка» была важным этапом на пути растления душ людей.

Когда подлеца сажают ни за что в тюрьму (что нередко случалось в сталинское время, ибо хватали всех, и подлец не всегда успевал увернуться), он думает, что только он один в камере невинный, а все остальные враги народа и так далее. Этим подлец отличается от порядочного человека, который рассуждает в тюрьме так: если я невинно мог попасть, то ведь и с моим соседом могло случиться то же самое. Дьяков — представитель первой группы, а Горбатов — второй. Как ни наивен генерал, который усматривает причины растления в слабости сопротивления пыткам. Держались бы, дескать, и всех освободили бы. Нет, те, кто держался,— тоже умерли, да и невероятно думать, что сопротивление пыткам есть свидетельство особой духовной ценности Горбатова. Я тоже не подписывал ничего, что могло бы «наказываться», но меня и не били на допросах. (В лагере били несчетное количество раз, но следствия, оба следствия прошли без побоев.) И я не знаю, как бы я держал себя, если бы мне иголки запускали под ногти. В лагере мне довелось встретить человека, исповедовавшего в этом вопросе одну и ту же веру с Горбатовым. Это был начальник Нижегородского НКВД, получивший срок. В отличие от огромного большинства следователей, прокуроров, партийных работников этот начальник не скрывал того, чем он занимался на воле. Наоборот. Он ввязывался во всякий спор по этому поводу (я встречался с ним где-то на транзитке, а не на прииске) и кричал: «Ах, ты подписал ложные показания, которые мы, работники НКВД, выдумали. Подписал — значит, ты и есть враг. Ты путаешь следствие, лжешь Советской власти. Если бы не был враг, то должен был терпеть... Бьют тебя, а ты терпи, не позорь Советскую власть». Я, помню, слушал, слушал этого господина, а потом сказал: «Вот слушаю тебя и не знаю, что делать — не то смеяться, не то дать тебе по роже. Второе, пожалуй, правильнее».

Вот это единственное мое критическое замечание в адрес мемуариста Горбатова.

Возвращаемся к мемуаристам первой группы. Желание обязательно изобразить «устоявших». Это тоже вид растления духовного. Растление лагерное многообразно. Когда-то в «Известиях» я прочел шелестовский «Самородок» и поразился наглости и беззастенчивости именно с фактической его стороны. Ведь за хранение самородков расстреливали на Колыме, называя это «хищением металла», и вопрос о том, сдавать самородок или не сдавать — раз его нашли и увидели четыре человека (или три, не помню),— не мог задать никто, кроме стукача. Все эти авторы — Дьяков, Шелест и Алдан-Семенов — бездарные люди. Их произведения бездарны, а значит, антихудожествен-

ны. И большое горе, нелепость, обида какая-то в том, что Вам и мне приходится читать эти рассказы «по долгу службы» и определять — соответствует ли этот антихудожественный бред фактам или нет? Неужели для массового читателя достаточно простого упоминания о событиях, чтобы сейчас же возвести это произведение в рамки художественной литературы, художественной прозы. Это вопрос очень серьезный, ведущий очень далеко. Неужели мне, который еще в молодости старался понять для себя тело и душу рассказа как художественной формы и, казалось, понял, для чего у Мопассана в его рассказе «Мадемуазель Фифи» льет беспрерывно дождь, крупный руанский дождь,— неужели все это никому не нужно, а достаточно составить список преступлений и список благодеяний и, не исправляя ни стиля, ни языка, публиковать, пускать в печать. Ведь у моих стихов и моих рассказов есть какое-то стилевое единство, над выработкой которого пришлось много поработать, пока я не почувствовал, что явилось свое лицо, свое ви́дение мира. Значит, не надо быть Чеховым, Достоевским, Толстым, Пушкиным, не надо мучиться вопросом «выражения» — ибо для читателя ничего не надо, кроме разнообразных Алдан-Семеновых, Дьяковых и Шелестов.

Почему мы — Вы и я — должны тратить время на чтение этих произведений, на оценку их «фактического» содержания? Если читатель принимает такие произведения, то, значит, искусство, литература не нужны людям вовсе.

Вот, пожалуй, и все из самого главного, что захотелось мне сказать Вам по поводу Вашего впечатления от чтения «по долгу службы».

Прошу прощения, что письмо затянулось. Желаю Вам здоровья, работы хорошей. Ни пуха, ни пера роману [41].

Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Москва, 6 августа 1966 г.

Дорогой Александр Исаевич.

Рад был Вашему письму [42]. История напечатания стихов в «Литературной газете» [43] такова. Три года назад с приходом Наровчатова в редколлегию «Литературной газеты» я отнес туда 150 стихотворений, исключительно колымских (1937—1956), и примерно через год имел беседу с Наровчатовым — ответ, носящий характер категорического отказа напечатать что-либо колымское. «Вот если бы Вы дали что-нибудь современное — мы отвели бы Вам полполосы». Я всегда держу в памяти практику работы в журналах: где просматривается несколькими инстанциями сотня стихотворений, а потом выбираются десятки безобиднейших, случайнейших. Такой «помощью» авторам — «даем место, печатаем!» — занимаются все: «Новый мир», «Знамя», «Москва», «Семья и школа», «Сельская молодежь» — все тонкие и толстые журналы Советского Союза. Это вреднейшая практика, никакими ссылками на вышестоящих или сбоку стоящих не оправдываемая. Это называется помогать, выбивать, хорошо относиться и т. д.

К сожалению, материальные дела авторов не позволяют разорвать эти связи. Так у меня кромсали колымские стихи в «Новом мире», в «Знамени», в «Москве», в «Юности». Но с «Литературной газетой» ради первой публикации я решил поступить иначе, предвидя этот разговор.

— Я не вижу возможности предложить что-либо другое. «Литературная газета» напечатала обо мне четыре статьи, где всячески хвалит именно колымские стихи. А когда дело доходит до напечатания — мне говорят: давайте какие-нибудь другие.

— Можете взять свои стихи назад.

— Охотно.

При разговоре был Нечаев, автор одной из статей обо мне,— он работал тогда в аппарате «Литературной газеты».

— Нет, оставьте. Может быть, мы выберем что-либо.

Этот разговор был два года назад, и я не справлялся о стихах, но в пятницу, 29 июля, меня вызвали в «Литературную газету» (там работали уже другие люди), и Янская, новая заведующая отделом поэзии, сказала: «Вот, посмотрите, не напечатаны ли эти стихи где-нибудь, ведь прошло два года».

Я посмотрел.

— Когда же вы будете давать?

— Завтра или никогда.

Зачем я это все Вам пишу? Чтобы разоблачить всех «либералов», чья «помощь» — подлинная фальшь.

Дорогой Александр Исаевич.

Я прочел Ваш роман [44]. Это — значительнейшая вещь, которой может гордиться любой писатель мира. Примите запоздалые, но самые высокие мои похвалы. Великолепен сам замысел, архитектура задачи (если можно так расставить слова). Дать геологический разрез советского общества с самого верха до самого низа — от Сталина до Спиридона. Попутно: в характере Сталина, мне кажется, Вами не задета его существеннейшая черта. Сталин писал статью «Головокружение от успехов» и тут же усиливал колхозную эскалацию, объявлял себя гуманистом и тут же убивал.

Я не разделяю мнения о вечности романа, романной формы. Роман умер. Именно поэтому писатели усиленно оправдываются, дескать, взяли из жизни, даже фамилии сохранены. Читателю, пережившему Хиросиму, газовые камеры Освенцима и концлагеря, видевшему войну, кажутся оскорбительными выдуманные сюжеты. В сегодняшней прозе и в прозе ближайшего будущего важен выход за пределы и формы литературы. Не описывать новые явления жизни, а создавать новые способы описания. Проза, где нет описаний, нет характеров, нет портретов, нет развития характеров,— возможна. Жизнь — такой документ (Вайс в «Дознании» [45] — только попытка, проба, но зерно истины там есть). Любимов и Таганка [46]. Все это должно быть не литературой, а читаться неотрывно. Не документ, а проза, пережитая, как документ. Я много раз хотел изложить Вам суть дела и выбрал время, когда я хвалю Вас за роман, за победу в классической, канонической, а потому неизбежно консервативной форме. Опыт говорит, что наибольший читательский успех имеют банальные идеи, выраженные в самой примитивной форме. Я не имею в виду Вашего романа, но в «Раковом корпусе» такие герои и идеи есть (больной, который читает в палате «Чем люди живы»).

В этом романе очень хороши Герасимович, Абрамсон, особенно Герасимович. Очень хорош Лева Рубин. Драма Рубин — Иннокентий показана очень тонко, изящно. Улыбка Будды [47] — вне романа. По самому тону. За шуткой не видно пролитой крови. (В наших вопросах недопустима шутка.)

Спиридон — слаб, особенно если иметь в виду тему стукачей и сексотов. Из крестьян стукачей было особенно много. Дворник из крестьян обязательно сексот и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура эта неподходящая. Слабее других — женские портреты. Голос автора разделен на тысячу лиц — Нержин, Сологодин, Рубин, Надя, Абрамсон, Спиридон, даже Сталин в какой-то неуловимо малой части.

Роман этот — важное и яркое свидетельство времени, убедительное обвинение. Мысль о том, что вся эта шарашка и сотни ей подобных могли возникнуть и работать напряженно только для того, чтобы разгадать чей-то телефонный разговор для Великого Хлебореза, как его называли на Колыме.

Жму руку. Сердечный привет Наталье Алексеевне.

Ваш В. Шаламов.

[1966]

ПРИМЕЧАНИЯ

1. А. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича», «Новый мир», 1962, № 11.
2. «Красили» — крестьяне, занимавшиеся раскрашиванием дешевых ковриков по трафаретам.
3. Шелест Г. И. (1898—1965) — писатель, был репрессирован. Рассказ «Самородок» опубл. в газ. «Известия», 5 ноября 1962 г. О «Самородке» см. также стр. 85 настоящей публикации.
4. Шаламов имеет в виду свой разговор с Солженицыным «о ледоколе и маягнике» при их первой встрече в редакции журнала «Новый мир» в 1962 году. См. об этом также стр. 80 настоящей публикации.
5. Письмо А. Солженицына от 28 мая 1963 г. о приезде в Москву.
6. А. Солженицын. Киносценарий «Знают истину танки!», опубл. в журн. «Дружба народов» № 11, 1989.
7. Решетовская Наталья Алексеевна — первая жена А. И. Солженицына.
8. Неклюдова Ольга Сергеевна (1909—1989) — вторая жена В. Т. Шаламова, писательница.
9. «Очерки преступного мира», вошли в кн. «Левый берег», М., 1989.
10. «Бутырская тюрьма» — очерк В. Шаламова, опубл. в альманахе «Российский летописец», изд-во «Книга», 1989.
11. «Подполковник медицинской службы» — рассказ В. Шаламова из сб-ка «Перчатка, или КР-2», не завершен.
12. Теуш Вениамин Львович, математик, знакомый А. Солженицына, хранитель его архива. Этот архив был изъят у В. Л. Теуша в сентябре 1965 г. сотрудниками КГБ.
13. Сергей Юрьевич Неклюдов — сын О. С. Неклюдовой, филолог.
14. Письмо не отправлено.
15. О встрече в Солотче, которая все-таки состоялась осенью 1963 года, Шаламовым написано стихотворение «Сосен светлые колонны...»

Сосен светлые колонны
Держат звездный потолок,
Будто там, в садах Платона,
Длится этот диалог.
Мы шагаем без дороги,
Хвойный воздух, как вино,
Телогрейки или тоги —
Очевидно, все равно.

По словам Шаламова, кроме чисто бытовых поводов отъезда его из Рязани, были и более глубокие причины: прежде всего — наметившееся различие взглядов на лагерную тему в литературе.

16. Варпаховский Леонид Викторович (1908—1976) — советский театральный режиссер, был репрессирован, встречался с Шаламовым на Колыме. Встреча с ним изображена в рассказе Шаламова «Иван Федорович» («Левый берег», М., 1989).
17. Этот эпизод в книге «Бодался теленок с дубом» (Париж, 1975, с. 81—82) А. Солженицын описывает так: «...На пленарном заседании [Комитета по Ленинским премиям] первый секретарь ЦК комсомола Павлов выступил с клеветой против меня — первой и самой еще безобидной из ряда клевет: он заявил, что я сидел в лагере не по политическому делу, а по уголовному».
18. В это время В. Т. Шаламов получал пенсию 42 р. 30 к., и лишь в 1965 году его хлопоты увенчались успехом — он стал получать 72 р. («У меня пенсия льготная, горняцкая»,— гордо говорил он).
19. «Двадцатые годы», опубл. в журн. «Юность» №№ 11—12, 1987.
20. Пьеса В. Шаламова, опубл. в журн «Театр» № 1, 1989.
21. Китайгородский А. «Несколько мыслей физика об искусстве». «Вопросы литературы» № 8, 1964.
22. Шаламов имеет в виду смещение Н. С. Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС и члена Президиума ЦК КПСС.
23. Георгий Георгиевич Демидов (1908—1987), физик, инженер, с которым Шаламов познакомился на Колыме. Десять лет провел на общих работах. По словам Шаламова, один из самых достойных людей, встреченных им на Колыме. Демидов стал прототипом героя рассказа Шаламова «Житие инженера Кипреева» (опубл. в журн. «Смена» № 22, 1988), ему же посвящена пьеса Шаламова «Анна Ивановна».

24. Малков Владимир Михайлович, директор Вологодского книжного издательства.
25. Опубл. в сб-ке В. Шаламова «Стихотворения», М., 1988.
26. Эти письма не датированы. Публикуются вслед за письмом от 15 ноября 1964 г.
27. Упоминаемое письмо А. Солженицына в архиве В Шаламова не сохранилось.
28. Рамзин Леонид Константинович (1887—1948), ученый-теплотехник. В 1930 г. репрессирован по делу «Промпартии». В 1936 г. амнистирован. Создал конструкцию промышленного прямоточного котла («котел Рамзина»), награжден орденом Ленина, Сталинской премией.
29. Шахтинский процесс, 1928 г. — дело о «вредительстве» в угольной промышленности Донбасса. Верховный суд СССР приговорил 5 человек к расстрелу, 40 — к заключению на разные сроки. Принадлежность к научной или технической интеллигенции от репрессий не спасала, к сожалению.
30. Строфа из стихотворения Б. Пастернака «Зеркало»; у Пастернака — «Качается тюль...»
31. Алдан-Семенов А. И. (1908—1985), писатель, был репрессирован, автор ряда книг, в том числе повести «Барельеф на скале», «Москва», № 7, 1964.
32. В письме от 13 мая 1964 г. А. Солженицын писал: «...Я был с трибуны обвинен, что я уголовник, вовсе не жертва культа и вовсе не реабилитирован. Понадобилось зачтение судебного решения, присланного Военной Коллегией Верховного суда СССР».
33. Дьяков Б. А. (р. 1902), писатель, был репрессирован. Автор воспоминаний «Пережитое» (1963), «Повесть о пережитом» (1964).
34. Ажаев В. Н. (1915—1968) — писатель, был репрессирован. Автор романов «Далеко от Москвы» (1948), «Вагон» (опубл. в журн. «Дружба народов», №№ 6—8, 1988).
35. Серебрякова Г. И (1905—1980) — писательница, была репрессирована. Автор книг «Одна из вас» (1959), «Странствие по минувшим годам» (1962—1965) и др.
36. «Аввакум в Пустозерске», «Гомер»—маленькие поэмы В. Шаламова, опубл. в кн. «Стихотворения», М., 1988.
37. Пьесу А. Солженицына «Свеча на ветру» осенью 1964 г. собирался ставить театр им. Ленинского комсомола.
38. «Тифозный карантин» — рассказ из сб-ка «Колымские рассказы», опубл. в журн. «Новый мир», № 6, 1988.
39. Горбатов А. В. «Годы и войны», «Новый мир», №№ 3—5, 1964.
40. Карякин Ю. «Эпизод из современной борьбы идей». «Проблемы мира и социализма» № 9, 1964. То же — «Новый мир», № 9, 1964. («Но даже тяжелый труд для большинства из них — это как воскрешение...»).
41. В это время А. Солженицын дал прочитать А. Т. Твардовскому рукопись романа «В круге первом».
42. Имеется в виду письмо А. Солженицына от 1 августа 1966 г.: «Очень неожиданно и тем более приятно было увидеть в «Литературке» Ваши стихи! Рад! Нравится. А «О песне» — 1 и 4 великолепны, очень значительны!..»
43. «Литературная газета» от 30 июля 1966, № 89.
44. Роман А. Солженицына «В круге первом».
45. Петер Вайс (1916—1982) — немецкий драматург. «Дознание» (1965) — его документальная пьеса.
46. В 1960-е годы В. Шаламов не раз бывал в Театре на Таганке. Была у него даже мысль написать пьесу для этого театра. В архиве сохранились наброски этой пьесы. Шаламов говорил, что театр Любимова, избегающий ложного жизнеподобия полутонов, создающий спектакль в резких и точных красках, вводящий документ в ткань спектакля,— современен, отвечает самому духу современности. Театр — это не подобие жизни, а сама жизнь.
47. «Улыбка Будды» — глава из романа А. Солженицына «В круге первом».

Публикация и примечания И. Сиротинской

В. Лакшин

«НОВЫЙ МИР» ВО ВРЕМЕНА ХРУЩЕВА (1961—1964)

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

1.VIII.1963.

Приехал в редакцию, а Закс говорит: звонил Твардовский и предлагает вам ехать с ним в Ленинград на сессию Европейского сообщества писателей, как бы представителем от журнала. Выезжать завтра, собраться едва успею.

3.VIII.1963.

В Ленинград приехал утром на «Стреле». В «Астории», где штаб-квартира совещания, неразбериха, ажиотаж вокруг номеров. Мне предложили дальнюю, но вполне комфортабельную гостиницу «Россия» на Московском проспекте. Устроился и пошел искать Твардовского. Миша Хитров, который здесь от «Известий», навел меня на след. Мы нашли Твардовского на Волковом кладбище в компании с Сурковым и Рюриковым. Постояли у могилы Блока и потом вместе вернулись в «Асторию». Тут он рассказал сенсационную новость: сегодня Хрущев принял И. Эренбурга. Случилось это так: Эренбурга приглашали в Ленинград, чтобы показать европейским писателям, что он жив-здоров, а он прислал обиженное письмо Суркову, что он, де, на пороге могилы и не знает, кто́ он, что́ он в своей стране: его не печатают, сочинения его остановлены и т. д. Твардовский просил В. С. Лебедева внимательно познакомиться с этим письмом старика. Тот рассказал о нем Хрущеву, и вот состоялась встреча. Эренбург и не догадывается, заметил Александр Трифонович, чья тут была инициатива.

Вечером поездка несколькими автобусами в Петергоф, к фонтанам. Меня знакомили с некоторыми знаменитостями. Рита Райт подвела меня к У. Голдингу (большой, рыжебородый шкипер) и Натали Саррот (маленькая, с конопушками на лице). С Сартром я был знаком раньше.

Европейские знаменитости высыпали на петергофскую лужайку большим стадом, и это почему-то неприятно было видеть. Все же писатель— существо индивидуальное, его естественнее видеть в одиночку, у письменного стола.

5.VIII.1963.

Первый день совещания. Тема: проблемы романа в литературе. Европейцы, якобы, в большинстве своем считают, что роман умирает, придумали какой-то «новый роман», по существу "антироман". А мы должны им доказать, что роман в классических его формах живет и здравствует.

Приехал Шолохов. На перроне вокзала его встречало все партийное начальство Ленинграда, и чуть что не под руки ввели в зал.

Во вступительной речи Вигорелли много говорил о независимости КОМЕСа. Сообщество выступило против франкистской Испании, державшей писателей в тюрьмах, и одновременно ратовало за освобождение Тибора Дери из венгерской тюрьмы, что и случилось в 1960-м году. Т. Дери здесь, и его приветствовал дружной овацией весь зал.

6.VIII.1963.

Вчера вечером Александр Трифонович был расстроен и возмущен до крайности, что никто из руководства Союза писателей не захотел поехать встретить Эренбурга, да и его отговаривали — поздно, мол. Послали машину с Ляшкевичем, сотрудником Литфонда, «т. е., иными словами, послали завхоза», возмущался Трифонович, «а старик-то обидчивый, пересядет на другой самолет, да и улетит обратно в Москву». Вот мы и бросились спасать положение, в порядке частной инициативы, что ли. Такси возле «Астории» не было. Но наудачу я сговорил левака, да еще на роскошном черном «ЗИМе».

Окончание. Начало см. «Знамя» № 6 за 1990 год.

Эренбург был очень рад, что Александр Трифонович его встретил. Сразу сказал нам, что встреча с Хрущевым была очень удачной. «Как ваша октябрьская»,— добавил он, обращаясь к Твардовскому.

С аэродрома я поехал в гости к Глебу Горышину на свободной машине. А Эренбург укатил с Твардовским и сразу же повел его к себе в номер «Астории», угощая подробными рассказами. Сегодня Александр Трифонович мне их пересказывал.

Хрущев был очень милостив, сказал, что Эренбург имеет право печатать все, что захочет, что для него не существует цензоров. Эренбург попытался объясниться насчет давнего письма, скверно Хрущевым истолкованного на встрече, где речь шла о «мирном сосуществовании». Но Хрущев замахал на него руками: мол, оставьте, все это пустое. Эренбург попробовал заступиться и за молодых поэтов — Вознесенского, Евтушенко, посекли, мол, и хватит. Хрущев и тут с ним не спорил.

«Теперь скажите, Никита Сергеевич, ехать ли мне в Ленинград?» — спросил Эренбург. «А что там такое?»—встрепенулся Хрущев. «Да конгресс европейских писателей». «А-а. Конечно, поезжайте. А может, и мне поехать?»—живо отреагировал непоседливый Никита. Он был, по словам Эренбурга, в отличном настроении, и еще только войдя в комнату, сказал с улыбкой, потирая руки: «Ну, китайцам мы отписали...»

Да, китайцы на этот раз, видимо, здорово выручают многострадальную нашу литературу!.. Да и не только литературу. Эренбург говорил с Н. С. о реабилитации Раскольникова и имел успех.

После дневного заседания мы с Твардовским и Н. Томашевским пошли гулять по Ленинграду. Прошлись набережной и по Кировскому мосту к Петропавловке. Пройдя крепость, вернулись Дворцовым мостом. Твардовский будто видит Ленинград впервые, ко всему прислушивается, всматривается во все. Ходить с ним легко, приятно.

Вечером за ужином Вигорелли, поддержанный другими итальянскими писателями, начал браниться с Сурковым. «Если и другие советские делегаты будут выступать, как Рюриков и Симонов, мы уедем. Мы приехали сюда не для того, чтобы нас воспитывали. А ваши люди выступают так, что всем понятно, что они говорят не для собравшихся писателей, а для двух-трех человек, сидящих в зале (намек на Снастина, Черноуцана и др.). Потом, мы в Италии знаем русских писателей Казакова, Тендрякова—где они? Почему нет никого из молодых писателей?»

Сурков отбивался довольно неуклюже.

Едучи в машине в свою гостиницу, я разговаривал с редактрисой из «Литгазеты» (забыл сейчас ее имя), и она рассказала, что была на совещании в номере «Астории» у В. И. Снастина. Там Анисимов вопил, что «хватит обороняться, надо наступать», Суркова бранили за либерализм и распределяли роли—кто кому из заблуждающихся иностранцев будет «о т в е ч а т ь». Я понял, что так недалеко и до скандала—краха всего предприятия.

7.VIII.1963.

Утром рассказал Твардовскому о своих вчерашних впечатлениях. Он и сам знает, что ситуация стыдная.

Днем он подбил Эренбурга, не дожидаясь дальнейшего, выступить. Речь Эренбурга была хорошо принята всеми. Я подошел в кулуарах, чтобы пожать ему руку. Неподалеку стоял Черноуцан, Эренбург спросил о его впечатлении. Тот, не зная указаний, замялся, покраснел, бедняга.

В перерыве между заседаниями Твардовский провел полчаса на диванчике со Снастиным, Черноуцаном и Г. Марковым, внушая им—и, по всей видимости, бесполезно,— что нельзя выпускать на трибуну таких критиков, как Анисимов. Обмануть никого в такой аудитории нельзя, все видят, что это не литераторы, а чиновники, функционеры.

У Вигорелли настроение несколько поправилось, когда выступили «молодые» писатели— В. Аксенов и Д. Гранин.

Гуляли с Александром Трифоновичем, постояли в Летнем саду у памятника Крылову, потом прошли к Инженерному замку, вспоминали о неприятностях, ожидавших здесь Павла I.

8.VIII.1963.

Утром Александр Трифонович был ясен, свеж. Мы встретились с ним у подъезда «Астории», и он сказал: «Сегодня последний день. Терзают, чтобы я выступил. Ни за что не буду». Пора было садиться в машины, чтобы ехать в Дом писателей. Вдруг Александра Трифоновича подхватил Сурков, отвел его в сторону, и я потерял его из виду.

Сижу на заседании и слышу — третьим оратором объявляют Твардовского. Я было обиделся, что он был со мной неискренен, но понял, что это экспромт. Закончил он свое краткое выступление очень эффектно, стихами: «Вся суть — в одном-единственном завете...»

Обычно зал делился по своим реакциям — те, кто хлопали одним, не аплодировали другим. Но тут была овация всего зала, горячо хлопали и наши, и зарубежные писатели. Всех подкупила искренность, немногословие и убежденность Александра Трифоновича после сухомятки в речах большинства ораторов. Последние строки стихотворения: «...сказать хочу и так, как я хочу» он произнес с каким-то особым накалом и сошел с трибуны. Даже Эренбург, которого Твардовский слегка задел в своей речи, хлопал с энтузиазмом.

В перерыве, окруженный восторженной толпой, Твардовский нашел меня глазами, подошел, потащил куда-то, говоря по дороге: «Я умираю от стыда и раскаяния. Скажите, что это было?» Я уверил его, что он говорил так хорошо и складно, что я даже хотел обидеться, решив, что он заготовил эффектную речь и скрыл это от меня. В ответ он показал пригласительный билет на вчерашний банкет, на обороте которого наспех было набросано несколько тезисов. «Я не хотел, да Сурков перед самым заседанием насел. И Вигорелли сказал: «Я не буду с вами здороваться, если не выступите. Вот и пришлось соображать на скорую руку».

9.VIII.1963.

Многое, конечно, не успеваю записывать, да и забывается на другой день. Жизнь обгоняет записи. Часто лень вынуть тетрадку или приходится писать задним числом, а все равно я понукаю себя. Ведь легко и вовсе разлениться, бросить дневник совсем. А было бы жаль. Какие-то крохи большой истории есть, возможно, и здесь. Не знаю, сохранятся ли какие-то слова, мнения, факты, если я не запишу их хоть небрежно, иной раз полуграмотно, косноязычно, но хоть как-то запишу.

Утром на вокзале нас встретил Кондратович с машиной. Поздоровавшись, тут же огорчил тем, что цензура задержала «Театральный роман» Булгакова.

Днем, в редакции, Закс рассказал подробнее. Главлит считает, что это пасквиль, плевок и памфлет, оскорбление, нанесенное Художественному театру и системе Станиславского. Никакие резоны, что это юмористическое сочинение, дружеский шарж, не помогают. Верстку передают в ЦК, Черноуцану.

Я поехал на дачу и три дня остывал от ленинградских впечатлений.

12.VIII.1963.

Твардовский был в редакции и рассказывает, что в Ясную Поляну с иностранными гостями он не поехал, зато был на пароходной прогулке по каналу, которая всех чужеземцев привела в восторг. «Давно бы так, — иронически комментировал их радость Александр Трифонович. — А то все разговоры да разговоры в закрытом помещении. Ни тебе выпить, ни искупаться...»

С. Х. Минц перебеляет на машинке текст «Теркина», который В. С. Лебедев просил Твардовского взять с собой, когда группа руководства КОМЕСа полетит в Пицунду, где отдыхает Хрущев. Поездка должна состояться завтра. Возможно, Александру Трифоновичу придется остаться там после приема гостей для решения судьбы его поэмы.

Твардовский досадует, что его речь напечатана не в «Правде», куда он ее отдал, а в «Литгазете», где к тому же ошибки: вместо «образов» — «образцы» или наоборот.

14.VIII.1963.

Ура! «Теркин» разрешен. Я понял это из утренней газеты, а потом поспешил в редакцию. Но опоздал немного... Трифоныч был с утра и рассказывал, как все совершилось. Предполагается печатать «Теркина» в ближайшем «Новом мире» и одновременно (даже с неизбежным опережением) в «Известиях». Это, конечно, подрывает успех поэмы у нас в журнале. Ну, да Бог с ним, тут расчет малый в сравнении с серьезностью случившегося.

16.VIII.1963.

Вошел с утра в большую нашу комнату, Твардовский сидит за столом, читает почту. Я расцеловал его, поздравил.

Он ждал, когда его свяжут с Аветисяном, заместителем начальника Главлита, чтобы говорить с ним о романе Булгакова. Разговор состоялся, но без большого успеха. Александр Трифонович тщетно уверял Аветисяна, что это не пасквиль на Художественный театр, а шарж, добрый юмор. Ссылался на Герцена: тот, кто свою силу чувствует, не боится юмора, насмешки. «А если мы так оберегаем авторитет Станиславского и его «системы», — значит, дело-то нехорошо».

Говорил, что и Мих. Булгаков в искусстве фигура не мелкая — и о нем надо бы подумать. Но Аветисян был непробиваем для аргументов.

«Странно, что вы застряли на Булгакове, — сказал Александр Трифонович. — В № 6 будет печататься одна поэма — там уж у вас будет простор для работы», — не удержался и подъязвил он. Аветисян, разумеется, понял, о чем речь, начал его поздравлять, но вопрос о Булгакове так и остался висеть в воздухе.

Поэму сегодня сдали в набор — для журнала и для «Известий».

Я попросил Александра Трифоновича рассказать, как дело было в Пицунде, и он с удовольствием повторил для меня этот рассказ.

Только прилетели и расположились в домиках для гостей, прибежал Снастин: «Зовут!» Все отправились в парк, где их встретил Хрущев.

Осматривали разные чудеса роскошной виллы. Гостеприимный хозяин показывал бассейн, где нажмешь кнопку, — и пошли двигаться стеклянные сферы, чтобы защититься от непогоды, дождя.

Потом в зале был некий официальный момент — произносились приветственные речи. Обращаясь к зарубежным писателям, Хрущев говорил не очень любезно. Подоплека этого та, что на другой даче, за его забором, отдыхает Морис Торез. К нему еще накануне приехал из Ленинграда Андре Стиль, бывший на сессии наблюдателем, и высказался тенденциозно, что, де, КОМЕС коммунистов-писателей не пригласил, а буржуазных литераторов в Ленинграде принимают со всей сердечностью. Со слов Стиля М. Торез выразил свое недовольство Хрущеву. Н. С. ходил к нему объясняться.

Так или иначе, но Хрущев простодушно обратился к собравшимся гостям: «Вот среди вас есть и писатели, защищающие интересы социализма, и писатели — защитники интересов буржуазии..» Это вызвало протест Сартра: «Буржуазных писателей здесь нет».

Пошли к столам, и за обедом атмосфера потеплела. Вигорелли сказал, наклонившись к Хрущеву, что он хочет процитировать ему один пункт устава КОМЕСа и произнес его на память: «Сообщество принимает в свои ряды коммунистов, но не принимает антикоммунистов, которых приравнивает к фашистам». Хрущев закивал, это помогло дальнейшему общению.

Твардовский держал себя строго, не пил, почти не ел, потому что знал, что ему, возможно, предстоит читать Хрущеву поэму после обеда. (По предварительному разговору с Лебедевым выходило так, что иностранцы разъедутся, а Александр Трифонович прочтет поэму в узком кругу, пригласят лишь Федина, Шолохова). Предложение Хрущева читать за обедом, в присутствии всех гостей, было неожиданным. Правда, Унгаретти и Вигорелли успели откланяться, но все прочие оставались.

Чтение длилось минут 40. В середине Александр Трифонович один раз прервался — попросил разрешения закурить (при Хрущеве не курят), сделал две затяжки и продолжал читать. Хрущев слушал внимательно, порой хохотал в голос по-деревенски. Если что-то не нравилось ему или было непонятно — он хмурился. И синхронно менялось выражение лица Снастина и других «сопровождающих». За обедом у Сартра не было пере-

водчика, и Александр Трифонович спросил его потом, не скучал ли он во время чтения? Сартр ответил: «Нисколько. Я наблюдал выражение лица Хрущева и лица людей, его окружавших. Это был очень интересный спектакль».

Когда чтение закончилось, Хрущев встал, протянул Твардовскому через стол обе руки и поздравил с удачей. И следом подошел к нему и обнял его Шолохов. Было только два явственно недовольных лица — Чаковский и Прокофьев. Последний думал, что и его попросят читать стихи. Он решил так, потому что Хрущев сказал с полнейшей непринужденностью: «Я слышал, что у Александра Трифоновича есть что-то новенькое. Может быть, мы попросим его прочесть?» Это было наполовину инсценировкой, наполовину импровизацией.

«Может быть, разрешите и рюмочку в честь этого?» — спросил Твардовский, выслушав поздравления Хрущева. И Хрущев радостно согласился — «давайте и я с вами выпью, пока врач не видит». Твардовский сознался, что когда наливал, руки у него дрожали.

Тут же подлетел и Аджубей, сказал, что он просит поэму для «Известий», — «отказать нельзя было». Все же Хрущев попросил оставить рукопись, чтобы прочесть глазами. Один стих там все-таки смущал его.

Вскоре выяснилось, что речь идет о четырех строчках, где о том, что Теркин не с мертвым «большинством», а с живым «меньшинством». Как объясняет Александр Трифонович, он имел в виду лишь большинство мертвых во множестве ушедших поколений человечества. Но тут находят какую-то неприятную аналогию в связи с советско-китайской полемикой, опасения, впрочем, не совсем ясные.

Прямо на аэродроме в Москве Твардовского встретил ответственный секретарь «Известий», которому было поручено взять у него рукопись. Но Твардовский сказал, что не может этого сделать, пока текст не вернется из Пицунды.

На другой день Лебедев позвонил оттуда, что все в порядке, можно печатать.

17.VIII.1963.

Твардовский вычитал гранки «Известий». Звонил ответственный секретарь редакции Драчинский, просил снять строчки о «большинстве-меньшинстве». Твардовский стал было их переделывать, а потом махнул рукой и убрал вовсе. «Сами по себе они не плохи, но я посмотрел — и без них ничего, даже связь лучше».

Звонил Аветисян. Просил-упрашивал снять строки о цензуре, где речь идет о трудоустройстве дураков, и самых безнадежных — «тех, как водится, в цензуру, на повышенный оклад».

«Это же просто неверно, оклады в Главлите небольшие», — взывал Аветисян. Потом позвонил второй раз. «Подумайте, что о нас будут говорить». — «А вы зачем на себя принимаете?» — не без лукавства спрашивал Александр Трифонович.

Потом, положив трубку и обращаясь ко мне, сказал: «Может быть, это жестоко. Вот он придет домой и как жене и детям этот номер «Известий» покажет?.. Да уж пусть. Они заслужили».

Вспомнил по этому поводу пушкинское «На выздоровление Лукулла», в котором прототип узнал себя по строчке, в которой говорилось, что он крал казенные дрова.

Все эти переговоры с цензором были маленькой местью за мучения последних месяцев и позабавили нас немало.

А тут позвонил Драчинский и, играючи, говорит: «Цензура не хочет подписывать поэмы, Александр Трифонович. Ну что ж, будем выходить без одобрения цензора?»

18.VIII.1963.

Вышел номер «Известий» с полосой «Теркин на том свете» и кратким введением Аджубея, упоминающим о пицундском чтении.

19.VIII.1963.

Я уговорил Александра Трифоновича вместе поехать к Черноуцану объясняться по поводу Булгакова. Когда шли по длинным коридорам и переходам здания ЦК, Твардовский, хитро сощурившись, процитировал себя: «А дверей — не счесть дверей, и какие двери!»

Черноуцан встретил нас дружелюбно, но немного оробел под двойным напором. «Мы пришли провести с вами работу... Это у нас запущенный участок», — пошутил, едва мы вошли, Александр Трифонович. И объявил, что речь пойдет о Булгакове. Черноуцан выслушал нас терпеливо, посмеиваясь, но не уступал. Его суждения сошлись с цензурными: роман Булгакова — пасквиль, подрыв авторитетов, системы Станиславского.

«Берéте грех на душу, — пугал его Александр Трифонович. — У нашего Закса в сейфе лежит список ваших грехов и благодеяний. Ведь мы все запоминаем», — смеясь, говорил Твардовский.

Черноуцан взял с нами игровой тон. «Нет, вы серьезно верите, что это можно напечатать? Да нет, вы меня разыгрываете! Не может быть, чтобы вы сами не понимали, что это невозможно».

Твардовский настаивал, что искусственным способом нельзя поддержать авторитет того или иного лица, что шарж, юмор никогда не вредят серьезному делу, что, наконец, Булгаков такой писатель, что имеет право на опубликование каждой его строчки. Я сказал, что так бы следовало запретить и чеховскую «Попрыгунью» за клевету на Левитана. И вообще произведение такой ценности, как роман Булгакова, неизбежно будет опубликовано, через 5 или 10 лет, но напечатают его обязательно.

Сбитый нашим напором, Черноуцан возражал неубедительно, вяло, но стоял на своем.

Александр Трифонович говорил ему:

— Ну ведь вы видите, как странны все эти наши запрещения. Девять лет назад сожгли «Теркина на том свете», буквально подвергли «аутодафе», собрали все верстки по списку и сожгли. А теперь поэма разрешена, и вы-то знаете, что в этой редакции она сильнее, глубже первого «Теркина», 1954 года. И, оказывается, ничего опасного для советской власти нет — вчера напечатали в газете».

От Черноуцана отправились на Смоленскую, к Сацу.

По дороге Александр Трифонович говорил, что всегда дивится тому, как все строго регламентировано в казенном учреждении, где мы были. К Черноуцану одна дверь, а к Поликарпову уже двойная — с тамбуром. Черноуцану приносят чай с лимоном и бумажной салфеткой, а Поликарпову — тот же чай с лимоном, но еще и два бутерброда — с копченой колбасой и сыром, и салфетка ему — льняная.

У И. А. Саца был еще Е. Н. Герасимов. Чокнулись за появление поэмы. Александр Трифонович сказал: «Вот погружусь в какие-то мелочи, заботы, дела, а потом готов ущипнуть себя: «Теркин»-то напечатан!»

Возвращаясь домой, уже в машине, условились, что я подготовлю ему кое-какие бумаги относительно Марка Щеглова, чтобы он завтра на Секретариате мог выступить по поводу его книги.

Вспоминая наш визит к Черноуцану, Александр Трифонович говорил: «Со Станиславским действует та же культовая психология. В стране был один вождь — Сталин, и во всех областях науки и искусства должен был быть один, непременно один, обожествляемый авторитет. В физиологии — Павлов, в литературе — Горький, в театре — Станиславский. А Булгаков на культовый принцип замахнулся. Черноуцан-то, может, в душе и понимает, что это глупость, но уже посоветовался с Поликарповым, а тот уступать не велит».

21.VIII.1963 подписан к печати № 8.

В номере:

А. Твардовский. «Теркин на том свете».

М. Шитов. «Березовские повертки», рассказ.

А. Ковтун. «Севастопольские дневники».

Воспоминания П. Виноградской, статьи А. Шарова, М. Кузнецова.

Рецензии Ю. Буртина, О. Михайлова и др.

26.VIII.1963.

Александр Трифонович говорил по поводу повести С. Залыгина. «Не надо начинать так: «Месяц зацепился за тучу», и тому подобные красоты природы. А надо: «21 марта 1931 года в селе Красный Кут сгорел амбар с посевным материалом». И дальше давать картину: кто как к этому отнесся, что сказал».

Твардовский считает, что Залыгин злоупотребляет внутренними монологами, не слышно авторской речи, а авторская речь — большая сила.

«Современные прозаики, — рассуждает Александр Трифонович, — любят диалоги, даже простое сообщение переводят в прямую речь. Но диалоги не должны быть информационными. Диалог должен двигать действие. Вот «Жизнь Клима Самгина» написана с одной точки зрения — самого Самгина, но и автор не отказывается от права высказаться. Авторская речь — большая ценность в повествовании, если есть, что сказать. Обычно ею пренебрегают, потому что она становится пуста, сказать нечего».

В связи с повестью Залыгина Александр Трифонович снова коснулся коллективизации. «Раньше говорили прямо — революция сверху. Теперь у теоретиков некоторая невнятица. Конечно, нельзя отрицать, что в деревне был и настоящий кулак. Беда в том, что раскулачивали не одних кулаков, а крестьянскую массу, среднее крестьянство. После революции все могли воспользоваться полученным правом на землю. У отца, Трифона Гордеевича, было что-то около 10 га, правда, землица плохая, неудобица. Был и собственный лесок (2 га), плохонький, но свой».

Твардовский говорил о сложности психологии крестьянина, в которой смешано и хорошее, и дурное.

«Береза, на которой остается повеситься Степану Чаузову, в конце повести — может быть, лишний нажим, и, во всяком случае, противоцензурна». Александр Трифонович советовал убрать, а подробность сильная!

* * *

О В. Некрасове стало известно следующее: его исключили из партии на райкоме. Сначала потребовали, чтобы он написал заявление: критику Н. С. Хрущева и в печати признаю целиком правильной. Но он не стал этого делать, а написал лишь, что выступает впервые в жанре зарубежного очерка и работа могла ему не удаться, отсюда и недоразумение. Эти объяснения не удовлетворили начальство. Теперь исключение должен подтвердить обком. Друзья Некрасова считают, что важен был бы звонок Александра Трифоновича в Киев. Но он подумал и послал вместо этого телеграмму: «Вместе с тобой тяжело переживаю случившееся. Желаю уверенности, спокойствия, веры в партию» — что-то в этом духе (записываю по памяти).

Главная беда, как шепнул мне Александр Трифонович, что Хрущеву прокрутили магнитофонную запись пьяной болтовни Некрасова, где он высказывался, не сдерживая себя, и оттого малы шансы выручить его, обратившись к Н. С.

27.VIII.1963.

Утром Твардовский был в «Известиях» у Аджубея. Спрашивал о судьбе письма новгородских председателей колхозов. «Там все в порядке, — отвечал Аджубей, — мы разобрались. Я передал их письмо в Бюро по РСФСР. Им не хватало удобрений, теперь им их подбавят. Там все дело в удобрениях». «А я сомневаюсь, что все дело в удобрениях», — сказал мне Александр Трифонович.

Аджубей показал Твардовскому читательские письма о «Теркине на том свете». Есть и отрицательные, эти от наших «бешеных».

«Вот видите, Александр Трифонович, — сказал Аджубей, — есть и такие читатели, что готовы нас рядом, вот тут, на Пушкинской площади, на фонарях повесить». «А я думаю, — комментировал Твардовский, — что вешать-то нас с Аджубеем будут все-таки в разных местах».

«Известия» хотят печатать письма читателей под заголовком. «Ждем «Теркина» на этом свете». Твардовского это сердит. Глупо поэту ехать на одном, пусть и удавшемся, герое. «К Теркину я больше не вернусь», — говорит Твардовский.

С. Щипачев приносил сегодня в редакцию новые стихи, довольно острые по смыслу, но слабенькие. «Нет, Степа, этого нельзя печатать, пусть полежат в столе», — обескуражил его Александр Трифонович.

Щипачев рассказал, как ездил недавно к себе на родину, в село Щипачи где-то под Свердловском, — бедность, грязь, оставленные, заколоченные избы. За ним увязалась местная кинохроника — снять сюжет: «поэт в родной деревне», и увидели, что снимать нельзя. «Так и не снимали?» — спросил кто-то из нас. — «Нет, почему же, снимали... В открытом поле».

«Были у меня в этой поездке, — говорит Щипачев, — и другие, светлые впечатления... Молодой город Асбест, я написал про него стихи, вот их можно печатать, а о деревне, видишь, нельзя». — «А ты что же, когда про свой Асбест пишешь, начисто отключаешь все другие впечатления?» — спросил Твардовский не без яда. Но потом сам же спохватился, не обидел ли ненароком добродушного и безобидного Щипача, и стал говорить что-то любезно-примирительное.

Сидели в редакции дольше обычного, ждали «сигнал» № 8 с поэмой. И как только посыльная Оля принесла пачку журналов на подпись «в свет», отправились в «Асторию» на ул. Горького праздновать это событие: Дементьев, Марьямов, Твардовский, Орест Верейский и я.

Верейский завел разговор о том, какими могут быть иллюстрации к новому «Теркину». Александр Трифонович говорит: «А что если сделать все самое наиреальное — бюрократов за столами с телефонами, папками, и лишь едва заметно, какими-то деталями намекнуть, что это «тот свет»?»

С Дементьевым мы почему-то заспорили о Горьком. Я сказал, что непонятна ненависть Горького к страданию, к человеческой слабости. Как он скверно пишет об этом в письмах из недавнего «Литнаследства» [1]. И вообще в Горьком, в особенности в последнюю пору, много фальшивого, претенциозного. Дементьев возражал, что нелюбовь Горького к слабости, страданию надо понимать в каком-то особом философском смысле, а не как у Ницше. Александр Трифонович взял мою сторону, вспомнил бессмертный афоризм, оправдание всех репрессий: «Если враг не сдается — его уничтожают». Вспомнил и о том, что в «Челкаше» еще молодой Горький отдал преимущество босяку перед крестьянином, которому приписал жадность. «На крестьянский народ он смотрел как мещанин Кунавинской слободы», — сказал Александр Трифонович.

В отношении Твардовского к Горькому есть, впрочем, и личная нота. Горький, прочитавший по просьбе Исаковского «Страну Муравию», написал, что это слабое подражание то ли частушкам, то ли стихам Прокофьева. Недавно В. Перцов не преминул уколоть Твардовского, напомнив этот эпизод. Но Горький, впрочем, редко был провидцем в литературных судьбах. Не принял ни Шолохова, ни Фадеева. Зато до небес вознес Сергеева-Ценского и изо всех сил пригревал Льва Никулина.

30.VIII.1963.

Александр Трифонович много раз возвращался к полученному им недавно письму Ольги Берггольц. Она пишет, что рада, что новый «Теркин» не разочаровал ее, а то она боялась, как бы он не был хуже прежнего, 1954-го года.

«Не могу, когда мне вспоминают первую мою вещь, — огорчался Александр Трифонович. — Меня же самого как бы тем же, старым вариантом «Теркина» — попрекают... Впрочем, Пушкина вот тоже, — сказал он, улыбнувшись собственному сравнению, — полжизни звали «певцом Руслана» и ничего нового у него не хотели признавать».

Твардовский рассказывает, что этот, «загробный», «Теркин» писался так долго, что кое-что из него сублимировалось в «Далях», в главе «Фронт и тыл», в вагонном разговоре с критиком и т. д. Какие-то образы, строки невольно расходились и по другим вещам, пока поэма лежала. «Я лучше всех знаю недостатки нынешнего «Теркина», — говорит Александр Трифонович, — знаю, что тут темновато, усложнено, плохо, но поправлять уже не буду, пусть, как на нынешний день сложился, так и живет. Но разве я когда-нибудь это перед мерзавцами покажу? Нет, я не доставлю им такой радости...»

Твардовский прочитал биографию Достоевского, написанную Л. П. Гроссманом. Говорил по этому поводу, что Гроссман пытается оправдать даже такие слабости Достоевского, какие оправдать нельзя, дружбу с К. П. Победоносцевым, например. «Это все равно, как если бы я стал дружить с Ильичевым и на задушевные темы с ним говорить, а вы все меня бы за это нахваливали».

31.VIII.1963.

В «Литгазете» напечатана статья Ю. Барабаша «Что есть справедливость?» — против рассказа Солженицына «Для пользы дела».

[1] «Литературное наследство», т. 70. «Горький и советские писатели. Неизданная переписка». М., 1963 г.

Из статьи Ю. Барабаша
(«Литературная газета», 31 августа 1963)

Итак, неудача... Но разве застрахован от этого хотя бы один художник, тем более художник ищущий?

Конечно, нет.

И, быть может, не стоило бы говорить об этой неудаче А. Солженицына, если бы недостатки рассказа «Для пользы дела» не имели много общего с тем, что критика отмечала, например, еще в «Матренином дворе».

10.IX.1963.

Пишу, по просьбе Твардовского, традиционное перед подпиской редакционное обращение к читателям для № 10. Включаем в проспект имена И. Эренбурга и В. Некрасова. Без них выходить нельзя, подумают, что мы отреклись от их сотрудничества.

Твардовский разбирал сегодня почту. Говорит мне: «Есть письма, где читатели меня бранят: «Куда пропал ваш талант? где замечательный народный язык, зачем эти слова: «сеть», «система», «номенклатура», «цензура»?» Я понимаю, что этот мой «Теркин» не так прост, не так общедоступен, как прежний, не так, что ли, простодушен... Тогда я на 20 тысяч хвалебных писем получил одно отрицательное. Теперь ругают куда чаще, даже угрозы есть. Но имеется и другой род писем, от которых меня в дрожь бросает; в самом деле задумаешься, как поэму разрешили. Один, к примеру, пишет: «Вы говорите «пушки к бою едут задом», не пора ли их повернуть?»

Александр Трифонович с огорчением говорил о последнем письме ЦК по поводу экономии хлеба. «Причину ищут не там. Говорят: много хлеба идет на корм скоту. Но в известном возрасте свинья иа килограмм скормленного ей хлеба дает килограмм привеса. В ресторанах еще до войны все отходы передавались свиноводческим совхозам. Да что говорить! На обеде у Хрущева в Пицунде среди икры, крабов и всех роскошеств стола не найдешь хлеба: им обносят, нарезав тонкими ломтиками, —для воодушевляющего примера...»

12.IX.1963.

Обращение «От редакции» готово. Новая повесть Е. Герасимова придержана в цензуре.

Хитров рассказывал вчера, как нервничал Гребнев, зам. Аджубея, когда в «Известиях» печатался «Теркин на том свете».

«Не знаю, не знаю, эту полосу я бы не подписывал, — говорил он, ухмыляясь и потирая руки. — Вот увидите, это особая группа — Солженицын, Твардовский, и их еще разоблачат. Впрочем, я ничего не говорю, это сугубо личное мое мнение».

Вот не боится же в *этом смысле* демонстрировать свою независимость! А ведь самый законопослушный чиновник.

Б. Сучков в «Знамени» тоже, не стесняясь, объявляет сотрудникам: «На поэму откликаться не будем. Что поделаешь — это неудача Александра Трифоновича. Не станем его обижать!»

14.IX.1963.

Г. Владимов принес рассказ о сторожевой собаке, которая одичала после того, как разогнали лагерь, при котором она служила. Рассказ — прозрачная аллегория, притча, но, пожалуй, его можно было бы напечатать, если добавить «верному Руслану» больше живого, собачьего. Запоминается сцена, как собака сопровождает в городке первомайскую демонстрацию, думая, что это колонна зэков.

Владимов много занят кинематографом, снимает «Большую руду». На студиях паника. Из 120 картин 100 закрыли. В главке сидят сейчас Дымшиц, Сытин. Постепенно идем к тем временам, когда, как при Сталине, выпускали 6—7 картин в год.

17.IX.1963 подписан к печати **№ 9.**

В номере:
Е. Герасимов. «Семья Алешиных».
В. Тендряков. «Рассказы радиста».
Леонид Волынский. «Краски Закавказья».
Стихи Р. Гамзатова, Н. Матвеевой.
Статья Е. Тарле «Пушкин как историк».

Рецензии А. Туркова, К. Чуковского, А. Гладкова, В. Твардовской и др.

25.IX.1963.

Пытаемся спасти «Театральный роман» Булгакова. Я пригласил В. О. Топоркова и просил написать послесловие. Он согласился, просил помочь ему, и я передал для «безвозмездного использования» мою заметку, написанную при предыдущей попытке публикации. Есть надежда, что с послесловием Топоркова роман пропустят.

Вчера решили соорудить небольшую подборку писем в связи с новым рассказом Солженицына, обруганным в «Литгазете» Ю. Барабашем, — есть очень неглупые, теплые письма. Весь вечер читал эту почту и, кажется, подобрал то, что нужно.

17.X.1963.

В Москве — паника у булочных. Исчез белый хлеб, нет манки, вермишели. Очереди, народ злится, и никто не стесняется говорить, что думает.

Конец октября 1963.

В редакции уныние. Обращение к читателям в № 10 задержано. Цензура недовольна тем, что дух статьи прежний и упомянута в числе анонсируемых авторов фамилия В. Некрасова.

В конце концов в Отделе культуры ЦК разрешили, попросив сделать 2—3 поправки. Сделали. Тогда начальник Главлита Романов написал Ильичеву донос на журнал по всей форме: «вопреки решениям партии направление журнала прежнее». Ильичев просил дать заключение по этой докладной своих сотрудников. Фактически все свелось к двум главным упрекам: упоминание фамилии В. Некрасова и еще то, что в статье не упомянуто о значении для литературы «исторических встреч». Дело тянулось две недели. В эту пору, как ни смешно, нам удалось напечатать свое объявление о подписке (где упомянут и В. Некрасов) в «Литгазете», обставив цензуру.

Наконец 29.X. Твардовский был у Снастина. Вернулся расстроенный, рассерженный, возбужденный. Они проговорили со Снастиным часа два, и «я не помню, когда я так кричал», рассказывал Александр Трифонович. Но в результате наше «От редакции» разрешили.

Рассказывают о гонениях на театры. М. М. Яншина, руководившего Драматическим театром им. Станиславского, приказом Фурцевой сняли с должности. Он будто бы, вспылив на одном из обсуждений спектакля, сказал ей: «Я 40 лет занимаюсь театральным искусством. Почему меня все учат, как ставить спектакли? Вы учите, Никита Сергеевич учит...» Через три дня он был снят.

21.X.1963 (в действительности 31.X.) подписан в печать **№ 10.**

В номере:
Г. Троепольский. «В камышах».
К. Паустовский. «Книга скитаний».
И. Шмелев. «Русская песня». Рассказ.
Л. Волынский. «Краски Закавказья». (Окончание).
Стихи М. Алигер, К. Кулиева.
Статья А. Бовина «Истина против догмы» (полемика с Китаем).
«Трибуна читателя» (3 письма о рассказе А. Солженицына «Для пользы дела»).
Рецензии А. Абрамова, М. Рощина и др.

29.X.1963.

Приезжал Солженицын. Говорил, что главы, нам прежде переданные для чтения (свидание в тюрьме и др.), — это кусок большого романа, над которым он работает[1]. А к следующей осени обещает кончить для нас другую вещь — повесть «Раковый корпус». Речь идет о ташкентской больнице, где его спасли. Он просит командировать его туда от журнала в январе или феврале.

Все единодушно, и Александр Трифонович в том числе, отговаривали его печатать главы не написанной еще вещи. Пока они и выглядят как фрагмент и будут беззащитны перед недоброжелательной критикой. Сол-

[1] Впоследствии выяснилось, что 1-я редакция романа «В круге первом» была целиком написана Солженицыным еще до «Ивана Денисовича». Это обстоятельство он в свое время тщательно скрывал и предложил главы как бы из новой вещи.

женицын же настаивал, что они кажутся ему вполне законченными, должны оставлять цельное впечатление. Он говорил, что хотел бы заявить «женскую тему» в лагерной литературе, которая вот-вот все равно прорвется.

Твардовский отвечал ему, что «глав» неоконченного произведения мы никогда не печатаем, лучше потерпеть и познакомить читателя с целым. Я напомнил, как молодой Толстой спешил с постановкой одной своей комедии, а А. Н. Островский сказал ему: «Зачем такое нетерпение?» — «Да комедия-то острая, на тему дня». — «Неужели ты думаешь, что они поумнеют?» — парировал Островский.

В результате Солженицын не стал настаивать, сказал, что понимает интересы журнала, верит, что мы лучше знаем положение, и доверяется нашему решению.

О повести «Раковый корпус» А. И. сказал, что не предвидит трудностей для ее появления в печати. Возник вопрос, можно ли объявить ее в проспекте? Твардовский и все мы советовали переменить, пока хотя бы условно, название. «Больные и врачи», например. Солженицын это отверг.

Потом, в пустом кабинете Марьямова, мы говорили с А. И. наедине, и он объяснил мне: ему не хочется, чтобы, пока он не будет появляться перед читателями, его считали автором повести «Больные и врачи». В этом названии есть нечто заведомо нейтральное и может даже почудиться отступление, заранее обдуманное равновесие. Вот если бы одни «Больные»... Об этом еще можно бы подумать.

Говорили о Булгакове. Я рассказал ему о наших попытках напечатать «Театральный роман». Стал было толковать ему и о «Мастере», но выяснилось, что он где-то успел его прочитать.

«Какой удивительный писатель! — сказал Александр Исаевич. — Вот двадцать лет прошло с его смерти, а все не можем напечатать. И какой разнообразный!»

31.X.1963.

В редакции был Е. Евтушенко, читал новые стихи. Александр Трифонович говорил о них так жестко, что Евтушенко едва не расплакался. В словах Твардовского немало справедливого, и все равно Евтушенко жаль. Александр Трифонович упрекал его за манерность, «литературность», за отсутствие художнической объективности, какого-то интереса вне себя. Евтушенко был смят, подавлен и ничего не отвечал.

Я вступился за него. Меня поддержали Кондратович и Дементьев. В результате, с некоторыми переменами в составе, цикл Евтушенко пойдет у нас.

Я рад, что так вышло, да и Твардовский понял, что пережал. Он говорил потом Дементьеву, что так и надо: хорошо получилось, что он говорил без скидок, со всей суровостью, а в результате обсуждения все-таки можно напечатать.

Уже подписанный 10-й номер задерживают печатанием, так как не могут решить проблему тиража. Говорят, что нам установлено 113 тысяч, а мы самовольно будто бы объявили 120 тыс. Только бы ущемить нас хоть в чем-нибудь!

* * *

Есть два способа реакции на неприятные факты. Свидетельство силы — когда их обсуждают, говорят о них прямо. Слабости — когда успокаивают себя, что ничего дурного не было и нет, ссылаются на старую риторику, которая никого убедить или обмануть уже не может. Как быть, если все изовралось до последней крайности? Если верить диалектике, шелуха старой формы должна спадать с нового, народившегося и уже чужого для нее содержания, да что-то не видно этого шелушения.

* * *

В газетах и журналах с каждым месяцем все развязнее бранят Солженицына, покусывают повесть, ругают новые рассказы. С этой критикой я хочу повоевать в своей статье. Ругают его люди, которые, помимо всего иного, не думают о завтрашнем дне, о своей репутации. Солженицын, мне кажется, такой писатель, для всеобщего и безусловного признания которого необходимо лишь одно малое условие — время. Всякий, кто бесцеремонно нападает сейчас на Солженицына или на Твардовского, получит самую незавидную аттестацию у будущих поколений.

11.XI.1963.

Маршак вернулся из Крыма почти слепой, с катарактой на обоих глазах. Слабым голосом звал меня к себе по телефону, и я ждал застать полутруп, а увидел его таким, как обычно, — кипящим, волнующимся, одержимым.

Говорил о своей тоске: «Я всегда был оптимистом, но сейчас начинаю понимать Гоголя, который говорил, что вокруг ему мерещатся одни свиные рыла. Или вот тоже Саша Черный: у него были приступы мизантропии, когда все и вся становились ему противны. Вот и мне кажется, что кругом слишком мало людей, с которыми можно поговорить».

«Мы все никак не можем выйти из зощенковского периода нашей истории».

Зло и остроумно говорил об Илье Сельвинском, но вспоминал, что в 20-е годы многие считали его серьезным поэтом. «Я помню, как в 30-м году, примерно за месяц до самоубийства Маяковского, ко мне пришел Пастернак, который перед этим разговаривал с Маяковским. Пастернак сказал: «Маяковский сердится на Сельвинского, как мальчик, у которого нет варенья, на мальчика, у которого оно еще есть».

Маршак расспрашивал о Твардовском, о наших журнальных баталиях. «Я боюсь за Твардовского, — сказал он, — чтобы в этих жестоких обстоятельствах не растерял он свою душу. Ведь самое лучшее — его лиризм, и жаль, что в последней поэме его немного. Это такая чуткая душа. Но последнее время, мне кажется, он почерствел... Берегите его, если можете!»

Потом Маршак «продекламировал» мне вслух свою статью и снова кинулся в рассуждения:

«Надо быть верным жизни. Но искусство — не просто «отражение». Вот Гоголь, он почти не знал средней России, просто не жил в ней, за исключением тех дней, что провел в гостях у калужской губернаторши... Как же он написал «Мертвые души»?»

15.XI.1963.

Наконец-то сигнал № 10! Последняя задержка с уже подписанным номером произошла из-за статьи А. Бовина против китайцев. Дело в том, что два дня назад по согласованию с руководством Китая прекращена всякая полемика. Пришлось обращаться к Ильичеву, т. к. листы уже отпечатаны и даже сброшюрованы. Найдено такое решение: сменить дату подписания в печать с 31 на 21 октября. (Хрущев выступил с предложением прекратить полемику 27.X.) Поскольку тираж целиком отпечатан в типографии, в «выходных данных» каждого номера от руки подчищают цифру 31 и специальным штампиком ставят 21. Это задержит рассылку подписчикам на несколько дней.

В. И. Снастин вызывал к себе и «воспитывал» Кондратовича. Заявил, что «линия» журнала расходится с линией партии. Кондратович это обвинение с негодованием отверг. «До чего доходит дело, — рассуждал Снастин. — Мой 17-летний сын спрашивает: «Папа, а когда будет продолжение Эренбурга?» — «Значит, вы плохо воспитываете сына?» — бросил реплику Кондратович.

Вообще же Кочетов в «Октябре» со своими подручными, вроде Д. Старикова, усиленно насаждают сейчас концепцию, что Твардовский и «Новый мир» выражают кулацкие настроения. И это имеет успех у таких, как Снастин. Исподволь подводится «социальная база». «Вот зачем вы печатаете «Матренин двор»? — рассуждал Снастин. — Хотите показать, как все неблагополучно в сельском хозяйстве. А идет все это будто бы от ошибок, допущенных в коллективизацию».

Это Матрена, с кошкой и фикусом, — кулак?!

16.XI.1963.

Александр Трифонович в редакции. Он несколько разочарован перечитанной им в верстке повестью Залыгина, которую предложил назвать «На Иртыше». Во-первых, после редактуры, казавшейся ему же необхо-

димой, ушло то, что бросало свет на все повествование,— трагический образ березы в конце повести. Во-вторых, временами в самом залыгинском «письме» ему чувствуется искусственность. «Март стоял» — к чему тут инверсия?

Старый коминтерновец, «русский чех», академик Кольман прислал небольшие воспоминания о Я. Гашеке. Он встречался с ним в пражских пивных, когда Гашек провозгласил создание партии «умеренного прогресса в рамках законности» и т. п. По настоянию автора воспоминания прочел и Александр Трифонович. Сегодня он объяснялся с Кольманом по телефону. Сказал, между прочим, что «сам я человек пьющий, но не хотел бы, чтобы меня вспоминали потом, как вы Гашека, по преимуществу с этой точки зрения». Кольман сказал, что не понимает, как это поэт, создавший «Теркина», может быть равнодушен к творцу «Швейка».

По этому поводу Александр Трифонович сказал потом мне: «Как он не видит разницы: Швейк старается любым способом улизнуть с войны, а Теркин воюет всерьез».

После работы ужинали у меня на Страстном: Александр Трифонович, Закс, Кондратович. Твардовский весь вечер восхищался воспоминаниями Брусилова, которые он перечитывает, пересказывал без конца эпизоды из этой книги. Но общий фон настроения — тусклый. Отдельное издание «Теркина на том свете» задерживается, несмотря на клятвенное обещание Лесючевского выпустить книгу «молнией».

Затихли и разговоры о поездке в Америку, хотя это как раз меньше всего огорчает Александра Трифоновича.

Мы с Заксом снова завели разговор о том, что надо бы поговорить в «верхах» о «Театральном романе».

«Ну, что вы мне толкуете,— отвечал он с раздражением.— Если я сейчас пойду к Ильичеву, разве об этом буду говорить? Книгу мою не печатают, журнал душат, и придется ставить вопрос так: Твардовский я или не Твардовский. Не пугайтесь, друзья, но решающее объяснение назревает».

Подробнее, чем прежде, рассказал о последней встрече со Снастиным. Удивлялся его недалекости и говорил, что невольно дошел до крика, объясняясь с ним. «Нам сообщили статистику. В Москве столько-то тысяч абортисток до 16 лет. А это все ваши Эренбург и Аксенов виноваты. Эренбурга вы боитесь тронуть, все, что он напишет, прямо так в печать пускаете». Александр Трифонович возражал ему, говорил, что кое о чем с Эренбургом мы спорим, но это не такой писатель, чтобы за него все переписывать.

«Мы и у Ленина, когда надо, купюры делаем»,— выпалил Снастин. «А вот это уж зря,— мгновенно воспользовался его признанием Твардовский.— Зачем же искажать Ленина?» И в таком градусе шел весь разговор. «Как вы не понимаете, нам приходится сейчас хлеб выколачивать, а вы нам палки в колеса...» — негодовал Снастин. «То есть как это выколачивать? У кого выколачивать?..» — сбил его снова Твардовский. И так вся беседа.

Говорили о хлебе. Кто-то сказал, что вся беда оттого, что руководит распределением общественного продукта «шайка разбойников». «Нет,— возразил Александр Трифонович,— это «организм организмов». Я у Халифмана вычитал, что так живут муравьи, инстинктивно объединяясь в кучу и защищая интересы друг друга».

Метафора «муравейника» у Достоевского энтомологически, научно точнее, чем можно думать.

Заговорили об антисемитизме. Александр Трифонович рассказал, что на днях к нему домой явился незнакомый человек, прорвался в квартиру, и Твардовский пригласил его в кабинет. Он учитель физики, взволнован, озирается по сторонам. «Меня затравили те, которых недавно защищал Бертран Рассел... Вы понимаете, о ком я говорю?» Александр Трифонович сказал ему: «Ничем, к сожалению, не могу помочь...» — «Но почему?» — «Потому что я сам — еврей!» Встал и выпроводил совершенно раздавленного столь неожиданным оборотом дела просителя.

19.XI.1963 подписан к печати **№ 11.**

В номере:

К. Паустовский. «Книга скитаний».

И. Грекова. «Дамский мастер». Рассказ.

В. Некрасов. «Новичок». Из блокнота.

В. Лихоносов. «Брянские». Рассказ.

Статья А. Гладкова о Платонове.

Рецензии Ф. Светова, С. Рассадина, Н. Коржавина и др.

19.XI.1963.

Всюду толки о хлебе, об очередях. Говорил об этом с Е. Дорошем. Странная вещь: как будто все понимают, что нужно делать, кроме как раз тех, от кого все зависит. Надо, по-видимому:

1) Повысить материальную заинтересованность путем покупки, а не сдачи зерна. Ведь золото все равно уплывает сейчас за границу — за тот же хлеб.

2) Дать, наконец, колхозу сеять то, что ему выгоднее,— в общем балансе окажутся все культуры, если верно установить закупочные цены. Только так будут у нас и пшеница, и гречиха, и горох, и лен.

Почему нельзя провести такие простые, естественные и разумные меры? Кто этому сопротивляется? Ясно кто. Что будут делать тогда инструкторы, инспекторы, контролеры, погоняльщики — несть им числа...

В ЦДЛ на днях подошел ко мне Владимир Максимов. Рассказал, что Кочетов, опубликовавший его повесть, во 2-м номере будущего года планирует напечатать «Двор посреди неба». Редактирует роман «сам» Дима Стариков. Максимов пытался попрекнуть меня, что «Новый мир» его отверг. Но, впрочем, сам же рассказал, что зам. Кочетова по «Октябрю» П. Строков говорил, соблазняя его: «В «Новом мире» вы никогда этого не напечатаете, цензура не даст, даже если редакция согласится. А у нас — пожалуйста».

Максимов обижался на меня, когда я сказал ему, что рад его успеху, роман есть роман, если печатают, то и благо, но вот *статьи* в «Октябре» не стоило бы ему писать. Много людей так себя погубило.

21.XI.1963.

Вернувшись с заседания Московского отделения СП, Е. Дорош с возмущением рассказал, как провалили выдвижение кандидатуры Солженицына на Ленинскую премию. Ну, что ж, достаточно и того, что он будет выдвинут от нашего журнала.

В Союзе же писателей либеральные интеллигенты отводили кандидатуру Солженицына под разными предлогами. Когда Караганов напомнил, что Хрущев очень высоко оценил эту повесть, Тевекелян громогласно сказал: «Ну, это личное мнение Никиты Сергеевича, вовсе для нас в данном случае не обязательное».

В то же время В. А. Смирнов [1] распускает слухи, что Твардовскому и Кондратовичу «выражено недоверие» за публикацию читательских писем о рассказе Солженицына. Вот оружие этой «черной сотни» — клевета, распространение панических слухов, запугивание интеллигентов и чиновников, у которых и без того поджилки дрожат.

22.XI.1963.

Твардовский пригласил к себе в гости нас с Маршаком — на Котельническую набережную. Говорили о разном. Трифонович рассказывал о записках доктора Белоголового, которыми он сейчас зачитывается [2]. Потом дружно ругали стихи Д. в «Октябре» — дикие, малограмотные, странные.

Засиделись допоздна. Самуил Яковлевич «декламировал» свои переводы из Блейка (которые А. Т. отверг) и статью.

Говорили о несчастье нашем, о лжи, вычитывал Александр Трифонович на этот счет нечто из «Театрального разъезда» Гоголя, а я напомнил рассуждение Слепцова, недавно мною проштудированного.

Твардовский сказал, что на предстоящем Пленуме, помимо химизации в сельском хозяйстве, по-видимому, опять будут говорить о злодеяниях Сталина: «две темы — химия и мумия».

С досадой говорил о своих депутатских приемах, о чувстве полной беспомощности в эти дни. Большинство просителей — по жилищным вопро-

[1] Смирнов Владимир Александрович (1905—1979), в 1960—1965 гг. главный редактор журнала «Дружба народов».

[2] Н. А. Белоголовый — врач, лечивший Некрасова и Тургенева, автор «Воспоминаний».

сам. «Одному недовольному я ответил: «А зачем вы меня выбирали?» — «А мы вас не выбирали, вас прислали», — возражает резонно он. А я ему: «А вы думаете, я к вам просился?»

Пили чай за круглым столом, когда вбежала в комнату Оля: «Покушение на Кеннеди! По телевизору только что передали». И через пять минут: «скончался...»

Стало тяжко, не по себе. Все пошли к телевизору. Там с нашей обычной тактичностью даже не сменили программы: на экране кривлялись какие-то певицы, выступавшие на конкурсе эстрадной песни.

Недобрые предчувствия — будто война придвинулась. «Как часы пробили», — сказал Маршак. Ольга и Мария Илларионовна плакали, Александр Трифонович отошел к темному окну, будто хотел что-то разглядеть на улице. Но там привычно бежали автомобили, полз автобус по мосту.

Маршак сразу сгорбился, голову опустил вниз. «Олленька, ты еще много хорошего увидишь», — сказал он плакавшей Ольге.

Александр Трифонович уткнулся в газету. Вспоминали, что ведь еще год назад он должен был встречаться с Кеннеди.

Вызвали машину для Маршака, и около 12 ч. ночи я проводил старика до дому.

27.XI.1963.

Александр Трифонович уехал на месяц в Барвиху. С А. Г. Дементьевым я ездил к Маршаку. Он читал свое предисловие к английскому изданию «Теркина», о котором хлопочет Чарльз Сноу.

Маршак вспоминал гонения на него в 30-е годы. Рассказывал о Голубевой, за которую он фактически написал книгу о детстве Кирова — «Мальчик из Уржума». Потом, в 37-м году эта же Голубева кляла его на писательском собрании, утверждая, что он искусственно задерживает написанную ею книгу о Кирове.

12.XII.1963.

В. С. Лебедев звонил Твардовскому в Барвиху и сообщил, что Никита Сергеевич часто вспоминает его, просил передать привет, снова тепло отзывался о поэме.

«Все это хорошо, — отвечал Александр Трифонович. — Но ведь темные духи веют, не успокоились, и статейки ядовитые Кочетов печатает».

«А чего бы вы хотели? — возразил Лебедев. — Разве может быть с е й ч а с иначе?»

Что значит это «сейчас» в устах помощника главы государства? И как это понимать — чего тут больше — лицемерия или беспомощности?

Сегодня вышла «Литгазета» с редакционной статьей «Пафос утверждения, острота споров», где есть попытка поставить под сомнение нашу публикацию писем о рассказе Солженицына.

Барабаш, конечно, не может успокоиться, и газета набрасывает тень на нашу объективность. Но в том-то и дело, что за исключением одной скабрезной открытки «отрицательных» отзывов у нас нет.

Кажется, тут есть повод осрамить газету, и я набросал письмо в редакцию от «Нового мира». Надо бы принудить их напечатать.

16.XII.1963.

С Кондратовичем ездили в Барвиху к Твардовскому. Везли Александру Трифоновичу приятную весть: по сведениям издательства, тираж журнала поднялся на 25—30%. В связи с этим возникла мысль: не снизить ли копеек на 10 цену?

Александр Трифонович одобрил письмо в «Литгазету» и написал сопроводительную записку Чаковскому: «Прошу уведомить, в каком номере письмо будет напечатано».

Говорили о последних наших номерах. Александр Трифонович поругивал Паустовского за «литературность», приблизительность даже и в языке. Нашел где-то у него фразу, что «мастера-умельцы на севере ставят сруб без единого гвоздя». «А когда срубы ставились с помощью гвоздей? Такого же не бывает!» — возмущался Александр Трифонович.

Хвалил рассказ И. Грековой — за талант, естественность.

Мы привезли ему список материалов, снятых и задержанных цензурой за год. Лишь один-два номера благополучных. Из снятого и отложенного можно соорудить три книжки журнала, да еще каких!

Я возмущался, а Александр Трифонович поразил меня на этот раз своей выдержкой, мудрым спокойствием.

«Надо отдавать себе отчет в том, — сказал он, — что нам и впредь еще будет трудно... Какой тяжелый год мы прожили. Но надо, не поддаваясь эмоциям, возмущению, брать метр за метром, уступчик за уступчиком...»

Говорили о Пленуме. Твардовский два места отметил в речи Хрущева:

1) о «материальной заинтересованности» руководителей. Надо, де, выделить на это специальные фонды. «То есть, тетка Матрена, — комментировал Александр Трифонович, — должна из-под своей курочки яичко взять и председателю яишенку сготовить».

2) указано, что прежде в центре внимания была одна проблема — заготовок. Теперь же три равно важных проблемы: заготовок, корма скоту и семенного фонда. Так что все предусмотрено, а вот проблемы, чем кормить крестьянский люд, серую рабочую скотинку в колхозах, пока не объявлено.

Все заметили, что Н. С. стал заговариваться, дважды, в начале и конце речи повторил одно и то же: «Мы подумали, чего скрывать от народа то доброе, что мы хотим ему пообещать...»

У нас с Кондратовичем осталось впечатление, что Александр Трифонович наконец-то врезался в какую-то свою авторскую работу. Он сосредоточен на своих мыслях, покоен и как бы отстранен от журнальной суеты. «Не хочу сейчас спешить в Москву, у меня тут кое-что затевается...», — проронил он на прощание.

17.XII.1963.

С Кондратовичем были у К. А. Федина в Лаврушинском. Воспоминание об этом нашем «странном члене редколлегии», как называет его иногда Твардовский, всплывает у нас по случаям особым и редкостным. Сам он в этом качестве проявляет себя мало — регулярно получает для чтения верстки и лишь изредка присылает записку с какими-нибудь ничтожными корректорскими поправками, пропустили запятую или лишнюю поставили, но никогда не высказывается (на всякий случай!) по существу. Его надо «приводить к присяге». В данном случае необходимо было, по совету Твардовского, согласовать текст нашего обращения в «Литгазету» о читательской почте в связи с Солженицыным.

Константин Александрович прочитал письмо, собственноручно поставил одну пропавшую при перепечатке кавычку и отпустил нас с миром.

Пока мы сидели у него в кабинете с картинами по стенам и всяким антиквариатом, он расспрашивал о Солженицыне. Я попытался объяснить ему, что наше обращение в газету существенно, поскольку мошенничество вокруг читательских писем становится дурным обыкновением: не стесняются самой грубой фальсификации.

«Институт читательского мнения» в «Литературной газете», мне тоже показалось, ведется сомнительно», — солидно подтвердил Федин.

Сегодня на сессии Верховного Совета Федин виделся с Демичевым, и тот сказал ему, что Евтушенко снова «скверно ведет себя». Что значат эти недомолвки?

Федин произвел на меня впечатление общипанного орла. Позировал перед нами с трубкой, а видно было, что всего боится.

23.XII.1963.

Сегодня в редакции шумно: вернулся из Барвихи Твардовский, приехал из-за границы Дементьев.

Александр Трифонович, успокоенный, веселый, делится своими барвихинскими впечатлениями. Андрей Свердлов, набивавшийся к нему в компанию, — неприятный, нечистоплотный тип. Обо всех все знает и, едва упомянут чье-либо имя, выпаливает что-то дурное. «Тухачевский? Ну, известный наркоман...» — и все в этом роде.

Случился у него разговор с Александром Трифоновичем о Крониде Малахове. Твардовский не раз говорил, что это был близкий ему человек в 30-е годы, сыгравший важную роль в его судьбе. Когда «Страна Муравия» была запрещена и за ее чтение давали 8 лет как за чтение кулацкой поэмы, К. Малахов познакомился с ней по заданию А. С. Щербакова, и по его отзыву Щербаков разрешил поэму печатать. Так вот этот

Кронид Малахов был арестован в 38-м или 39-м году, и допрашивал его Андрей Свердлов, работавший следователем НКВД. «Он был в группе, которая готовилась убить Сталина, но зачем-то запирался, хотя был изобличен»,— сказал как само собой разумеющееся А. Свердлов. Разговор этот был в лесу, они шли с Твардовским жечь костер — Твардовский остановился и сказал: «Зачем вы лжете? Ведь вы неправду сказали». Тот сознался, что врал. Второй такой же случай касался Е. Драбкиной, печатавшейся у нас, в юности — секретаря Свердлова. Андрей Свердлов был, по выражению Александра Трифоновича, в детстве «дитя кремлевского подворья». Курил под Царь-колоколом уворованные у Ягоды папиросы и т. п. Лиза Драбкина была его доброй знакомой. И она же попала к нему на допрос на Лубянке. Он совестил ее, что она не сознается, что была в троцкистской оппозиции («Была же?») «Но мы расстались друзьями»,—говорил А. Свердлов. «Правда, она на 17 лет отправилась в лагеря, а он пошел в свой кабинет»,— подытожил Трифонович.

(Интересно, что накануне у меня была Кира Головко и рассказывала о встречах в Барвихе со слов Свердлова: «Странный человек этот Твардовский. Симпатичный, костры любил со мной жечь, но странный!»).

В Барвихе Твардовского поражал полный индифферентизм окружающих ко всем серьезным вопросам. Даже Пленумом никто не интересовался. За столом соседом Александра Трифоновича оказался бывший министр здравоохранения Митерев, этакое «дитя природы» с розовыми щечками: уплетал лососину и о ней лишь способен был думать. Александр Трифонович пытался расспросить его о впечатлении от доклада Хрущева. «Еще не дочитал...» И вечером — снова: «Нет, не дочитал еще...»

Наблюдал Твардовский в Барвихе и А. Н. Поскребышева — когда-то заведующего Секретариатом и верного постельничего Сталина. Как-то Александр Трифонович подошел к нему на прогулке и завел разговор о том, что надо бы ему писать воспоминания, просто грешно не писать. «Ведь если вы не напишете — за вас никто не напишет. Пишите хоть вовсе без расчета на публикацию, страницу-полторы в день». Старик был рад, растроган даже, видно, с ним боятся об этом заговаривать. Ответил, что писать ему, конечно, очень трудно. «Читаю вот воспоминания маршалов и генералов, где рассказывается об их встречах со Сталиным — и мне смешно. Разве так было? Я же часто единственный свидетель этих встреч». «Писать всю правду очень трудно,— повторял Поскребышев,— хотя, поверьте, я столько от него натерпелся, сколько никто другой, быть может».

* * *

Вечером 23.XII. с Александром Трифоновичем поехали к Маршаку.

С. Я. «пропел» нам свое предисловие к английскому изданию «Теркина». Потом ужинали, разговаривали.

Маршак рассказал со слов своего сына Элика, инженера, который знает директора «почтового ящика» — прототипа Хабалыгина у Солженицына; так этот «персонаж» оправдывался у зам. министра: «Солженицын все обо мне выдумал, вовсе я не такой, и бородавки у меня нет».

Посидели у Маршака и пошли пешком от его дома по ул. Чкалова. Я проводил Александра Трифоновича до Котельнической — переулками и по бульварам; было легко и хорошо идти под слабым снежком.

Александр Трифонович говорил сегодня, что — странным образом — но он чувствует, при всей своей преданности коммунистическим идеям, что за искусством надо признать право автономии — как за областью выражения общественного мнения, народного контроля, что ли, хотя бы.

26.XII.1963.

В «Литгазете» напечатано наше редакционное письмо. Читатели приняли наши объяснения с восторгом — звонили, благодарили, что мы осадили «Литгазету». Оказывается, никакими демагогическими «примечаниями» обмануть публику уже нельзя.

Цензор Голованов взял под особый присмотр мою статью о Солженицыне, сданную для № 1. Уже спрашивал у Кондратовича: «А кто это «недруги» Ивана Денисовича?»

Александр Трифонович агитирует меня писать следующую статью — о читателе, где поговорить о всяких материях...

29.XII.1963.

С утра зашел за мной Сац. У него — А.Т., немного кислый.

Твардовский, пока ждал нас, исчеркал карандашом газету. «Что пишут, что пишут! «Доказывал о том, что...» Это же невозможно!.. Или — «маяки». Умершее уже слово. Я было хотел напасть на него в речи о Пушкине — к счастью, воздержался. Но какая нелепость, послушайте: «В таком-то районе — свыше двадцати маяков...» Получается какое-то побережье!»

Говорили о моей статье, о статье Лифшица [1]. Александр Трифонович заметил: «Я будто въявь вижу, как после публикации иду по коридору объясняться. Заходишь в комнату, и уже секретарша так глядит на тебя, что внутри все каменеет. И в знакомый кабинет ты входишь уже со словами: «Как справедливо нам прежде уже указывали...», вместо того чтобы закричать во все горло: «Да это же неразумно!..»

«Иногда вообще думаешь: «Бог весть как судьба еще повернется, и тогда хорошо знать, что окажешься в узилище, а Сац не подведет — пачку сигарет всегда передаст».

Твардовский говорил, что его потрясло одно полученное на днях письмо. В нем говорится, что некоторое время назад в Воронеже закрыли молельный дом баптистов — теперь их там едва ли не двадцать всего осталось. Отнимали детей у баптисток, даже грудного у женщины отняли. Отбирали библии у верующих. Но религия только укрепляется гонениями.

Александр Трифонович написал по этому поводу большое письмо Аджубею, предлагая свое перо, чтобы газете выступить об этом. «Но похоже, что мое перо не понадобилось». Рассказывал и о секте «молчальников», которых выслали за... молчание!

1964

№ 1 «Нового мира» за 1964 г. Подписан к печати **29.XII.1963.**

В номере:

повесть А. Кузнецова «У себя дома».

Л. Волынский. «Двадцать два года».

Публикация из наследия И. С. Шмелева.

Стихи С. Маршака, С. Щипачева, М. Рыльского.

Статья Ю. Черниченко «Целинная дорога».

Статья В. Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги».

Рецензии Л. Лебедевой, Ф. Светова, В. Солоухина, А. Синявского и др.

Попутное

Фактически номер вышел лишь в конце января. Дата 29.XII.63, по-видимому, была дана не по последнему, а по первому подписанному в печать листу. Цензура и дальше делала так, в согласии со специальным указанием, чтобы дезориентировать тех читателей, у нас и на Западе, которые внимательно следили за сроками выхода журнала.

2.I.1964.

После работы собрались отметить Новый год — Александр Трифонович, Дементьев, Кондратович, Герасимов и я. Сидели в ресторане «Будапешт», наверху.

Поднимая первый тост, Твардовский говорил: «Легкой жизни и впредь я вам не обещаю. Мы же сами хотели этого, сами печатали повесть Солженицына».

Он говорил об общей невнятице в идеологии и политике. «Когда я в книге теряю нить, что-то не понимаю, как я поступаю? Листаю назад страницы, возвращаюсь к началу. Так же надо бы и в общих вопросах: запутались — вернемся к началу».

Сегодня в редакции, просматривая новогоднюю почту, Александр Трифонович долго вертел поздравительную карточку от Союза писателей.

[1] Статья Мих. Лифшица «В мире эстетики» («Новый мир», 1964, № 2) содержит острую полемику с В. Разумным и И. Астаховым.

Его возмущает безличность обращений, набранных типографским шрифтом. «Дорогой друг!» — «Интересно знать, кому это я друг, да еще «дорогой»? «Желаем успехов в творчестве и счастья в личной жизни».— «То есть они убеждены, что мое творчество—это не моя личная жизнь».

4.I.1964.

Меня послали от «Нового мира» на пресс-конференцию у А. В. Романова, возглавляющего кино. Было смешно видеть, как он, надувая розовые щеки, расхваливал «Тишину». А перед этим, недели за две, ни слова не сказав, ушел с просмотра и полмесяца глухо молчал. Потом вдруг, как рассказал Ю. Бондарев, позвонил ему, поздравил и сказал, что «плакал», когда смотрел картину. Хороши эти слезы по разрешению. Просто стало известно, что Хрущев смотрел «Тишину» и высказался так: «Есть люди, которым не нравится борьба с культом личности, и они борются с литературой, которая борется с культом личности».

Беда в том, что такие вот хорошие слова Н. С. гасятся, уходят как в вату. Другие же его слова, с противоположным смыслом, усиливаются стократно.

12.I.1964.

Статью о Солженицыне несколько дней держали в цензуре, не подписывая. Голованов «советовался» выше, но итог благоприятный, сегодня, кажется, разрешили.

16.I.1964.

Маршак в одну из последних встреч говорил: «Я сделал открытие. У нас нет диалектики. Ведь «диа»—два голоса, два мнения, а у нас всегда одно».

Обсуждали с участием Твардовского роман Ю. Бондарева «Двое». Почти единодушно советовали переписать конец, слишком сусальный. Сомнительна и сцена во Внукове, и драка Константина на платформе с бандитами.

Александр Трифонович говорил, что находит очень реальным основной мотив в поведении героя—страх, и страх именно из-за трофейного револьвера. «Я сам не знал, как от него избавиться, и в конце концов зашвырнул куда-то».

Нельзя прятать револьвер в чужих дровах, рассуждал Твардовский, дровишки всегда врозь. Одно время герой держал револьвер в томе Брема, в котором вырезано специальное место для «Вальтера». Но ведь потом надо подумать еще, куда девать этот том, он тоже улика.

Александр Трифонович был с Бондаревым мягче, терпимее, чем можно было ожидать. Предлагал ему исправления «по минимуму», опасаясь, что «максимума» он не сделает при всей своей работоспособности.

20.I.1964.

Прочитал рукопись Д. Витковского «Полжизни», оставившую сильное впечатление, и написал отзыв для редколлегии. Твардовский еще прежде читал эту вещь, ему нравится. Он звонил автору и, хотя не обещал скоро напечатать, предложил заключить договор. В редакции, однако, по этому поводу раздоры. Марьямов неожиданно написал скверную рецензию, найдя в повести «эсеровский дух» и сравнив автора с Ивановым-Разумником. Я даже из-за этого с ним побранился.

21.I.1964.

После конца рабочего дня вдвоем с А. Т. забрели в «Будапешт». Тут он рассказал, чего не говорил в редакции, что приехал из Рязани Солженицын и был у него в воскресенье. Встреча была очень хороша, и А. И. не смотрел даже на часы, что когда-то так обидело В. П. Некрасова. Солженицын говорил с полным пониманием о журнале, о его роли. Он вчерне закончил роман в 35 листов и еще, кажется, повесть кончает из времен революции. Звал Трифоновича в Рязань, чтобы там в тишине, вдали от редакции и московского шума, он познакомился бы с романом. Я сказал, что понимаю это желание Солженицына, чтобы А. Т. читал прежде один и вне стен редакции.

Твардовский считает, что Солженицын получит Ленинскую премию, на которую его выдвинул журнал, несмотря ни на что. Снова говорил о записках Витковского—об их честности, о нежелании автора что-то выдумывать или потрясать страданиями. «В воспоминаниях заключенных—и наших, и немецких лагерей—так обычна липа. Автор говорит, как невыносимо они страдали, а потом вдруг сообщает, что конвойных подкупали плитками шоколада, пачками сигарет. Но ведь если режим был суров, конвойные должны были просто отбирать шоколад. И потом: откуда он у изможденных голодом заключенных? Такой вот липы не найдешь у Витковского. Достойно, серьезно пишет».

27.I.1964.

Вышел, наконец, сигнальный № I с моей статьей об «Иване Денисовиче».

Твардовский был сегодня в редакции злой, раздраженный. Вернулся от Ильичева, с совещания сочинителей нового текста гимна. Своих будущих соавторов он зовет «гимнюками»—это Бровка, Грибачев, С. В. Смирнов. Твардовский против воли тоже впряжен в эту колесницу, вынужден везти ее и страдает почти физически. «Всю ночь мучаюсь, сочиняю какие-то строчки, но ведь все нужно собрать из тех же 16 слов»: «народ», «вперед» и т. п. Как что-нибудь твое, личное выскочит, сразу говорят: «Нет, знаете, это не гимнично». Тут как-то смотрю, ненавистное мне слово «маяк» в строку вскочило—схватился за голову, вычеркнул. Ведь это мука! Прибавьте еще к этому ревность других «гимнюков», желание остаться в окончательном тексте хоть одной строчкой».

Я слушал, и так было жаль его, попавшего поневоле в этот мир призраков.

Сегодня обсуждали рукопись Ю. Домбровского «Хранитель древностей». Роман этот понравился мне: неожиданное сочетание документально-этнографической дотошности и детективного сюжета. А главное, впечатляюще передана фантастическая атмосфера времени 37-го года: страхи, подозрения и уродливые фантомы на цветном среднеазиатском фоне.

Твардовский советовал автору пустить историю «змея» несколько раньше, а в конце пусть он окажется не экзотическим удавом, каким-то колоссальным по размерам зоологическим чудом, а заурядной змейкой. Мне показалось, что философское содержание романа как-то теряется, бледнеет к концу. Не дать ли героям еще раз высказаться в диалогах, на какие автор такой маэстро, прежде развязки?

Домбровский произвел на всех хорошее впечатление. Он был когда-то музейным работником, потом долго сидел. Издан лишь один его роман: «Обезьяна приходит за своим черепом». Человек он, по первому взгляду, скромный, в пальто с оборванными пуговицами, серьезный, внимательный, с астеническим лицом в продольных морщинах и с нервной впечатлительностью, временами взрывающейся в нем.

«Расстрел красавицы у вас — хоженое поле», — сказал еще Твардовский. Но он не прав, это нужно для мысли романа.

С «Хранителем» у меня, да и у всех наших, связаны большие надежды. Вещь серьезная и во многих отношениях—новая.

29.I.1964.

Твардовский с тоской говорил, что его запрягают в Лермонтовский юбилей. «Что у них других поэтов нету? Почему непременно меня? А я так думаю: вот я выступил на юбилее Пушкина—так это часть судьбы, часть биографии. Но нельзя же по каждому поводу возглавлять юбилейные комитеты и говорить речи о всех подряд классиках».

Вечером поехали на Пушечную улицу, выступать в Доме учителя. Кроме нас, редакторов, были: Бондарев, Дорош, Войнович и Солженицын. Твардовский хорошо, дружелюбно и непринужденно вел вечер. Говорил о журнале: Запад не знает такого типа издания—без картинок, толстый журнал, одновременно художественный и публицистический. Во многих странах такого рода изданий просто нет. Этот тип журнала создан особыми условиями и традицией русской литературы XIX века, которая представляла и общественную мысль. Говорил о читателе, о связи с ним—как неотъемлемой части журнала.

Солженицын выступал дельно—говорил не о литературе, а о проблемах школы, в частности в связи с ростом преступности среди молодежи. Завышение отметок, невозможность для директора исключить кого-либо из школы—все это создает атмосферу ханжества.

Один из выступавших затем учителей ругал нашу критику: мол, нет у нас Белинских, ни одного не вырастили. «Вот уж неправда,—тихонько сказал сидевший рядом со мной Солженицын.— Мне критика «Нового

мира» нравится больше всего в журнале. Отдел прозы — когда хорош, когда дурен, поэзии — вовсе плох, а критика у вас блистательная».

Несмотря на завышенность похвалы, не могу сказать, чтобы она меня не порадовала.

Глядя на первые ряды, где сидели подслеповатые заслуженные учительницы, этакие старушки-мыши, которые переглядывались, перешептывались, враждебно зудели, Солженицын сказал, наклонившись ко мне: «Самая косная публика. Это они в 30—40-е годы калечили в школах людей».

30.I.1964.

Прощаясь накануне, Солженицын взял у меня сигнальный 1-й номер «Нового мира» с моей статьей, который я захватил с собой в Дом учителя. Сегодня в редакции он зашел ко мне и сказал: «Я прочел только последние страницы, касающиеся Дьякова[1], — вам могу сказать высший для меня комплимент: это написано так, будто вы были в лагере. Я сам бы так должен был отвечать Дьякову. Ведь если бы его повесть появилась раньше моей, пошел бы косяк такой литературы». И еще раз повторил: «Как вам удалось написать это с точки зрения лагерного человека?»

Сегодня Солженицын и Твардовский ездили к Маршаку. Самуил Яковлевич давно требовал познакомить его с Солженицыным. «У Ахматовой был, а у меня нет». Маршак, естественно, не закрывал рта, забыв хоть о чем-нибудь расспросить гостя. Пять минут подряд говорил о своей статье в «Правде» по поводу «Одного дня», а потом минут двадцать читал свою же статью о Шекспире. Солженицын стал поглядывать на часы. Твардовский был в ярости.

Завтра Александр Трифонович собирается в Карачарово — навестить Ивана Сергеевича Соколова-Микитова.

4.II.1964.

Твардовский вернулся из Карачарова нехорош.

Значит, на Комитет по Ленинским премиям не пойдет, а он собирался выступать и по поводу Солженицына, и по поводу Е. Исаева, выдвинутого со слабой поэмой «Суд памяти». Жаль, конечно. Сегодня стало известно, что докладчиком на сессии Комитета по кандидатуре Солженицына будет Аджубей. Запершись в своем известинском кабинете, он изучает мою статью. Расспрашивал Хитрова обо мне.

Вечером я говорил с Дементьевым. Александр Григорьевич ударился в воспоминания 1954 года, когда Твардовский не пошел на заседание Секретариата ЦК с обсуждением «Нового мира». Пришлось идти С. С. Смирнову и Дементьеву. Хрущев, который вел заседание, был очень мягок, благожелателен тогда, отменил проект Поспелова[2] и Румянцева[3] (снять Твардовского, Смирнова и Дементьева, всех троих, назначить редактором Друзина и т. п.).

Дементьев уверяет, что если бы Александр Трифонович в тот день был с ними, все повернулось бы по-другому. А тут Поспелов подзуживал: Твардовский, мол, не работает, пьянствует... Через две недели — задним числом — А. А. Сурков и Поспелов добились принятия решения об «ошибках» («иначе вся наша работа насмарку»).

«Сейчас, — говорил Дементьев, — я вижу с огорчением, как Трифонович стареет и как понижается его работоспособность. Стихов почти не пишет...» Он прав, я и сам давно это вижу, но боюсь выговорить. Конечно, сейчас у него после «Теркина» остановка, быть может, некий кризис. Но даст бог, все еще поправится. Журнал съедает у него массу сил, дома неспокойно. И работать вроде негде, никак не решится вопрос с покупкой дачи. А такие кратковременные выезды, вроде бы для «творческих занятий», как недавно в Карачарово, кончаются плачевно. Я подбивал Дементьева: давайте сами искать ему дачу — дело-то серьезное.

---

[1] Повесть Б. Дьякова «Пережитое» («Звезда» № 3 за 1963 г.) изображала лагерь с точки зрения привилегированного зэка, «придурка», освобожденного от «общих работ».

[2] Петр Николаевич Поспелов — Секретарь ЦК КПСС.

[3] Алексей Матвеевич Румянцев — в те годы зав. Отделом пропаганды ЦК.

№ 2 «Нового мира» за 1964 г. Подписан к печати **31.I.1964.**

В номере:

С. Залыгин. «На Иртыше».

Стихи А. Кулешова, Л. Завальнюка, К. Кулиева.

Статья Мих. Лифшица «В мире эстетики».

Рецензии Арс. Тарковского, Н. Крымовой, Ст. Рассадина и др.

11.II.1964.

Звонили из недавно образованного Совета по критике Союза писателей и звали на дискуссию о журнальной критике 1963 года. Я отказывался, как умел, предчувствуя западню. Но уклониться нельзя было — позвали выступить с сообщениями заведующих критикой четырех журналов — «Октября», «Знамени», «Москвы», ну и нашего.

Малый зал полон, человек сто — полтораста.

Я говорил коротко — минут пять, о том, что, мол, наша критика на виду, есть 12 книжек журнала за год — обсуждайте, критикуйте, мы, мол, высказались.

Но вскоре же выяснилось, что собрались не для этого — их интересует 1-й номер нынешнего года, и только.

Все было разыграно, как по нотам. Забыли все другие журналы и прочие статьи и целый вечер выли по-волчьи вокруг одной, посвященной «Ивану Денисовичу».

Председательствовал Д. Еремин. Выступала фаланга кочетовцев — А. Дремов, В. Назаренко, С. Трегуб, И. Астахов, а потом еще главные специалисты по лагерной теме — Б. Дьяков и генерал Тодорский. Это было самое неприятное — они говорили эмоционально, со слезой, что я оскорбил их, оскорбил всех коммунистов, оказавшихся в лагере. Тодорский начал забавно: «Я не знаю всех этих распрей «Октября» и «Нового мира», для меня это ссоры Монтекуки (!) и Капулетти». Но, разойдясь, говорил жестко. Впрочем, Тодорский и Дьяков опровергали друг друга, говоря о лагере, хотя сами этого не заметили. Дьяков утверждал, что не существовало разницы между работягами и придурками, что все это разделение придумал Лакшин, а Тодорский невольно подтвердил мою (и Солженицына, прежде всего) правоту, когда заявил: «Я к работягам хорошо относился. У меня их несколько тысяч работало... Ну, понятное дело, когда назначили меня начальником, и навар в щах другой, и пайка потолще... Руководящие посты в лагере занимали бывшие военные, коммунисты, организаторы...» Он не понимал, как кощунственно все это звучало. Об Иване Денисовиче и таких, как он, за весь вечер никто и не вспомнил.

А. Дымшиц, заключая, говорил, что я холодными руками коснулся святой и трагической темы. И вообще все обсуждение напоминало коллективный донос: я узнал, что я ревизионист, идеалист и одновременно напоминаю китайских догматиков. У Дремова, занявшегося проблемами теории, выходило, что аналитическая критика, за которую я ратую, — это голый субъективизм, а нормативная — это и есть лучшая партийная критика. Тодорский сосчитал, что в статье лишь дважды упомянуто слово «партия», и это, конечно, не случайно.

Это был, что я не сразу понял, хорошо срепетированный спектакль. Клака «Октября» вся была в зале и что-то выкрикивала с места, шумно аплодировала Дьякову и др. Не зря и закрыли собрание поспешно, пока люди не опомнились. На другой день должно было быть продолжение обсуждения, но его отменили — все, кто надо, уже высказались, теперь можно будет дать отчет в газете.

Хуже всех были «либералы» и сочувствующие. Многие подходили ко мне в перерыве, прочувственно жали руку, приветствовали, хвалили статью, но никто, ни один человек не выступил.

Попутное

Это обсуждение было мне наукой на всю последующую жизнь. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...» Позднее от дочери А. К. Воронского Галины Александровны я услыхал такой рассказ. Воронского с его «Красной новью» уничтожали «напостовцы». В Агитпропе у Стецкого собрали совещание по обсуждению журнала, и Воронский, не ведая, что все сговорено за его спиной, пришел один, а напостовцы явились кучей (Родов, Лелевич и др.) и яростно выступали против него, создав впечатление единодушного осуждения «Красной нови» и «Перевала».

Поняв, что попал в засаду, Воронский ушел обиженный, разгневанный и, на правах старой дружбы, позвонил Сталину, попросив о приеме. Сталин принял его, и он по-дружески пожаловался Кобе на коварство Стецкого. Сталин долго мерил шагами ковер, потом вынул изо рта трубку и произнес: «Сам виноват. Как ты мог забыть наше старое правило большевиков-подпольщиков: никогда не ходи на собрания, где ты рискуешь остаться в меньшинстве».

Я тоже не знал этого правила и был избит, как никогда прежде. Остро почувствовал тогда и предательство либеральной литературной среды. Было ощущение, что некоторым моим доброхотам даже нравилось, что меня избивают: выскочку ставили на место. Я сильно пережил эту историю, долго ее помнил.

Скажу несколько слов о лицах, упомянутых в записи.

Б. Дьяков, обидевшийся за мою критику его книги «Пережитое», фальсифицировавшей правду о лагерях, до недавних пор жил благополучно, пока в 1988-м году не был печатно осрамлен как доносчик и осведомитель НКВД в 30-е — 40-е годы.

А. И. Тодорский, прославленный в его книге, имел сложную судьбу. О его брошюре «Год с винтовкой и плугом» в 1920-м году высказался Ленин. Выйдя из лагеря, Тодорский, сам генерал-лейтенант в отставке, провел полезную работу — написал нигде не изданное тогда открытое письмо с подсчетами жертв сталинского террора среди военных: впервые собранные им данные о числе погибших маршалов, комкоров и комбригов оглушали. Но повесть Солженицына он не принял и, поскольку критиковать самого автора «Ивана Денисовича» не считали тогда возможным, сосредоточил свой гнев на моей статье.

17.II.1964.

Александр Трифонович в редакции. Говорили о Пленуме ЦК. «На земле больше сеять, похоже, не будем — гидропоника», — иронически комментировал Твардовский.

Рассказал, что, возвращаясь с тяжелой головой после заседаний Пленума, отводил душу над «Афоризмами» Лихтенберга. Я сейчас тоже читаю эту книгу, читаю с редким удовольствием. Но удивляюсь: а он-то как поспел?

Сегодня минут пятнадцать мы крестили новую вещь генерала Горбатова. Твардовскому не хочется, чтобы она называлась «Жизнь солдата». Все крутили вокруг банального: «Служба и...» «Дружба, что ли? — с негодованием обрезал Александр Трифонович. И вдруг нашел: «Годы и войны», на этом все согласились.

Твардовский долго сокрушался, что Сац испортил, редактируя, вещь Горбатова. «Зачем он выпрямил в хронологической последовательности? Мне плакать хочется — какая вещь испорчена! Ведь Горбатов инстинктивно сделал художественно: сначала круто взял — тюрьма, лагерь, а потом на покосе, где есть место подумать, припомнил детство, гражданскую войну...» Он преувеличивает беду, но по существу прав — вещь, конечно, потеряла что-то.

Пришел Сац, и Александр Трифонович с необычной для него жестокостью повторил все то, что только что говорил нам. Тут же и рассорились — Сац ведь тоже упрям.

Мне тяжело было наблюдать их ссору, а вмешаться значило бы подлить в огонь масла, и я ушел, оставив их объясняться вдвоем.

Из редакционной статьи «Общий труд критики»
(«Литературная газета», 20 февраля, 1964 г.)

(...) Бог весть по какому праву определив себе роль единственного защитника и приверженца повести «Один день Ивана Денисовича», В. Лакшин пытается поделить с помощью этого произведения всех критиков, писавших о книге, на «друзей» и «недругов»...

«Недруги» — это те авторы, кто обронил в адрес повести хоть слово критики, позволил себе рассуждать на темы, казалось бы, столь естественные и привычные при рассмотрении всякого литературного произведения: о типичности героя, о полноте изображенных обстоятельств, о неиспользованных возможностях темы и т. д. Это критики, которые увидели в облике Ивана Денисовича черты примиренчества, пассивности, некоей «каратаевщины», считающие, что тема, поднятая А. Солженицыным, могла быть решена еще более ярко и убедительно...

(...) Не кажется ли молодому критику, что уже сама его постановка вопроса о «друзьях» и «недругах» таит в себе некий дурной подтекст? Ведь критиков, чьи имена называются в статье, он аттестует не только как «недругов» повести, но и как «недругов» ее героя, жертвы культа личности, Ивана Денисовича, который, говоря словами статьи, являет собой «народный характер», олицетворяет многих рядовых людей, составляющих «самую толщу широких трудящихся масс» и сосредоточивших в себе «народные черты нравственной стойкости, трудолюбия, товарищества и т. п.». Не нужно прибегать к сложным логическим построениям, чтобы, идя за мыслью В. Лакшина, понять, кому и чему «недруги» эти неосторожные критики. Вот до чего, оказывается, можно договориться в пылу литературной полемики!

Попутное

На первый взгляд, в статье «Литературной газеты» ни складу, ни ладу. Хвалить за «дотошное цитирование» и спустя несколько абзацев упрекать критика в «усечении цитат»; называть себя защитниками повести и ее героя — и одновременно выражать недовольство т а к и м героем, — все эти несообразности мало смущают автора редакционной статьи. Но что в ней действительно примечательно и отражает логику определенного момента — это механизм сознательного лицемерия, вынужденного считаться с обстоятельствами. Само собой очевидно, что п о к а не с руки было бить повесть, одобренную Н. С. Хрущевым и выдвинутую, как-никак, на Ленинскую премию. Но набросить тень на этот «феномен» можно. Можно ударить по ней рикошетом, браня ее защитника и, в позе бесстрастного арбитра солидаризируясь с ее критиками. Те, кто вскоре начнут изымать повесть Солженицына из библиотек, вымарывать любые упоминания о нем, свертывать едва начавшуюся критику сталинской эпохи, пока что фальшиво сердятся на то, что кто-то посмел искать «недругов Ивана Денисовича» — жертвы культа личности. Где вы их увидели? Помилуйте, их нет! Решительно все ходят в «друзьях», и разве что некоторые освобождают повесть от ореола исключительности, вводят в рамки «естественно развивающегося» (!) литературного процесса... На волчьем загривке все еще бабушкин чепец и слышится из-за двери нежный голос.

Завтра оправданий и недомолвок уже не потребуется. «Лагерная тема» будет закрыта. Враги XX съезда, развенчания «культа» скинут маску, едва утвердится застойная брежневская пора. Снова сведут к нулю и вычеркнут из истории для молодых поколений тему репрессий и шаг за шагом пойдут вспять к реставрации привычной идеологии и психологии сталинизма. Надо было прожить эти два десятилетия, чтобы увидеть эти процессы, как на ладони.

22.II.1964.

Суббота. Приехал хмурый, будто больной. Александр Трифонович после приема избирателей, который бывает у него, кажется, раз в месяц. Возмущался негуманностью закона о прописке: нельзя прописать жену к мужу и т. п. «Нет, если я еще пойду к Хрущеву, я вот о чем с ним буду говорить, а не о литературе».

24.II.1964.

Из готовых листов очередного номера цензура выбрасывает безвинную шутку в пьесе Розова («В день свадьбы»), что у нас, мол, ракеты на спиртном духе ходят. (Намек на водку как источник бюджета.) Журнал сильно задержится из-за этой мелочи.

Александр Трифонович звонил в Главлит, бранился с Охотниковым, заместителем П. Романова. Но тот уперся, что у Розова — анекдот с душком, а по поводу зловредности анекдотов недавно говорили на совещании в «Большом доме». «Я таких анекдотов не знаю, не слыхал», — кричал ему в трубку Твардовский, долго что-то доказывал и, наконец, сказал потухшим голосом: «Мне жаль вас. Чем вам приходится заниматься?!» Но все было впустую: несколько реплик у Розова потребовали снять, и номер завяз.

25.II.1964.

Ходили с Александром Трифоновичем к Лесючевскому [1] по поводу книги Щеглова. Лесючевский опоздал к назначенному часу, мы ждали в приемной. Приехал, извинился и пригласил в кабинет. Поначалу все шло хорошо (он хотел еще замазать неловкость нашего ожидания). Я сказал, что комиссия по наследию Щеглова, которую мы представляем, настаивает на включении в сборник статей о «Русском лесе» Леонова, о современной драме, а также просит включить некоторые не бывшие в первом издании рецензии. Он согласился на рецензию о повести С. Антонова.

«Русский лес» тоже уступил, правда, с оговоркой, что Твардовский еще должен об этом поговорить в ЦК. На статье же о драме застряли: «безысходная картина положения в советской драматургии» и т. п. (В действительности-то его волнует, что там критикуются Корнейчук, Софронов и Штейн.)

Сначала мы искали аргументы. Твардовский сдерживался, как мог, но в конце концов вспылил. «О каких пустяках мы спорим! Почему критик не может писать то, что думает? Вы не верите партии, хотя говорите, что защищаете ее интересы, не верите Советской власти, если думаете, что она пошатнется от издания такой книги... Жалкий вы человек!», — и пустил напоследок по-русски, чего я даже не ожидал. «Пойдемте, В. Я.», — провозгласил он и сам толкнул дверь, не прощаясь с растерянным Лесючевским. — «Ноги моей больше тут не будет», — прибавил он и прошел сквозь строй испуганных просителей и потрясенных секретарш величественно, как Несчастливцев в «Лесе». Я следовал за ним, подобно Аркашке.

На лестнице он остановился, страшно бледный, прислонился к перилам и схватился за сердце. «Я бросил с ним разговаривать, — пояснил он, — когда увидел, что это бесполезно. Не удивляйтесь, что я полыхнул. Что бы мы ни говорили, какие бы неотразимые доводы ни приводили, он будет упираться. Когда-то в моем сборнике он выкинул четверостишие из стихотворения «Новая земля». Я унес рукопись и напечатал полностью в «Молодой гвардии». Теперь он всякую книгу, какую я рекомендую, задерживает и с пристрастием «и з у ч а е т». А ведь Грибачева, небось, не изучал».

Постепенно (почему-то мы спускались с 10-го этажа пешком), идя по лестнице, он успокоился и уже с юмором, правда, довольно ядовитым, говорил: «Лесючевский объяснялся с нами так, как если бы где-то в углу за нашим разговором незримо наблюдал товарищ Снастин. И Снастин бы его, разумеется, одобрил бы, даже если бы существа дела не понял. Глядя на нас, он увидел бы, что «те двое» что-то сомнительное «протаскивают», а Лесючевский «дает им отпор».

В редакции разгром — вот-вот должны переехать в новое здание. Книги, папки с рукописями увязываются, складываются в мешки. Н. П. Бианки хлопочет, волнуется, как мы рассядемся по комнатам в новом помещении.

Марьямов пошутил: «последний акт «Вишневого сада» в постановке Бианки». И даже свой Фирс у нас имеется, которого невзначай могут забыть, старушка Ксения Гавриловна, которая поит нас чаем.

26.II.1964.

Твардовский прочитал стенограмму Секретариата СП, который был в его отсутствие и где обсуждалась выходка «Дружбы народов» против его поэмы [2]. Огорчился и обиделся. Написал письмо, где требует дезавуировать фальшивку не кабинетным обсуждением, а в печати же.

С утра переезжали в новое здание. Это неподалеку, в проезде Скворцова-Степанова, за кинотеатром «Россия». Говорят, прежде там была монастырская гостиница.

---

[1] Николай Васильевич Лесючевский (1907—1978), председатель правления издательства «Советский писатель».

[2] Журнал «Дружба народов» напечатал фальсифицированное читательское письмо против поэмы Твардовского «Теркин на том свете».

Жаль расставаться с прежними стенами, кабинетом, где вечно гудел наш табор. Было шумно, неудобно, двери всегда настежь, люди входили и выходили, поговорить наедине было негде, — а что-то, право, было в этом хорошее...

4.III.1964.

Приехали «Стрелой» в Ленинград — на встречи с читателями. Вообще-то Твардовский такие встречи не любит, но тут его уговорили. Кроме нас с Дементьевым, он взял в поездку Софью Ханановну Минц.

Уже с утра, пока оформляли номера в «Европейской», нас окружила в вестибюле большая группа студентов пединститута им. Герцена — уговаривали выступить у них сверх нашей программы. Твардовский отказался.

Продолжительно завтракали в обществе Л. Плоткина и Е. Наумова, ленинградских профессоров, приятелей Демента и его соавторов по школьному учебнику литературы. От них узнали, что на ленинградских подмостках уже с неделю бушует «Юность» с Беллой Ахмадулиной в качестве примадонны. Трифоныч смеялся, что нам, дабы выдержать конкуренцию, придется на эту роль выпустить Софью Ханановну, а он для нее «женские стихи» напишет.

К вечеру отправились в Выборгский дом культуры, где назначено первое выступление. Народ валом валит, мы думали, на нас, а оказалось в соседнем зале дает представление труппа Аркадия Райкина. Испугались было, не оставит ли он нас без публики. Но зал, длинный как сарай или вокзальный ангар, был битком набит, стояли по стенам и в проходе.

В президиуме с нами были Д. Гранин, В. Шефнер, О. Берггольц, председательствовал круглый, лысый Прокофьев [1]. Каждого из нас встречали дружными аплодисментами и овацией — Твардовского. По его условию, на встрече должны были по преимуществу выступать читатели, а редакторы их выслушивать. И, надо сказать, были дельные, резкие высказывания. Многие взяли сторону «Нового мира» в полемике с «Октябрем» и стали клеймить кочетовский журнал. Прокофьев ерзал, сидя как на угольях, и то и дело призывал наэлектризованный зал к порядку.

Овацией встретили Бурковского [2], в котором узнали кавторанга из солженицынской повести. Зал встал, когда он вышел говорить, и долго хлопали стоя. Он вспоминал о лагере, в котором сидел вместе с Солженицыным, говорил о правдивости этой повести.

Потом выступал Твардовский, хорошо говорил о журнале, о читателе как части журнала, активно воздействующей на его дух. Ольга Берггольц читала стихи. Я говорил о критике и о мемуарно-документальной прозе (были об этом записки). Кто-то вскочил в зале и требовал сейчас же, немедленно, принять обращение к Комитету по Ленинским премиям, чтобы премия была присуждена Солженицыну. Зал захлопал, загудел одобрительно. Прокофьеву с трудом удалось это отвести — ссылками на иной характер вечера.

В перерыве — мы стояли с Твардовским в комнатке за кулисами — подошел человек, назвался представителем райкома партии и сказал: «Вы не находите, Александр Трифонович, что конференция пошла как-то косо — вас захваливают, ругают другие журналы... Надо что-то сделать, чтобы выправить положение». Потом еще какие-то официальные люди вились, суетились в кулуарах вокруг Твардовского, а он отшучивался: «Не следует придавать значение экспромтным выступлениям, это лишь мнение одного или другого читателя, а не всякое же лыко в строку... К тому же есть различие письменной и устной речи — бывает, скажется погрубее, чем написал бы на бумаге».

Перерыв кончился. Прокофьев, на правах председательствующего, пытаясь переменить тон собрания, вдруг надулся, стал еще круглее, по-

---

[1] Поэт Александр Андреевич Прокофьев (1900—1971) в то время был главой Ленинградской писательской организации.

[2] Борис Васильевич Бурковский — начальник филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», капитан второго ранга в отставке, прототип кавторанга Буйновского в повести «Один день Ивана Денисовича». Об этом было широко известно благодаря статье о нем В. Паллона «Здравствуйте, кавторанг», опубликованной в «Известиях» 14 января 1964 г.

багровел и начал выкрикивать что-то о двух оскорбительных анонимных записках, которые он получил из зала, и в них такое... такое... что он не может их прочесть. Зал примолк, но он тщетно пытался припугнуть и скомпрометировать аудиторию. Много доброго было еще сказано о журнале, а некоторым из-за позднего времени уже не могли дать слова. Нас плотно окружили после конца вечера и еще что-то договаривали на лестнице и у дверей.

Прокофьев пригласил всех нас к себе ужинать. У него роскошная квартира на Кронверкском, был накрыт царский стол. Среди его гостей, кроме Твардовского и нас с Дементьевым, были «кавалерственная дама» из горисполкома, драматург Борис Чирсков [1] с женой, Чепуров и еще кто-то из прокофьевского окружения.

Еще по дороге, в машине, на вопрос Твардовского Прокофьев передал содержание двух записок, которыми он пугал. Первая: «Вы, Прокофьев, здесь председательствуете и славите «Новый мир», а все в Ленинграде знают, что вы реакционер и кочетовец». Твардовский его утешил: «Ну, что ты, Саша, обижаешься. На такое внимание нельзя обращать — это же явная глупость. Если бы еще Кочетова назвать «прокофьевцем»... А то тебя — «кочетовцем»... явная нелепость». Во второй записке Прокофьеву предлагалось, «если он не двуличный человек», встать и пожать руку мне, как автору статьи о Солженицыне. Только-то и всего?

Угощали и ублажали нас у Прокофьева по первому разряду, но общество было пестрое и какая-то фальшь витала над столом. Твардовский провозгласил тост за здоровье Солженицына и, видя, что не встречает у хозяина большого энтузиазма, иронически уговаривал его: «Ведь ты, Саша, даже внешне похож на Никиту Сергеевича, все об этом говорят. А Хрущеву повесть Солженицына нравится. Неужели ты не дорожишь хоть отчасти и внутренним сходством?» Видно было, что за столом многие приняли этот тост неохотно и выпили через душу. Прокофьев несколько раз заговаривал со мной: «Я не со всем в вашей статье согласен». Я отвечал ему в тон: «Хорошо, Александр Андреевич, значит, хоть с чем-то согласны».

Разошлись под утро, добрались до гостиницы, и я сразу свалился в постель.

5.III.1964.

С утра, по приглашению Бурковского, были на крейсере «Аврора». Он водил нас по кораблю, объяснял хорошо и дельно. Я впервые уяснил себе, что «залп» «Авроры» — это выдумка газетчиков и лизоблюдов-стихотворцев, потому что был не залп, а одиночный выстрел, да и то холостой [2]. Белышев, первый комиссар «Авроры», даже в газетах 1918 года опровергал «буржуазную клевету», что пушки «Авроры» разбили скульптуры над фасадом Зимнего дворца. Главная реальная заслуга «Авроры» в восстании та, что вопреки приказу Временного правительства она не дала развести Николаевский мост, и по нему с Петроградской стороны прошли отряды рабочих.

После «Авроры» Твардовский поехал к своему другу Македонову, а я вернулся в гостиницу. Вечером у нас второе выступление — во Дворце искусств на Невском.

К 7 часам мы были там. За кулисами полно незнакомых лиц, какое-то волнение, возня вокруг того, как вести вечер. Мы хотели, чтобы

---

[1] Борис Федорович Чирсков (1904—1966) — кинодраматург, лауреат Сталинской премии. Рассказывали, что свою пьесу «Победители», которая принесла ему известность, он написал в лагере и благодаря ей вышел на свободу. Когда я его знал, он уже ничего нового не писал, исправно выпивал-закусывал и прекрасно пел старые казачьи песни.

[2] Эта история имела свое продолжение. В. Кардин писал тогда для нас статью о фальсификациях А. Кривицкого в истории «двадцати восьми гвардейцев-панфиловцев». Вернувшись из Ленинграда, я рассказал В. Кардину о «залпе «Авроры» и советовал ему расширить материал статьи. Статья «Легенды и факты» получилась яркой и задиристой, принесла автору известность, а журналу кучу неприятностей. Самым огорчительным было то, что письмо против статьи В. Кардина, напечатанное в журнале «Огонек», было подписано, помимо других, и... Б. Бурковским. Он опровергал то, что сам же нам и рассказывал. О, времена! О, нравы!

председательствовала Ольга Берггольц, и она соглашалась. Но тут какие-то люди из горкома, райкома стали уговаривать Твардовского и нас: не надо ее выпускать, вдруг она «что-то напутает». «А список читателей, собирающихся выступить, есть?» — поинтересовался Дементьев. «Есть, есть...» — «А можно его посмотреть?» — «Да он лежит на столе, на сцене». «Тогда нечего волноваться, — сказал Демент. — Ольга Федоровна начнет, предоставит кому-нибудь из нас слово, потом читатели выступят...»

Когда мы вышли на сцену под ослепительные юпитеры, расселись за маленьким круглым столиком с микрофоном, оказалось, что в списке выступающих... два человека. Как мы потом поняли, остальных выбросили как неблагонадежных — еще неведомо что понесут... Испуг триумфального вечера в Выборгском доме культуры заставил местных руководителей сильно суетиться, опасались нового литературного скандала вокруг опального журнала.

Берггольц начала свою речь с воспоминания о днях блокады, когда на домах, выходивших фасадами на Невский, были намалеваны надписи: «Граждане! Эта сторона улицы особенно опасна при артобстреле». — «У нас в гостях «Новый мир», и похоже, что сегодня особенно опасна э т а с т о р о н а улицы... Мы ничего не боялись в войну, так чего же мы боимся сегодня?»

Мы все, не исключая Твардовского, выступали на этот раз кое-как, без вчерашнего энтузиазма. Твардовский только метко сказал, отвечая на записку об И. Эренбурге и критике его Хрущевым: «Худо ли, хорошо ли, но он единственный из людей своего поколения, кто решился рассказать о прожитой им эпохе. Федин, скажем, на это не решился. Но почему-то хотят, чтобы Эренбург забывал то, о чем он хочет вспомнить, и вспоминал то, о чем хочет забыть».

Оба выступивших и, видно, заранее хорошо подготовленных читателя умеренно критиковали «Новый мир». Из зала бросали отдельные реплики, никто выступить не решился. Вечер закончился стремительно, за какой-нибудь час. (Накануне сидели четыре часа и еще многие не успели выступить.)

Едва мы вышли за кулисы, как местный распорядитель поволок нас в актерский ресторан, усадил за столик, отделенный от зала легкой ширмой, и сам исчез под каким-то предлогом. Настроение у всех было смутное, отравленное, и оставалось только выпить. Ольга Берггольц читала свои стихи тюремные и так расшевелила Твардовского, что он сам прочел (чего обычно в застолье не делает) что-то из своей лирики. Потом сказал: «Я стал бояться писать стихи. Мне все теперь кажется так дурно, так дурно... ну, почти как у Степы Щипачева».

Успели вернуться в гостиницу только за вещами, и на вокзал, на ночной поезд. Мы с Твардовским оказались в разных вагонах.

А утром на московском перроне я встретил похмельного, опухшего Трифоновича. Его шатало от бессонной ночи, водки и с опозданием сознанной обиды. Он вцепился мне в плечо и повторял одно: «Вы поняли, вы поняли, что вечер нам с о р в а л и?»

13.III.1964. Подписан к печати № 3.

В номере:
В. Розов. «В день свадьбы». Драма.
Виль Липатов. «Чужой». Повесть.
А. В. Горбатов. «Годы и войны» (Страницы воспоминаний.)
Стихи Назыма Хикмета, С. Маршака.
Статьи В. Шкловского, А. Нинова, Ф. Светова.
Рецензии Е. Стариковой, С. Наровчатова, Б. Сарнова, З. Паперного, И. Роднянской и др.

14.III.1964.

В журнале все спокойно, если не считать малой, но досадной оплошности Кондратовича. Позвонил Поликарпов и с негодованием обрушился на журнал: почему в 3-й книжке не освещена годовщина «исторических встреч» Хрущева с творческой интеллигенцией? (Другие журналы дали.) Кондратович ответил, что редколлегия решила напечатать передовую в апрельском, четвертом номере — в связи с годовщиной Ленина, и там уж заодно поговорить обо всем. Все было бы нормально, но тут у него вырвалась неловкая фраза: «не каждый же месяц молебен служить».

Услышав эти слова, «дядя Митя» впал в истерику, угрожал Кондратовичу и не принял никаких его уверений и запоздалых оправданий. «До чего же вы дошли... Ну, вы за это ответите!» — пригрозил он. Алеша ходил бледный, помятый и говорил, что, кажется, сильно подвел журнал. Не знает, как сознаться Твардовскому.

Но все, кажется, обошлось.

16.III.1964.

Твардовский просил навестить его в санатории. В Барвихе он размещен роскошно, в «люксе» с отдельным ходом. Когда мы проходили с ним зимним садом, где в красивых креслах сидели ответработники в пижамах, забивающие козла, он сказал, указывая на лысины: «Мои герои», и процитировал из «Теркина на том свете»: «...дорогих часов не тратьте для загробной той игры».

Повод к разговору, для которого он меня позвал, был пустяковым: что-то раздражило его в статейке П., он собирался выговорить за это мне. Я отвечал, что единственный действительный недостаток этой статьи, достаточно ядовитой, в некрупности предмета насмешки. Наш рецензент инстинктивно летит на падаль, на то, что хоть и смердит, но уже не может укусить. Твардовский рассмеялся, и инцидент был исчерпан.

Другое, о чем ему хотелось со мною говорить: он задумал о повести Солженицына большую статью для «Правды». «Я хочу написать об оценке его разными по своим понятиям людьми совершенно открыто, поставлю все точки над «i», чего вы еще не могли сделать...» Ну что ж, исполать ему.

Александр Трифонович разговаривал тут с В. С. Лебедевым, и тот опять сочувственно говорил о Солженицыне и выслушивал сетования Твардовского, что «безответственные люди могут завалить его в Комитете». В. С. напомнил, что Хрущев высоко оценил и художественную сторону вещи — «волчье солнышко», и т. п. «Ильичев не использует своих возможностей, — сказал Лебедев. — Как бы он мог сейчас вести искусство — широко, свободно».

Слушая все это, я еще раз спрашивал себя: что это, лицемерие или безрукость? А Твардовский легко обольщается. Он доверчив, хочет верить в доброе.

22.III.1964.

Как прихожу в редакцию, уже сидят двое-трое ожидающих меня посетителей. И чаще всего это просто читатели с разговорами о статье, вокруг Солженицына. Приходил А. Г. Мискин, который прежде прислал письмо, советовался, писать ли ему воспоминания. «Нам многое вернули, мне дали квартиру, пенсию, но кто вернет мне жизнь?» — говорил без всякой рисовки он, семнадцать лет проведший т а м. Рассказывал, как сидел в карцере, каменном мешке, где окна были без стекол, один переплет прутьев, и хоть дело было на Кавказе, а зимними ночами стоял там страшный холод... Был еще сегодня какой-то грузин, который говорил, что ему стыдно сказать детям, где он пропадал во время войны и после нее. Сейчас его восстановили в партии, дали работу, а какое-то пятно осталось. «Дочка спрашивает: а где твои ордена, если ты был на фронте? Я солгал, сказал, что наградные листы затерялись. Сейчас, мол, еду в Москву, все буду выяснять».

С неделю назад Твардовский просил меня сказать несколько слов по телевидению о Солженицыне — будет передача о кандидатах на Ленинскую премию, и представлять их должны те издания, какие выдвигали. Готовясь к выступлению (всего-то минут на пять), заново и не без любопытства просмотрел редакционную почту по «Ивану Денисовичу». Выясняется такая особенность: сначала отрицательных писем о повести было все же довольно много, последнее время — почти нет. Не начинает ли ломаться консервативный стереотип даже у тех читателей, для которых вещь Солженицына по открытости своей правды еще вчера была немыслимой, невозможной? Со временем привыкают и прочно зачисляют в классики.

А от телевидения нет подтверждения — или забыли? Впрочем, сейчас все зыбко. Я слышал, что на радио сделали, «на всякий случай, вдруг будет премия?», полную запись повести Солженицына в чтении автора. Председатель Комитета Харламов похвалил, сказал, что подумает, когда пускать, — и умолк.

25.III.1964.

Цензура остановила и рассматривает под лупой «Трибуну читателя». — «Еще раз о повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Задержана и повесть Ю. Бондарева.

26.III.1964.

Бондарева подпишут при условии нескольких купюр и переделок. Смятый, расстроенный (ему очень хочется поскорее напечатать «Двоих»), Юра приходил советоваться — не слишком ли его изуродовали.

Приезжал в редакцию Твардовский — нервен и не в духе. Его осаждают ходатаи за Бродского, молодого ленинградца, обвиненного в тунеядстве. Требуют, чтобы он вмешался и помог. Дело постыдное, но Бродский ему не знаком, как поэт не близок — и он колеблется...

Сказал, что все его мысли о Солженицыне, над статьей о котором он работает. «Хочу написать ее, не вдаваясь в подробности полемики... с птичьего полета».

31.III.1964.

В редакции Илья Эренбург — в мягком, как халат, сером костюме, по-стариковски разговорчивый, сурово-любезный, временами ядовитый.

Приехал он, чтобы благодарить журнал за сотрудничество — несколько торжественно и церемонно — перед концом издания своей книги. (О хрущевских временах он собирается написать, но печатать не рассчитывает). Говорил, что журнал наш в особом положении. Как единственный свободомыслящий он не имеет конкурентов, и потому, де, мы должны быть широки и терпимы. (Это так, но про себя я прибавил: «но не расплывчаты», иначе пригревая всех «добрых людей», можно и свою физиономию потерять.)

Вспоминал о прошлогоднем визите к Хрущеву. «Вы сам себе цензор», — сказал Хрущев, когда Эренбург заговорил об издании своей книги.

Два раза, по словам Эренбурга, он заметил на лице Хрущева живое, человеческое выражение. Первый, когда Эренбург упомянул о том, что главная заслуга Хрущева в истории — уничтожение сталинского беззакония. И второй (тень досады и огорчения пробежала по его лицу), когда Эренбург рассказал случай с директором кинотеатра повторного фильма. Его вызвали в МК партии, требуя объяснений, зачем он пригласил Эренбурга участвовать в демонстрации какого-то фильма, — и с ним случился инфаркт. Это печальное свидетельство живучести атмосферы страха произвело, по утверждению Эренбурга, впечатление на его собеседника.

Немного спустя, рассказывал Эренбург, его пригласил к себе Ильичев. Два с половиной часа уговаривал внести поправки в мемуары «Люди, годы, жизнь» для отдельного издания. (Оно предполагалось в «Советском писателе»). Эренбург отказался менять что-нибудь против журнального варианта, сославшись на слова Хрущева о «самоцензуре». «Может быть, вы тогда не будете против, чтобы к вашей книге написали предисловие работники издательства, например, Лесючевский?» — спросил Ильичев. «Это будет для меня как Ленинская премия», — с форсом ответил старик. «Но вы не боитесь, что вашу книгу будут критиковать в печати?» — «После критики вашей и Никиты Сергеевича разве чего-либо можно испугаться?» И лицемерная фраза в ответ: «Да, к сожалению, мы не можем оградить вас от критики».

Следствием этой беседы, рассказывает Эренбург, было то, что Ильичев полгода держал на своем столе присланный ему в верстке 2-й том собрания сочинений (там «Рвач» и другие ранние романы) — не отдавал назад, но и не запрещал, просто тянул время.

Покуривая трубку, Эренбург рассуждал о причинах «исторических встреч». По его мнению, их две: 1) попытка примирения с китайскими догматиками, жертва, выброшенная им в идеологической полемике; 2) чья-то сознательная провокация, донос политического свойства на некоторых писателей и художников.

Публикацию у нас 6-й книги обсудили вкратце. Твардовский спорил, главным образом, с главой о Фадееве, просил или переделать, или вовсе снять. Ссылался и на справедливость к покойному и на личные обязательства прошлой дружбы. (Он видит в Фадееве трагическую фигуру.) Эренбург отвечал в том духе, что как раз не думал унизить Фадеева, а хотел с симпатией объяснить его.

Потом разговор свернул на Солженицына. Выше всего Эренбург ставит «Матренин двор», сравнивает его по силе с чеховскими рассказами. «Иван Денисович» тоже нравится ему, но меньше. «Это мастерски написано, но здесь я знаю, как это сделано, а в «Матренином дворе» не знаю». Я позволил себе не согласиться.

Любопытные вещи рассказывал Эренбург о Раскольникове, Бухарине, с которым был близок. Процессы 1937—1938 годов, признания на них он объясняет действием каких-то лекарственных препаратов, глушащих волю. Эренбург был приглашен на процесс Бухарина в Октябрьский зал Дома союзов, вглядывался в его лицо (ходила версия, что подставляют двойников). Бухарин был бледен, сильно изменился, но это был он. Незадолго до того он встречал его в Париже, в номере гостиницы. Бухарин при нем писал письмо Сталину («Коба любит переписку»), писал и рвал, говорил, что не понимает, что происходит. Потом, в Москве в ожидании ареста составил письмо-завещание к партии и велел жене выучить его наизусть.

Эренбург говорил с Хрущевым о Бухарине. Тот подтвердил, что он невиновен, но реабилитировать, мол, не пришло время.

Еще до прихода Эренбурга Твардовский молча передал мне рукопись своей статьи о Солженицыне. Буду читать.

Эренбург говорил так много интересного, что я жалел уйти не дослушав, а мне давно уже было нужно торопиться в телецентр: сегодня мое выступление об «Иване Денисовиче».

Попутное

Не записал в дневнике, а помню этот вечер отчетливо. Занятый рассказами Эренбурга, я с опозданием выскочил на улицу, с трудом поймал такси и помчался на площадь Журавлева, в телевизионный театр, куда обещал явиться за час до начала. Дело в том, что передача, как в те времена было принято, шла «живьем», сразу в прямой эфир, а режиссер и редактор еще собирались со мной о чем-то предварительно говорить. Я ворвался в студию потный, запыхавшийся, за десять минут до начала. Помню, как бежал по какой-то железной лесенке за сценой, перескакивал через путаницу кабелей. Меня схватила за рукав женщина, оказавшаяся редактором передачи: «Слава богу, вы успели». Спросила: «Ну, вы знаете, что говорить? Лишнего не скажете?» Я с готовностью кивнул.

Стулья стояли полукругом перед камерами, меня усадили предпоследним, в конце дуги — о писателях, возможных лауреатах, условлено было говорить по алфавиту. Сначала шли Гончар, Егор Исаев; Солженицын и Чаковский замыкали список. Меня еще раз предупредили: если у аппарата горит зеленый глазок — изображение идет в эфир, загорается красный — камера отключена. Отдышавшись, я огляделся. Рядом со мной сидели: слева — Ю. Воронов из «Комсомольской правды», представлявший Василия Пескова, справа — Лариса Крячко из «Октября»: она должна была говорить о Чаковском. Каждый должен был уложиться в пять минут, чтобы не отнять время у соседа. Я подготовил небольшой эффект — принес толстую-претолстую редакционную папку с читательскими письмами, откликами на Солженицына. Со спецификой телевидения я был знаком мало, да и телевизора в ту пору дома у меня не было, но я догадался, что «лучше один раз увидеть...» Текст был мною заготовлен заранее, но я не читал, а пересказал его.

В заключение прочел письмо геологов Северо-Западного геологического управления (письмо подписало сорок человек): «Мы считаем, что по уровню литературного мастерства повесть «Один день Ивана Денисовича» может быть поставлена в один ряд с лучшими образцами русской литературы. Это позволяет нам рассматривать ее как вечный памятник всем безвинно погибшим в период «культа личности» — от выдающихся деятелей партии и государства до безвестных Иванов Шуховых. Вот почему мы считаем повесть заслуживающей столь высокой награды, как Ленинская премия».

«На этом суждении, — добавил я в заключение, — разделяемом большинством наших читателей, можно и закончить. С надеждой и терпением будем мы ожидать справедливого решения Ленинского комитета».

После того, как я, намеренно значительно, глядя прямо в глазок камеры, произнес последнюю фразу, начала было говорить о романе

Чаковского Лариса Крячко. Она не сразу обратила внимание, что зажегся красный глазок, а осветители стали сматывать провода — и говорила, говорила, пока ей не дали понять, что время передачи давно исчерпано, и ее слова не идут в эфир. Получилось, что я завершил обсуждение эффектной точкой.

На следующее утро на телевидении начался переполох — грозные звонки, вызовы «на ковер». Хрущев в то время где-то путешествовал. Его обязанности в Москве исполнял Леонид Ильич Брежнев — случилось так, что он смотрел эту передачу дома, в вечерний час, и она сильно его задела. Он хорошо помнил, как Хрущев вынуждал его, вместе с другими товарищами по Президиуму ЦК, одобрить эту сомнительную повесть. Возмущенный, он позвонил председателю Гостелерадио Харламову: «Мы еще ничего не решили с Ленинскими премиями, а телевидение уже присудило ее Солженицыну». Харламов пробовал возражать, что это, мол, лишь обсуждение общественности, никакого давления на Комитет телевидение не имело в виду оказывать. «Как же, — возразил Брежнев, — ваш критик объявляет единственно справедливым присуждение премии Солженицыну и делает это, к недоумению телезрителей, в конце передачи, как ее итог».

Харламов получил выговор, а когда, заодно с Хрущевым, после Октябрьского пленума его снимали с должности, ему припомнили, как мне рассказывали, и эту историю. Моя же фамилия попала в некий «черный список», и 14 лет, вплоть до 1978 года, я не появлялся больше на телеэкране.

Этот маленький эпизод, как и вся история борьбы вокруг выдвижения Солженицына на Ленинскую премию, отражал падение влияния Хрущева в партийном аппарате: с его мнением переставали считаться, против него вызревал заговор. «Разговоры о том, что необходимо сместить Хрущева, начались где-то в начале весны 1964 г., — свидетельствовал недавно один из участников заговора, бывший Председатель КГБ В. Е. Семичастный. — По-моему, инициатива исходила от Брежнева и Подгорного». («Аргументы и факты», 1989, № 20).

Разумеется, в писательской среде об этом не догадывались, но падение влияния Хрущева чувствовалось в том, что его литературные оценки уже можно было оспорить, и противники Солженицына сильно осмелели.

1.IV.1964.

Сегодня допоздна сидели с Твардовским и Дементьевым над статьей А. Т. о Солженицыне. Он собирается просить Ильичева, чтобы статью печатали в «Правде», «а не то безответственные люди могут проголосовать на Комитете против Солженицына».

Дементьев защищал от автора Цезаря Марковича, зато высказывался в пользу «протеста», считая не бессмысленной и не бесцельной выходку кавторанга на лагерном плацу. Чтобы убедить нас, вспомнил, не совсем к месту, декабристов. «Вы либерал, Александр Григорьевич, — парировал Твардовский его возражения. — Вы готовы сказать: ссылайте нас, сажайте нас, но... на законном основании».

В статье Твардовский издевается над фразой: «У нас зря не сажают». Дементьев предлагал выкинуть это рассуждение как общее место. «Нет, эта фраза не умерла, — настаивал Твардовский. — Помяните мое слово, мы ее еще услышим». Дементьев советовал также убрать или смягчить резкий выпад против людей, которые глухи к страданиям тех, кто прошел лагерь, к этой боли.

Я держал, понятно, сторону Твардовского. Шум стоял страшный, и когда мы кончили со статьей и вышли из кабинета, Софья Ханановна из-за своей машинки посмотрела на нас с испугом.

7—8.IV.1964.

В Комитете по премиям открытое голосование по секциям — определяют список для тайного голосования. Твардовский не пропускает возможности высказаться за Солженицына. «Трудно ввязаться в драку, — говорит он, — а раз ввязался, дальше уже легко». По секции литературы Солженицын при первом голосовании не проходил. За него, по преимуществу, писатели из республик — Айтматов, Гамзатов, Наири Зарьян и другие. Но секция театра и кино неожиданно проголосовала за Солженицы-

на в полном составе. А. В. Караганов «упропагандировал» даже Фурцеву.

На пленарном заседании Твардовский встал и сказал: «Я прошу оставить Солженицына в списке для тайного голосования, потому что это тот случай, когда каждый должен проголосовать «за» или «против» наедине со своей совестью».

Трифонович рассказал, что в пятницу после заседания пошел в гости к Расулу в гостиницу «Москва» и насмерть разбранился с А. Прокофьевым из-за дела Бродского. «Где же это слыхано,—сказал он Прокофьеву,—чтобы один поэт помогал посадить другого поэта».

Из статьи «Высокая требовательность»
(«Правда», 11 апреля 1964 г.)

«В нашей редакционной почте много писем посвящено повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Как и следовало ожидать, повесть эта по-разному воспринята разными читателями. Есть письма, в которых «Один день Ивана Денисовича» характеризуется только положительно, и авторы их одобряют выдвижение повести на соискание Ленинской премии. И есть письма, в которых столь же определенно высказывается противоположная точка зрения, повести выносится целиком отрицательная оценка...

Отмечая бесспорные достоинства повести, отдавая им должное, авторы писем указывают на ее существенные недостатки, проявляя высокую требовательность, живейшую заинтересованность в повышении идейно-художественного уровня нашей литературы. Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положительной оценки, но ее нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии.

Приток таких писем особенно усилился после появления за последнее время рецензий и статей, где хорошему и полезному произведению писателя давались явно завышенные оценки, настойчиво подчеркивалось, что оно бесспорно достойно самой высокой награды.»

11.IV.1964.

Ждали Твардовского в редакции. Он приехал из Комитета, молча прошел в кабинет. Я за ним: «Забаллотировали?» — «А как вы думали?» — раздраженно ответил он. Потом немного отошел, стал рассказывать. Сегодняшняя статья в «Правде», как я и понял, приурочена к последнему голосованию, и несколько подготовленных ораторов жали в своих речах на то, что голосовать за Солженицына—значит идти против воли партии. И все-таки 20 голосов было «за», «против» — 50.

Аргументов противники Солженицына не искали. Все то же—«не тот герой», и дело с концом. «Я глядел на них,—говорил Твардовский,— и видел: случись что, и все мы, полным составом редколлегии, поедем в живописные места. У таких, как Г-в, ненависть брызжет».

Подтверждается, что одной из причин появления статьи в «Правде» было мое выступление по телевидению. Брежнев вызывал Харламова и дал ему выговор. Криминал ищут во фразе: «С надеждой и терпением будем мы ожидать с п р а в е д л и в о г о решения...» Жалкая придирка. Но К. Буковский[1] уже бросил мне ядовитый упрек, что я навредил Солженицыну. Стало быть, защищать от напраслины — значит вредить?

Твардовский рассказал о выходке комсомольского вождя С. Павлова на Комитете. В своей речи он сказал, что Солженицын был репрессирован не за политику, а по уголовному преступлению. Твардовский крикнул из зала: «Это ложь!»

В тот же день А. Т. связался с Солженицыным и по его совету официально запросил документ о реабилитации в Военной коллегии Верховного суда. Сегодня, едва открылось заседание, он объявил, что располагает документом, опровергающим сообщение Павлова. Павлов имел неосторожность настаивать: «А все-таки интересно, что там написано». Тогда Твардовский величавым жестом передал бумагу секретарю Комитета Игорю

[1] Буковский Константин Иванович (1908—1976) — публицист, очеркист.

Васильеву и попросил огласить: Васильев прочел текст от начала до конца хорошо поставленным голосом. Весь красный, Павлов вынужден был сознаться, что «пригвожден».

Документ в самом деле удивительный, я читал его сегодня. Обвинение в антисоветской деятельности строилось на том, что, переписываясь на фронте с приятелем, Солженицын осуждал некоторые действия Верховного Главнокомандующего, а заодно бранил книги советских авторов за поверхностное описание жизни.

К вечеру в редакцию зашел Гамзатов. Рассказал, как Фурцева выговаривала ему: «Товарищ Гамзатов притворяется, что он маленький и не понимает, какие произведения партия призывает поддерживать».

12.IV.1964.

Критика наша имеет точные функции. Мих. Светлов забавно сказал о Ермилове: «В каждой деревне есть такой человек, к которому идут, когда надо петуха или свинью зарезать». В последний раз он резал И. Эренбурга.

Некоторые читатели моей статьи спрашивают: откуда я знаю лагерь, будто там побывал? Откуда? Да ведь книга Солженицына не о лагере только, а о жизни вообще, и мало кто не найдет в своем опыте сходного—войны, больницы, тюрьмы.

Забыл записать: забегал на днях Солженицын. Говорит о премии: «Присудят—хорошо. Не присудят—тоже хорошо, но в другом смысле. Я и так, и так в выигрыше».

№ 4, 1964 подписан к печати **13.IV.1964.**

В номере:

Ю. Бондарев. «Двое». Повесть.

Ион Друцэ. «Последний день осени».

А. В. Горбатов. «Годы и войны».

Стихи Э. Межелайтиса, статьи А. Шарова и А. Аникста, рецензии Ю. Буртина, О. Лациса, Е. Дороша и др.

14.IV.1964.

Пришел утром в редакцию, поднялся наверх—Твардовский довольный, веселый: в Комитете прошло тайное голосование, и всех претендентов—конкурентов Солженицына—забаллотировали. «Отвели Солженицына,—комментировал эту новость Твардовский,—так нате вам: он всех за собою в прорубь и утянул». «Не зря, выходит, мы с вами витийствовали»,—сказал он мне.

Рассказывают, что накануне был прием в Кремле, где среди приглашенных оказалось несколько актеров и кинодеятелей—Баталов, Ромм. Они подходили друг к другу, как заговорщики, и передавали, будто пароль: «Лучше меньше, да лучше». Это месть людей, которым не дали проголосовать по совести.

К 4 часам дня, после перерыва, Твардовский поехал в Комитет подписывать протоколы. Его не было долго, вернулся он крайне расстроенный. Заставили-таки переголосовать! Ильичев дал команду, и Н. Тихонов[1] стал объяснять смущенно, созвав всех: «Комитет молодой, недавно назначенный, работает несогласованно. Если премия по литературе не будет вовсе присуждена—нас не поймут. Надо заново проголосовать за тех, кто немного не добрал голосов». В результате проходят Гончар с романом «Тронка» и журналист В. Песков. Об Е. Исаеве, правда, речи не было, он собрал ничтожное количество голосов.

Твардовский пытался выразить протест по поводу нарушения процедуры—но все было напрасно, результат был предрешен. Еле живой от усталости и расстройства Твардовский сказал, что поедет домой, не дожидаясь результатов тайной баллотировки. Говорил потом, что многие демонстративно, не глядя, сворачивали бумажки и бросали их в урну—нате, мол, вам, если не даете голосовать по совести.

15.IV.1964.

Заходил Солженицын. Взял у меня верстку «Театрального романа». О Булгакове говорил, что это одна из основ современной русской прозы.

Я рассказал ему о письмах, которые получаю. Он просил адрес женщины из Ленинграда, написавшей страшные подробности о Колыме. Гово-

[1] Николай Семенович Тихонов (1896—1979), поэт — в то время председатель Комитета по Ленинским премиям.

рил, что считает важным, что к повести возвратились в связи с премией, много спорили, шумели — «все это не зря, это неплохая распашка общественного сознания».

Заговорили о К. Буковском, который упрекал меня, что я «подвел» Солженицына своей статьей, устроил классовую борьбу в лагере между «работягами» и «придурками»... «Подождите, В. Я., — отозвался Солженицын. — Мы им еще такую классовую борьбу дадим... Я сейчас пишу одну вещь...»

Твардовский пригласил на чаепитие с бубликами в честь Солженицына и оказавшегося тут же М. А. Лифшица. А. Т. бодр, оправился после баталий на Комитете, хотя и не очень весело оценивает перспективы. Рассказал, что редакционная статья появилась в отсутствие редактора «Правды» П. А. Сатюкова (пока он путешествовал в свите Хрущева по Венгрии). И когда он вернулся, В. С. Лебедев, едучи в машине с аэродрома, говорил ему о событиях вокруг Солженицына: «Если бы вы были здесь, этого, должно быть, не случилось бы...» Но вообще-то многое в этой истории неясно. Идет какая-то темная закулисная работа. «Наплывает и застывает, наплывает и застывает», — как выразился А. Т.

18.IV.1964.

Обед в редакции в честь А. Г. Дементьева — ему 60 лет. Кроме своих редакционных — Айтматов, Гамзатов, Ю. Бондарев, Л. Плоткин из Ленинграда. Твардовский говорил в своем тосте: «Сейчас журнал оказался на передней линии огня, и в этом счастье всех нас и Александра Григорьевича».

Накануне заходил Солженицын, вернул «Театральный роман». Говорит: «Какая грустная книга! Это, пожалуй, горше «Мольера». Сначала так смешно — с вечеринкой литераторов и цензурой («не пропустят!»), а потом так невесело становится...»

Он хотел везти с собой А. Т. в Рязань, читать там ему роман, но тот не сможет, пожалуй, ехать.

О письмах читателей Солженицын повторил, что им цены не будет, надо их сберечь, чтобы они хранились копиями в разных местах, а то, не дай бог, пропадут.

Рассуждал: «Революционный вихрь перемещался с Запада на Восток: сначала Западная Европа, потом Россия, затем Китай... Хорошо, что мы уже не в эпицентре».

В Москве он работает теперь в квартирке Валентина Маликова на Хорошевке, где и я когда-то имел приют. На днях Маликов рассказывал мне: у Солженицына страшные головные боли, но он глушит себя лекарствами и не отходит от письменного стола. В доме быстро поняли: не надо злоупотреблять его вниманием. Если поговорил с ним лишние пять минут, чувствуешь, как внутри у него что-то «щелк» — и он отключается. Маньяк утекающего времени, он боится не успеть написать, что задумано.

Был Евтушенко со стихами, хвалился, что написал поэму в пять тысяч строк. Рассказывал, что его пригласили выступить в городке космонавтов под Москвой. Торжественно привезли, доставили чуть не на сцену и внезапно отменили выступление. Некто Миронов, заведующий отделом ЦК, сказал: «Чтобы духу его здесь не было». Обратно машины не дали, и Евтушенко по лужам отправился к станции, сел на электричку и вернулся в Москву. Это все отголоски «исторических встреч».

27.IV.1964.

А. Т. с увлечением говорил о книге Якубовича-Мельшина «В мире отверженных», сравнивал ее с «Мертвым домом» Достоевского и повестью Солженицына. «Вот бы вам написать такую статью-триптих!»

Но прочитанный им недавно дневник Байрона его разочаровал. «Якубович — это книга. Я всегда знаю, где у меня в библиотеке собрания сочинений и прочее, чего я никогда не буду читать, а где книги. Такие вот книги для меня — Энгельгардт «Письма из деревни», Веселовский об Иване Грозном» [1].

С номером неприятности. Цензура остановила рассказ И. Меттера. Звонил Г. из отдела культуры и рекомендовал не печатать. В военной цензуре застрял Горбатов. Смущают картины отступления, критика приказов Москаленко, потом то место, где упоминается Вильгельм Пик и передан разговор с Маленковым.

Вычеркиваем помаленьку, портим вещь. Сняли, к огорчению генерала, то место, где он нелестно отзывается о своем командующем: «Это не командарм, это — бесструнная балалайка». Горбатов очень настаивал, что так оно и было, что слова свои он помнит точно. Сверхнаивно — что до того цензуре?

29.IV.1964.

Прочитал переданный мне Твардовским перевод «Процесса» Кафки. Впечатление сильное — неожиданное и гнетущее.

Едва начинается рассказ об этом, по словам фрау Грубах, «не простом аресте, а как бы научном», попадаешь в туман сновидений, полуявиполукошмара: наваждение канцелярий, дома-призраки гоняются за беднягой К. И страшная мысль, что все приговорены, что полного оправдания не существует, а есть лишь оправдание *мнимое* (временное, зыбкое) и странный порядок, при котором ты должен время от времени *сам* навещать своего судью. Боже, как в самом деле, похоже это на то, чем мы то и дело занимаемся! Мучительнее всего у Кафки не внешняя несвобода, а внутренняя обреченность.

Гнетущее чувство усугубляется полной абстрактностью обвинения и в то же время железной принудительной его силой. К. пугается, и его пугают, что процесс «трудный». Но ведь ни разу не сказано, что за процесс, в чем там дело, а вместе с тем мы ясно сознаем, что бедняга К. обречен с первой же страницы. «Сопротивляться этому суду бесполезно». «Все имеет отношение к суду».

Существуют какие-то «высшие чиновники», воплощение рока или силы отчуждения, которые насилуют волю людей. Существуют и «стражи»-исполнители. Но подлинный ужас в том, что *исполнителями* этой странной, внешней людям воли становятся и сами жертвы.

30.IV.1964.

В. С. Лебедев организовал на Кузнецком мосту свою фотовыставку. (Оказывается, он не по-любительски увлекается фотографией.) Ходил туда Твардовский, ходил Солженицын, и я по их следу пошел вместе с Хитровым. Дело в том, что там выставлен большой портрет Солженицына, а сейчас это очень кстати и выглядит со стороны помощника Хрущева как *поступок*. Принимая поздравления Твардовского по телефону, Лебедев ответил, что благодарит, но понимает, что выставка не всем должна понравиться. Его уже упрекают, что рядом с Маршаком и Фединым он выставил фотографию Солженицына. «Ну, да ничего. Мы еще будем его *поднимать*».

Хрущев, однако, как бы устранился от литературных дел. Мы протестуем против «культа личности», но культ безличности немногим лучше.

Говорил сегодня с Твардовским о Кафке, которого он тоже только что прочел. Он хвалит: «Я думал, будет плохо организованное, как у других модернистов, сочинение. А это так крепко сколочено... Прежде, когда мне говорили, что появилась какая-то статья в чешском журнале, где сравнивают Кафку с «Теркиным на том свете», я смеялся. Теперь уже не смеюсь... И как он умеет одеть героя! У К. кончик ремешка, — вы заметили? — высунувшись, торчал вперед. Больше ничего не надо, герой одет! А это всегда так трудно — одеть героя».

С удовольствием показывал мне эстонское издание «Теркина на том свете» с рисунками. Есть преотличные.

4.V.1964.

Оправившись после майских праздников, Твардовский поехал в Рязань к Солженицыну — читать роман.

№ 5, 1964 подписан к печати **7.V.1964.**

В номере:
Повесть Ю. Бондарева «Двое» (Окончание).
«Годы и войны» А. В. Горбатова (Окончание).
«Ирландский дневник» Г. Белля.
Статьи В. Катаняна «О сочинении мемуаров», рецензии Б. Рунина, В. Огнева и др.

[1] Имеется в виду книга академика С. Б. Веселовского «Очерки по истории опричнины».

12.V.1964.

Прочитал статью Ю. Барабаша в «Литгазете». Выискивает у меня «концепцию», «теорию», чтобы потом задушить ею, как удавкой. Набросал ответ.

13.V.1964.

Твардовский просил приехать к нему на Котельническую. Он не выходит из дому, не в форме. Прочел мой ответ Барабашу и сказал: «Не делайте себе иллюзий, это не будет напечатано, но это хорошо, честно написано». Статью Барабаша он читал дважды и возмущен ею. Особенно задевает его, что, воюя с Солженицыным, Барабаш нахваливает мемуары Горбатова — «будто это в другом журнале напечатано». Еще говорил о том, что глупо и недобросовестно противопоставлять Шухову кавторанга и «высокого старика», будто это не того же Солженицына герои, а кем-то другим произведены на свет.

«Он подписывается Юрий Барабаш, вы так его в своем ответе и называйте, как оперного певца. «Юрий Барабаш заметил...» «Юрию кажется...» Ему, подписывавшемуся всегда: «А. Твардовский», чудится в этом что-то форсистое, нелитературное. Но эти тонкости мало кто берет в расчет.

Он вышел проводить меня и, зайдя в «Гастроном» на углу, мы выпили по бокалу шампанского. (Обычно он не жалует шампанское, «напиток утренней свежести.) «За правду»,— как-то очень серьезно сказал он, чокнувшись. Вообще-то он редко говорит какие-либо слова в подобных случаях и потому, наверное, пояснил: «Они думают, что правды нет, что о ней так, больше для красоты слога упоминают. А мы-то знаем, что она существует».

Говорил и о том, как гнетет его депутатство. (Обычно, когда он едет из редакции на прием, заранее хмурится и невесело шутит: «Ну, поехал раздавать квартиры».) «Иногда думаешь — отказаться бы. Но разве это у нас возможно?»

16.V.1964.

До позднего часа ждали в редакции возвращения Твардовского и Кондратовича с заседания Идеологической комиссии ЦК.

Л. Ф. Ильичев сказал в своем выступлении, что в литературе заметны две тенденции, две крайности, связанные с позицией журналов «Новый мир» и «Октябрь». Одну из них называют иногда прогрессивной, другую — консервативной (в этом месте был голос из зала — «реакционной»). С резким осуждением говорил Ильичев о моей статье, но для равновесия тут же ругнул и статью А. Дремова в «Октябре». Указал на тенденцию «прозаизирования» советской действительности в «Новом мире» и сказал, что отдел критики по-своему логично проводит ту же линию.

В прениях И. Шамякин из Белоруссии возмущался критиками, которые дошли до того, что противопоставляют руководителей и «руководимых». Донос Барабаша принят к делопроизводству, и я еще раз подумал, что неизбежно отвечать ему.

Но настроение у Твардовского не унылое, напротив, он даже весел. «Заготовили,—смеется он,—бо-о-льшую палку на «Новый мир», а длинный ее конец пришелся по «Октябрю». Ему оказали все знаки внешнего уважения—посадили в президиум рядом с Ильичевым. Заигрывая, Ильичев говорил ему на ухо, что и «Новый мир» ему придется слегка тронуть в докладе. Твардовский отвечал, что ничего не имеет против добросовестной, принципиальной критики. Не надо только, скажем, подделывать читательские письма о его поэме, как это сделал недавно В. Смирнов в «Дружбе народов». «Да, это мерзость,—лицемерно согласился Ильичев.—Но не могу же я сейчас, на Идеологической комиссии, об этом говорить». Каков политес, какие кругом тонкие натуры, когда не хотят обижать своих.

На совещании снова упоминалось о значении «исторических встреч». Как легко, однако, делают у нас историю! Им кажется, что историческим событие может стать по указу.

18.V.1964.

После работы Твардовский зашел ко мне на Страстной. Мне показалось, он хочет подбодрить меня после выступления Ильичева и кругов по воде, какие пошли от него. Кто-то «в сферах» уже советовал ему: «Да вы освободитесь от Лакшина, и все будет хорошо». Пересказывая мне это, он заметил: «Но вы должны твердо знать, если будет неизбежность, мы уйдем вместе».

Рассказывал, как ездил в Рязань, прожил там два дня. Солженицын не дал ему поселиться в гостинице, забрал к себе и кормил обедом дома. Твардовский сидел и читал рукопись нового его романа, «только очки менял, когда глаза уставали». Читал безотрывно и, по уговору, ничего не говорил до конца чтения. Лишь изредка в его комнатку молча заходил Солженицын за молотком или еще каким-то инструментом (он что-то мастерил в саду). Впечатление А. Т.: это «колоссаль», настоящий роман, какого не ждал прочесть, замечательная книга. О недостатках не стал говорить — «сами увидите».

Твардовский уже сговорился с В. С. Лебедевым, который сказал, что почтет за честь... Да, поглядим, как оно пойдет по нынешней-то погоде... Солженицын просил дать рукопись мне и согласился еще, чтобы читал Дементьев. Просит не спешить с оглаской.

20.V.1964.

Твардовский прочел статью Игоря Виноградова об очерках Овечкина по верстке Дементьева и с его страховочными пометками и вызвал нас для разговора. Были у него и точные замечания, но, главное, он пугал Игоря, сам стеснялся, когда начинал говорить то, во что плохо верит, и оттого, как обычно в таких случаях, говорил неубедительно. Уговорились, что поправим кое-что в статье и все-таки дадим ее.

Сегодня навестил редакцию Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Твардовский пылает к нему симпатией и даже бутылочку коньяка припас, кроме обычного чая с бубликами. Старик благодушествовал и шутил: «Как у вас в редакции хорошо, как хорошо... ну, прямо как при Николашке кровавом». Все смеялись, а он вдруг живописно и точно рассказал, как по соседству с его домом на Волге, в Карачарове, скотный двор сгорел.

Рассказчик он редкостный, но воспоминания его о Бунине и Куприне, которые он предложил журналу,— небогаты, и, несмотря на почтительную дружбу, Твардовский их забраковал.

21.V.1964.

Сегодня А. Т. пришел в редакцию с пачкой чужих стихов и просил «малую редколлегию» собраться у него в кабинете — послушать. А чьи — не говорит. После второго или третьего стихотворения, когда мы (Закс, Дементьев и я) выразили одобрение, сказал: «Вот я и думаю — или я в стихах уже ничего не понимаю, выстарился совсем, или тут что-то есть». Стал читать дальше, один листок выкладывая за другим — и все неплохо, а есть просто отличные строки. «Травы стремленье штыковое...» «Тут и я позавидовал — почему сам не догадался так сказать?» — прокомментировал Твардовский.

Стихи были принесены на «котельническую» квартиру, а Твардовский этого не любит. Нехотя открыл рукопись и увидел — настоящее добро. Автор — некто Прасолов из Воронежа — осужден на четыре, кажется, года за то, что с похмелья разбил стекло на соседской веранде и закусил лежавшими там сырыми яйцами. Твардовский рассказывал об этом с сочувственным смешком, может быть, и присочиняя подробности по дороге. Принесла стихи девушка по просьбе Прасолова и просила написать ходатайство в лагерь — это поможет досрочному освобождению. Но, конечно, лучше опубликовать стихи, раз они того стоят, и на этой основе ходатайствовать.

С увлечением читая стихотворение за стихотворением, Твардовский комически сердился на скептическое ворчанье Закса: «Не «ничего», а превосходно. Разве наши эстрадные мальчики так умеют писать? Тут культура видна, автор и Пушкина, и Тютчева знает, а пишет по-своему... Да где вам понять, старые перечницы... К тому же Борис Германович давно у меня на подозрении — он, кажется, задет «модернизмом»!

Но все это необидно, со смехом и радостью, что не обманулся.

Вечером ездили к Маршаку, которому не терпелось прочесть Твардовскому свои новые «лирические эпиграммы». Маршак говорил о власти абстракций, призрачном мире бюрократии. «Иной раз просто теряешь оптимизм»,— страдальчески вздыхал Самуил Яковлевич. Прочел эпиграмму на «Литературную газету» как сомнительное зеркало литературной жизни:

И даже не Хрущев в нем отражен,
А Дмитрий Алексеич Поликарпов.

От Маршака пошли пешком к Котельнической набережной по Яузскому бульвару. Дорогой говорили о нашем визитере — Никите Сергеевиче, который где-то в Швеции загостился. «Как на ярмарку едет,— заметил Твардовский,— недели на две кряду. А белорусская пословица говорит: первый день гость — золото, второй — серебро, третий — медь, со двора едь». Я высказал догадку, что эти путешествия, «охота к перемене мест» — бегство от запутанных домашних дел. Трифоныч согласился.

Ему не терпится, чтобы я прочел роман Солженицына, иначе не с кем о нем говорить, не с кем делиться. Я получил рукопись только вчера, но уже утром он заходил ко мне в кабинет и спрашивал нетерпеливо: «Ну что, начали?»

25.V.1964.

Роман Солженицына я начал читать. Интересно, забирает, хотя по первому впечатлению, жиже, чем «Иван Денисович». Должно быть, впрочем, это оттого, что жанр иной — роман, как говорили в старину, «долгого дыхания».

Заходил Солженицын, снова говорил о читательских письмах и просил из письма Рудиной, которое я давал ему читать прошлый раз, ее адрес, чтобы разыскать Бухарину, о которой она упоминает, и поговорить с ней.

«Вы читаете роман? — спросил он.— А. Т. верит вам, и ваше суждение будет важным. Я с благодарностью приму все частные замечания, но рассчитываю на вашу поддержку в главном. Почему-то уверен, что Александр Григорьевич будет против...» Эта просьба была неожиданно откровенной и лестной для меня.

Твардовский говорил сегодня, что материалы Идеологической комиссии публиковаться, по-видимому, не будут. Кто-то разболтал содержание речи Ильичева французскому журналисту, тот напечатал, и на Западе шум о новом завинчивании гаек. Но домашняя проработка идет своим ходом. В Гослитиздате Б. Сучков пересказывал выступление Ильичева и все свел к антагонизму критики «Нового мира» и «Октября».

Мой ответ Ю. Барабашу уже несколько дней в редакции «Литгазеты». Чаковский и Барабаш в разъездах, и я прижимаю А. Тертеряна по телефону, требую ответа, а он уклоняется изобретательно.

26.V.1964.

Читаю роман Солженицына. Нравится, но не все. Главы о Сталине несколько фельетонны.

Сегодня редакцию навестил Джанкарло Вигорелли. Твардовский позвал и Солженицына — хотел свести их. Вигорелли, с его обычной экспансивностью, был в восторге, целовал Солженицына, говорил, что для него счастье познакомиться с ним.

В будущем январе — 40 лет «Новому миру», и Вигорелли предложил издать в Италии к юбилею сборник — антологию журнала. Он предрекает изданию большой успех.

Рассказывал, какой шум стоял на Западе вокруг присуждения литературных премий, и главным образом в связи с Солженицыным. То, что ему не дали премии, обрадовало крайне правых. Те, кто заранее пыхтел: «Еще бы в Советском Союзе дали премию за такую повесть»,— ликовали. Но не получил Солженицын и премию итальянских издателей, о чем Вигорелли очень сокрушался. В бурном соперничестве с Натали Саррот победила-таки она.

28.V.1964.

Солженицына читаю понемногу — чем дальше, тем шире и удивительней. Главное — откуда такой масштаб, огромный охват мыслей и картин?!

Утром в редакции несколько часов кипели страсти вокруг романа Домбровского, сдаваемого в набор. Твардовскому, как и всем нам, роман нравится, но он сделал несколько замечаний. Спорили, в частности, о размерах удава, появление которого сопровождало трагический разворот событий. Твардовскому кажется, что гигантский экзотический удав искусствен, разрушает реальность картины. Но ведь в удаве для автора важный смысл. Можно допустить, что в натуре это была заурядная змейка, но подозрительность и страх, висящие в воздухе и раздуваемые молвою, делают ее сказочным чудовищем. Спорили горячо, пока А. Т. рукою не махнул.

9.VI.1964.

Редакцию навестил Фридрих Дюренматт — толстый, благодушный швейцарец с сигарой во рту.

С юмором рассказывал о своей жизни в деревне, на границе французской и немецкой части Швейцарии, о семье, детях. Русскую литературу он знает мало. Из современной литературы почти ничего не читал. Из старой хвалит Чехова, особенно «Степь».

Рассказывал, как один крестьянин, у которого он каждую осень покупает воз картошки и шнапс, спросил его, узнав, что он писатель: «А вы какой писатель? Из головы выдумываете или из других книг списываете?»

11.VI.1964.

Обсуждение романа «В круге первом» на редколлегии.

До начала обсуждения, пока шла вольная болтовня, Солженицын рассказал, как в лагере сочинял стихи — их легче было, заучив наизусть, сохранить в памяти. Однажды записал немного на бумаге — и попался. «Ты что, стихи сочиняешь?» — спросил надзиратель. «Да нет, гражданин начальник. Это «Василий Теркин» Твардовского. Я его вспоминаю». Смеясь, Солженицын просил Твардовского не сердиться за плагиат.

Все, что говорилось, все наши замечания Солженицын мелко-мелко записывал карандашом на листке бумаги — без полей, буковка к буковке. Объяснил, когда кто-то поинтересовался, не навык ли лагерной конспирации? «Нет, просто учился в школе в начале 30-х годов во времена бумажного кризиса, и на всю жизнь приобрел привычку писать мелко».

Я наблюдал за ним во время обсуждения. Он очень внимательно смотрит на выступающего, не перебивает, временами задумывается и, оторвав карандаш от бумаги, упирает его в лоб.

Открывая обсуждение, Твардовский сказал, что будет приводить всех соредакторов к присяге — каждый должен высказаться и говорить откровенно, что думает о романе, случай крайне важный для судьбы журнала.

Твардовский начал с рассуждения о национальных корнях Солженицына, говорил, какой это р у с с к и й р о м а н. Тревожил тени Толстого, Достоевского. Роман трагический, сложный по миру идей,— так что же? Григорий Мелехов в «Тихом Доне» тоже «не герой» в условном понимании. А смысл романа Шолохова — какой ценой куплена революция, не велика ли цена? И у Шолохова читается ответ: цена, быть может, и велика, но и событие великое.

Потом Твардовский перешел к тому, чего, на его взгляд, не хватает «Кругу». Минуя частные замечания (для них еще будет время), сказал: «Хорошо бы кончить роман надеждой. Не то, чтобы счастливый финал, но хоть засветить в конце тонкую рассветную полоску...» — и Твардовский крутил пальцами, не находя точного определения. Говорил, что желал бы какого-то выхода из этого подземелья — глотка воздуха, света, надежд.

Потом говорил я. Сказал, что нет сомнения — роман литературное событие, и его надо печатать, хоть и нелегко будет. Говорил о художественной небезусловности для меня изображения Сталина и о точности попадания при описании массовидного обыденного сталинизма. О философии романа. О лирических сценах.

Кисло высказался А. Г. Дементьев. Говорил, что Рубин — карикатура на марксиста. Усомнился в натуральности разговоров и споров на отвлеченные темы в камере. Говорил, что у Солженицына мало хороших людей на воле, а Макарыгин слишком замазан черной краской.

Когда все высказались, отвечал Солженицын, начавший, как школьный учитель: «Друзья!» Прежде всего он сказал, что, на его взгляд, роман оптимистический, грубо говоря, за Советскую власть, а по способу письма противостоит западному модернистскому роману. «А. Т. удивлялся, что я поехал с ребятами на велосипедах в поход вместо того, чтобы прибыть на сессию Европейского сообщества писателей в Ленинграде. Но я не мог ехать туда рассуждать на тему, умер ли роман, когда готовый роман лежал у меня на столе».

Отвечая Дементьеву, Солженицын говорил, что с симпатией писал Рубина (в нем находят черты Л. Копелева, былого сотоварища Солженицына по камере — в самом деле похож). Защищал правомерность спора

зэков о гражданских храмах. «В тюрьме вообще много спорят — это особенность тюрьмы. Наивна елка в шарашке? Да нет, я еще не показал (а это было), как взрослые мужчины плясали вокруг елки, сцепившись за руки, как пели: «В лесу родилась елочка...»

Защищаясь от упреков, Солженицын говорил, что видит в своей книге немало положительных героев на воле. Дементьев не прав, когда находит, что в тюрьме все хороши в романе, а на воле — сплошь негодяи. А как же Клара, Володин, девушки в общежитии? (Над ними Солженицын еще хочет поработать.)

Перейдя к моим замечаниям, согласился, что слово «культ», отнесенное к личности, скорее псевдоним массовой психологии. О Сталине сказал: «Сейчас еще слишком мало достоверного о нем известно, но автор имеет право догадываться. Я угадывал все эти замочки на графинах и прочее — и, может быть, угадал верно. Вот Абакумов: я рисовал его по рассказам о нем, по догадкам, а теперь люди, которые с ним работали, встречались, подтвердили мне, что это точно, и не хотят верить, что я ни разу в жизни его не видел».

На слова Дементьева о том, что Макарыгин, может быть, не так уж и виноват, зачем он в романе так зачернен, Солженицын отвечал с большой убежденностью: «Так, может быть, Александр Григорьевич, — никто не виноват? Макарыгин не виноват. Надзиратели тоже не виноваты, они на службе. Еще менее виноват конвой. Не виновны и следователи — им приказали. Откуда же зло?»

Да, это старый вопрос, знакомый мне еще по «Воскресению» Толстого. И ответа два: «Никто не виноват» или «Все виноваты». Солженицын явно склоняется к последнему. Мораль «нет в мире виноватых» не подходит ему.

Не помню уж, в связи с чем Солженицын заметил: «В музыке больше всего люблю Чайковского. Если бы мне сказали, что в мире останется только одно произведение, я выбрал бы 6-ю симфонию, хотя Бетховен, казалось бы, должен быть мне ближе».

В конце обсуждения я завел разговор о договоре с автором — не надо бы откладывать. Б. Г. Закс, ведающий этими делами, обиделся на меня, что, мол, слишком много на себя беру, и выговаривал потом мне в своей каморке. Но так или иначе, а дело сделано — договор заключаем.

13.VI.1964. — подписан к печати **№ 6.**

В номере:
Ефим Дорош. «Дождь пополам с солнцем».
Анна Ахматова. Из трагедии «Пролог, или Сон во сне» (с послесловием А. Синявского).
Е. Герасимов. «Куда речка течет. (Из подмосковных впечатлений)».
Е. Ржевская. «Второй эшелон». Рассказ.
Стихи М. Светлова, Кайсына Кулиева, А. Яшина.
Статья И. Виноградова «Деревенские очерки В. Овечкина».
Рецензии А. Македонова, А. Лебедева, И. Борисовой.

Попутное.

Этот номер, как и соседствующие с ним, был сильно разорен цензурой. Из номера сняли очерки Виктора Некрасова «Месяц во Франции». Несколько ранее цензура отказалась подписать в печать «Театральный роман» Мих. Булгакова.

17 июня А. Г. Дементьев ходил объясняться в Отдел культуры ЦК, к Д. А. Поликарпову, по поводу очерков Некрасова. У меня в архиве сохранился экземпляр верстки, переданный из Главлита в Отдел, а позже возвращенный в редакцию Дементьевым — он весь разрисован жирным красным и коричневым карандашами. Сейчас порой даже трудно понять, какими соображениями, относившимися к сфере бдительности или суеверного страха, руководствовался цензор, расчеркивая верстку невиннейшего путевого очерка. Просто, наверное, слишком свежа была память о том, что предшествующие опыты Некрасова в этом жанре вызвали гнев Хрущева и окрики в печати. Так зачем же опять о своих путешествиях — не за старое ли берется? Цензура была начеку.

Большой красный знак вопроса был поставлен рядом с абзацем, в котором сообщалось, что на лотках вдоль набережной Сены можно купить ордена — от розетки Почетного легиона до ордена Красного Знамени. Обратило на себя внимание цензора замечание Некрасова, что ни в одной стране он «не видел такого количества карикатур на президента, как во Франции». В этом улавливали намек на условия печати в Советском Союзе. Характерны были отчеркивания в реплике бывшего белого офицера, эмигранта: «А мы не народ? Или народ, по-вашему, только вы? Нас, русских, в рассеянии около двух миллионов». Любой вид сочувствия или просто интереса к эмигрантам казался предосудительным. Четыре черты на полях и огромный вопросительный знак сопровождали рассуждение Некрасова о запрете дуэлей при кардинале Ришелье, с чем, впрочем, не считались мушкетеры. Опасный намек находили в следующем пассаже: «Мы более дисциплинированные, мы запрета не нарушаем, а иной раз, ох, как хочется. Бросил бы перчатку: «Завтра в шесть утра, у Новодевичьего. Выбор оружия за вами...» Поводы нашлись бы...» Кого это, интересно, собрался вызывать на дуэль Виктор Некрасов?

22.VII.1964.

Твардовский прочел поэму Гамзатова (антисталинскую) и говорил о ней в редакции. Мне читать не дает — стихи его привилегия, да в этом случае еще и обязательства дружбы с Расулом. Бранил перевод, может быть, отчасти, чтобы облегчить себе отказ. К тому же Гамзатов уже показывал поэму в «Известиях», и Аджубей своим «нет» затрудняет и для журнала ее печатание. (Твардовский ходил к нему 17.VII.)

В цензуре остановили мемуары Эренбурга. Просят по крайней мере отложить из номера и уже передали верстку по начальству. Должен будто бы читать Ильичев. Но пока крутят: старика боятся и просят не сообщать ему. «А нам-то каково, мы все равно с машин съехали», — объяснялся Твардовский по телефону с цензором. Обычная морока с типографией «Известий», которая не терпит задержек при подписи в печать.

25.VII.1964. — подписан к печати **№ 7.**

В номере:
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей». Повесть.
Вера Панова. «Из американских встреч».
Стихи Евг. Евтушенко и Д. Самойлова.
Статьи Л. Черной, В. Сурвилло, З. Паперного.
Рецензии О. Михайлова, А. Туркова, Б. Сарнова, Ю. Буртина и др.

29.VII.1964.

Написал реплику Г. Бровману, который, сражаясь со мной, перепутал цитаты и приписал Добролюбову мысли его противников. Показал Твардовскому и Дементьеву. Дементьев не хочет упоминания в тексте о «Новом мире» — пусть это останется частным спором двух критиков. Ну, да бог с ним.

Он с сочувствием говорил о Бровмане: на всю жизнь испуган, едва не стал жертвой кампании борьбы с космополитами, а у него семья чуть не восемь человек... Стал писать ненужную ему, в сущности, книгу о Вересаеве («толковая книга, между прочим»), а когда вернулся к современной критике, пришлось доказывать, что он «свой». Ну, переборщил немного...

Нет, пусть уж Александр Григорьевич «по человечеству» ему дома сочувствует — мол, давний испуг, жена, дети. Доносить и клеветать все-таки не надо.

Рукопись «Круга первого» передана В. С. Лебедеву. Рубикон перейден. «Теперь только вперед», — говорит А. Т. «Вперед и к черту в пекло», как любит он добавлять, вспоминая капитана из «Моби Дика».

Цензура дала замечания по роману Домбровского — приходится идти на компромисс, чтобы спасти и так уже передержанный номер. Домбровский с утра дежурил в коридоре, ведущем к кабинету Дементьева, как у родилки, куда отцов не пускают. Пробегают время от времени акушеры — Дементьев, Закс, потирают руки, отзываются односложно. Когда я выходил, видел его смятенное лицо, захотелось его подбодрить — «не волнуйтесь, все важное отстоим...». Он схватил меня за руки: «Да? Вы думаете?..»

31.VII.1964.

Сегодня с Дементьевым составляли проспект антологии «Нового мира» для Италии и писали письмо Ильичеву на сей счет.

Стало известно, что «Советский писатель» отклонил сборник рассказов Солженицына. «Вот говорят, критика не влияет,— рассуждал Твардовский.— Как это не влияет? На издания книг у нас все влияет».

3.VIII.1964.

А. Т. показал мне свою статью об Арк. Кулешове и просил сказать, если увижу что лишнее. Жаль, что он занимается этими «эрзацами» творчества, а большая работа не идет. Хорошо, что хоть на новой даче (на Пахре) жизнь его стала нормальнее — купается, ходит по грибы, сирень пересаживает на участке, корчует пни — все с азартом.

Эренбурга решительно не пускают, но и не говорят внятно «нет» — видимо, у Ильичева. По второй части Домбровского — 15 замечаний. Цензуру не устраивает конец, «общая атмосфера» и пугает философия, в которой просто ничего не понимают. Домбровский говорит: первая часть прошла, по второй я ничего не уступлю.

Лебедев откладывает чтение Солженицына. Намекал, что у Хрущева могло сложиться мнение, что Твардовский его подвел, рекомендовав повесть. Намекал даже: «У нас ведь доброжелателей меньше, чем недоброжелателей...» И на протест Твардовского, сославшегося на горы почты: «Нет, я ничего не говорю, в большом круге — много, но среди людей влиятельных — мало».

5.VIII.1964.

Твардовского вызвал Поликарпов и показал докладную записку в Президиум ЦК, подписанную им, Снастиным и Ильичевым. Семь страниц дикой хулы на врага человечества и русского народа Илью Эренбурга, а восьмая страница куцая — печатать, мол, но с поправками. Твардовский сказал: «Не вижу логики. Запрещать, так запрещать». Поликарпов был озадачен: «Ты думаешь? Ну, Черноуцан текст подработает».

11.VIII.1964.

Цензура наконец подписала Домбровского.

Вечером с А. Т. были у Саца. Пока И. А. хлопотал по хозяйству, Твардовский с нежностью говорил о нем. Вспоминал, как тот за Андреем Платоновым ухаживал, когда никто уже к нему не ходил. Да разве один Платонов? Вот тетка жены заболела, слегла в полной беспомощности, и никого рядом. Он предлагал свои услуги — готов и горшки выносить. Необыкновенный он человек.

Сегодня почему-то Твардовский много вспоминал о Фадееве, о своей дружбе с ним и странностях ее. Всегда уговаривал его продолжать «Последний из Удэге», огромная тема вымирающего народа. Фадеев пережил шок с романом «Черная металлургия», когда оказалось, что те, кого преследовали как ретроградов в доменном деле, были правы, а его герои защищали негодный метод. «Я его убеждал, что не надо огорчаться, что тут только и начинается настоящий сюжет для романа».

Незадолго до смерти Фадеева они поссорились: Твардовский получил от него большое жесткое письмо. К., с которой Фадеев был последнее время близок, рассказала на его похоронах: он зашел к ней, просил накрыть на стол, она отказала, и он ушел сильно огорченный. Сказал ей: «Неужели мы с Сашкой встретимся и не поздороваемся, не обнимемся?»

Вообще Твардовский думает, что он погиб от одиночества. Не знал, к кому броситься, когда накатило. Звонил своему секретарю Валентине, просил приехать, а она за преферансом сидела...

Вспоминал и более далекие времена — 1946-й. Однажды сидели и мирно разговаривали Фадеев, Твардовский и Шолохов. Твардовский усомнился в ждановском постановлении. Фадеев сказал с искренним удивлением, покраснев всем лицом и шеей: «Неужели ты не понимаешь его необходимость, более того, его гениальность?» А Шолохов спросил: «Может, ты не в ту партию вступил?»

18.VIII.1964. — подписан в печать № 8.

В номере:
Ю. Домбровский. «Хранитель древностей» .(Окончание).
В. Богомолов. Рассказы.
А. Побожий. «Мертвая дорога. Записки инженера-изыскателя».
А. Прасолов. Десять стихотворений.
Статья Л. Лазарева, рецензии А. Каменского, Е. Дороша, Э. Кузьминой. «Необходимая реплика» В. Лакшина.

18.VIII.1964.

Шла редакционная летучка — обсуждение вышедшего 7-го номера, когда позвонил Ю. Карякин из Праги: его статья о повести Солженицына на выходе. Добрая весть для нас.

Закс явился из Главлита с подписанным номером, вошел совсем зеленый, задыхаясь, сидели несколько часов. Против него за столом человек пять во главе с Аветисяном. «Эта страница мрачна... Здесь ощутим подтекст...» В конце концов Закс сказал им: «Я не знаю, что здесь поправлять. Снимайте любые три строчки».

В результате немного пощипали Домбровского (вертелись даже вокруг стишка: «Ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?»). Выкинули одно четверостишие у Прасолова.

С утра судили-рядили, что делать с И. Эренбургом, который, в свою очередь, не посоветовавшись с редакцией, послал негодующее письмо Хрущеву. Лебедев очень недоволен этим письмом, хотел, чтобы оно было взято обратно. По моему совету Твардовский звонил Эренбургу и намекал на то, каково истинное положение дел. «Чую, дела желтоговённого цвета, как выражался Трифон Гордеевич». Сговорились, что Эренбург приедет в редакцию завтра.

19.VIII.1964.

Приехал Эренбург. Сначала светский разговор о том, что пошли грибы, о Чарли Чаплине. Потом он подробно информировал нас о том, что известно ему о событиях вокруг его мемуаров.

Эренбург печален, тих и озабочен. Его обиды: из газет не звонят, ничего не заказывают, никому он не нужен. В его избирательном округе начальство растерялось, когда он приехал.

Твардовский не сказал ему лишнего, но все-таки был достаточно откровенен. Сказал о неблагоприятном мнении «на этажах», Эренбург ответил, что есть два момента, в которых он не пойдет на уступки — политика партии в области искусства и отношение к евреям. Эренбург прочитал нам запись разговора Н. И.[1] с Лебедевым после получения его письма. Лебедев говорил с Н. И. откровенно враждебно. Сказал, что у Твардовского и редакции также отрицательное мнение о его мемуарах. (Твардовский пытался потом с ним объясниться — Лебедев отказался от своих слов). Забирать письмо Эренбург не хочет. Вспоминал историю отозванного Сурковым коллективного письма о «мирном сосуществовании в идеологии» — все равно его много лет поминают. Лебедев, по словам Эренбурга, человек придворный, неискренний, верить ему нельзя и забирать письмо просто опасно.

Эренбург прав в том смысле, что Твардовского хотят отделить от журнала, а заодно столкнуть с Эренбургом. Истолковывают по-своему его слова, поощряют и раздувают любую оговорку.

Слава богу, к вечеру все определилось. Я вошел в кабинет Твардовского, когда он заканчивал разговор с Лебедевым по телефону.

Тот впервые говорил с ним, по словам А. Т., в невозможном тоне: «Что вы делаете проблему из Эренбурга? Вы подсовываете нам его мемуары...» «Кто сделал Эренбурга депутатом, лауреатом и европейски известным писателем? — возражал Твардовский.— Последнего, впрочем, достиг он сам... Что касается нас, то мы ничего не «подсовываем» и не из чего не делаем проблемы — Идеологический отдел сам захотел читать рукопись...» «И как вы можете говорить: «не читал», «не знаю»,— совестил собеседника Твардовский.— Я не узнаю вас, Владимир Семенович».

Кончив разговор, Твардовский сел напротив меня за маленький столик и, нагнув голову, внезапно сказал после паузы: «Вы православный, В. Я.? Скажите мне прямо, глядя в глаза». Я опешил, потом засмеялся. Оказывается, Лебедев уверял Твардовского, что *точно знает*, что я еврей. «Я не находил бы стыдом признаться в этом, если бы это было так,— сказал я Твардовскому,— но я чистокровный русский». «Понятно, понятно...— отвечал А. Т.— Но я вот объясняю Лебедеву, что и отца вашего знаю, и матушку, а он: «Не спорьте, Александр Трифонович, мне это сказали люди, которые не могли ошибиться». Вот я и решился спросить, не обижайтесь».

[1] Н. И.— Наталия Ивановна Столярова — литературный секретарь Эренбурга.

И этим занята голова помощника Хрущева! Боже, какая жалкая чепуха возводится в ранг политики! А все, по-видимому, потому, что надо редакцию столкнуть с Эренбургом: Твардовский, мол, знает ему цену, а «евреи» — Кондратович, Закс, Лакшин «тащат» его на страницы журнала.

«Ничего, — сказал, прощаясь, Твардовский, — крепитесь, В. Я., и будете в царстве божием». «Надеюсь, мы там встретимся», — отвечал я ему в тон.

Но если серьезно, ощущение такое, что редакция накануне разгона. Поживем — увидим.

20.VIII.1964.

Твардовский вернулся от Лебедева. Тот, по его выражению, «очищал стол» — торопился отдать папку с Солженицыным. Говорил нетерпимо, резко. Вопреки обыкновению, даже не проводил до лифта.

Но главное — суть разговора о романе. Сначала о сталинских главах: «Не знает он этого. Все равно, как если бы я взялся писать о медицине. И министры никогда не сидели на работе по ночам...» (Позвольте, а разве не об этом говорил Хрущев на XX съезде?) Твардовский миролюбиво подтвердил, что главы, мол, «съемные», не в них суть романа. Тогда Лебедев стал говорить, что ему не понравились и рассуждения Нержина. Цитировал: «за образ мыслей нельзя сажать», «если вы даже нас простите, неизвестно, простим ли мы вас». Об этих высказываниях Лебедев говорил в том духе, что все это едва ли не антисоветчина, что эксцессы жестокости в лагерях «не отменяют правила» (то есть, вообще-то сажать полезно — так, что ли, понимать?). «И кому это не простим?»

Твардовский отвечал, что, мол, конечно, разве мы простим Сталину, Берия? Но собеседник его не слышал.

«А вам роман нравится, скажите откровенно?» — спросил, в свою очередь, Лебедев. «Я считал, как и мои товарищи по редакции, что это вещь очень значительная», — отвечал Твардовский.

«А я не советую эту рукопись вам даже кому-нибудь показывать, — заметил Лебедев. — Я прежде говорил Ильичеву, что Твардовский собирается мне дать кое-что почитать, и он заранее просил его познакомить, но я не сказал, что рукопись уже у меня».

Самое тяжелое в разговоре — это слова Лебедева об «Иване Денисовиче»: «Прочтя «В круге первом», я начинаю жалеть, что помогал публикации повести». Это он дважды повторил. «Не жалейте, Владимир Семенович, не жалейте и не спешите отрекаться, — отвечал ему Твардовский. — На старости лет еще пригодится».

О мемуарах Эренбурга Лебедев сказал: «Там же откровенно антисоветские места» и собирался приводить примеры, но Твардовский остановил его: «Не затрудняйте себя разговором, какие я веду в редакции с авторами. Мне важно было знать ваше общее отношение».

Подробно пересказывая мне этот диалог, Твардовский сидел в кресле смертельно усталый, с измученным лицом. «Дела хреновые...» — сказал он, затягиваясь сигаретой. Я заметил, что нам не надо торопить события, — пусть уж идет своим ходом. «Да, да, конечно. Сами мы не уйдем», — отозвался Твардовский.

21.VIII.1964.

Лебедев звонил Твардовскому — замять дурное впечатление от встречи. Да вряд ли это возможно.

27.VIII.1964.

Решили отправить письмо Ильичеву о безнадежно застрявшем «Театральном романе».

Нужна статья к юбилею Лермонтова. Твардовский интересно говорил о нем, о «Валерике», где кровь, проза войны — и небо («небо ясно, под небом места много всем»), почти как небо Андрея Болконского на поле Аустерлица. Уговаривал его написать об этом.

Думал: реализм и партийность несовместимы. То есть, литература всегда «партийна» в смысле выражения чьих-то интересов, но прежде всего интересов автора. Нелепость очевидна, если сказать: монархист Пушкин, народник Толстой. Литература, культура автономны. И как нельзя насиловать объективные законы экономики, диктовать земледельцу, что сеять, так нельзя своевольно управлять литературой.

28.VIII.1964.

Звонок из Праги Карякина — вышел сигнал номера «Проблем мира и социализма», где его статья о Солженицыне с выдержками из албанской и корейской печати, которая бранит «Ивана Денисовича».

Заходил в редакцию Лева Гроссман. Хочет снимать документальный фильм о Твардовском, мечтает о кадрах, где он запечатлел бы его с Солженицыным. Между тем Солженицын уехал в какую-то берлогу — работать, и от него нет вестей. Дома начинают беспокоиться.

Е. Н. Герасимов вспылил и подал заявление об уходе. Твардовскому показались недостоверными «Записки солдата» — чья-то старая рукопись, которую он подготовил. Умиротворение происходило за столиком на воздухе, сбоку от «России».

А. Т. с одобрением отзывался о Домбровском: «Серьезная проза. Без этих — «он думал, что...» и «ему казалось, что...» А сколь многих портит пренебрежение авторской речью. Беда и кино, кинематографические приемы прозы: искусственная симметрия в сюжете, наказание порока и т. п.

Думал: критика — невыигрышный жанр. Это вроде игры на контрабасе в оркестре. Конечно, всякий хотел бы быть первой скрипкой, но есть чудаки-контрабасисты, преданные своему неповоротливому инструменту.

Попутное.

Как жаль, что Леве Гроссману (прототипу Цезаря Марковича у Солженицына) не удалось осуществить свой замысел — снять Твардовского в редакции. А ведь он не раз заходил ко мне с этим, но уговорить Твардовского было трудно: он противился всем способам внешнего запечатления себя — не терпел, когда его пытались записать на магнитофон, и сниматься не любил. Ему чудились в этом какие-то стыдные соблазны: фарс, самореклама. В результате остались лишь случайные кадры с живым Твардовским на кинопленке.

Впрочем, даже если бы Твардовский согласился, Л. Гроссману вряд ли удалось бы осуществить свой замысел. Узнав о его намерениях, студия не торопилась включать его заявку в план и отказала в кинопленке. Твардовский был «не той фигурой», которую, по понятиям времени, надо было запечатлевать.

7.IX.1964.

Получили статью Карякина. Твардовский прочитал и в восторге от нее. Решили перепечатать в ближайшей нашей книжке — как-никак поддержка от органа «мирового коммунистического движения».

9.IX.1964.

Хороший разговор с Солженицыным. «Вы не огорчены? — спросил он меня, имея в виду нападки в печати. — Время покажет, как вы были правы в этой статье». Хвалил публикацию Карякина в «Проблемах мира»: «Очень своевременно».

Толковали и о недавней статье в «Известиях», с письмом переводчицы Т. Гнедич — она сама сидела, а теперь вспоминает о добрых охранниках, «хороших чекистах». «Ну да, в таком случае можно считать, что крепостное право не было злом, поскольку бывали и либеральные помещики», — бросил реплику Солженицын.

Что касается «Круга первого», договорились считать роман незаконченным: автор, мол, работает. «Пусть он (роман) освободит меня и будет на старте», — сказал Солженицын. «У меня много других вещей в работе». Три главы из романа (общежитие) он сейчас доделал и просил прочесть. Я советовал ему собрать напечатанные рассказы в сборник и передать в Гослитиздат, обещал предуведомить Косолапова. Под лежач камень вода не течет, а если он предложит рукопись, отказать будет трудно.

Спрашивал его о «Раковом корпусе». «Это вещь острая, но она может быть напечатана, а я сейчас думаю о тех вещах, которые мне важно написать без надежды на печать».

9.IX.1964. — подписан в печать № 9.

В номере (весьма посредственном):

Вера Панова. «Рабочий поселок». Киносценарий.

Виктор Лихоносов. Рассказы.

Стихи С. Маршака, статьи Е. Гнедина, М. Туровской, перепечатка статьи Ю. Карякина, рецензии С. Рассадина, В. Непомнящего, Мих. Лифшица.

10.IX.1964.

В январе — 40 лет «Новому миру». Твардовский собрал совещание по юбилейному 1-му номеру. Мысль такова, чтобы в нем участвовали, хотя бы небольшими вещами, лучшие наши авторы, а Твардовского мы просили написать программную статью. Возражать он не возражал, но и энтузиазма заметного не выказал.

А. Т. хочет с 1-го октября уйти в отпуск и писать что-то свое, главное. «Надо писать, я чувствую, надо писать», — повторяет он.

Пошли слухи о Солженицыне, что он был полицаем, сидел в немецком лагере и плохо там себя показал, и прочая мерзость. Вас. Смирнов заявил в «Дружбе народов»: «Да он еврей — настоящая фамилия Солженицер». «А как же русский язык, русский склад характера?» — возразил кто-то. «Эт-то они умеют, эт-то они умеют...» Вчера звонили читатели и требовали от редакции опровержения этих слухов: такое впечатление, что кто-то намеренно распускает и раздувает их. Я подумал: если перефразировать Маркса, «слух, овладевший массами, становится огромной активной силой». Особенно в нашей нервозной, трусливой и панической интеллигентской среде, привыкшей ко всевозможным «оглушениям».

16.IX.1964.

Мемуары Эренбурга рассматривал Президиум ЦК. Решение: печатать, если он пойдет на поправки по двум главным пунктам — пережим в «еврейском вопросе» и критика «руководства искусством». Твардовского волнует, что ссылались на него, якобы он поддержал записку Отдела. Его мучает двусмысленность положения. «Что делать? Ехать к Ильичеву объясняться?»

Дементьев засел с Заксом и марают рукопись по пометкам Поликарпова. «Вы там не очень уж старайтесь», — урезонивал их Твардовский.

26.IX. — 22.X.1964.

Мы с женой отдыхаем в Новом Афоне, а тем временем рушатся основы...

Попутное.

Уже с весны, и последние месяцы особенно, было ясно, что авторитет Хрущева в аппарате падает все ниже. Его ближайшее окружение начало нервничать и метаться. Сам же он в воскурениях кадильниц, казалось, не ощущал и тени опасности. Все так любят, так ценят «нашего Никиту Сергеевича», кругом преданные соратники и друзья. 17 апреля торжественно отпраздновали его 70-летие, юбиляру присвоили звание Героя Советского Союза. Но помню, что фотография его в газетах в окружении улыбающихся льстивых сотоварищей по Политбюро и речи, произносившиеся по этому поводу, оставляли впечатление наглядной фальши. К этому времени он успел сделать столько ошибок и бестактностей, что авторитет его и среди интеллигенции, и в народе заметно увял. Заслуги оставались в прошлом, а на виду были нелепые эксперименты в сельском хозяйстве, последствия которых усугубил неурожай 1963 года, и грубое давление на ученых (дело Лысенко) и литераторов. И это при резкой неприязни партийного аппарата, уже пострадавшего от его импровизаций и опасавшегося новых утеснений.

Последние месяцы и недели наблюдался странный эффект. Стоило Хрущеву сказать что-то благожелательное, либеральное, и его слова, от которых мы тщетно ожидали благого отзвука в литературной политике, цензурной практике, глухо терялись на другой же день, уходили в песок. И, напротив, стоило ему сделать какой-то реверанс в сторону Сталина или вспомнить о кознях ревизионистов, как это мгновенно усиливалось стократ, как в мощнейшие репродукторы, и обретало плоть в придирках цензуры, в «проработочных» статьях. Аппарат ощущал свою силу, Хрущев был, сам уже того не сознавая, его заложником.

В Новом Афоне мы снимали комнату в большом абхазском доме, где во дворе давили виноград на молодое вино. Соседнюю комнату занимал какой-то хлыщ, заведовавший отделом в одном из московских министерств: он приехал с девицей, женой или возлюбленной, на своем «Москвиче». В первом же разговоре за дощатым столом в саду этот «государственный младенец», как называл Щедрин такого сорта людей, по секрету поведал мне, что готовится большая реформа в управлении сельским хозяйством: вся беда была-де в том, что руководство отраслями было неконкретным, и теперь, по проекту Хрущева, планируется создать едва ли не 24 управления: отдельно по свиноводству, отдельно по овцеводству, отдельно по молоку, отдельно по маслу... Я, помнится, ужаснулся, но виду не показал.

Случилось так, что тот же «государственный младенец» принес нам и первую весть о падении Хрущева. Он разыскал меня, взволнованный, на пляже и сообщил, что к хозяевам пришли люди с гор: там все радуются, танцуют, говорят, слышали по радио, что Хруща сняли... Мы бросились к транзистору в его машине: на московских волнах шла легкая музыка, а разноголосье трансляторов из Турции бубнило что-то невнятное, лишь чаще обычного повторялось: «Никита Кручев». Утренние центральные газеты, печатавшиеся с матриц на Кавказе, скорее опровергали, чем подтверждали, что что-то произошло.

Лишь на следующий день все прояснилось. «Государственный младенец», разговаривая со мной, стал уже находить заметные пороки и в правлении Никиты, и в его последнем сельскохозяйственном проекте, а я заторопился с билетами в Москву.

23.X.1964.

Вернулся после отпуска. В редакции некоторые подробности падения Хрущева. После 14-го октября неопределенность, растерянность. Пленум провели быстро, вызвав Хрущева с отдыха. Доклад делал Суслов. Убрали Аджубея. Твардовский говорит: «Матросы связали капитана, выбросили за борт, а теперь, похоже, в затылках чешут: это было самое простое, а что дальше-то?» Похоже, никто не знает. Соблазн в самой легкости переворота.

Между тем еще до всех событий антология, которую мы делали для Италии, загремела. Поликарпов предложил свой вариант, где вынут Солженицын, Залыгин («На Иртыше») и почти вся критика — Виноградов, мои статьи. Трифонович вскипел и собрался к Ильичеву с заявлением об отставке. В это время и грянуло 14 октября.

30.X.1964.

Твардовский вспомнил рассказ Маршака. Тот как-то сказал П. Н. Поспелову: «Так как Авель был убит и не оставил потомства, все мы, повидимому, от Каина». «Этот вопрос наукой еще не выяснен», — пробурчал в ответ Поспелов.

Завтра Новый год. Что-то он принесет нам?

На Твардовского большое впечатление произвел чей-то рассказ об остроумной эпитафии Черчилля на уход Хрущева: «Он хотел перепрыгнуть пропасть в два приема».

Времена Хрущева кончились, а нашей новомирской ладье — плыть дальше.

Аркадий Драгомощенко

В ЗОНЕ СТОП-КАДРА

●

Лучше пусть океан,
пропуская со свистом сквозь арку рта гравий воздуха,
говорит Кондратий Теотокопулос.
Море? Швыряя на транспортер ящик с капустой, спрашивает
грузчик. Набери-ка попробуй денег! Во-первых, одна дорога...
а потом эти, как его, фрукты детям!

Однако, Теотокопулос, дергая кадыком, повторяет слово
и видит. Что же он видит?
Скарабеи судов катят шар океана.

Краб безумной буквой жизни
втискивается в расселину. Грохот вертикально вскинутой пены.
Скала крошится медленно под пятою солнца,
подобно воображению, бьющемуся над фотографией смерти.
Перламутр дымной мидии, вскрывающий солоно кожу — вскрик
словно,
разделяющий объятий края на новую и новую встречу.
Когда-то пыль пили.

По узлам городов, пропущенным сквозь наученные с детства
пальцы,
следили строение пены у колыбели, на шее вены. Он ощущает сухость
кожи, черты меняющей его лица,
насаженного на
взгляда два острия (вращают ласточки жернова),
спицы две,
вяжущие мешком пространство. И, словно с качелей,
опять: женские руки, мать? брюхо лилового карпа,
бескровный надрез,

падают вишни (мир, как сравнение — неуловима
вторая часть), пыль обнимает стопы
прохладой,

мята,
звезда всех вселенных тепла. Да, это мать поправляет прядь.
И ни одного движения,
чтобы в тело просочиться могло. Я говорю — степь. Не море.
Слышишь? Я говорю — холм, не степь. Я говорю — два элеватора
в мареве, ястреб. Я спрашиваю — почему выключен звук!
Что я сказал? Повтори. Ты сказал — краб. Жаркий день. Город.
О горле что-то.

И все, ты сказал, начинается с единственной буквы.
О любви потом. Жди немо. С этого начинается мужество непонимания,
как с некой безгласной, расположенной за решетом алфавита.

Аркадий ДРАГОМОЩЕНКО родился в 1946 году в Потсдаме, ГДР. Учился на филологическом факультете Винницкого педагогического института, в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии — на театроведческом факультете. До 1985 года в Советском Союзе публиковался только в «самиздатских» журналах: «Часы», «Митин журнал», «Обводный канал». Переведен в США, Англии, Франции и т. д.

●

Невесомыми, неприкаянными богами, подобно парам кислот,
сопровождают плывущего волны, омывая его волосами
прямыми, как соль. Он вглядывается в зенит,
но взгляд неуклонно падает за горизонт. Солнце, оно
заходит, очень старое, как стены из кирпича
домов, о которых уже нам не вспомнить.

Руки плывущего, перебирая за пядью пядь
несуществующее расстояние, скрипят размеренно.
В ответ кричат чайки.
Но они могут кричать просто так. Кто отвечает?
Кому? Сопровождая кого? Или же в меланхолии встречи?
Пена длинными взмахами выстраивает лучи, возводит
к луне их (она невидима)

и уходит в живот плывущего лестницей, на ступенях которой
улитки и травы вдумываются в смыслы зеленого.
Женщины одна за одной уходят из его мозга,
сцена ритма меняется ежесекундно, не обнаруживая
уменьшения вносимого в нее материала.

Ты продолжаешь идти по улице,
находясь в зоне стоп-кадра, в зоне внимания,
обволакивающего тебя, словно пары кислот. Однако
рельеф, меняясь ежемгновенно — бликов бег
устремленный в разные стороны — точно нефть,
сползает в сторону, кипит сплавом пустот,

созвездьями. Наступает осень и Ковш
оказывается по другую сторону дома. Но взгляд
быстрее, вперед, дальше, под — ему открываются
вещей пульсирующие сгустки. Вода, блеск, плывущий.
Ритм тем, кто глух, единственная
доступная нить — под стать зрачку,
не отбрасывающая тени ни за, ни перед.

Возможно, солнце... и все же, скорее,
вода напоминает о крови.
Но диск его шире, вытесняя из сознания многое.
Актинии зажигают под ним, словно под кожей,
ночь, чтобы плывущего не оставило
необходимое мужество. Прекращение.
Излучины света зыбки, смыкаясь с песком ауспиций.
У самой крыши трава ползет по карнизу,
являясь условием своего изменения,
как язык — только возможностью возникновенья намерения.

Опоясанный птицами, пеной,
движется, в себя заплетаемый, как исчисление, как роса
в жар и сети растений или мужчина
в женщину или замысел в форму.

Находит на берегу гальку,
словно не входил еще в воду, не добавляя слова
к слову — какое было прежде? какое пришло?
чтобы из предыдущего быть, из древесины, влаги,
из утра траты...

Юрий Мамлеев

РУССКИЕ СКАЗКИ

СОН В ЛЕСУ

В глубоком тайном лесу, куда не любят заглядывать и звери, приютилась небольшая деревушка. Очень родные люди жили там. Но и на веселие у них тоже духу хватало. Девушки в нежных, как цветы, платьицах на полянку ходили, песни пели хороводные, травы собирали. Мужики более серьезные были: от вина и работы не оторвать... По вечерам темнел лес, сами деревья становились мраком, только шорохи и звуки крались в кустах, пугая детушек малых. Иногда и нечисть приходила с гостинцами. В такие часы деревенские боялись в избах одни оставаться: все друг к дружке жались. Во дворе где-нибудь собирались, костер жгли, кто истории рассказывал, похождения всякие. А кто поумнее — молитвы особые про себя читал. Порой и бабонька какая-нибудь всхлипывала у костра со страху.

Обласкав так друг дружку, спать разбредались на перины. Одне домовые да молитвы тайные сон их охраняли.

Зато, когда солнце вставало, лес зеленый возвращался — куда только мрак уходил, непонятно. Шорохи пропадали, нечистый дремать уходил, птички Божии заместо его прилетали. Девушки по воду шли, важно друг с другом здороваясь, у старушек страх с души исчезал, мужчины с ранних часов медом-вином и работой баловались. После обеда спали все в сладости. Опосля душу друг другу раскрывали, и за этим занятием очень много часов проходило. В спокойные вечера скатерть раскладывали, самовар приносили, девки пампушек напекут, квасу, пива домашнего нанесут — чтобы о душе говорить слаще было...

Тихие, одним словом, были люди, нежные, немного загадочные.

Среди них девушка Настя жила: волосы золотистые, глаза голубые, то умные, то детские, личико белое, как снег в небесах. Молодежь деревенская между тем в прятки играть любила. И Настя тоже этой игрой не брезговала. Бывало, соберутся ввечеру на закате и прячутся. По-особенному они в эту игру играли, с задумкой и всерьез.

Однажды собрались вот так и начали играть. Разбежались все по дальним местам, куда и медведь не заглядывал, только эхо одно дойдет. Но как ни прятались — нашли все-таки потаенных. Только смотрят — а Насти нет! Искали-искали, нет нигде девушки. Вся деревня стала потом ходить, даже детишки отличились — пропала Настя и все. Словно она ягодой какой-нибудь обернулась.

В деревне той ночевал проезжий, опытный человек, с нюхом. Он и так полагал, и эдак, и по колдовству, и по уму — и тоже не смог найти. «Вот это спряталась, наверное, и сама себя найти не может», — подумал он.

Горе объяло деревню. Ведь каждый — как родной, да и куда могла уйти душенька странствовать?

Проезжий запил, загрустил и скоро уехал. А деревня долго горевала.

Прошло более года, сколько воды утекло, сколько стихий прошумело в лесу, сколько духов с пути верного сбилось!

И однажды этот проезжий опять попал в те края. Идет и думает: «А как же Настя, есть ли могилка ее? Или растащили по кускам бедное тело?»

Приходит в ту же деревню и первым делом о Насте загадывает.

— А как же, нашлась, — отвечают ему. — Только, может, лучше бы она и не находилась!

«Как так!» — изумился проезжий, у того, у другого расспрашивает, на скамеечки перед избами подсаживается. Не сразу сказали ему истину. Но под конец объяснились.

Появилась Настя через год после пропажи. Из лесу вышла. И понял сразу народ: во сне она, хоть и ходит. Бывает такое на белом свете. Красивая, такая же, как была, волосы золотистые, лицо — белое, и глаза — голубые, но в глубоком, глубоком покое. И такой бездонный этот покой был, что всем страшно стало. А идет прямо, без улыбки, и не узнает никого. Бились, бились с ней и радетели, и деревня вся — видят, не пробудить ее ото сна. Радетели с горя умерли, но Настя жить во сне осталась. На краю деревни ее избушка — спит она там на постели, в горнице, иногда только встает — воды напиться, травушку взять.

Ужаснулся проезжий и говорит: «О, етим дело не кончится! Неспроста все это».

Умный был человек, одним словом.

И действительно, скоро стали происходить события — только не обо всем в деревне знали.

Сначала постучал в окно к Настеньке красавец молодой, писаный. По дороге мимо ехал. Глянул на нее — и ахнул. Такая необычная девушка на него глядит, и взгляд ее как будто в себя затягивает, как в пропасть. Только слова ни одного не говорит.

Быстро понял тогда красавец молодой, в чем дело. Но не отступился: потому что полюбил Настю, как взглянул. «Какая ни есть — не забыть мне ее», — подумал он. Подошел — и поцеловал Настю. Вдруг румянец — словно в ответ — заиграл на щеках Настеньки, глаза вышли из внутренней бездны, и слышит красавец, что заговорила, заговорила его Настенька человеческим языком! Трепет охватил его. «Неужели пробудилась?» — подумал он. Взял Настю за руки — и повел к людям в деревню.

«Ах, как долго, долго я спала», — заплакала Настенька, узнавая своих близких.

— Да спряталась-то ты куда? — спрашивают ее.

— Ох, ничего не помню, подруженьки. Что за место — не помню. Но знаю одно — что спала долго, как мертвая. Ах, как страшно спать!

— Почему, почему страшно, Настенька! Сны?!

— Не было снов. И не оттого страшно. Где же я была?

Поплакала потом Настенька над могилой радетелей. Заметалась. Но рядом с ней — красавец молодой. Пир горой скоро надо начинать, жениха с невестой славить.

Все полузабылось в веселии. Мед тек, песни лились, хороводам, пляскам конца не было.

Зажила Настенька вместе с мужем своим, которого полюбила всей душой, ведь пробудил он ее от неведомого сна. Жили хорошо, ладно, но порой было у Настеньки на душе неспокойно, вставала она с постели, слова бормотала, и все оттого, что очень она энтого сна испугалась. Память о нем в ужас ее вгоняла, хотя скрывала она это даже от мужа. И такой живой был этот ужас, что и обычному человеческому сну она не любила предаваться.

И вот однажды вышла она за дом цветы нарвать — и вдруг слышит голос. Кровь как остановилась в ней, ибо поняла она, что голос этот слышала во время своего мертвого сна.

Замерла Настя, стоит и не смотрит, словно знает, что голос тот не из земного пространства.

И слышит она:

— Ты думаешь, что проснулась? Напрасно. Ты спишь еще более глубоким сном, чем раньше. Ты не пробудилась, а заснула во сне еще одним сном. Неужели ты не чувствуешь это?

Оглянулась она все-таки, побежала, за дерево схоронилась — и вдруг поняла: правду говорит голос, в глубоком сне она, не было никакого пробуждения. Разве не сон вокруг? Оттого что ярко он виден так, что ощущает она его, как явь, еще не значит, что — не сон это. «Живой сон еще

страшнее мертвого; ибо и в голову не придет, что это лишь сновидение», — подумала Настенька.

И вышла на дорогу, за околицу. Значит, любовь не только не пробудила ее, а в еще больший сон погрузила? Холодно ей стало, смотрит на небо, на звезды Настенька. Но страх перед сном прежний, непонятный, сжал сердце, уже по-новому, с большей силой. И взмолилась тогда Настенька по-черному так, упав на колени посреди пустой дороги, чтобы освободили ее и пробудили от сна. И почудилось ей, что в душе ее смятенной ответ даже есть: боль, боль только одна может от сна пробудить. Встала Настенька, пошла обратно. На лес — в шорохах, в пении — и глаза не глядят: что на сон смотреть. А сама думает: от боли даже мертвые встают. Боль, боль — мое спасение!

Пришла домой, от мужа все скрывает, как будто жизнь это все, а не греза. Он счастливый, ничего не замечает. Прожили недели две: вдруг как гром посреди чистого сонного неба. Умирает молодой муж, красавец, как дуб подрубленный, быстро сгорел. Плачет, бьется Настенька, но только когда одна дома в темноте оказалась, и боль великая объяла ее, поняла она, что это значит. Ведь получила она то, что хотела.

В горе таком прожила она много дней. Глаза высохли, губы затихли от одиночества. Никого и видеть не хочет. Одна около дома или в лесу бродит. Наконец, сил совсем не осталось, бросила все и уехала далеко-далеко в город.

Приютили ее добрые люди. Город был большой, шумный, но по вечерам затихал, и становилось в нем сумрачно и таинственно, как в деревне. Особенно на окраине, где и дома были, как деревенские.

Боль понемногу худеть стала. И вдруг чувствует Настенька, что переходит эта боль в настоящее откровение. И глубже раскрылись ее глаза, и видит, и понимает она уже все по-другому. Увидела она ясно теперь, что и после пробуждения во сне еще была. Но сон тот блаженный был, весь радугой счастья озаренный, но спáла сейчас пелена — и звезды, и небо, и город этот открылись ей во всех цветах бездны.

«Проснулась, проснулась Я!» — всей душой своей подумала Настенька. На другой день словно чудо с ней произошло. Видит, все люди в этом городе ясны для нее стали, точно весь мир на ладошке лежит. Кому идет погадать — тому сразу отгадывает; кого полечить захочет — вылечивает. И стар и млад потянулись к Настеньке. «Ну вот, теперь я взаправду проснулась, — решила она. — И думается мне и легко, и сильно. Пробудилась я! Прочь сны болотные!»

Народ к ней благоволить стал. Потому что много жизней она в воде судьбы увидела. Разбогатела, людей добрых, что приютили ее, обула, одела по-настоящему. Сама одеваться стала — так одежда на ней и светится.

Цельный год прошел. Вдруг принесли ей больного мальчика. «Излечи, ты все видишь!» — бухнулись в ноги радетели. «Идите с Богом, а у ворот подождите, я поговорю с ним», — сказала Настя.

Мальчик этот был очень необычный, глаза как у кошки, но выражение человечье. Только Настя заговор прочла, к силе своей обратилась, мальчик вдруг тихо подошел к ней и, положив руку, прикоснулся. А глаза невиданные, детские, так и смотрят.

— Не надо, Настенька, — говорит он ей. — Не тебе лечить болезнь эту, ибо и не болезнь это вовсе.

И сразу слышит и чувствует Настенька, что все меняется и звучит уже не детский голос, а холодный далекий голос, который во всех ее снах звучал:

— В глубоком сне ты, Настя. Ты думаешь, что проснулась. Но ты в еще более страшный сон ушла. Что твои те два последних сна! Знаешь ты многое, но знание это только в сон тебя еще глубже погружает. Ибо и знание тоже сном бывает.

Вскрикнула Настенька, выбежала вон от ненавистного голоса. Дрожит вся. У ворот радетели глупые стоят, спрашивают. Но пробежала Настенька мимо них — в глубь, в тьму, где лес начинался сразу за городом. И взмолилась опять: «Неужто не пробудилась я? Неужто я во сне еще живу? Сон во сне, и опять сон во сне, и так без конца? Кто же я, где же я?» И ответ какой-то метнулся в душе. И запело там все от музыки внутренней. «Света, света хочу! — закричала она. — Света небесного, неземного!»

И упал тут свет мгновенно, как струя, в душу ее, и озарилась она и возликовала: «Все вижу, все вижу везде, и себя вижу! Встала я из тьмы! Проснулась!»

Но пожалел, видно, кто-то ее, из совсем нездешних. Видит, белая девушка стоит рядом, очень похожая на нее, в русской одежде. Как вторая Настя. И улыбается. А тьмы нигде нет. И корона Небесной России сверкает на ней.

— Слушай, Настенька, — говорит девушка. — Изведешься ты. Совсем пропадешь. Не тот свет это, ибо и свет разный бывает. Не пробуждение это.

Девушка подошла поближе, сделала жест рукой. И вдруг почувствовала на мгновение Настенька, что означало бы, если б она в самом деле проснулась. Рухнул бы мир, как будто его и не было, со всем его умом, светом, бормотанием и откровением... ...Но что было бы заместо мира сего — в то не могла проникнуть Настенька даже на секунду. И слава Богу — что не могла, не для человеков это. ...Потом все прошло, опомнилась. Девушка по-прежнему рядом, на Настеньку смотрит.

— Иди, бедная, не мучайся, — сказала она и коснулась ее своей рукой. — Теперь ты знаешь... Иди, иди, ты очнешься в своей деревне, и она — не сон.

Все пропало в глазах Настеньки. Исчезло, точно в глубокую ночь провалилось. Долго ли, коротко такая тьма была, вдруг слышит она: голоса над ней раздаются. С трудом открывает Настя тяжелые веки и видит: лежит она в избе, на постели, а кругом нее деревенские ходят. Лица у всех озабоченные.

— Проснулась, проснулась! — кричат.

— Что, что со мной?! — спрашивает Настенька.

Лучшая подружка кинулась к ней:

— Настя, помнишь, мы в прятки играли?.. Потерялась ты... Потом из леса вышла, но сонная, как по луне шла...

...А теперь ты проснулась!

Не будем сказывать, как уладился такой необычный случай.

И наконец, прошло время — Настя счастливо зажила. Душенек-подружек еще крепче полюбила. Вместе песни новые сочинять стали, по лесу дремучему ходить, душу открывать. Только в прятки Настенька уже не хотела играть. А то спрячешься, действительно, Бог знает куда. Никто и не найдет.

ГОЛУБОЙ

Деревня Большие Хари расположилась среди затаенного уюта приволжских лесов. Напротив — через речонку — Малые Хари, чуть поменьше домами. Сюда-то и направился отдохнуть (а скорее поразмышлять) москвич Николай Рязанов — не совсем обычный человек, совершенно стертого возраста. Возраста, по всей видимости, вообще не было. Голова его была взъерошена, взгляд — тревожно-бегающий, а на пиджаке — значок отличника учебы. Николай как-то умудрялся сочетать тихую рациональную учебу XX века и службу при начальстве с общим беспокойством в душе. Даже чай пил посвистывая. А в кармане засаленных брюк всегда носил большой, рваный от времени, блокнот с надписью «Основные тайны». Тень этих тайн и влекла его в эту деревушку Большие Хари — что-то он прослышал о ней, содрогаясь по вечерам от стаканов московской водки.

Деревня встретила его смирно, но как-то полупомешанно. Впрочем, может быть, ему так показалось. Дальняя родственница его Марья отвела ему комнатку в уголке. И в первый же день Николай потерялся. Но не сказать, чтобы насовсем. Вышел в лес за грибком, и вдруг как-то бесповоротно, точно в голубом болоте заблудился. Как будто ничего в мире не осталось, кроме этого бесконечно-шелестящего леса. И песни в нем...

Марья пожаловалась на его отсутствие. Уже шел второй день. Пришлось девкам собирать на чай дедушке лесовому. Нашли пень на перекрестке, пошептали, покропили. Песенку пропели, ласковую такую, просительную:

Батюшка лесовой,
Приведи его домой...

Поплутали немножечко, глянь: а Николай тут как тут, из-за березки вышел. Свет не без добрых леших!

Справили возвращение. Ручьи самогона так и текли от каждой избы. Весна, хлопотно, птички поют. На седьмой день опохмеления Николай уже знал почти все про две деревушки. Знал про спелых старичков, выходивших перед войной из оврагов, чтобы предупредить народ-дите о бедствии. Знал про колдуна из местных, где-то под Тулою заговорившего немецкую артиллерию, чтоб не палила... Но главное, что заворожило Николая, было не прошлое, а настоящее: две ведьмы-старушки, жившие одна в Больших Харях, другая — в Малых. Та, которая в Малых, была подобрее и обычно охотнее расколдовывала то, что напускала первая. Впрочем, это могло быть от соревнования... Забавы со скотом, «навешивание кисты» (т. е. волшебное возникновение опухоли) — были самым обычным делом, и бабоньки, кряхтя, бегали из одной деревни в другую, чтобы просить одну «развязать» то, что «завязала» противоположная.

Но в жизни старушек старались избегать: больно уж нечеловечьи были глазки, глядевшие как из кустов. «Мы одному миру принадлежим, они — уже другому, — вздыхая, говорили пугливые деревенские старички. — Что они знают, от того у людей ум расколется».

Опасаясь такого раскола, люди осторожно обходили не только дома ведьм, но и шарахались от их животных: петуха, козла и кошки, которая в сущности и не была никакой кошкой. Понимали, что главное происходило за стенами их крепких домов. Только иногда зимой, при свете золотой луны и метущейся зеркальной снежной равнины, видели, как из трубы на помеле, нагло и ни с чем не считаясь, вылетали Бог весть куда некрасивые ведьмы.

Сам Николай, хоть и мучился со своими «основными тайнами», не мог подластиться к старушкам, чтобы разузнать про это. Не подпускали они его и близко. Даже кисту не навешивали. Наверное, просто неинтересен он им был. Вместо этого сдружился он с колхозным бригадиром Пантелеем, увесистым мужиком, который был знаменит тем, что его однажды обернули свиньей. Рассказывал об этом Пантелей неохотно, с подозрением, но от факта никогда не отказывался. «Что было, то было», — угрюмо, за стаканом, говорил он. Да и так все видели, как закрутился вихрь, как на улице вместо Пантелея оказалась дикая черная свинья, которая с утробным воем (выделяя, однако, далеко в стороны жуткий самогонный перегар, что явно говорило о ее человечьем происхождении) понеслась вперед. Как попалась чертова жертва под руки кудрявым ребятам, которые отдубасили ее так, что потом, когда Пантелей опомнился в яме и волею ведьмы пришел в себя, то долго отлеживался, весь в крови! «Надо быть учителем, чтобы такому не верить», — хохотали в деревне.

Но Николая интересовало больше внутреннее, природа самосознания влекла его к себе.

— Что ты чувствовал, что думал, что с душою было?! — тревожил он Пантелея.

— Отлазь, не мучь, клоп, — сердился порой Пантелей. — Заслужи сам, чтоб тебя обернули. Это тебе не «отличник учебы» напялить!

Но Николай словно совсем обезумел, духовно действительно превратившись в эдакого метафизического клопа. «Основные тайны» совсем истерзали его. Уже шли последние дни его долгого, заслуженного отпуска, а он совсем похудел, глаза ввалились, и Николай уже начал, как в сумасшедшем доме, носиться по лесу, громко призывая «батюшку лешего».

— Ни один леший к такому, как ты, никогда не придет, — разубеждали его в деревне. — Что ты такой беспокойный! Не можешь приять правду, какой она есть. Вот ведьма, смерть, лесовой. А дальше нечего нос сувать.

Однако Николай не унимался. Тишина уже пела в его душе. Забылось все. Стал даже надевать на голову венок из березовых листьев. И пил воду только из родника. Ничего бы из этого, конечно, не вышло, но вдруг во сне ночью он попал (вероятно, случайно) в некое потустороннее поле. Как мышь в мышеловку. Сам он почувствовал это только утром, когда встал, дальним острым краем своего не-сознания. А в сознании был по-прежнему — «Николай». Одним словом, повезло парню.

...На следующий день он бегал, как всегда, по лесу. Аукался. И вдруг видит: на пеньке сидит старичок в белом и пальцем его к себе манит, как дурачка. Николай, охолодев, подошел.

— Ну что ты прыгаешь, все про ведьм и леших гадаешь? — спокойно говорит ему старик. — Эка невидаль! Да у нас еще при Екатерине Великой колдуны под Москвой свадебные поезда в волчьи стаи оборачивали!.. Ты ведь серьезное хочешь узнать?!

— Самое глубокое и тайное, — эхом ответил Николай.

— Ну так чего же такой мелочью интересуешься? Пойдем, я тебе дверку покажу.

Покорно, как котенок, Николай поплелся за стариком. Шли лесом, который стал все светлеть и светлеть. Точно солнце вставало изнутри земли. Сколько они прошли — неизвестно, но вдруг Николай вздрогнул: совсем недалеко дверка, то ли в землянке, то ли в избушке, то ли в небе. И ум его от этой двери сразу мутиться стал, и подымать его стало, и холодно засветило внутри.

Старик остановил его.

— Слушай, парень. Стой. Потом сделай несколько шагов к двери. Иди медленно. Если до двери дойдешь и заглянешь, тебя не будет. Нигде. Но не думай, что это твой конец... Ты будешь там, где тебя не будет. Но можно не заглядывать, на любом шаге от дверки можно свернуть, если будет знак... Иди!

И Николай пошел. И сразу черный ужас заморозил его. Вернее, он сам превратился в один ужас. Только высунулся, как у собаки, красный язык. Но он шел и шел, точно охваченный невидимым, не от мира сего, холодным и жестоким течением. Если бы не это течение, ужас убил бы его тут же на месте или отшвырнул бы в сторону, как тень, превратив в черную бессмысленную жужжащую муху. Но он двигался к дверке, уже превращенный в нечеловека, тихо волоча свои ноги, как латы.

И вдруг — по мере приближения — ужас стал превращаться в нечто другое, но это было еще невыносимее любого ужаса, внушенного когда-либо людям, чертям или духам на этой земле. «Этому» не было слов, и любое безумие было только нежным шелестом утренних трав по сравнению с этим.

До двери оставалось всего десять — двенадцать шагов, а «это» длилось уже несколько секунд. Николаю показалось, что он уже ощущает тень того, что прячется за дверью, тень последней тайны. Она лишь слегка коснулась его сознания, в котором смешались все пласты: потусторонний, подсознательный, человеческий. И в этот момент кто-то легко и нежно (свет не без добрых леших!) выбросил его из течения, выбросил с пути к дверце...

И затем нечто голубое, воздушное пленительной струей вошло в его сознание. «Это будет тебе подменой, — услышал он голос, — ибо с тем, что ты ощущал, нельзя жить, хотя ты даже не дошел до двери».

Когда Николай очнулся, ни двери, ни старика не было. Но «голубое» прочно вошло в его сознание. Ибо лишь оно не допускало в его душу память, знание, крик о том, что с ним было. Теперь он ничего не помнил, не знал об этом, его сознание опять стало привычным, человечным, обыденно-смешным... Но в душе пел приобретенный подарок — голубая радостная струя, окрашивающая все в счастливые, гармонически-примиренные тона! Без знания, почему был дан этот ложный, но милосердный подарок.

Потихоньку Николай добрался до деревни. Уже спали петухи. Одинокими голосами перекликались ведьмы. Все было до удивительности нормально и спокойно. Где-то в саду тоненько пели о любви. В одном окошке горел свет: видно, пили «за жизнь». По небу — почти невидимо — летал ведьмовский петух.

Дальнейшая жизнь Николая определилась голубой струей его сознания. Никаких попыток проникнуть в «основные тайны» он больше не делал и блокнот свой выбросил. Его обыденное состояние осталось прежним: учеба, работа, дела, но второй план уже не беспокойство, а голубой покой.

Он не знал, что этот смешной покой был лишь тенью, вернее антитенью того страшного, но высшего покоя, который он мог бы приобрести на одной из ступенек к двери.

Между тем «жизнь» брала свое. Рязанов — в соответствии со своей голубизной — тяготел теперь только к радужным метафизическим теориям и настойчиво объяснял своим друзьям, что «в целом все хорошо» и «там» и «здесь», но что особенно-де «там», то есть где-то после смерти, причем для всех и во всяком случае в «конечном итоге». Стал очень аккуратен, доверчив и к людям шел душа нараспашку, всем помогал, и потусторонний мир не рассматривался им иначе, чем в самых демократических тонах.

На земле же стал как-то чересчур, до неприличия социален: копошился в различных общественных организациях, хлопотал, выступал, ездил убирать картошку, дня не мог провести без людей.

Умер он более чем странным образом. О смерти своей узнал (конечно, из научных источников) недели за три-четыре, то есть узнал беспоровортно. И страшно заважничал. Никогда еще его не видели таким напыщенным и надутым. Предстоящая смерть как бы подняла его в собственных глазах. Он даже купил очки. Вообще очень оживился, поучал...

И только в час смерти ему послышался дальний смешок и чей-то голос в пустоте произнес: «Улизнул все-таки... щенок».

От ствола древа литературы отходят ветви. Одни ветви прямые, основательные, безусловные; другие — непонятно, как и откуда растущие, причудливо изогнутые, словом, странные... Такова проза Юрия Мамлеева. Когда-то его рассказы и романы ходили в самиздатских списках, в магнитофонных записях, передавались изустно. Персонажи, обязательно с вывертом, фабулы, всегда шокирующие, фразочки — запоминающиеся, всплывали из литературного «подполья» в повседневный обиход в виде некоего сюрреалистического фольклора. И тем более притягательного, чем резче он различался с общепринятыми культурными нормами. Вообразить имя писателя на журнальной полосе было невозможно: Мамлеев являл собою один из самых «чистых» примеров отторжения от системы, причем не через политику, а через поэтику.

Родился Юрий Витальевич Мамлеев в Москве, в 1931 году. Отец его, профессор психиатрии, погиб во времена сталинского террора. После окончания Лесотехнического института Ю. Мамлеев преподавал математику в школе рабочей молодежи, занимался литературой, изучал довольно экзотичесие для советской жизни той поры предметы: восточную философию, оккультизм и теософию. В середине 70-х годов писатель эмигрировал в США. По одной — случай исключительный — книге прозы, «Небо над адом», его приняли в ПЕН-клуб. Позже Мамлеев обосновался в «городе, в котором русские чувствуют себя почти как дома», то есть в Париже. А в 89-м, впервые в советской печати, на страницах «Книжного обозрения» появились его рассказы с предисловием Юрия Нагибина.

В «Русских сказках» предстает неожиданный, новый Мамлеев. Писатель обернулся теперь к собственно фольклору, который в сущности столь же — если не более — сюрреалистичен, как и тексты самого крайнего современного сюрреалиста. Мамлеевские «Сказки» — художественно превращенные былички. (Стоит вспомнить в этой связи о «Вечерах на хуторе близ Диканьки» или о «страшных» историях у костра в «Бежином луге».) Жанр быличек отличает подчеркнутая обыденность, посюсторонность описываемого, естественно соседствующая с ирреальным, потусторонним. Повествователь «Сказок» иронически относится к самонадеянности рассудка, вознамерившегося постичь «основные тайны» и занести их в специальный блокнот. Нет, это не отрицание разума, но критика его, указание на его возможности и границы. И одновременно отважная попытка — через архетипы, интуицию, созерцание — объять «все пласты: потусторонний подсознательный, человеческий», пройти хотя бы часть пути к глубинам коллективной души народа. Ну, а насколько это удалось, говорит сам автор, «пусть судят мои невидимые читатели из других миров».

В. ШОХИНА

Публицистика

Владимир Лопатин,
народный депутат СССР

АРМИЯ И ПОЛИТИКА

В огне и крови 1941 года родились жестокие вопросы, на которые по сей день нет полного ответа: почему после двух месяцев боев враг стоял у Москвы и Ленинграда? Почему более тысячи километров от границы гитлеровские войска прошли за кратчайшие сроки, совершая ежедневно двадцатикилометровые броски? Военные знают — это очень высокий темп наступления. Почему мы потеряли столько людей в первые месяцы войны?

Тяжелые вопросы, тяжелые факты. Привыкшие читать о героическом сопротивлении Красной Армии, сумевшей, несмотря на гигантские потери, перемолоть огромные массы германских вооруженных сил и в конце концов остановить их наступление, мы с трудом переосмысливаем события тех страшных для страны лет.

Все это так. Был героизм советских солдат. Были и подвиги летчиков и пехотинцев, моряков и танкистов. Мы действительно сорвали планы гитлеровского блицкрига — молниеносной войны, но начальный период войны — это и около трех с половиной миллионов наших пленных солдат и командиров. По сути, в плену оказалась почти вся наша армия!

Армия не была готова к войне. Ко дню ее начала множество бойцов оказалось в увольнении, а офицеров — в отпусках. В летних лагерях находились воинские части, а боеприпасы были заперты на складах. Мы не ждали войны, поэтому в самом ее начале Западный фронт потерял почти всю авиацию, огромное количество танков и другой боевой техники.

Но почему, почему мы понесли такие страшные потери?

Почему наша армия не была готова к войне?

Не вдаваясь в тонкости полемики на исторические темы, я предложил бы один, и к тому же бесспорный, ответ на все вопросы: Красную Армию разгромили потому, что ею плохо руководили. Ею плохо руководили молодые лейтенанты, волею 37-го года вознесенные до полковников, и полковники, той же силой возведенные в генералы, так как в годы репрессий мы потеряли — по последним данным — 43 тысячи офицеров, а до июня 1941 года эта цифра более чем удвоилась. Около 1800 генералов подверглись репрессиям, а на высвободившиеся должности хлынул поток тех, чья пригодность к военному делу определялась нередко лишь «партийной зрелостью» и «политической бдительностью». Например, начальниками морских сил побывали не имевший образования П. А. Смирнов, а затем и «чекист» М. П. Фриновский — точь-в-точь по Салтыкову-Щедрину: «сделайте меня цензором — я буду цензором... Всем быть могу, могу даже быть командующим фрегата «Паллада»...»

Спасли страну, народ и, как это ни горько сознавать, спасли и сталинское руководство лишь самопожертвование и героизм обезоруженного солдата. В который уже раз за историю страны на плечи простого человека лег груз страшнейшей ответственности за ошибки политических руководителей, которые не только обезглавили армию, но и проповедовали лживую в тех условиях концепцию наступательной военной стратегии.

Противоречия тогдашней военной теории, призванной обосновать наступательный характер будущей войны, обусловили целый ряд перекосов в развитии военной экономики, в определении ее приоритетов. Имея к июню 1941 года около 23 тысяч танков (из них 1860 новых типов) и 35,5 тысячи самолетов (в том числе 2700 новых типов), мы ускоренными темпами создавали конницу. С 1934 по 1939 год количество кавалерийских соединений возросло в 1,5 раза, а до конца 1941 года, когда уже было ясно, что идет война моторов, была сформирована еще сотня кавалерийских дивизий. Средств на это затратили в 5 раз больше, чем на строительство военно-морского флота.

Армия была обманута политическим руководством страны, которое преступно неправильно подбирало кадры, вмешивалось в решение оперативных задач, за что на полях сражений расплачивались своими жизнями солдаты и командиры. Военный ученый Б. И. Горев, разрабатывавший в 30-е годы оригинальную теорию взаимозависимости базиса я надстройки в армии и попавший в опалу, предупреждал: «Как в обществе надстройка иногда отстает от базиса, производственные отношения отстают от развития производительных сил, так и в армии надстройка организационная (тактика) и идеологическая (военная теория) отстают от базиса, т. е. развития военной техники. И в результате в обществе происходят революции, а в военном деле — военные катастрофы».

Истоки трагедии 41-го года — и в этом. Истоки постыдно огромного количества боевых потерь — тоже в этом. Как и истоки самой войны.

Июньское утро 1941 года, стоившее нам так дорого, далеко позади, оно в дымке прошлого. Но минувшее пятидесятилетие не отменило старой истины: сила армии — в правильном руководстве ею. Если это соблюдать — будет правильная стратегия, будет качественное оружие, будут нужные, обученные, квалифицированные кадры, будет и победа.

Но что же это такое — руководство Вооруженными Силами?

Начнем с элементарного: что означает вообще руководство? Различные его определения, которые дают толковые словари, сводятся к одному: руководить — означает направлять чью-либо деятельность, являться побудительной причиной чьих-либо действий. Это слишком общее понятие, и я попытаюсь конкретизировать его на примере руководства и управления Вооруженными Силами.

Вооруженные Силы — часть государственной системы. Их специализация — защита государства от внешней угрозы, а также обеспечение его внутренней стабильности в экстремальных условиях. Соединение двух понятий — «руководство» и «армия» есть в Программе КПСС, и вот как это там трактуется: «Основой основ военного строительства является руководство КПСС Вооруженными Силами...» Все так, если не считать, что тут нарушены законы формальной логики, ведь если армия часть государства, то и руководима она должна быть государством в лице его высших органов власти. Государственных, но никак не общественных. У нас же на этом пути пока еще сделаны лишь первые практические шаги...

До начала перестройки и обществом в целом, и Вооруженными Силами безраздельно правила «руководящая и направляющая сила Советского общества» — КПСС. Руководство и управление свелось к тому, что решения, принимаемые по военным вопросам узким кругом лиц в ЦК КПСС, как правило, навязывались для проведения их в жизнь на всех уровнях. К чему это привело в итоге? К безответственности, к осуществлению дорогостоящих и преступных «экспериментов», таких, как Афганистан. За эти решения никто не нес какой-либо ответственности. Кто подсчитает все материальные и моральные издержки этих решений? Кто ответит за жизни погибших по воле анонимных распорядителей солдат? Как, наконец, стало возможным такое?

Политические руководители тоталитарных общественных систем всегда рассматривали армию как элемент их собственной власти. Использовали ее при этом далеко не с пользой для военного дела, а и во вред ему. Например, после революции партия, став правящей, сделала своим орудием борьбы за власть и ее утверждение Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. Логическим завершением этого процесса стал 1925 год, когда в армии был введен институт единоначалия на партийной основе. Реформой к 1929 году «планировалось» поднять «партийную насыщенность командных кадров»: среди ротных командиров до 60% (в 1923-м — 41,5%), среди командиров полков, дивизий и корпусов — до 100% (в 1923 году соответственно 33%, 34%, 58%)...

Из-за того, что в выработке и принятии политических решений принимало участие ограниченное число людей, власть оказалась сосредоточена в руках небольшой группы, фактически неподконтрольной обществу. Инструментом ее власти, а не власти народа снова стала армия, и для этого ей не обязательно было быть хорошей боевой профессиональной организацией. Для этого ей было достаточно политической убежденности, «преданности партии», а также дисциплинированности в выполнении приказов. Однако этого не хватало для того, чтобы армия оставалась боевой единицей. В таких условиях она разлагается, оставаясь при этом послушным и дешевым орудием насилия, «палочкой-выручалочкой» в решении самых разных внутренних задач: армия подавляет народные восстания, участвует в проведении коллективизации. Она становится «школой коммунистического воспитания», занимается хозработами, превращается в источник дешевой рабочей силы. За примерами ходить далеко не надо. 30-я территориальная стрелковая дивизия КВО, выполняя подобные задачи с 1922 по 1934 год, удостоилась четырех орденов Ленина... за участие в социалистическом строительстве. Почетные и переходящие знамена, грамоты воинским коллективам за подобные «достижения» — вот «оплата» армейского труда, свидетельства порочной практики латания силами армии хозяйственных дыр, которая существует и по сей день.

Чтобы решения политического руководства армия выполняла быстро, без раздумий (даже когда это противоречило здравому смыслу), осуществлялся тщательный подбор руководителей-исполнителей, и эта практика исключала, кроме редчайших случаев, попадание на высокие посты самостоятельных, творческих личностей. Результатом сталинских интриг стало смещение Л. Д. Троцкого, а затем и М. В. Фрунзе. Позднее, в 1957-м был устранен Г. К. Жуков, и одной из причин этого было и его недопонимание роли партийно-политической работы в армии. В таких условиях приоритетное развитие теории и практики военного строительства нередко зависело от одного или нескольких человек, далеких от военного дела. В 60-е годы, когда в ОКБ А. И. Микояна уже был разработан военно-космический самолет, А. А. Гречко категорически заявил: «Ерундой заниматься не будем»,— и эта безапелляционность облеченного властью деятеля весьма напоминает фразу Николая Второго: «Патронов не хватит»,— поставившего крест на внедрении в русской армии автоматической винтовки. Подобных примеров в истории армии немало. Ущерб от вмешательства дилетантов, имевших на это право, ответственность каждого из «правителей» еще предстоит определить истории.

Изменилось ли что-либо в перестроечное время? Между вводом наших войск в Афганистан и событиями в Тбилиси — 10 лет, однако механизм принятия решения на использование Вооруженных Сил тот же. И попытки уйти от ответственности, переложив ее на армию, те же. Душанбе, Кишинев, Баку, Прибалтика... С кем будет армия в том или ином случае? Неясность ответа, порождающая известную напряженность в обществе, определяется сохранением прежнего механизма руководства и управления армией, несмотря на некоторые видимые изменения по форме. Мало принять решение, важна его реализация, а механизм реализации подконтролен прежде всего партии.

Отказавшись от монополии на власть конституционным путем, партийное руководство в то же время пытается сохранить в своем подчинении армию, используя для этого старые приводные ремни руководства и управления ею.

Первый — это единоначалие, сведенное к единовластию, а при отсутствии законов — нередко и к всевластию. Социальные права военнослужащих и членов их семей находятся зачастую в руках одного человека. Да, вроде бы возникли уже формы демократического решения этих вопросов в последнее время, есть, к примеру, офицерское собрание. Однако командир, который по должности его возглавляет, вправе отменить любое решение этого собрания. Есть жилищно-бытовая комиссия, но решения ее командир может и не подписать, есть комиссия по дет-

саду, где тот же командир зарезервировал места — хочу дам, хочу нет, и попробуй теперь выскажись против него, выступи с критикой. Себе, что называется, дороже.

Подбор кадров, продвижение их по служебной лестнице в таких условиях определяются зачастую не профессиональными качествами офицера, а порочными принципами «личной преданности», «кумовства», угодничества. И чем выше, тем подобных качеств требуется больше, ибо только так можно обеспечить беспрекословное выполнение любого приказа, исходящего «сверху». Потому-то все меньше и меньше остается в руководстве армии людей, способных противостоять унтерпришибеевщине. Подобный порядок подкрепляется системой соответствующих льгот и привилегий, которыми система подкупает, подчиняет людей, формирует из независимых — себе подобных. Это дополняется и отсутствием какого-либо действенного контроля в армии, позволяющего старшим по званию нередко творить произвол. В личной заинтересованности нынешнего военного руководства ничего коренным образом в армии не менять и кроется причина, на мой взгляд, отрыва основной массы генералитета от костяка армии.

Второй приводной ремень — это партийная основа единоначалия. С одной стороны, это обязательные требования кадровых органов указывать «партийность» в анкетах, автобиографиях. Это и наличие в партийных характеристиках пункта о «преданности делу КПСС». Во главе этой кадровой политики стоит ЦК КПСС, в отделах которого обсуждаются и утверждаются все военные руководители крупных рангов. Стопроцентное членство в КПСС высших офицеров объясняется именно этим — иначе путь «наверх» закрыт. Всего же среди офицеров — 75% коммунистов.

Партийность единоначалия обеспечивает система партийно-политического аппарата, который находится на содержании у государства. Бытует утверждение: существование политорганов способствует противодействию и сдерживанию зарвавшихся командиров. Однако повседневная практика войск убеждает в обратном: в силу своей подчиненности командирам, наличия собственных властных интересов политотделы из органов защиты военнослужащих превращаются в органы подавления всего индивидуального в них. Главное — обеспечить единообразие, чтобы никто не высовывался, «не смел», чтобы был, как все. Если не хватает власти командира, подключается власть партийная.

Такова вкратце система проведения решений верхних эшелонов партийной власти внутри армии. В соединении с подобным механизмом в военной промышленности система эта, имеющая обратную связь и оказывающая давление на Вооруженные Силы, формирует мощную прослойку военно-промышленной бюрократии на партийной основе. Она была, она такой и осталась, и никакие внешние демократические преобразования — передача всей полноты государственной власти в стране Съезду народных депутатов СССР, избрание Президента СССР — ничего не изменили. Без создания соответствующего механизма реализации решений новые государственные структуры будут лишь лозунгом, декларацией. Армия по-прежнему — инструмент власти партии. Не с этим ли связано совмещение постов Президента СССР и Генерального секретаря ЦК КПСС? Как долго сохранится такое «двоевластие»? На мартовском (1990 г.) Пленуме ЦК КПСС начальник Главного политуправления СА и ВМФ генерал армии Лизичев А. А. сказал, что «у нас вопрос не стоит об упразднении политорганов и деполитизации армии». Он считает, что «должны быть разграничены функции политорганов на политические и партийные органы... от полкового парткома до высшего партийного органа Вооруженных Сил, наделенного правами комиссии ЦК КПСС». Но, на мой взгляд, так решать вопрос в условиях складывающейся многопартийности — значит, либо превращать армию из гаранта стабильности государства в предмет прямой борьбы за ее использование в корыстных политических целях несколькими партиями, что само по себе опасно как для армии, так и для общества, либо делать все, чтобы не допустить создания других партий. А разве это не противоречит идущим демократическим преобразованиям?

Возникает вопрос: если такое решение уже принято, то, во-первых, кем? Во-вторых, где и кто просчитал последствия его реализации? Если же ситуация не прогнозировалась и принятое решение ошибочно, то кто понесет за это ответственность? Мы были, да и остаемся свидетелями многочисленных просчетов такого метода руководства, когда в стремлении «охватить все и вся» у партии не оказывалось ни достаточных сил, ни возможностей, ни времени для главного, чем она и должна заниматься,— формированием политики на основе системного анализа оценок и прогнозов. Достаточно вспомнить лишь несколько примеров. В Программе КПСС записано: с точки зрения внутренних условий Советский Союз в армии не нуждается. Вооруженные Силы СССР созданы только для защиты от нападения извне. На практике же Вооруженные Силы СССР и использовались, и используются для поддержания порядка внутри страны. А это внутренняя функция. Наиболее близкий, кровоточащий пример — Баку. Можно высказывать разные суждения по поводу — нужна или не нужна была там армия, оправдан был или нет ввод туда войск, но одно несомненно: здесь армия стала тем «последним доводом королей», после которого аргументация упрощается до предела. Прав тот, кто сильнее, а сильнее — армия. Или тот, кто ею руководит? Почему в Программе партии, в новой ее редакции, принятой последним съездом, это положение не было учтено?

А вот как менялась партийная оценка Вооруженных Сил в зависимости от ситуации. Использовали армию в Афганистане — сразу найдено было обоснование: необходимость расширения понятия «защита социализма». Сперва это положение распространили на союзников социализма, а затем его развили до защиты интересов мира и безопасности в странах, составляющих «единый блок сил общественного прогресса». Сама метода выработки политических решений и оценок говорит о том, что они постоянно запаздывают, поскольку всегда лишь констатируют факты — сперва факт, потом его обоснование. Впрочем, это характерно не только по отношению к Вооруженным Силам, но и в целом по отношению ко всему нашему обществу.

Возьмем далее вопрос об армии разумной достаточности при снижении уровня паритета сил. Какова исходная ситуация? В ней как в зеркале отражаются все недостатки упомянутой системы принятия решений и проведения их в жизнь. Здесь они наиболее ощутимы и болезненны, ибо их бесполезность и ошибочность оборачиваются десятками миллиардов рублей, которые идут на ликвидацию последствий и на совершение при этом новых ошибок, что затрагивает судьбы и жизни миллионов людей. Конечно же, оплачивает эти ошибки не кто иной, как наш рядовой налогоплательщик, на чьи плечи и без того взвалены гигантские расходы на оборону.

О каких же ошибках идет речь? В семидесятых годах было заявлено, что «из всех родов войск танковые войска в наибольшей степени соответствуют характеру ракетно-ядерной войны». Как эта идея была реализована на практике, в условиях признания военно-стратегического паритета? Остановлюсь на этом подробнее, чтобы на конкретном примере показать механизм принятия ошибочных решений. Длительное время Министерство обороны подчеркивало: у ОВД и НАТО существует «примерно равное количество бронетанковой техники... По общему количеству танков страны НАТО не уступают странам Варшавского Договора». («Откуда исходит угроза миру». Москва, 1984 г.) Совсем недавно, еще в 1987 году, в изданиях Министерства обороны заявлялось: «не выдерживает никакой критики и западная версия о так называемой «танковой угрозе с Востока». Утверждалось, что танковый парк НАТО составляет 25 тысяч машин и что «по общему количеству танков НАТО не уступает Варшавскому Договору». В «Правде» от 8 февраля 1988 года министр обороны СССР признал: ОВД имеет преимущество в танках. «Что касается танков,— заявил он,— то у Варшавского Договора в Европе их больше примерно на 20 тысяч...» Но и эти данные оказались заниженными, так как согласно заявлению Комитета министров обороны государств — участников Варшавского Договора от 30 января 1989 года у ОВД имелось 59,5 тысячи танков, а у НАТО — 30,7 тысячи. Несложно подсчитать, каким было превосходство ОВД над НАТО!..

В своем интервью газете «Известия» (21 апреля 1989 года) министр обороны СССР заявил, что ОВД имеет 80 тысяч танков, НАТО — 40 тысяч. Таким

образом, ОВД обладает двукратным преимуществом в танках над НАТО. Однако наши сведения о количестве натовских танков почти в 2 раза превосходят данные западных источников. По подсчетам НАТО, у них в войсках 16 тысяч танков и еще 6 тысяч законсервированы на складах. Между тем только лишь Советский Союз, согласно последним официальным данным, имеет почти 64 тысячи танков — больше, чем все прочие государства мира, вместе взятые...

Что касается боевых машин пехоты и бронетранспортеров, то согласно заявлению Комитета министров обороны от 30 января 1989 года у ОВД по сравнению с НАТО их больше в полтора раза — 70 тысяч у ОВД, 47 тысяч у НАТО. Между тем «Известия» от 16.12.1989 года сообщают, что только СССР имеет на вооружении 76,5 тысячи БМП и БТР...

Спрашивается, кому же выгоден обман и сколько он будет стоить? Нам предстоит уничтожить две трети всей бронетанковой техники и артиллерии, сокращая обычные вооружения, но ведь противотанковых средств у нас значительно меньше! Несколько ранее мы были свидетелями подобного обмана с ракетами средней дальности; до визита М. С. Горбачева в США в 1987 году официально утверждалось, что у СССР 355 ракет средней дальности, а при подписании Договора об их ликвидации выяснилось, что у нас их 826, в том числе 470 развернутых. И вот я задаюсь вопросом, зачем было в Европе, где действуют 200 атомных реакторов, которые в случае даже обычной войны становятся ядерными минами, размещать сотни РСД? Размещать, чтобы потом их уничтожать?

В нарушение Договора с США по ПРО (1972 г.) шло строительство Красноярской радиолокационной станции. Теперь же решено ее «разрушить до основания». А как же затраты, исчисляемые сотнями миллионов рублей? На чей счет их спишут, если для уничтожения и ликвидации произведенного сверх всякой нормы оружия требуются новые миллиарды, как, впрочем, и для реорганизации военного производства на выпуск гражданской продукции? Военно-промышленный комплекс на проведение конверсии запросил 60 миллиардов рублей. Тринадцать миллиардов для собственно конверсии, а остальные деньги — на строительство новых мощностей для народного хозяйства и за его счет, но под эгидой военного ведомства. Вот и получается: хоть вооружайся, хоть разоружайся, руководство ВПК внакладе не останется. Виновного опять нет. Да и можно ли отыскать его в системе размытой ответственности на партийной основе? Военный бюджет распределен по десятку министерств, которые выступают одновременно и заказчиками, и организаторами бесконтрольной гонки производства вооружений и техники в ущерб ее качеству. Гонки зачастую необоснованной, инициаторов которой опять же не сыскать. Прав, прав был К. Маркс, когда утверждал, что «всеобщий дух бюрократии есть тайна, таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру — ее замкнутым корпоративным характером»[1]. Подобный замкнутый характер носит у нас распределение средств и фондов на армию, и делается это, как правило, в партийных и правительственных кабинетах. Подобная ситуация — благодатная почва для формирования военно-бюрократического лобби, которое и после установления военно-стратегического паритета продолжало раскручивать военный маховик: разработано 13 новых ракетных систем против 6 американских, втрое больше, чем в США, построено у нас многоцелевых атомных подводных лодок, вдвое больше — самолетов тактической авиации, в 30 раз — истребителей противовоздушной обороны. (При этом лишь в 5 из 20 базовых технологических направлений СССР находится на уровне США.) В стране меж тем огромный дефицит бюджета, свертываются многие социальные программы, десятки миллионов граждан пребывают за «порогом бедности». Все это происходит на фоне не продуманного до конца сокращения армии. Военнослужащие, не защищенные социально, практически лишенные многих гражданских прав, сбитые с толку отсутствием ориентиров перестройки армии, отторгаются обществом, и в этом мне видится причина растущей напряженности внутри Вооруженных Сил СССР.

По сей день самым острым остается вопрос жилья. 280 тысяч семей, имеющих отношение к армии, остро нуждаются в улучшении жилищных условий. К армии бомжей, в которой сегодня уже более 180 тысяч семей офицеров и прапорщиков, прибавится скоро свыше 100 тысяч семей военнослужащих, возвращающихся в СССР из Восточной Европы. Военное руководство ответственность за их устройство перекладывает на местные Советы, которые пока не имеют реальных возможностей эти проблемы решить. Срочно нужна государственная программа по обустройству увольняемых в запас, а ее нет. Программа эта должна, на мой взгляд, финансироваться прежде всего за счет перераспределения средств, выделяемых на закупку военной техники. Условие тут одно — весь военный бюджет должен находиться в руках Министерства обороны и, естественно, под контролем государства.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 1, с. 272.

Нарастает противоречие между общенациональной значимостью армии и падением ее престижа. Одна из причин этого кроется в неблагополучном состоянии материального и социально-бытового обеспечения военнослужащих и членов их семей. Нарастает социальная апатия офицерского состава, появляется стремление порвать со своей профессией, снижается интерес к воинской службе. Если, по данным социологов, в 1975 году 77,6 процента сержантов срочной службы и запаса заявляли, что служат (служили) в Вооруженных Силах с интересом, понимая важность и необходимость выполнения воинского долга, то исследования, проведенные в 1986 и 1990 годах среди солдат (сержантов), выпускников школ и ПТУ, показали, что уровень интереса к воинской службе катастрофически снижается: 1986 г.— 63 и 44 процента, 1990 г.— 11,6 и 23 процента, 66,8 процента солдат и сержантов и 41,2 процента выпускников школ заявили, что интереса к службе не испытывают, хотя понимают ее необходимость.

Падает профессионализм личного состава, поскольку в армию призывают всех без разбора. Так, в 1989 году среди призывников было 45 процентов людей с подорванной психикой, 37 процентов плохо владели русским языком, 15 процентов призывников были ранее судимы. Большой вред приносит занятость армии на хозяйственных работах, отсутствие достаточных средств для боевой подготовки. По сравнению с армией США советскому летчику выделяют в 3 раза меньше средств, танкисту — в 10. Снижает профессионализм постоянное отвлечение офицеров и прапорщиков для обучения новобранцев «азам» военного дела из-за сменяемости последних. Подмена ими в повседневной деятельности младших командиров существенно снижает профессиональный рост офицерских кадров. Так, в 1989 году в ходе инспекционных поездок и по итогам боевой учебы 40 процентов офицеров оценены на «удовлетворительно». И даже при таком положении дел на содержание армии по-прежнему выделяется 26 процентов военного бюджета, в то время как на закупки вооружений и техники — 44 (в США это соотношение обратное). Все это — следствие не столько беззубости и послушности военного руководства, сколько итог того, что по сей день сохраняются прежние подходы в военном строительстве со стороны политического руководства. Потому-то в Обращении группы офицеров — народных депутатов СССР, которое было распространено на третьем внеочередном Съезде народных депутатов СССР, говорилось: «Среди личного состава армии все чаще открыто высказывается недоверие Правительству, Съезду народных депутатов СССР, главе государства именно из-за отсутствия конкретной программы мер, способной обеспечить стабильность Вооруженных Сил». Выход из сложившейся ситуации нам, авторам Обращения, видится не в косметическом ремонте существующей системы формирования и реализации военной политики, не в решении отдельно взятых вопросов, а в коренной реорганизации армии, в подготовке и проведении военной реформы в СССР.

Какие условия созрели для этого? Наряду с обострением тех противоречий, о которых я говорил выше, к ним я бы отнес снижение военной опасности и как следствие — уровня военно-стратегического противостояния в мире, расширение и углубление процесса разоружения, активным участником которого является СССР, а также необходимость создания системы общей безопасности как в мировом сообществе и в Европе («общеевропейский дом»), так и в СССР. Речь здесь идет не только о количестве участников этого процесса, но и о различных аспектах, сторонах безопасности — экономической, экологической, демографиче-

ской, национальной, информационно-психологической, военной и так далее... Первые шаги в этом направлении сделаны. Распоряжением Председателя Верховного Совета СССР создана рабочая группа, состав которой одобрен Президентом СССР. Группа проработает вопросы, связанные с совершенствованием системы безопасности страны, подготовит концепцию общей безопасности и предложения по созданию механизма ее обеспечения.

Невозможно выработать верные цели и принципы военной реформы, не осознав необходимости передачи решения оборонных вопросов, вопросов Вооруженных Сил и государственной безопасности в совместное ведение Союза ССР и республик, входящих в него. После принятия Конституции 1977 года решение этих вопросов стало исключительным правом Центра.

Работая над военной реформой, необходимо опираться на приоритет ненасильственных средств как во внешней, так и во внутренней политике государства. Распространяться это должно как на общество в целом, так и на Вооруженные Силы. Например, один из ведущих специалистов в этой области, Дж. Шарль, который является руководителем Института А. Эйнштейна, утверждает, что таких средств мировая практика насчитывает около 200, однако у нас в стране нет по сей день серьезного анализа их эффективности и системы использования. Скажу, что именно за это международная общественность подвергает СССР критике.

Проанализировав объективные условия и закономерности, определяющие состояние и перспективы развития обороны, можно сформулировать основные принципы военной реформы.

1. Гарантированное обеспечение безопасности страны на основе преимущественно качественных факторов.

2. Оптимизация структур, действующих в области формирования военной политики, принятия решений и контроля за их реализацией, гарантированного обеспечения в этой сфере единства прав и обязанностей всех ее субъектов.

3. Обеспечение подконтрольности военного ведомства как высшим государственным органам, так и обществу в целом при полной гласности и предельно возможной открытости.

4. Соответствие организации Вооруженных Сил, приоритетных направлений развития техники и вооружений, финансирования военного строительства уровню реальной военной опасности и оборонной достаточности.

5. Поэтапная профессионализация армии, усиление личной заинтересованности каждого гражданина в качественном решении задач обороны страны.

6. Демократизация внутриармейских отношений и приведение всей военной организации общества в соответствие с принципами правового государства и нормами международного права.

7. Учет национально-исторических традиций и прогрессивного отечественного и мирового опыта современного военного строительства.

Оптимизации военной политики можно достичь, разделив условно уровни руководства и управления на политический, административный и собственно военный. Подразумевается создание системы взаимодействия между ними при определении зоны ответственности каждого уровня; что это означает на деле, я попытаюсь объяснить ниже.

В вопросах внешней политики мы выступаем миротворцами, но этому принципу противоречит наша же военно-техническая мощь. Потому что сама по себе 4-миллионная армия уже представляет определенную угрозу. Мы имеем скорее армию «ведения войны», чем ее предотвращения, хотя и рассуждаем о последнем. Я уже не говорю о том противоречии, которое возникает, когда мы отказываемся от насильственных методов во внешней политике, но зачастую действуем насильственными методами в политике внутренней. Я имею в виду и то, какими методами подчас достигается стабильность нашего общества, и то, что в армии процветает дух насилия — как над личностью («дедовщина»), над коллективами, так и в целом над армией. Этот парадокс должен быть переосмыслен, чтобы подобные противоречия свести к минимуму. На мой взгляд, в этом состоит одна из задач теоретических изысканий на этом уровне.

Нуждается в переосмыслении и военная доктрина. Нужно учесть все те процессы, которые происходят в Европе, учесть и то, что советские контингенты возвращаются в СССР. На мой взгляд, требуется сделать главный вывод о необходимости защиты Отчизны только на территории своего государства. Это положение, бесспорно, должно найти отражение в политической части доктрины, коль скоро мы занялись строительством общеевропейского дома. Переосмысливая вопросы безопасности, уверен, придем и к переосмыслению роли и места союзных, республиканских и местных органов власти в решении вопросов военного строительства. В этом нет ничего нового, ведь наш Союз ССР и задумывался как союз равноправных республик во всех отношениях, в том числе и в военной области. Для этого были исторические предпосылки. К примеру, еще со времен образования Русского централизованного государства в составе вооруженных сил России существовали различного рода национальные военные формирования. Были они и после революции, что положительно сказалось на решении национального вопроса, поскольку таким образом мы фактически ликвидировали неравенство народов СССР в военной области.

В конце 1924 года Реввоенсовет страны принял 5-летний план национального военного строительства Рабоче-Крестьянской Красной Армии, одобренный III съездом Советов СССР полгода спустя. Национальные формирования к тому времени составляли 10 процентов общей численности Красной Армии. Эти формирования правильнее было бы назвать национально-территориальными, поскольку, по данным Института военной истории, 70 процентов их личного состава представляли коренные национальности. К 1935 году 74 процента всех существовавших дивизий были территориальными.

1 февраля 1944 года на сессии Верховного Совета СССР приняли закон, которым на конституционном уровне подтверждено было решение Государственного Комитета Обороны о создании национальных частей и соединений. В соответствии с этим все союзные республики получили право формировать войсковые подразделения, в ряде республик были учреждены органы управления ими. До принятия Конституции 1977 года такой порядок у нас сохранялся. Считаю, этот опыт нужно учесть в сегодняшней сложной национально-демографической ситуации. Растет дезертирство и уклонение от воинской службы — число подобных случаев превысило шесть тысяч. Тем более необходимо в срочном порядке решить коренные вопросы, связанные с предоставлением равных прав для всех республик и в военной области.

Что это предполагает? Во-первых, каждая республика, обеспечивая свою безопасность на договорной основе, должна иметь право делегировать необходимые полномочия Центру. При этом надо учитывать особенности развития каждой республики. Во-вторых, каждая республика обязана, выполняя условия договора, гарантировать безопасность страны в целом, обеспечивая со своей стороны выполнение минимума затрат. Национально-территориальные формирования сухопутных войск и профессионального резерва на территории каждой республики должны быть подчинены центральному и местному руководству, а в оперативно-стратегическом плане — только Центру. В экстремальных ситуациях эти формирования решением местного руководства могут быть использованы для ликвидации последствий стихийных бедствий и прекращения беспорядков на местах. Но, конечно же, все это должно быть оговорено законом.

По данным Центра исследований социальных и психологических проблем при Главном политуправлении Советской Армии и Военно-Морского Флота, в таких формированиях (опрос проведен среди личного состава срочной службы) хотели бы служить 70 процентов представителей Прибалтики, до 57 процентов — Закавказья, более 50 процентов — Молдавии, до 43 процентов — Средней Азии. Если говорить в целом об армии, то такую точку зрения в начале 1990 года разделяли (в процентном соотношении) среди офицеров — 24, прапорщиков — 21, сержантов — 36 и солдат — 47,5.

Насколько важен этот вопрос, говорит тот факт, что изо дня в день нарастает поток требований от гражданского населения РСФСР, УССР, БССР, а также Прибалтики не использовать военнослужащих этих республик для наведения порядка в других регионах страны, как это было в Тбилиси и в Баку...

В разработке военной политики наряду с органами государственной (законодательной и исполнительной) власти должны принимать участие и партии, и общественные организации, и все общество. Политические партии, включая КПСС, которые претендуют на авангардную роль, должны завоевать это право, но не путем устранения всех других партий, как это было в 20-х годах, а через серьезные научные исследования, дискуссии с общественностью, через поиск наиболее оптимальных решений в этой области, что подразумевает обобщение всего того ценного, что выработано на сегодняшний день. Нельзя больше повторять прошлые ошибки, когда небольшая группа лиц практически правила страной от имени партии. Необходимо создать условия для формирования коллективного интеллекта. Тот вакуум в общественной структуре, который до недавнего времени заполняла исключительно КПСС, сегодня заполняют быстрорастущие общественные организации новой формации, стремительно развивающиеся до уровня партии. Этого бояться не следует, коллективный интеллект должен иметь реальную возможность участвовать в выработке военной политики, и этот процесс необходимо поставить на правовую основу (через законы о партии и печати), департизировав государственные структуры, обеспечивающие безопасность страны и стабильность общества.

Конечно, КПСС и сегодня — мощная организованная структура, имеющая штат, аппарат, традиции, пускай не во всем самые лучшие. Это во многом полезно, но во многом и вредно, ведь, скажем, вся основная информация, касающаяся военной политики, по сей день стекается в ЦК КПСС и там оседает. Монополия на информацию превращается таким образом в монополию узкого круга лиц из аппарата и руководства ЦК КПСС, что приводило и приводит к серьезным ошибкам, ведь именно на основе «разрешенной» для использования информации строят свою работу и государственные органы, и общественные организации, и большинство членов самой партии.

Назрела острейшая необходимость в создании независимого информационного центра при Верховном Совете СССР (назову условно — Центр оценок и стратегических прогнозов), куда стекалась бы и где анализировалась вся информация, имеющая отношение к обеспечению безопасности СССР. На основе этой информации и будут вырабатываться рекомендации Президентского Совета, будут определяться приоритеты и формироваться военно-политические решения, принятие которых станет исключительным правом только высших органов государственной власти — Съезда народных депутатов СССР, Президента СССР, Верховного Совета СССР.

Законодательная власть должна иметь исключительное право утверждать правовые основы организации обороны и Вооруженных Сил, концепции военной политики и доктрины. Она должна принимать законы, регулирующие военное строительство, определять размеры Вооруженных Сил и резерва, сроков службы и подготовки личного состава, определять количественный и качественный состав военной техники и вооружений, объем постатейного финансирования военного строительства (в США военный бюджет утверждается по более чем ста статьям, у нас по пяти). Законодательная власть должна иметь полномочия избирать и назначать на должность военного министра гражданских лиц при их полной подотчетности. В рамках подготовки и проведения военной реформы депутаты должны иметь право организовывать совместные исследования и слушания по военно-политическим и военно-экономическим проблемам.

Единого мнения о реформе сегодня пока нет. Согласившись по форме с понятием «военная реформа», руководство Министерства обороны, Генштаба делает попытки ничего не менять по сути, разрабатывая свой проект концепции развития Вооруженных Сил СССР до 2000 года. Военная же реформа, на наш взгляд, предполагает совокупность законодательных актов и государственных мер, направленных на приведение в соответствие с уровнем реальной военной опасности и оборонной достаточности экономики и военной политики государства, строительства Вооруженных Сил и системы руководства обороны, исходя из возможностей страны и происходящих в обществе радикальных изменений.

Главной идеей проекта концепции, который подготовлен Комиссией подкомитета по Вооруженным Силам Комитета Верховного Совета СССР по вопросам обороны и госбезопасности, является поэтапный переход к профессиональным Вооруженным Силам. Меньшим по численности, но более высокого качества. Такая армия должна быть добровольной по способу комплектования, смешанной по принципу строительства, интернациональной по составу. По данным социологических исследований 1990 года, 87 процентов офицеров высказались «за» профессиональную армию. В ней изъявили желание служить более половины личного состава срочной службы, в том числе 25 процентов — солдатами, 26,5 процента — сержантами и около 15 процентов — прапорщиками и сверхсрочнослужащими. Среди выпускников школ, ПТУ, техникумов также более половины опрошенных готовы служить в профессиональной армии.

Политическое руководство такой армией возможно лишь на правовой основе. Я не случайно касаюсь этого, поскольку вопрос о политических партиях в Вооруженных Силах, о том, как в условиях многопартийности будет строиться политработа, стоит очень остро. Мне кажется, что военнослужащие, как и другие государственные служащие, должны реализовывать свои политические свободы во внеслужебное время. Политорганы при обязательном сокращении их общей численности должны быть реорганизованы вместе с военно-правовыми органами в «службы человека», которые занимались бы военно-юридическим, судебно-правовым, социально-психологическим, культурно-бытовым обеспечением военнослужащих и членов их семей.

Назрела необходимость коренным образом обновить состав Комитета по вопросам обороны и госбезопасности (до 90 процентов членов которого так или иначе связаны с военно-промышленным комплексом). Необходимо определить его статус и структуру. Если обратиться к опыту Конгресса США, там в подобных подкомитетах и комитетах на постоянной основе заняты около 100 человек. У нас же из 43 представителей Комитета работают постоянно 5—6 депутатов, да и те в основном заняты пересылкой писем.

Крайне плохую работу Комитета (а это одна из причин нарастания напряженности и кризиса в армии) я объясняю тем, что его бывший Председатель совмещал при этом должности Главного конструктора и Генерального директора НПО, и работа на предприятии отнимала у него большую часть времени. Чего стоил год такого «руководства» для армии!

Какими должны быть функции Министерства обороны? Совместно с органами исполнительной власти, а также и общественностью оно должно участвовать в разработке военной политики, подготовке предложений и рекомендаций для их рассмотрения в законодательных органах. Это прежде всего оценка военно-политической обстановки и определение степени угрозы. Это подготовка военно-технического обоснования реализации политических решений. Это планирование производства и закупок вооружений и техники, расходов на личный состав, его боевую подготовку, техническое, тыловое, пенсионное обеспечение в объемах, установленных статьями военного бюджета.

Чтобы такая деятельность была продуктивной, необходимо разделить функции Министерства обороны и Генерального штаба. Первое должно быть трансформировано в орган административного управления во главе с гражданским лицом. Необходимо воссоздать институт уполномоченных военного ведомства при правительствах союзных республик и обеспечить их представительство в Министерстве обороны, сосредоточив, как я уже говорил, военный бюджет в руках Министерства обороны. Назрела необходимость и коренной реорганизации министерств военно-промышленного комплекса, для чего надо устранить из их структур промежуточные и дублирующие друг друга элементы. Надо радикально перестроить систему военно-научных исследований министерства, снизив в его штатах количество высокооплачиваемых генеральских и офицерских должностей и увеличив число настоящих специалистов, в которых остро нуждается и административное управление, и тыловое обеспечение, и военная наука. Не исключено, что на этих должностях будут гражданские лица. За последние 2—3 года состав коллегии Министерства обороны обновился на 75 процентов, состав главкомов, командующих округов и флотов — на 90 процентов, однако положение в армии

к лучшему не изменилось. Объяснить это лишь ухудшением обстановки в стране в целом, тем, что «армия — сколок общества», нельзя, поскольку тут явная подмена главных и второстепенных проблем. Следует менять не людей, а структуры и их функции. По «генералонасыщенности» мы на первых местах в мире: 1 генерал на 700 военнослужащих (в США — на 3400, в ФРГ — на 2400). Если учесть, что генералам нужны дачи, личные самолеты, машины и другие бесплатные блага — за счет народа! — то по затратам на их содержание наверняка выйдем на передовые позиции. В этом, на мой взгляд, кроется один из резервов финансирования по крайней мере первого этапа перехода к профессиональной армии. Во всяком случае, это позволит поднять оплату сержантского состава, то есть той части военнослужащих, которые дадут больше пользы для боеготовности армии, нежели тысячи «свадебных» генералов...

И, наконец, каким быть Генеральному штабу? Это должен быть самостоятельный орган, который совместно с другими органами боевого управления осуществит реализацию военно-политических и военно-технических решений через стратегическое, оперативное планирование и через непосредственную организацию учебно-боевой и боевой деятельности Вооруженных Сил СССР.

Однако эта деятельность только тогда станет плодотворной, когда будут ликвидированы Главкоматы направлений, когда произойдет реорганизация всех видов Вооруженных Сил и военных округов по принципу гарантированного выполнения поставленных задач. Структуры Генштаба и органов управления боевой деятельностью войск должны качественно обновиться на конкурсной основе. Необходимо усилить роль систем связи, разведки и управления, отделить от боевых частей тыловые формирования и хозяйственные подразделения, которые подчинены Министерству обороны. Только тогда наша армия составит достойную конкуренцию лучшим зарубежным армиям, когда ее хозяйственная деятельность, сегодня ведущаяся в ущерб боеготовности, будет сведена к минимуму.

Нельзя сказать, что для этого не делается ничего. За последние годы ликвидирована 101 фактически несуществующая дивизия-«кормушка», однако генеральский «дождь» шел не только за счет увеличения количеств соединений, но и за счет того, что количество военнослужащих, например в дивизии, было снижено. Так, по иностранным данным, в 1965 году Советские Вооруженные Силы имели 140 дивизий по 25,5 тысячи человек в каждой. В 1985 году (численность армии увеличилась на полмиллиона человек) у нас было уже 197 дивизий, и на каждую в среднем приходилось 21,5 тысячи человек. Это пример того, как в угоду личным интересам приносилась боеспособность армии...

Что объединяет все уровни системы руководства и управления армией и кто организует их взаимодействие?

В соответствии с Конституцией СССР таким координатором должен быть Президент СССР, который стоит во главе армии, являясь Верховным главнокомандующим. Его действия по использованию Вооруженных Сил закрепляются законом. Эффективность и гибкость этой системы должна быть обеспечена программно-целевым методом разработки важнейших проблем военной политики и военного строительства. Надо сказать, что в нашей стране такой программно-целевой метод мы безуспешно пытались внедрить два десятилетия назад. В США же он был использован с наивысшей эффективностью. Строительство Вооруженных Сил шло там не столько по видам войск, сколько по задачам, которые они выполняют. Организационно-процедурный механизм, созданный там, включил в себя семь систем. Вершина его — Совет национальной безопасности. Далее — объединенная система стратегического планирования, куда входит Министерство обороны и Комитет начальников штабов. Потом идут система планирования, программирования, разработки бюджета; система разработки, приобретения вооружений и техники; глобальная система оперативного управления вооруженными силами; национальная система оперативного управления. Внизу этой пирамиды — объединенное оперативное планирование на театре военных действий. Эти системы, объединенные по программам и по целям, позволяют прорабатывать ту или иную проблему свер у вниз в течение короткого времени.

Если сегодня у нас Вооруженные Силы строятся по видам (мы имеем 5 видов Вооруженных Сил, причем ракетные войска стратегического назначения как отдельный вид существуют, кроме СССР, только в Китае, а ПВО — нет ни в одной другой армии мира), то при использовании подобного метода мы могли бы строить армию, учитывая конкретные программы и задачи. К примеру, нам необходимо иметь подразделения, которые могли бы оперативно проводить в жизнь принятые Президентом СССР решения. Подобные «силы быстрого реагирования» нуждаются в разработке механизма их использования. Но, чтобы такая программа не давала сбоя, в систему управления необходимо заложить всю полноценную информацию,— куда, чего, сколько, как и за какой срок будет направлено. Сегодня же у нас в силу бестолковости планирования трудно ожидать какого-либо эффекта. Если даже в условиях мирного времени эшелоны и поезда идут с грузами не туда, куда их направляют, то, думаю, несложно сделать прогноз о том, что ожидает нас в условиях военного времени. По всей видимости, создание новой системы может обеспечить взаимосвязи, а соответственно и высокую эффективность использования всех элементов и уровней управления.

Перемены в армии и в ее положении в обществе остро назрели. Отсутствие четких ориентиров армейской перестройки усиливает напряженность, а дальнейшее неприятие сколь-либо заметных мер к улучшению дела наряду с нерешенностью первоочередных проблем может еще сильнее углубить кризис не только армии, но и всего нашего общества.

Военная реформа необходима, но она неосуществима без создания «института реформаторов», реорганизации всей системы формирования и реализации военной политики.

Мемуары. Архивы. Свидетельства

В. Козлов, Е. Плимак

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕТСКОГО ТЕРМИДОРА

(К ПУБЛИКАЦИИ ДНЕВНИКОВ И ПИСЕМ ЛЬВА ТРОЦКОГО)

Когда редакция журнала «Знамя» попросила нас дать небольшой комментарий к публикуемым ниже мемуарам, мы согласились, хотя понимали, как это непросто. И дело здесь не только в том, что советская историческая наука «перестроечных» времен не обладает однозначным знанием о Троцком. Дело куда хуже: ее теоретический уровень пока вообще не позволяет подойти к ряду проблем Октября (или шире — проблем «социологии революций»), к которым прямо выводят дневники и письма Троцкого.

Наша историческая наука предлагает читателю наборы не просто разных, но полярных суждений о Троцком. Скажем, профессор АОН при ЦК КПСС В. Иванов доказывал в статье «Перекрашивают Иудушку»: Троцкий был чужаком в большевистской партии; партия, идейно сокрушив уже после смерти Владимира Ильича троцкизм, «довершила дело, начатое В. И. Лениным» («Советская Россия», 27 сентября 1987 года). А вот ленинградский историк В. Биллик в статье «Троцкий. На пути к правде о нем» утверждает нечто прямо противоположное: «...Все, вместе взятые, разногласия между Троцким и Лениным после 1917 года «весят» микроскопически мало по сравнению с тем, что объединяло в то время этих двух людей». Приводит В. Биллик и такой факт: «В первом издании очерка «Владимир Ильич Ленин» (1924) Горький вспоминал, что Ленин говорил: «Врут много и, кажется, особенно много обо мне и Троцком». Ударив рукой по столу, он сказал: «А вот указали бы другого человека, который способен в год организовать почти образцовую армию, да еще завоевать уважение военных специалистов...» («Собеседник» № 33 за 1989 год).

Раз уж речь коснулась Троцкого — организатора Красной Армии, посмотрим, сколь далеки в своих суждениях на эту тему были два наших партийных журнала в одном и том же 1989 году. Ю. Кораблев в своей статье «Почему Троцкий?» сообщил читателям журнала «Политическое самообразование» (№ 2), что, изучив недоступные ему прежде документы, он отказался от обычной манеры изображать деятельность Троцкого в гражданскую войну как «перечисление его имевших и не имевших место прегрешений». Ю. Кораблев отметил, что Ленин назначил Троцкого, несмотря на некоторые разногласия между ними, на ключевые в грозное военное время посты. Годы гражданской войны стали для Троцкого звездным часом: он подготовил важнейшие постановления и декреты Советской власти о Красной Армии, текст военной присяги и тезисы ЦК РКП(б) по военному вопросу к VIII съезду партии. «По поручению Ленина, ЦК партии, а часто и по собственной инициативе» находился в боях «на самых решающих фронтах». «Поезд Председателя Реввоенсовета за годы гражданской войны проделал 140 тысяч верст, не раз попадая в опасные переделки на фронтах. За боевые заслуги в боях с Юденичем поезд был награжден орденом Красного Знамени». А вот прямо-таки убийственные оценки, данные доктором исторических наук Л. Минаевым («Вопросы истории КПСС» № 12 за 1989 год): «А что доказали нам «поезд Троцкого» и комментарий наркомвоенмора к тем расстрелам, которые учиняли его «люди во всем кожаном» на каждой остановке этого проклятого поезда. «До тех пор, пока гордые своей техникой, злые, бесхвостые

обезьяны, именуемые людьми (выделено Л. Минаевым.— **Авт.**), будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат между возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади»,— писал он. Но только ли таких «бесхвостых обезьян», только ли дезертиров и трусов расстреливали по приказу Троцкого? Разве не было там расстрелов «в назидание» остальным? И разве не погибали от рук «людей во всем кожаном» ни в чем не повинные красноармейцы и командиры?»

Теперь возьмем такой кардинальный вопрос нашей истории, как коллективизация, по которому на страницах «Правды» 15 апреля 1988 года выступил со статьей «Возродить в крестьянстве крестьянское...» Василий Белов. В ней он писал, что «исторические факты вопиют», изобличают Троцкого, как врага государства, крестьянства, и что, более того, сама наша коллективизация лишь по недоразумению продолжает именоваться сталинской. Замыслы Троцкого, оказывается, Сталин и реализовывал после 1928 года в форме непосильных налогов, займов, разгона кооператоров, изъятия у них средств, расстрелов, судов, выселений. Иными словами, для того, чтобы «закопать» Сталина, пришлось одеть его в «троцкистский» саван! Но в конце концов историк-аграрник В. Данилов, а также дополнивший его статью А. Панцов представили в журнале «ЭКО» (№ 1 за 1990 год) на суд читателей сами «вопиющие факты». Документы доказали принципиальное совпадение взглядов Ленина и Троцкого на нэп; Троцкий уже в начале 20-го года подошел к постановке проблемы, а после смерти Ленина предлагал развивать хозяйство крестьян, «учитывая их интересы, а также взаимодействие законов стоимости и социалистического накопления... в контексте мирового хозяйства». В. Данилов указал, где искать корень удивительной живучести «антитроцкистского синдрома»: «Незнание открывает простор для разного рода химер».

Порой такие химеры культивируют самые знающие «троцковеды». Н. Васецкий в брошюре «О Троцком и троцкизме» (1989 год) опирается на ленинскую оценку Троцкого, находившегося в США накануне февральских событий 1917 года в России: «Так-то!! Вот так Троцкий!! Всегда равен себе = виляет, жульничает, позирует как левый, помогает правым, пока можно...»[1]. В то же время В. Старцев, автор другой брошюры — «Л. Д. Троцкий (Страницы политической биографии)» (1989 год) — полагает, что эта оценка не столь уж объективна: «В статье «Перманентная революция и линия Ленина» (октябрь 1928 г.) Троцкий заявлял, что письма Ленина с замечаниями в его (Троцкого) адрес «основаны на неверной информации, полученной от Коллонтай». Просмотрев комплекты «Нового мира» за январь — февраль 1917 г., автор настоящей брошюры пришел к такому же выводу». Но ведь проверка этого вывода (да и других) поможет уточнить важнейшие наши идеологические документы... На самом высоком уровне, в юбилейном докладе 1987 года «Октябрь и перестройка: революция продолжается», приводилась ленинская оценка Троцкого как «чрезмерно самоуверенного, всегда виляющего и жульничающего политика».

Никак не разберутся наши специалисты в самых фундаментальных определениях «троцковедения» («троцкоедения»?). Одни (В. Иванов, Л. Минаев) без зазрения совести оперируют словечком «Иудушка». Другие (В. Старцев, В. Данилов, А. Панцов, мы, грешные) как-то совестятся это делать, ведь набросок свой 1911 года «О краске стыда у Иудушки Троцкого»[2] Ленин, что ведомо любому специалисту, вообще не стал публиковать. Раскопал его и опубликовал в «Правде» 21 января 1932 года Иосиф Виссарионович. В памятный ленинский день не стоило бы выходить с такой публикацией, но Сталин спешил изготовить зловещее клеймо, которым будут вскоре помечены сотни и сотни тысяч большевиков-ленинцев. С той поры и гуляет «Иудушка» по страницам нашей прессы, учебных пособий, поминается в иных речах и лекциях. Раздаются порой на писательских пленумах и такие негодующие возгласы: почему до сих пор наряду со Сталиным «не разоблачен и не осужден всенародно другой кровавый человек — Троцкий... Это огромная ошибка партии, которая каждодневно приносит стране моральный урон».

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 49, стр. 390.
[2] Там же, том 20, стр. 96.

Поскольку «троцковедение» пока не перестало у нас быть «троцкоедением», крайне важна начавшаяся наконец-то публикация работ Троцкого: в «Огоньке» — воспоминания о Ленине, в «Родине» — статья «Национальное в Ленине», в «Вопросах истории» — «Сталинская школа фальсификаций», в «Молодом коммунисте» — «Новый курс». Политиздат готовит к печати произведения Троцкого о русской революции. Но и здесь мы отстаем от Запада. Вот каталог выходящего в ФРГ с 1988 года собрания сочинений Троцкого — оно составит (издатели пока точно не знают) 80 или 100 томов! Десятки работ Троцкого опубликованы в США, других странах. Иными словами, скажем, в ФРГ или США читатели куда полнее информированы об одном из основателей и защитников Советского государства, чем читатели в самом этом государстве.

Дневники и письма Л. Троцкого приходят в СССР всего через несколько лет после их появления на Западе (1986 год). Они рассказывают о его жизни сначала в алма-атинской ссылке, затем в изгнании (Турция, Франция, Норвегия, наконец, Мексика). Материал крайне разбросан географически и тематически. Описания личной жизни перемежаются посланиями друзьям, в Политбюро (не сдавая позиций, Троцкий пытался наладить какие-то контакты с руководством ВКП(б)). Интересны воспоминания Троцкого о Ленине, Октябре, гражданской войне, эпизодах внутрипартийной борьбы 20-х годов. Пытается он оценивать и международную жизнь 30-х годов. Он явно преувеличивает роль созданного им IV Интернационала, весьма злобен в характеристиках деятелей Коминтерна, хотя верно подмечает их раболепие перед Москвой. Явно умаляет как социал-демократический, так и буржуазный реформизм. Следит он за новинками советской литературы, высказывает мнения о музыке. Сказывается некоторая претенциозность Троцкого — он «держит руку на пульсе мирового исторического процесса», его уникальная миссия — «вооружить революционным методом новое поколение» и т. п. После убийства Кирова он пытается добиться международного расследования сталинских судебных процессов, поглощен судьбой уничтожаемых Сталиным своих детей, родственников, близких. Чувствуя резкое ухудшение здоровья и нарастающую угрозу дальнейших покушений, пишет завещание. Не перестает работать над книгой «Сталин» и погибает от удара по голове, нанесенного Рамоном Меркадером — агентом главного персонажа книги...

О каждом из этих сюжетов можно было бы рассказать подробнее, дополнив мемуары Троцкого сведениями его зарубежных биографов И. Дойчера, П. Бруэ, других (кстати, использование их работ часто без ссылок на них становится у нас дурной модой). Но вообще-то главная проблема современного советского «троцковедения» состоит не в повторении и уточнении фактов, давно уточненных в зарубежной литературе (тем более что лучшие из зарубежных работ становятся достоянием нашего читателя). Главная проблема (и печальный факт) в том, что мало кто всерьез занимается концепциями троцкизма в сопоставлении их с реальностью. Наше «троцковедение» событийно, цитатно и усердно трудится в каком-то мелочно-идеологическом ключе, так и не покидая завалов «сталинской школы фальсификаций», как ее назвал еще Троцкий. Молчит оно и по поводу главного теоретического вывода, который сделал на Западе знаток нашей внутрипартийной борьбы 20—50-х годов и деятельности органов ВЧК — ОГПУ — НКВД А. А. Авторханов в своем предисловии к книге «Лев Троцкий. Дневники и письма» (1986 год): «Троцкий — самая трагическая фигура в истории русской революции. Трагедия его не только в том, что он был свидетелем гибели идеалов революции, которую он возглавлял; свидетелем гибели друзей и единомышленников, вместе с которыми он завоевал власть; свидетелем гибели собственных детей от рук чекистов; но и в том еще, что Троцкий до самых последних дней своей жизни так и не понял (выделено нами.— **Авт.**), что он, его дети и его единомышленники стали жертвами не «бюрократии», не «кремлевской камарильи» и даже не мстительного Сталина, как Троцкий думал, а жертвами той самой террористической диктатуры, которую Троцкий и Ленин создали в октябре 1917 г.».

Даже поверхностное знание работ Троцкого, написанных за рубежом, говорит о том, что Троцкий пытался понять сущность феномена «сталинщины» (термин, введенный им в оборот с 1932 года). Он не только писал о полном разрыве Сталина с ленинизмом, но и пришел к выводу: «Устранение Сталина лично означало бы сегодня не что иное, как замену его одним из кагановичей, которого советская печать в кратчайший срок превратила бы в гениальнейшего из гениальных». В 1936 году в книге «Преданная революция» Троцкий заявил: СССР «нужна вторая революция», не простая замена «одной команды руководителей другой», а «изменение самих принципов управления экономикой и культурой».

Эти высказывания привел в нашей печати Н. Васецкий, не ответив на законно возникающий вопрос: а постиг ли Троцкий сущность сталинщины и пути избавления от нее?

Попробуем в этой связи пристальнее взглянуть на построения Авторханова. В 1990 году он развил свои выводы 1986 года в исследовании «Ленин в судьбах России» (опубликовано на русском языке в ФРГ). В нем утверждается: в отличие от Февральской 1917 года революции и прочих «великих демократических революций против абсолютизма в Европе» Октябрьский переворот в России был искусственным, заговорщическим, антидемократическим, террористическим и, как таковой, «создал условия для последовавшей затем тоталитарной революции и в структуре власти и общества».

Описывая реальные события Октября и жизни Советской России, Авторханов вообще не показал ни характер Октября, ни его реальную связь с событиями конца 20-х — 30-х годов. Он благополучно ушел от анализа созданного февралем 1917 года двоевластия в России, списав по рубрике «демагогия» отражавшие интересы народа, мирные поначалу большевистские лозунги и избавив себя от рассмотрения антинародной политики Временного правительства. Некорректно описана и позиция большевиков в кризисы июня, июля 1917 года (об апрельском кризисе он молчит, как и о блоке против кадетов, предложенном Лениным меньшевикам и эсерам в начале сентября 1917 года).

По сути, не проанализировал Авторханов политику Советской власти в первые шесть — восемь месяцев ее существования, накануне вползания — против воли и желания большевиков! — в террор и гражданскую войну. А ведь Ленин пытался тогда найти «комбинированные типы» в экономике страны — через оживление капиталистической промышленности, через концессии. Тогдашняя двухпартийная система была, по Авторханову, вообще обманной — Ленина-де обуревало желание «спровоцировать» и «убрать» (!) союзников большевиков, левых эсеров; ВЧК же вообще создавалась для последующих расправ, ибо в конце 1917 года в Советской России не было, оказывается, ни контрреволюции, ни саботажа, о борьбе же с неистребимой спекуляцией нечего было и думать.

Одолев почти полтысячи страниц труда Авторханова, мы обнаружили всего лишь одну (!) туманнейшую фразу о механизме всех упоминаемых им ранее «демократических» революций: «Любая известная нам революция новой эпохи развертывалась и набиралась собственной динамики под лозунгами свободы против тирании, начиная от английской революции XVII века, Французской революции XVIII века и кончая революциями XIX века в ряде европейских стран». Кто станет спорить — в «любых» революциях нового времени провозглашались лозунги свободы. Но вот куда и почему скрылись от проницательного взора историка тиранические диктатуры в той же Англии середины XVII века, той же Франции конца XVIII — начала XIX века, затем Франции 1851—1870 годов? Они с какой-то пугающей закономерностью возникали в «любых» европейских революциях уже после того, как политиками в парламентах были произнесены бесчисленные свободолюбивые речи, вооруженными толпами или революционными армиями пропеты многочисленные песни вроде «Марсельезы», «Карманьолы» или «Ça ira» («Дело пойдет»), призывавшие вешать на фонарях аристократов. После того, как народы вроде бы искомую свободу обретали, уцелевшие аристократы разбегались по заграницам, а объявившие себя высшими носителями власти и свободы парламенты успевали отправить на эшафот королей-тиранов, таких, как Карл I или Людовик XVI с Марией Антуанеттой... Не будем ссылаться на сотни, конечно же, прочитанных Авторхановым в зарубежье пособий по истории «любых» европейских революций XVII—XIX веков или социологии и анатомии революций. Воспроизведем всего-навсего скромный отечественный рассказ, со-

державшийся в книге «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников» (1959 год).

Еще в 1871 году томившийся в сибирском заточении мыслитель-революционер передал на волю своим соратникам через В. Н. Шаганова следующее (увы! никем не услышанное) предупреждение насчет того, что с революциями, вопреки бодро звучавшей в его же романе «Что делать?» французской песенке, «дело пойдет» и не легко, и не просто, и не весело. Европейские демократические партии XVIII—XIX веков со времени Руссо привыкли идеализировать народ, что вело их от беспочвенных надежд к еще горшему разочарованию. Даже устанавливая в счастливых случаях свое «самодержавие», народ передавал его затем «первому пройдохе», будь то Наполеон I или Наполеон III (последний держался не только на штыках, но и на плебисцитах). При этом правящая партия, на стороне которой оказывалась военная сила, представив себя посредством ловкой передержки защитницей нужд народа, могла монополизировать в свою пользу верховные права народа, распоряжаясь им как мертвым, поступая с «имуществом народа по своему благоусмотрению». «По пути душится и слово и совесть,— передавал Шаганов мысли Чернышевского,— ибо из этих вещей выходят разные пакости для власти...» Спросим Авторханова: не похожа ли чем-то сталинщина на европейские образцы, описанные российским мыслителем-революционером (мы говорим «чем-то», ибо аналогичные европейским феномены появились в России XX века в иной исторической среде и дали новый результат)?

Не менее примечательно другое. В критической ситуации весны 1921 года, когда Советской власти, систематически применявшей в период «военного коммунизма» (1918—1920) в общем-то якобинские методы борьбы, стала угрожать крестьянская контрреволюция, Ленин начнет выявлять какие-то схожие процессы между революциями 1789—1794 годов во Франции и 1917—1921 годов в России. Обосновывая необходимость нэпа, Ленин запишет для себя: ««Термидор»[1]? Трезво, *может быть*, да? Будет? Увидим»[2]. Несколько позже он обратится к В. Адоратскому с просьбой: «Не могли ли бы Вы помочь мне найти... ту статью (или место из брошюры? или письмо?) Энгельса, где он говорит... что есть, по-видимому, закон, требующий от революции продвинуться *дальше, чем она может осилить*, для закрепления менее значительных преобразований?»[3]. Нэп позволил большевикам во главе с Лениным осуществить тот стратегический поворот, который не осуществили в свое время якобинцы, возглавляемые Робеспьером, Сен-Жюстом, Кутоном. Об этом повороте Ленин в 1921 году сказал французскому коммунисту Жаку Садулю: «Рабочие-якобинцы более проницательны, более тверды, чем буржуазные якобинцы, и имели мужество и мудрость сами себя термидоризировать» («Иностранная литература» № 4 за 1966 год).

Но какой-то социологической модели движения революций Ленин своим наследникам не оставил, правда, предупредил их: «История вообще, история революций в частности, всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов»[4].

Попытки дальнейшего сравнительного анализа Октябрьской революции с ее

---

[1] *Термидор* — название контрреволюционного переворота, произошедшего во Франции 9 термидора II года по новому республиканскому календарю (27 июля 1794 года). С термидора начался откат революции, возвращение ее в «нормальные» рамки беспрепятственного развития буржуазных отношений, до того сдерживаемого якобинцами. В свою очередь, термидорианцев устранил от власти брюмер — военный переворот 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 года), отдавший власть Бонапарту. Опорой дважды выраставшего в истории Франции из революций бонапартизма (империи Наполеона Бонапарта 1804—1814 и Луи Наполеона 1851—1870) были военщина, бюрократия, полиция, культ императоров; они лавировали между недобитыми монархистами и остатками республиканцев, поддерживали в экономике буржуазию, особенно крупную.

[2] В. И. *Ленин*. Полное собрание сочинений, том 43, стр. 403.

[3] *Там же*, том 53, стр. 206. Вспомнив о разработках Энгельса, Ленин запамятовал (или не знал?), что закон своеобразной цикличности революций систематически разрабатывал Н. Г. Чернышевский в своих обзорах «Политика», «Примечания к политэкономии Милля», романах «Что делать?» и «Пролог»: смена «кратких периодов усиленной работы», благородного порыва временами реакции, периодами застоя; причем «новых» и «особенных людей», вроде героев романа «Что делать»? не раз и не два сгоняют со сцены — «ошиканных, срамимых». В свете той же цикличности рассматривал он и «начинающуюся борьбу за социализм»...

[4] *Там же*, том 41, стр. 80.

французским прототипом предпринимал и Троцкий: «Термидорианские процессы, происходящие в СССР», «coup d'etat (переворот.— **Авт.**) с целью закрепления личной власти», «персональная подоплека борьбы», «техника бонапартизма», «ЦК упразднен», новый «Führer», «непорядок» сидит где-то глубоко внутри самой бюрократии» и т. п. А. А. Авторханов не обращает никакого внимания на эти дневниковые записи. Мы же займемся не только ими, но и другими работами Троцкого, чего А. А. Авторханов тем более не делает.

Не так давно Т. С. Кондратьева (Институт восточных языков и цивилизации, Париж) отметила за «круглым столом» «XX век: альтернативы развития», что масштабы аналогий между Октябрьской и Великой французской революциями гораздо значительнее, чем мы себе представляем. Фактически до Второй мировой войны «пример Французской революции то мешал понять, то загонял в глубь сознания наиважнейшие проблемы». Даже советская концепция истории в значительной степени результат борьбы с «фантомом термидора».

Между Великой Октябрьской и Великой французской революциями действительно существовали аналогии. Во всяком случае, по утверждениям Троцкого, еще до введения нэпа Ленин говорил об угрозе «русского термидора» с вождями большевизма, в том числе и с ним. Крестьянская контрреволюция и кронштадтская форма термидора весны 1921 года — за Советы без коммунистов — показали, что тревога была не беспочвенна. Кронштадтцы, как говорил впоследствии Троцкий, «под лозунгом Советов и во имя Советов спускались к буржуазному режиму». Впрочем, то же, как мы видели, записал «для себя» Ленин весной 1921 года.

Угрозу *прямого повторения* французского сценария отвел ленинский нэп. Российская революция отступила от своей «якобинской фазы», сохранив кормило власти в руках большевиков, превратив пролетарских якобинцев в невольных реформаторов. Но аналогии остаются, в партийных кулуарах обсуждается не столько ленинская «самотермидоризация», сколько куда более пугающее «перерождение».

Один из будущих руководителей сталинской «революции сверху», вернувшей страну на якобинские круги своя, И. Варейкис, послал в президиум X съезда партии, провозгласившего нэп, записку, содержащую как бы квинтэссенцию тогдашних и будущих партийных страхов:

«Тов. Ленин.

Если сверху соглашение с капитализмом (торговые договоры, концессии и т. д.) и снизу развитие товарного хозяйства крестьянства, а стало быть, возрождение и рост капитализма, то не будет ли этот процесс *неизбежного перерождения* Советской власти, как «химический процесс», вытекающий из двух данных факторов. Не будет ли это рост и соответствующих форм государственных надстроек, базирующихся на базисе «верхнего и нижнего капитализма». И наконец, не превратится ли в абстракцию диктатура пролетариата, а на деле Коммунистическая партия окажется на службе у крестьянского капитализма?»

Дело не в «химии», важно другое: считается вполне вероятной возможность того, что из потакания собственникам, оживления частнохозяйственного капитала вырастет политический термидор, что можно сползти на термидорианские позиции даже со знаменем коммунизма в руках. Но если сектантские, отколовшиеся от РКП(б) «ультралевые» группы склонны были считать термидор уже свершившимся, то большинство членов партии говорило только об угрозе «перерождения», не видя пока ни его реального механизма, ни персонального адреса.

Лишь в ходе партийной дискуссии 1923—1924 годов абстрактное безликое «перерождение» обретает персональный адрес. Троцкий утверждал позднее: «Марксистская оппозиция еще в 1923 году констатировала наступление новой главы идейного и политического сползания, которое в *перспективе* (выделено нами.— **Авт.**) могло означать термидор. Тогда-то мы и произнесли впервые это слово». Обвинение было направлено персонально против Зиновьева и Сталина.

Однако в официальные документы партийной дискуссии устрашающий термин — «термидор» — пока не попал (во всяком случае, мы его там не обнаружили).

Реальные перспективы развития страны получили во многом иллюзорно-идеологическое истолкование. Но к 1924 году был, несомненно, нащупан главный узел проблемы. Меньшевик Ф. Дан в то время считал, что Троцкий «не мог не понимать, что единственная возможность спасения — в переходе от нэпа экономического к нэпу политическому, к ликвидации диктатуры. Но он не посмел не только сказать, но и додумать этой мысли до конца». Ф. Дан не знал, что на январском (1924 года) Пленуме ЦК РКП(б) за Троцкого додумали оппоненты: они обвинили оппозицию в намерении провести в партии «не реформы, а Реформу, т. е. революцию. Но революция в партии неизбежно означает и революцию в стране».

А поворот к демократии действительно назревал.

В своем кругу партийные вожди были тогда достаточно откровенны. Крестьянин начинает ощущать вкус власти, признал на том же Пленуме Л. Каменев, среди рабочих нежелательные разговоры. Но это лишь «первая волна, которая говорит с нами коммунистическим языком. Ну, а дальше как она будет говорить?»

Выход преемники Ленина в конце концов вроде бы нашли: дать поблажки, но властью не делиться. О завете Ленина — подумать всерьез о «пересоздании» всего аппарата, произвести «ряд перемен» в политическом строе — благополучно забыли: ведь властвовали они сами. Аппарат, делая мизерные уступки крестьянам, брал на себя — от имени диктатуры пролетариата — функцию представления их интересов. Все решения принимались в закрытом от глаз общественности кругу партийного ареопага.

Отметим главное для того периода: момент возможного поворота к глубоким демократическим реформам был пропущен. Отказ от них фактически был на руку партийно-государственной бюрократии, якобы только и жившей заботами о построении социализма. А экономические уступки мелкой буржуазии без серьезной политической демократизации снова побуждали меньшевиков, а позднее и Троцкого, да и всех левых в Коммунистической партии к дальнейшим построениям термидорианских и буржуазно-бонапартистских аналогий. Уточним, кстати, что левые, как и Троцкий, не стремились к демократизации общества, ограничиваясь требованиями соблюдения и развития только демократии внутрипартийной.

«Не поступаясь принципами» диктатуры пролетариата, давно сведенной к особой роли ЦК, а скорее Политбюро (минус «заблокированный» Троцкий), как реально властвующего учреждения, сторонники большинства в ЦК во главе со Сталиным и Бухариным обнаруживали пока, благодаря усилиям Бухарина, завидную гибкость в экономической политике. Они шли на серьезные уступки мелкому собственнику, прежде всего крестьянству. «Революционные романтики» из левой оппозиции, так же не желая «поступаться принципами» и явно переоценивая реставрационные опасности нэпа, в свою очередь, отстаивали (хотя и в урезанном виде) далеко не господствовавшую в партии демократическую традицию. Понять их можно — они скользили вниз по пирамиде власти и вот-вот должны были оказаться придавленными всей ее тяжестью. В партии, разделенной нарастающей личной неприязнью Сталина и Троцкого, не было человека, способного решить проблему сочетания демократии в экономике и политике, продумать всерьез пути подведения масс к социализму.

«Мозаичное» состояние общества, начавшего движение к социализму, требовало от партии выработки новаторской политики. Это было бы под силу Ленину. Ведь и на подходе к Октябрю, и позже он шел на смелые компромиссы, вплоть до возможности «комбинированных типов» и власти, и экономики, вплоть до сочетания Советов с «Учредилкой» на пути к социализму; он искал и в конце концов нашел различные формы хозяйственного сотрудничества с классом буржуазии, тем более — с классом крестьян-собственников (весна 1918, весна 1921 годов). Ленин сдерживал своим авторитетом и личные столкновения в ЦК. Но теперь Ленина уже не было. Поворот не состоялся, он был пропущен в оскорбительной внутрипартийной «цитатной» склоке. А вскоре будут попраны, в сущности, интересы и пролетарских, и непролетарских социальных слоев советского общества, «законно» в нем существовавших, но не имевших фактического (а не формального) представительства в органах Советской власти.

Троцкий, да и вся левая оппозиция, видя дальнейшее обюрокрачивание партаппарата, государственных, хозяйственных, профсоюзных органов, «уточнили» в свете своих наблюдений вроде бы ясную для них перспективу развития рыночных отношений, собственнических укладов, прочертив воображаемую общую линию развития в будущее. Им казалось, что, как и во времена Великой французской революции, «термидорианцы», «похоронщики революции» выйдут из рядов властвующей бюрократии и, сомкнувшись с растущими как грибы «новыми собственниками», поведут страну к капитализму, предавая интересы рабочего класса и заветы Октября. На деле же такие «термидорианские» аналогии и прогнозы с середины и особенно с конца 20-х годов начинают уходить все глубже в песок, отрываясь от реальных процессов жизни советского общества. Партийная и советская бюрократия 20-х годов никак не могла «обуржуазиться» в традиционном социально-экономическом смысле этого слова, хотя опасность личного перерождения, конечно, была (коррупции подвержена бюрократия везде и повсюду, а особенно в странах с авторитарным режимом). Но как социальный слой, советская бюрократия врастала корнями в государственную собственность, с которой были связаны ее благополучие и интересы.

Нэп действительно шел к концу, но там, в конце нэпа, был не «возврат к капитализму» через термидор, а сталинская «революция сверху» с последующей узурпацией власти бюрократией и дальнейшим развитием материальных предпосылок социализма в тесных рамках социализма «государственного». Предельные границы такого состояния общества — по сути переходного — были одновременно и границами предельного огосударствления. Достигнув своего крайнего предела, это состояние неизбежно должно было вылиться во всеобъемлющий кризис. Из него мы и пытаемся выкарабкаться сегодня.

Летом 1927 года слово «термидор» не только мелькает в черновиках различных оппозиционных документов, но и выходит из кулуарного подполья — после появления сапроновско-смирновской «Платформы 15-ти». Самое удивительное, что в достаточно сдержанном тексте децистской «платформы», полученном ЦК, ни одного слова о термидоре и бонапартизме вообще не было. Однако группа Сталина — Бухарина извлекает термидор на свет божий. Может быть, для того, чтобы усилить обвинения против левых, окончательно оттолкнуть от них партийные массы. Термидор разбирается в направленной против «платформы» статье Слепкова («Правда» от 12 июля 1927 года).

Поскольку слово «термидор» выходило из подполья, Троцкий в июле же 1927 года пытался более четко обозначить его размытые и неопределенные, слишком «обиходные» и политически неясные характеристики. Он назвал термидор «особой формой контрреволюции, совершаемой в рассрочку и использующей для первого этапа элементы той же правящей группы — путем их перегруппировки и противопоставления». Ясности от этого не прибавилось, но буржуазная направленность такой «контрреволюции» никаких сомнений у Троцкого не вызывала.

Между тем в стране с 1928 года развертываются процессы, весьма далекие от буржуазно-термидорианских. «Обуржуазивание», как его понимал Троцкий, остановлено. Историческую сцену сотрясает начавшаяся с 1928—1929 годов сталинская «революция сверху». Приняв облик антитермидорианской чистки, она похожа скорее на второе издание радикальнейшей пролетарско-якобинской революции. Разочарование результатами нэпа в условиях острого социального кризиса реанимировало у значительной части населения, городских и деревенских «низов» мощные эгалитаристские устремления. Накануне Октября такие обделенные «низы» были подавляющим большинством в стране, доведенной войной до крайней степени обнищания. Но в 1928—1929 годах они уже не составляли большинства, хотя и были достаточно многочисленны. Особые исторические обстоятельства толкали их на блок с государственной бюрократией.

Поворот 1929 года фактически был второй после Октября волной пролетар-

ско-якобинского «поравнения» собственности. В этом процессе причудливо соединились эгалитарно-уравнительные устремления «низов» и устремления бюрократической верхушки аппарата к тотальному огосударствлению — то есть к реализации своего естественного социального интереса. Эта вторая якобинская волна ударила по обществу (здесь Троцкий был прав) уже на нисходящей в ряде отношений фазе революции. Она имела мало общего с первой волной, очистившей страну руками вышедших на арену политики масс от остатков феодализма. Второй удар обрушился на мелких собственников, выращенных уже в недрах пореволюционного общества, а главное, завершил процесс политически реакционный — отчуждение масс от власти и политики. При этом «низы» в слепом ожесточении против «новых собственников» вдохновлялись идеями «поравнения» как средства достижения «рая земного» в ближайшей исторической перспективе. Близкий рай оказался утопией. Партийную и советскую бюрократию воодушевляли свои утопии и самообманы: уничтожить конкурента-собственника и пожать плоды сверхцентрализации — на эти цели, считал впоследствии Троцкий, ориентировалась немалая часть «аппарата».

Но и на «аппарат» в конце концов обрушился мощный удар. Вторая якобинская волна как бы ввергла страну — которая так и не смогла обрести черты «гражданского общества», сдерживающего благодаря «некоторому, хотя бы незначительному, простору классовой борьбе» паразитические поползновения вездесущего государства,— в состояние «социальной протоплазмы», не позволяя ни обществу, ни общественному мнению «создать свои собственные, не зависимые от правительственной власти, органы»[1]. «Революция сверху», превратив — путем насилия — классы нэповского периода в «массу», тут же набросила на них административную удавку, сделала из них работников на службе у государства (о рабах-зэках мы уже не говорим), политически «атомизированных граждан», которые различались между собой (порой весьма резко) не столько своим отношением к средствам производства, сколько доступом к предметам потребления. Никто, не исключая, пожалуй, самого Сталина, не получил от «революции сверху» того, чего ожидал.

Правда, резко форсировалось решение общенациональной задачи — индустриализации страны, создания крупнейшего военно-промышленного потенциала. В сущности, только эта задача, именуемая на языке казенной идеологии «построение фундамента социализма» или «социализма в одной стране», с грехом пополам выполнялась, что было бы немыслимо без (резко деформированного вмешательством тоталитарного государства) подъема образовательного уровня населения, подъема производительных сил в республиках и развития науки (впрочем, весьма урезанного и однобокого). Что касается подъема материального благосостояния народа, достижения «социальной однородности» общества или выхода на уровень развития наиболее передовых капиталистических стран, то все провозглашенное так и не стало явью.

Цели, реализованные за счет громадных жертв народа, а то и просто кровавых массовых репрессий, выселений, «раскрестьянивания», подточили энтузиазм одних, вызвали чувство нарушения справедливости, вернее, ее попрания у других, разожгли неудовлетворенные аппетиты у третьих. В 1932—1934 годах нарастает социальная напряженность — между властью и экспроприированными мелкими собственниками, между «аппаратом» и «массами», между вождем и подвластной ему бюрократией и партийной элитой, между «спецами» и рабочими, между «центром» и «местами». В этой ситуации Сталин не просто примеряет на себя мундир советского Бонапарта — он и его аппарат переходят к политике сознательного обмана народа, а также гигантских политических провокаций. «Сталинский бонапартизм» будет держаться — в отличие от бонапартизма классического — не на противоречиях между буржуазией и пролетариатом, а на противоречиях прежде всего между «аппаратом» и «массой», списывая все трудности на

---

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 8, стр 157—158, 182. Противопоставление Марксом выраставших из революций бонапартистских форм формам «гражданского общества», к сожалению, осталось за рамками нашей исторической науки.

счет обострения в ходе построения социализма классовой борьбы, происков недобитых эксплуататорских классов, но прежде всего — террористически-вредительских действий троцкизма и его агентуры, продающих Родину своим фашистским и иным зарубежным хозяевам. Главным орудием устранения «врагов народа» становится аппарат ОГПУ — НКВД. Стараниями Сталина — Ягоды, затем Сталина — Ежова, затем Сталина — Берии и их подручных он обнаруживает почти во всех партийных, государственных, хозяйственных органах гигантские скопления «вредителей», «немецко-японских агентов», но прежде всего троцкистов — «белогвардейских козявок», «лакеев фашизма», «подонков человеческого рода» (определения сталинского «Краткого курса»). В фабрикуемые списки «врагов народа» записывают не только остатки «левых», но и всех «правых» (сравни, например, «право»-троцкистский, то есть право-левый (!) блок), а затем громаднейшую часть ленинской гвардии, да и массу выдвиженцев. Начатая после убийства С. М. Кирова провокация удается блестяще, в нее втягиваются самые широкие массы, помогая своим энтузиазмом и содействием раскручивать маховик предусмотрительно созданной еще до этого убийства машины террора.

Проявляет Сталин и определенную социальную гибкость, чего не может понять Троцкий. В 1935 году он фиксирует не только факт создания террористического режима в стране, но и поворот Сталина «вправо, еще вправо и еще правее». Начало поворота он отнесет даже к 1933 году. Формы выражения? «Неонэп» с рынком (явное преувеличение.— **Авт.**), отмена карточек, материальное стимулирование рабочего, возвращение коровы крестьянскому семейству и т. д. Определение «термидор» снова мелькает в статьях Троцкого. Но этого понятия ему уже недостаточно ни для характеристики этапа, который проходит страна, ни для описания той, как он выражается, «катастрофы», которую подготавливает «сталинская верхушка». И вот Троцкий объявляет «радикальный пересмотр исторической аналогии». В чем его суть? В противовес разного рода клеветническим и апологетическим домыслам об СССР Троцкий обещает в рукописи 1936 года «Что такое СССР и куда он идет?» (она легла в основу изданной на иностранных языках его книги «Преданная революция») дать читателю «научную оценку того, что происходит в стране Октябрьской революции», поднимающейся от «ужасающе низкого уровня», раскрыть то, «что становится», показать «лица, а не маску». Попытаемся выделить в большой работе основное.

Раньше за термидором стоял у Троцкого возврат к капитализму. Теперь, рассмотрев все «зигзаги правительственного курса», он вносит в прежнюю концепцию радикальное «новшество»: «дело идет не об отказе от социализма, а лишь о ликвидации грубых иллюзий» — вроде «окончательной и бесповоротной победы социализма». Закон извечного отката революций назад продолжает действовать в СССР, но своеобразно: «Советский «термидор» мы определили как победу бюрократии над массами».

Московской прессе и прессе Коминтерна Троцкий задает вопрос: коль скоро с эксплуатацией покончено навсегда, а СССР переходит от низшей стадии — социализма — к коммунизму, то почему не сбрасывается «смирительная рубашка государства»? Почему любой человек, критикующий «бессменное руководство», усомнившийся в непогрешимости Сталина, осуждается почти наравне с участниками террористических заговоров? «Откуда,— вопрошает Троцкий,— такое странное, чудовищное, невыносимое напряжение репрессий и полицейской аппаратуры?» Справедливо противопоставив «фашистский этатизм» и советское огосударствление (при первом сохранен капитализм), Троцкий в то же время не понимает того, что из «недоразвитости» производительных сил в СССР, необходимости их подтягивания к уровню передовых стран объективно и вырастает сверхцентрализация. Он обнаруживает в СССР некую вытекающую из бедности «борьбу всех против всех», в то время как к 1936 году положение советских граждан несколько улучшилось. Из «полицейской монолитности партии» он выводит «бюрократическую безнаказанность», и «все виды распущенности и разложения»,— но до этого брежневского феномена еще надо было дожить!

Кстати, куда интереснее для понимания проблемы соотношения революции,

социализма и морали были разбросанные в дневниках и письмах Троцкого, правда, неразвернутые, констатации о самом Сталине и его ближайшем окружении, методах их действий: «амальгама из подонков и отребьев», сталинские процессы-«амальгамы», «фабрика фальсификаций» и т. п. Троцкий, в общем-то, утыкается в отмеченный еще Марксом и Энгельсом в «Коммунистическом манифесте» факт вовлечения в пролетарское движение «люмпен-пролетариата, этого пассивного продукта гниения низших слоев общества» (его гигантскую массу выбросила на арену политики мировая, затем гражданская война в России). В этом же плане интересны воспроизведенные в мемуарах Троцкого предупреждения, сделанные ему в середине 20-х годов Каменевым и Зиновьевым: «Сталин ведет войну в другой плоскости, чем Вы. Ваше оружие (идейная борьба.— **Авт.**) против него недействительно». В работе Маркса «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» как раз и содержалось раскрытие тайны побед этого «царственного люмпен-пролетария» в схватках послереволюционных времен — он имел перед своими соперниками то преимущество, что мог «вести борьбу низкими средствами». В работе Маркса и Энгельса «Великие мужи эмиграции» были схвачены и такие черты предводителей люмпен-пролетариев, наводнивших Англию 1850—1852 годов, как склонность «водить за нос» эмигрантов, навязчивые идеи о своей миссии освободителей мира, приверженность к «казарменному коммунизму», интригам, вероломству, расправам и т. п. А в письме Энгельса Марксу от 4 сентября 1870 года выявлены не только бесполезные жестокости якобинской Франции 1793—1794 годов, но и целая «шайка прохвостов, обделывавших свои делишки при терроре»[1].

Вообще изъянов в анализе Троцким феномена «СССР в 1936 году» предостаточно. Вступление СССР в Лигу Наций, да и всю борьбу за разоружение он объявляет... предательством мировой революции. Преувеличивает Троцкий степень «расслоения пролетариата» в СССР, хотя и верно отмечает, что при всех успехах национальной политики автономии входят в «известный конфликт» с центром. В то же время он совершенно не понял борьбу «между государством и крестьянством». Вроде бы даже осуждает «дарование» крестьянам приусадебного участка. Бессмысленно определение: «семейный термидор» (!), который он выводит из тяжелого положения женщин. Троцкий недооценивает активнейшую роль иллюзорного массового сознания, энтузиазма, который пока еще сдерживает и «антиобщественный эгоизм» и «разнузданное сверху карьеристское интриганство» и оживляет культуру. В литературе тех лет он не видит почти ничего кроме сплошного мартиролога и тьмы бездарей.

А вот в решении вопроса: «куда идет СССР?» — Троцкий, как это ни парадоксально, гораздо более проницателен: «Социальный смысл советского термидора начинает вырисовываться перед нами. Бедность и культурная отсталость масс еще раз воплотились в зловещей фигуре повелителя с большой палкой в руках. Разжалованная и поруганная бюрократия снова стала из слуги общества господином его. На этом пути она достигла такой социальной и моральной отчужденности от народных масс, что не может уже допустить никакого контроля ни над своими действиями, ни над своими доходами».

Троцкий пересматривает свои бонапартистские аналогии: «Под бонапартизмом мы понимаем такой режим, когда экономически господствующий класс, способный к демократическим методам правления» вынужден «терпеть над собой бесконтрольное командование военно-полицейского аппарата, увенчанного «спасителем». Объективная функция «спасителя», считает Троцкий, «охранять новые формы собственности, узурпируя политическую функцию господствующего класса. Разве эта *точная характеристика сталинского режима*, не есть в то же время *научно-социологическое определение бонапартизма*?»

В целом концепция, к которой приближается Троцкий во второй половине 30-х годов, настолько устойчива, что из-под нее можно вообще вынимать подпорки исторических аналогий. Троцкий и сам уточнял: под бонапартизмом «мы имеем в виду не историческую аналогию, а социологическое определение». Не отбрасывая излюбленных определений, отражавших развитие Франции в *буржуазном* направлении после термидора, Троцкий в сущности *отрицает* теперь такую направленность для СССР: «Вопрос о характере СССР еще не решен!» За разделом под таким заглавием следует раздел «Неизбежность новой революции».

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Том 4, стр. 434; том 6, стр. 176, 336—341; том 33, стр. 45.

Конечно же, Троцкий никак не мог в *деталях* предвосхитить содержание «неизбежно» грядущей в СССР «новой революции». Думаем, он к тому же неправомерно исключает возможность мирных цивилизованных путей грядущего переворота: «Мирного выхода из кризиса нет. Ни один дьявол не обстригал добровольно своих когтей. Советская бюрократия не сдаст без боя свои позиции». Но в том, что Троцкий в общих чертах предугадал весьма далекую перспективу развития родины Октября, никаких сомнений у нас нет. Полагаем, что не будет их и у читателя, когда он ознакомится с таким вот текстом: «Дело идет не о том, чтобы заменить одну правящую клику другой, а о том, чтобы изменить сами методы управления хозяйством и руководства культурой. Бюрократическое самовластье должно уступить место советской демократии. Восстановление права критики и действительной свободы выборов есть необходимое условие дальнейшего развития страны. Это предполагает восстановление свободы советских партий, начиная с партии большевиков, и возрождение профессиональных союзов. Перенесение на хозяйство демократии означает радикальный пересмотр планов в интересах трудящихся. Свободное обсуждение хозяйственных проблем снизит накладные расходы бюрократических ошибок и зигзагов. Дорогие игрушки — Дворцы Советов, показные метрополитены — потеснятся в пользу рабочих жилищ. «Буржуазные нормы распределения» будут введены в пределы строгой необходимости, чтоб, по мере роста общественного богатства, уступать место социалистическому равенству. Чины будут немедленно отменены, побрякушки орденов поступят в тигель. Молодежь получит возможность свободно дышать, критиковать, ошибаться и мужать».

Правда, призывая вернуться к «традициям революционного интернационализма», Троцкий все еще думает, по-видимому, о своей «всеспасающей» мировой революции. Но в целом в его программе преобразований в СССР нет ничего от того «милитаристского социализма» или «тоталитаризма», который до сих пор с лупой в руках изучают наши «троцкоеды», никак не отрываясь от речей Троцкого на IX съезде РКП(б) или надерганных цитат из его работ периода «военного коммунизма». И, естественно, все они «забывают» сказать о том, что, публикуя в середине 20-х годов все эти работы, Троцкий назвал ту эпоху хотя и исторически неизбежной, но безвозвратно оставленной позади. А наиболее квалифицированные из них могут и на основании всего одной (!) выдернутой из наследия Троцкого цитаты 1923 года образно-поэтически поименовать его «параноиком тоталитаризма». При этом, решая проблему «тоталитарное и человеческое» поэты-политологи не удосуживаются ознакомиться с трудами Троцкого 30-х годов. Впрочем, какой толк вышел бы из этого ознакомления, коль скоро, закопавшись в ворох самых разнообразных цитат 20-х годов, не ведают они того, что об эпохе переворота нельзя судить по ее сознанию (Маркс)[1]. И никогда не поймут они смысл трагически-самокритичных слов Троцкого: «Я бьюсь в петле противоречий, целиком отвергая Сталина, но не знаю, как не «задеть» народ, социализм».

Из истории с превращениями термидора мы бы сделали вывод: в развитии человечества не проигрываются вторично уже сыгранные роли, не возрождаются прежние образцы. Но метания Троцкого подтверждают, что он нащупывал в этом развитии закономерные, воспроизводящиеся, повторяющиеся процессы. Лишь к концу жизни он вроде бы стал осознавать: в истории воспроизводятся те же да *не те* процессы, ибо в качественно изменившихся ситуациях они дают качественно иной результат. Поэтому возьмем определение Троцкого — «советский термидор» — в кавычки, как недостаточно точное.

Что же касается нашего времени, то мы бы сказали о нем так: в СССР развертывается второй цикл «самотермидоризации», начатой в марте 1921 года

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 13, стр. 7.

РКП(б) под руководством В. И. Ленина и надолго прерванный затем Сталиным с его «революцией сверху», да и Брежневым с его «ленинским курсом». Возобновилось дело Ленина с апреля 1985 года, когда стоящая у власти КПСС под руководством М. С. Горбачева снова взялась, теперь уже на качественно новой основе, пересоздавать сложившуюся отчасти по необходимости, отчасти по неразумию или даже злому умыслу «ультраякобинскую» систему, чтобы, лишив наш строй всех черт «чрезвычайщины», придать ему черты демократизма и гуманизма. Но при этом не следовало бы забывать гениальную, никем не замеченную и достаточно тревожную формулировку Маркса, «снятую» с процессов, развалившихся Международное Товарищество Рабочих в конце 60-х — начале 70-х годов XIX века: «Впрочем, в истории Интернационала повторилось то же самое, что всегда обнаруживается в истории. Устаревшее стремится восстановиться и упрочиться в рамках вновь возникших форм» [1]. И могли бы мы теперь ясно сказать о том, что было неведомо людям сталинских времен: сколько «циклов» мы переживем — не знаем, но знаем, что новые формации созидаются отнюдь не за пару «пятилеток», а десятилетиями, может быть, веками, тем более социалистическая формация, ведущая свой отсчет в СССР или КНР с крайне низкого уровня.

Знакомясь с дневниками и письмами Льва Троцкого, можно, вероятно, заметить, как тепло он пишет о своей жене — Наталье Ивановне Седовой. Она помогала ему переносить скитания, удары судьбы, уносившей его детей, ее детей. Мы не знаем, как хоронила она мужа. Но мы знаем, что она стала бороться за его честь.

После XX съезда КПСС Наталья Седова обратилась к тогдашнему руководству партии. Она не просила скрывать расхождения Троцкого с Лениным. Единственное, о чем она просила: сказать всему миру, что ее муж ни «иностранным шпионом», ни «наймитом фашизма», ни «убийцей Кирова, Горького, Менжинского» не был. Умерла Наталья Седова в 1962 году, не дождавшись ответа. Так, может быть, ныне, когда юридически реабилитированы все «подручные» главаря «троцкистской банды», партия скажет, что и самого «главаря»-то не было — ну какой же главарь без банды?

---

[1] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 33, стр. 279.

Лев Троцкий

ССЫЛКА, ВЫСЫЛКА, СКИТАНИЯ, СМЕРТЬ

Л. Седов. ПЕРЕЕЗД В АЛМА-АТУ

Дорогой друг, ты просил подробно описать путешествие наше до Алма-Аты — изволь. Делаю это в форме протокольных записей— дневника. Кое-что по понятным причинам опускаю.

После крайне утомительных последних дней, особенно дня нашего мнимого «отъезда»,— долго спалось. Я еще одевался, это было в начале первого часа, когда услышал звонок, затем топот ног и незнакомые голоса в коридоре. «ГПУ»,— мелькнуло. Так и есть, в коридоре стояла их целая группа, одетых в военную форму. Во главе с распоряжавшимся вчера на вокзале. На руках он имел ордер (как я узнал позже) приблизительно следующего содержания: «Предлагается коменданту т. К... препроводить под конвоем гражданина Троцкого в г. Алма-Ату — немедленно». Подпись: Ягода. Обращаясь к Л. Д., комендант докладывает: «Отъезд ваш назначен сегодня в 2 ч. 25 мин.» — «То есть как?.. А вещи? Мы не уложились... За два часа до отхода поезда предупреждаете — безобразие».— «Мы поможем, поможем уложиться»,— беспомощно повторяют они. Л. Д. отказался добровольно ехать, зашел в крайнюю комнату (спальню), куда мы все за ним проследовали. Кроме нас, т. е. Наталии Ивановны, брата и меня (Аня была на работе), были И. и Ф. В., случайно у нас находившиеся. Комнату заперли... За дверью голос: «Тов. Троцкий, разрешите сказать вам несколько слов»...— «Вызовите Менжинского к телефону».— «Слушаюсь». Перерыв. «Тов. Троцкий (за дверью)! Менжинского нет».— «Тогда Ягоду». Уходит. Ждем. «У телефона» — слышим, но по голосу как-то неуверенно. Л. Д. отпирает и выходит в коридор, где у нас телефон. Там происходит следующий диалог: «Алло!» — «Слушаю».— «Кто говорит? Товарищ Ягода?» — «Нет, Дерибас». Не отвечая дальше, вешает трубку. Обращаясь к гепеурам: «Иван Никитич Смирнов Дерибаса на фронте не дострелял за трусость, говорить с ним не желаю. Я просил Менжинского или Ягоду». Опять запирается дверь. «Их нет».— «Они спрятались под кровать и боятся подходить к телефону». Несколько секунд молчания... «Товарищ Троцкий, выслушайте меня, что вы от меня прячетесь?» Л. Д. нем, его взорвало. Он подошел вплотную к двери: «Не нагличайте. Вы ворвались в мою квартиру и смеете говорить, что я от вас прячусь...» Молчат. Выхожу в коридор; прошу разрешения позвонить жене либо за ней послать. (Никаких самостоятельных переговоров никто из нас не ведет, кроме Л. Д.,— так он требует. О моем требовании видеть жену перед отъездом и взять у нее необходимые мне очки он уже говорил — они обещали.) Мне отвечают: «Хорошо», «Вот сейчас», но ничего не предпринимают. Беру телефон. «Нельзя!» Выхожу на кухню, и туда пришли, с черного хода; стоит громадный детина. Возвращаюсь в нашу «крепость». Слышу звонок, к Сергею (брату) пришел товарищ, беспартийный студент,— попал в засаду. Не выпускают. На лице изумление и немного испуг. (Его продержали недели две во «внутренней».) Быстро возвращаюсь, за мной запирают... За дверью тот же голос: «Я вынужден буду взять вас силой» (это, конечно, заранее согласовано). Молчим. Ковыряют чем-то в замке — не удается. Предлагаю забаррикадироваться мебелью. Л. Д. решительно отказывается. За дверью слышно распоряжение: «Ломайте двери!» По-видимому, ищут чем, наконец находят и

пробивают стекло в дверях. В отверстие видно, что орудуют нашей стамеской. Затем просовывается рука и не без опасения быстро отпирает. Входят, вернее, вваливаются. Они взволнованы, мы — тоже. «Товарищ Троцкий, я должен выполнить приказ хотя бы силой... Стреляйте в меня, стреляйте!» — вдруг истерически кричит он. В ответ им: «Что вы вздор городите, никто в вас стрелять не собирается». Осели сразу. С наглым видом входят несколько штатских гепеуров. Среди них знакомые лица: вчерашний (омерзительный толстяк, хам) и Барычкин. Бывший мытищинский рабочий, когда-то неплохой революционер (по отзыву Л. Д.), теперь вконец разложившийся, пьяница и растратчик. «Штатские, шапки снимите, вы не на улице». Растерялись. «Мы — коммунисты»,— слабо отвечают. И наглость как-то сразу спала, стушевываются в коридор. Старший распоряжается: «Принесите пальто и шапку». К Л. Д.: «Мы солдаты — приказ, сами знаете, были военным».— «Я никогда не был солдатом, я был солдатом Октябрьской революции, а это совсем не одно и то же»... Кратко им рассказывает, как англичане снимали [с парохода] в Канаде, с теми же словами: «приказ», «мы подчиненные» и пр. Выбегаю в коридор, у себя в комнате беру документы, папиросы. У телефона Ф. В. звонит к себе на квартиру и успевает сообщить, что увозят. Я беру второй телефон, называю два номера, как назло, оба заняты. Тот же громадный детина, приставленный теперь к телефону, нам не мешает: то ли от растерянности, то ли неизвестно отчего. Звонок. Беру трубку. Белобородов. Успеваю сказать: «Казанский, берут сейчас». Старший выхватывает трубку. «Это нечестно!» — восклицает патетически. Болван,— хочется ответить — молчу. Л. Д. под руки тащат по коридору; это момент, когда я теряю свое относительное спокойствие. Н. И. одевается и идет за ним. Его протискивают, ее пропускают в дверь — затем захлопывают и нас не пускают. «Я еду также, пустите»,— говорю, одеваясь. Не помогает — «нельзя», «не велено». Брат что-то кричит им, вернее, ругается. Медлить некогда. Дружно наваливаемся на гепеура — оттаскиваем его от двери. Я открываю и выскакиваю. Сергей притискивает гепеура в угол. За мной в это время проскакивают Ф. В. и И. За ними Сергей. Дверь взята. На ступеньках лестницы сидит Л. Д. Живо мне вспомнилась Канада... «Долой английский... то бишь сталинский произвол». Сбегаю по лестнице, начинаю с Н. И. звонить по квартирам. В стеклянных дверях показываются испуганные лица, что-то им кричу. Л. Д. сносят с лестницы. Позже он рассказывает забавную подробность: т. к. несущих было всего трое — им было тяжело, все время невероятно пыхтели и часто останавливались отдыхать.

Во дворе у подъезда — машина, в нее буквально втискивают. Сергей садится уже на ходу, без шапки. На дворе несколько недоуменных лиц. В машине нас 9—10 человек, битком, друг на друге. В окно видим машины спереди и сзади — «провожают». По дороге предлагаю брату выскочить, оповестить товарищей и Аню. Не соображаю, что в суматохе И. ушла. На Лубянской площади делаем попытку; горячимся, за нами смотрят в оба. Сергей успевает просунуть лишь ноги — дверцами его прищемляют. Обоих нас держат. Подъезжаем к Каланчевской площади — месту расположения вокзалов. Заворачиваем, но не на Казанский, а все на тот же знаменитый — Ярославский. Въезжаем во двор, кто-то вскакивает на подножку и указывает путь. Высаживаемся почти у платформы. Из задней машины выскакивает Беленький и К°. (И этот трусливый глупец здесь.) «Как с вещами?» — спрашивает Л. Д. «Все, все доставлено»,— отвечает Беленький. «Вы лжете, как лгали тогда у покойного Иоффе, что не было мне письма, а сами украли его». Л. Д. ведут под руки, затем начинают нести. Пусто. Вдалеке стоят редкие железнодорожники. Кричу им: «Товарищи рабочие, смотрите, как несут товарища Троцкого». У одного (Л. Д. видит) взволнованное лицо. Меня хватают за спину, и то, что называется за шиворот. Слышу грубые ругательства, «замолчи»... Вдруг выпускают, сразу не понимаю, в чем дело. Продолжаю кричать. Позже узнаю: Сергей ударил державшего (того же Барычкина) по физиономии. «А так как,— рассказывал он,— мишень у него широкая, попал неплохо». Тот пустил меня сразу, закрыл лицо рукой и отошел...

У платформы стоит отдельный вагон (Сев. Дор. 5493) с паровозом. Повторяется история у дверей — нас никого не пускают. Затем предлагают ехать всем до места назначения. Жалкая неразбериха — как растеряны.

В вагоне занимаем отведенное нам купе; там же у окна садится гепеур. У открытых дверей становится другой. Л. Д. шутит, вспоминает увоз, вообще ищем веселую сторону этой «поездки». О Дерибасе Л. Д. замечает: мелкий, жалкий карьерист. О Беленьком: тот, Гриша (брат его), за границей был эмигрантом-революционером, этот, кажется, просто скрывался от воинской повинности. Затем он нарочито громко начинает говорить о том, как у нас высылку не умеют организовать как следует быть, как и хозяйство наладить. Одно к одному. С ненавистью говорит о неряшливости — это не случайная черта... И в хозяйстве, и в теории, и в высылке. Эта черта мелкобуржуазная. (Кстати сказать, как говорили, организация ссылки была под руководством Бухарина.) Тут же Л. Д. заходит «объясниться» с конвоем. Говорит, что лично против них — лишь исполнителей — ничего не имеет, что демонстрация (т. е. отказ добровольно идти) имела чисто политический характер. Повторяет им о неумении ГПУ организовывать высылку. Шум подняли, вся Москва об этом знает, т. е. достигли как раз того, чего хотели избежать. Кряхтят... Комендант бормочет что-то вроде: «Да, неважно было»... Л. Д. смеется. «Мне приходилось участвовать и организовывать операции посложнее этой; как бы я здесь поступил, будучи на вашем месте?..» И он набрасывает им план организации высылки... Далее рассказывает им, в назидание, так сказать, историю с Биде Фопа, полицейским чиновником, руководившим высылкой Л. Д. из Франции в 1910 году. Этот Биде Фопа попал затем в Россию, остался после Октябрьской революции и в 1918 году как будто бы был арестован ВЧК. Льву Давидовичу привезли его. Привез тот самый Дерибас, который теперь руководит его ссылкой в Алма-Ату. Л. Д. сразу узнал Биде — он был небрит, без воротничка, обрюзг. «Ну да, месье, это я».— «Как же это так случилось? — спросил его Л. Д.— Когда-то вы высылали, а теперь сидите у нас в тюрьме».— «Таков ход событий»,— ответил тот философски. (Позже его обменяли на кого-то.) «Как видите,— сказал Л. Д. слушавшим гепеурам,— история повторяется; она еще многое покажет, история».

Итак, мы едем. Где-то дальше нас должны прицепить к поезду «Москва — Ташкент». Едем без необходимых самых вещей, без перчаток, галош — а ведь зима. «Поезд» наш переходит с Северной дороги на Казанскую и доходит до станции Фаустово, верстах в 50-ти от Москвы. Останавливаемся саженях в 80—100 от платформы; будем дожидаться ташкентского поезда. Выхожу из вагона; не препятствуют. Направляюсь на станцию для «разведки», может быть, телеграфировать. В двух шагах сзади шествует «провожающий». Захожу в темный буфет, заказываю чаю — осматриваюсь. Спутник мой юркнул в дверь с надписью «Телеграф». Решаю зайти тоже — посмотреть, что он там придумал. Там у нас (в присутствии «провожатого») происходит следующий диалог: «Где здесь подать телеграмму?».— «Это не телеграф».— «А что же это?» — «Здесь был телеграф».— «А почему же надпись на дверях?» — продолжаю допрашивать. «Ее не успели снять».— «А где же здесь телеграф?» — спрашиваю иронически. «Здесь вообще нет телеграфа».— «Да ну? — и, показывая на телеграфные аппараты, стоящие в комнате: — А это что такое?» — «Это... это...» Запнулись, не знают, что сказать. Улыбаюсь (единственное, что мне остается), выхожу. По-прежнему провожают до вагона.

Скоро подходит поезд, с ним несколько наших чемоданов. Нас прицепляют. Прощаемся с нашими двумя провожающими: Сергеем и Ф. В-ой. Им ждать здесь несколько часов поезда на Москву; да и ехать порядочно. Хорошо еще, что брату достали у проводника вагона шапку. Трогаемся. На Алма-Ату.

Начинаем устраиваться, нам отводят два купе, в одном вещи, «столовая» и я. В другом Л. Д. и Н. И.

Из всего этого ты можешь заключить цену заметке в «Правде» (Кривде) о «барстве» и прочем. Как известно, вагона мы не выбирали, занимали его спутники-гепеуры, ехали же мы без вещей. Бумага все стерпит.

Через несколько часов, на какой-то станции хочу пройтись; не выпускают. Сообщаю нашим, на этот раз решаем смолчать. Л. Д. находит, что лучше не обострять, это все равно ничего не даст. Наоборот, надо медленно завоевывать себе хоть некоторую свободу, в частности вытеснить гепеура из купе и дать этим возможность Н. И. заснуть. Это к вечеру удается — он переселяется в коридор к открытым дверям купе. Хочу пойти в вагон-ресторан поужинать, не пускают опять. Л. Д. просит коменданта (или, как он его называет,— старшего) к себе. «Мне не сообщили, что семья моя тоже на положении арестованных. В чем здесь дело?» — «Не арестованы, но не имею права»,— отвечает тот.— «Дайте ему с собой конвойного»,— предлагает Н. И. «Это мне кажется неудобным. Под конвоем (притворно возмущенным голосом) — нет».— «Мне это вполне удобно»,— пробую вставить. «Дайте ему тогда штатского, у вас ведь есть штатские...» — «Это неудобно»,— повторяет комендант и уходит. Я голоден и поэтому зол. Вдруг он возвращается: «Пожалуйста, идите».— «Что такое?» — спрашивает Л. Д.— «Я очень извиняюсь, я допустил ошибку». Непонятно. И, действуя очевидно по нашим указаниям, посылает со мной штатского провожатого. Выпускают не на платформу, а на внутреннюю сторону, т. е. на пути. Непонятная предосторожность.

Ночью, после того как «старички» мои легли уже спать, ко мне стучат. «Лев Давидович уже спит?» — «Вероятно».— «Не будете ли вы так добры (вежливость-то какая) сказать, что по уставу дверь должна быть открытой».— «Скажите сами». Будят и сообщают. Л. Д. отвечает, что дверь не заперта. «Все равно, должна быть хоть щель». Боятся, что убежит, что ли.

На дверь, там, где она скользит на роликах, поперек набивают дощечку — чтоб не прикрывалась. Дверь трясется, скрипит, мешает спать... Приходится терпеть. Я спокойно запираюсь (ведь я «не арестован»), ложусь. Так проходит этот, во всяком случае, необыкновенный день.

Все, что происходило у нас на квартире после нашего отъезда, происходило и в сотнях других квартир большевиков-ленинцев. Засада в течение суток, повальный обыск, арест 25—30 пришедших проститься товарищей, их «отсидка» в числе сотен других оппозиционеров; сперва в одиночках «внутренней», без книг и газет — на положении полной изоляции; затем в Бутырках, в ужасающих антисанитарных условиях, в общих камерах с уголовщиной всех «специальностей». Повсюду хамское обращение, грубость, издевательства... голодовки как единственная форма протеста — все это и так хорошо известно! <...>

СВИДЕТЕЛЬСТВО КИШКИНУ

Если оставить в стороне контрреволюционный характер ссылки меня по 58 ст., а также возмутительные условия отправки меня и моей семьи из Москвы, зависевшие, очевидно, не от конвойной команды и ее начальника гр. Кишкина, то в отношении следования по железной дороге я не имею никаких претензий к гр. Кишкину, который для облегчения мне и моей семье следования сделал все, что мог в рамках данного ему свыше поручения.

21—22 января [1928 г.]
станц. Туркестан

Л. Троцкий

ПРЕД. ОГПУ МЕНЖИНСКОМУ
ПРЕД. ЦИК КАЛИНИНУ

Телеграмма

Высылка меня семьей предполагала наличие жилья. Между тем все квартиры Алма-Ате забронированы. Местное ГПУ никакого содействия не оказывает. Мы поселены ГПУ гостинице условиях близких тюремным. Питаемся ресторанной пищей гибельной для здоровья. Не имеем возможности извлечь белье книги из багажа отсутствием помещения. Оплата гостиницы ресторана нам совершенно не по средствам. Необходима достаточная квартира кухней.

31 января 1928 г.
Алма-Ата

Троцкий

ПРЕД. ЦКК ОРДЖОНИКИДЗЕ
ПРЕД. ЦИК КАЛИНИНУ
НАЧ. ГПУ МЕНЖИНСКОМУ

Телеграмма

1. Нач. ГПУ препятствует выехать на охоту, отказывается дать письменное постановление. Это равносильно замене ссылки арестом.

2. По прежнему живу семьей гостинице. Квартира отведена без отхожего места разрушенной кухней зато возле ГПУ исключительно для удобства последнего.

3. Условия тюремного заключения можно создать в Москве незачем ссылать 4 тысячи верст.

Февраль 1928 г.

Троцкий

ПИСЬМО ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ

Вкратце сообщу вам обо всех происшествиях со времени нашего отъезда из Москвы. Про самый отъезд вы, вероятно, уже знаете. Выехали мы с Казанского вокзала экстренным поездом (паровоз и один наш вагон) и догоняли скорый поезд, который был задержан в общем часа на полтора. Присоединили наш вагон к скорому поезду на 47-ой версте от Москвы. Здесь мы простились с Франей Викторовной Белобородовой и с Сережей (младший сын), которые провожали нас. В вагоне мы оказались совершенно без вещей. В результате бесконечных телеграмм вещи послали все. Нагнали нас вещи только на седьмой или восьмой день, уже в Пишпеке (Фрунзе). Ехали мы так долго вследствие снежных заносов. Из Пишпека выехали на грузовике. По дороге изрядно озябли. Через Курдайский перевал ехали на телегах, это верст тридцать. Дальше опять на автомобиле, высланном навстречу из Алма-Аты. Вещи шли следом в грузовике, причем сопровождающие умудрились потерять два чемодана с наиболее нужными вещами: погибли мои книги о Китае, Индии и прочие. Приехали мы в Алма-Ату ночью 25 января, поместили нас в гостинице. Должен по чистой совести признать, что клопов не оказалось. В общем, жить в гостинице было очень гнусно (говорю об этом, потому что «самокритика» теперь официально признана необходимой). Ввиду предстоящего в апреле переезда сюда Казахстанского правительства все квартиры здесь на учете. Началось то, что вежливо называется волокитой. В результате телеграмм, посылавшихся мною в Москву по самым высокопоставленным адресам, нам, наконец, после трехнедельного пребывания в гостинице, предоставили квартиру. Пришлось покупать мебель, восстанавливать разоренную плиту и вообще заниматься строительством, правда, во внеплановом порядке. Строительство не закончено и по сей день, ибо честная советская плита не хочет нагреваться. Еще в пути у меня возобновилась температура, которая и здесь вспыхивает время от времени. В общем, я чувствую себя вполне удовлетворительно.

Когда появилось в газете письмо двух злополучных мушкетеров, я в который уже раз вспоминал пророческие слова Сергея: «не надо блока ни с Иосифом, ни с Григорием,— Иосиф обманет, а Григорий убежит». Григорий действительно убежал. Тем не менее блок оправдал себя постольку, поскольку это был блок передовых московских и питерских рабочих. Бедняги мушкетеры рассчитывали, видимо, что после их жалкого и глупого письма их будут щадить. Не тут-то было: «Правда» любезно публикует отповедь Маслова, которая бьет не в бровь, а в глаз. При многих других больших минусах есть по крайней мере тот плюс, что мнимые величины выходят из игры, надо думать, выходят навсегда.

Я здесь много занимаюсь Азией: географией, экономикой, историей и про-

чее. Получаю пока только две газеты: «Правду» и «Экономическую жизнь». Читаю с прилежанием. Ужасно не хватает иностранных газет. Я уже писал коекуда с просьбой пересылать, хотя бы и не вполне свежие, газеты. Почта доходит сюда вообще с большим опозданием и крайне неправильно. Сперва была полоса снежных заносов. Затем оказалось, что конная почта между Пишпеком и Алма-Атой налажена неправильно. Местная газета — «Джетысуйская Искра» (выходит три раза в неделю). Обещают, что почтовые непорядки будут «изжиты», так как приступлено к переговорам с новым подрядчиком. Одним словом, «налаживается».

27 февраля 1928 г. <...>

ПИСЬМО СОСНОВСКОМУ

...На большое письмо Ваше, посвященное деревенской политике, я отвечу в ближайшем будущем. Думаю, что в оценке сложившейся обстановки мы с вами не расходимся. Замечательно, отмечу мимоходом, что сейчас вся энергия направлена уже на борьбу с так называемыми «перегибами». Поразительное дело, уже годы борются против ультралевых перегибов — кажись, застраховали себя на 100%, а чуть подняли кверху палец, и немедленно же получился ультралевый перегиб. Откуда сие?

В Кантоне такое же положение: пять лет, как учат, что основным злым началом истории является «перманентная революция». А чуть в Кантоне высвободили компартию из-под пяты Гоминдана, как и ЦК Киткомпартии и представитель Коминтерна оказались повинными в этом самом первородном грехе «перманентной революции». Выходит, опять перегиб. Виноваты, конечно, исполнители. Но и исполнители не падают с неба. Знаете, я случайно наткнулся на то, что в XVI столетии в русских грамотах объясняли переметчивость тогдашних людей тем, что они «духом перегибательные». Очень мне это понравилось. Согласно этой теории XVI столетия, сохранившей всю свою свежесть, перегибы свойственны людям, которые воспитаны в перегибательном духе. Надо, впрочем, прибавить к смягчению вины перегибателей, что они были застигнуты врасплох. А для объяснения нынешних предостережений против перегибов надо принять во внимание тот глубокий, органический, утробный отпор, который пошел и еще пойдет снизу. Ибо наряду с перегибателем, личностью почти отвлеченной,— сегодня здесь, а завтра там,— существуют на свете еще местные почвенные люди, которые прочнее перегибателя и от которых исходит и будет исходить отпор простой или комбинированный. Им надо противопоставить других местных почвенных людей, а для сего надо........ и т. д.

Читали ли вы доклад Колечки Балаболкина насчет оппозиции и анализа наших затруднений? Это вещь поистине классическая. У него выходит так, что, согласно нашей с вами точке зрения, засилье кулака непосредственно вытекает из нашей «технико-экономической отсталости» и что против этого ничего нельзя поделать, доколе нам не поможет «государственно организованный западноевропейский пролетариат». Таким образом, выходит, что, по нашим с вами воззрениям, Колечка Балаболкин ни капельки не виноват ни в затруднениях с хлебозаготовками, ни в том, что хлебозаготовки попали в руки людей, стоящих на точке зрения Дао-Цитао, т. е. отрицающих существование классов. Причиной всему этому — все с нашей же точки зрения — являются законы природы и законы экономической отсталости. В противовес этому Колечка Балаболкин выходит на площадь и говорит: «не верьте мне, православные, мой грех, я украл». Если он этого и не говорит дословно, то никакого другого вывода из всего его глубокомысленного построения сделать нельзя.

Еще я хотел спросить у вас, не можете ли вы мне объяснить, что значит осуществлять «лозунг самокритики». Что есть самокритика? Надо ли сие понимать буквально, т. е. критика самого себя, или духовно, т. е. в смысле возможности критиковать начальство. Если принять за руководство сей последний смысл, тогда никакого лозунга не получается, ибо в желании критиковать и в потребности критиковать недостатка нет, а дело, так сказать, в возможностях.

«Лозунг» посему должен был бы быть не «самокритика», а возможное упразднение тех перегибателей, кои сию самокритику неизменно ссылают этажом пониже, а так как в каждом этаже сидят свои перегибатели, то приходится, в конце концов, менять географические долготы. Опять-таки сей предмет требует более пространного изложения.

Еще вспомнил я о перегибателях. Прототипом их был тот самый статский советник Передрягин, который умел писать доклады о пользе конституций, а равно и о вреде оных. Правда, когда он писал о пользе, то выходил все-таки как бы вред. Я на днях перечитал «Пестрые письма» Щедрина. Что за великолепие. Именно потому, что это гениальная сатира, она бьет гораздо дальше своей эпохи.

У нас как будто установилась уже окончательная весна, примерно 5-ая по счету. К сожалению, она несет с собой, наряду с расцветом садов, оживление малярии и обострение хлебного и вообще продовольственного кризиса. Я вам, помнится, писал, что за все время нашего здесь пребывания пшеничная мука стояла на уровне 8—10 руб. за пуд. Сегодня, как сообщил только что вполне осведомленный человек, пуд муки на рынке стоит 25 рублей. Местная газета писала на днях: «В городе ФУНКЦИОНИРУЮТ слухи, что хлеба нет, между тем идут многочисленные подводы с хлебными грузами». Подводы действительно идут, как говорят. Но пока что слухи функционируют, малярия функционирует, а хлеб не функционирует...

Насчет здоровья: явная малярия и у Нат. Ив., и у меня. Но в общем работоспособен.

5 мая 1928 г.

ПИСЬМО РЯЗАНОВУ

Директору Института Маркса — Энгельса.

Дорогой Давид Борисович!

Работа над первым томом Маркса — Энгельса вызвала у меня ряд вопросов, из них один коренной. О нем прежде всего и хочу написать.

Первоначально я предполагал не справляться с немецким текстом и даже упустил из виду, что у меня есть здесь, с собою, первый том на немецком языке. Приступив к работе, я, однако, невольно стал заглядывать в немецкий текст. Мой вывод таков: перевод выше средних советских переводов, но все же имеет крайне приблизительный характер. Та точность, которой можно и должно было достигнуть, не достигнута, причем в некоторых случаях трудно даже понять, почему перевод заменен пересказом, грамотным, добросовестным, но все же пересказом. Для образца посылаю Вам свой перевод посвящения и начала предисловия к Марксовой диссертации. Я не переводил, а лишь исправлял печатный перевод по немецкому тексту, то есть делал минимум необходимых, на мой взгляд, изменений. Каждое из внесенных мною изменений я берусь обосновать, если они требуют обоснования. Приведу несколько примеров.

а) У Маркса сказано: «мой дорогой отческий друг». Я бы так и сказал. В крайнем случае, «отец-друг». Ни в коем случае не «отец и друг», ибо Маркс не ставит эти два названия рядом как самостоятельные, а сливает их: друг, но не вообще друг, а отческий друг, отец-друг.

б) У Маркса сказано: на обложке незначительной брошюры. Переводчик прибавляет: такой незначительной брошюры. Это радикально меняет тон фразы. Маркс вовсе не хотел сказать, что брошюра из ряда вон незначительна, то есть ничтожна; он хотел сказать, что брошюра недостаточно значительна для посвящения.

в) Вторая фраза посвящения переведена у меня почти буквально и это придает ей другой психологический оттенок.

г) Начало второго абзаца посвящения, благодаря прибавке слов «я желал бы», получило не приподнято-патетический тон, как у Маркса, а сентиментально-личный.

д) Слово изумляться переводчик заменил словом преклоняться. Хоть посвящение и написано в крайне преувеличенных выражениях, но вряд ли

и молодой Маркс хотел выразить преклонение перед Вестфаленом. Во всяком случае у него не то слово.

е) Юношески сильный старец заменен почему-то вечно юным старцем (я не выписываю немецких слов, ибо у меня русская машинка, сравните, пожалуйста, сами с немецким текстом).

ж) Непосредственно после старца начинается придаточное предложение, которое переводчик сократил при помощи причастия «встречающим»; между тем, второе, параллельное, придаточное предложение — дальше не сокращено («который никогда не отступал...»); вся фраза поэтому сдвинута и даже искалечена. Выходит, будто «который никогда не отступал» относится не к «старцу», а к «миру».

з) У Маркса прямо сказано: «перед темным облачным небом времени»,— он имеет в виду реакционную эпоху. Между тем, переводчик говорит: «перед темным горизонтом»,— исторический характер образа пропадает.

и) У Маркса сказано: «смотрел через все покровы, или оболочки, или маски, или личины». Переводчик говорит: «смотрел через все превращения». Маркс здесь противопоставляет дух — его временной оболочке, его шелухе, то есть чему-то материальному. Слово «превращения» совсем не выражает этой мысли.

к) У Маркса говорится о «телесном благополучии». Телесное здесь противопоставляется духовному, на том философско-библейском языке, на каком вообще написано посвящение. Перевод «физического благополучия» вульгаризует мысль Маркса.

Ограничусь этими примерами. Остальные будут ясны из посылаемого мною текста. Как быть, однако, дальше? Вам, конечно, совершенно ясно, что выправлять перевод дальше таким же образом означало бы проделать всю работу заново. Может быть, впрочем, другие переводы точнее, я не пошел пока дальше диссертации и нарочно послал Вам самое начало, чтобы не быть заподозренным в преднамеренном выборе какого-либо неудачного места. Если отложить немецкий оригинал в сторону и заниматься только стилистической правкой, то боюсь, что при указанных выше свойствах перевода, то есть его приблизительности, чисто литературная редакция может ненароком еще дальше сдвинуть перевод в сторону от оригинала.

Таково мое коренное затруднение. Я готов принять любое решение Института, то есть и коренную правку по оригиналу и поверхностную стилистическую правку. Работа первого типа потребует, примерно говоря, в 20 раз больше времени, чем работа второго типа. Сообщите мне Ваше решение.

[середина мая 1928 г.] <...>

ИЗ ПИСЬМА ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМ

...Думать, что можно дипломатически пробраться в партию, а затем уже вести политическую борьбу за ее оздоровление, наивно, чтобы не сказать крепче. Опыт Зиновьева, Пятакова и др. слишком красноречив. Эти люди сейчас гораздо менее в партии, чем за неделю до своего исключения. Тогда они высказывались, часть партии их выслушивала. Теперь они вынуждены молчать. Они не только не могут выступать с критикой, но даже и с похвалой. Статей Зиновьева не печатают. Центристы особенно грубо нажимают на зиновьевскую группу, требуя, чтобы она молчала и не компрометировала их. В чем же выражается пребывание этих раскаявшихся господ в партии? Не в том ли, что пред ними раскрыты двери госбанка и центросоюза? Но для того, чтобы служить в центросоюзе, поистине не было надобности сперва подписывать платформу, а затем отрекаться от нее.

Алма-Ата, 20 августа 1928 г.

ИСТОРИЯ ВЫСЫЛКИ Л. Д. ТРОЦКОГО В ДОКУМЕНТАХ

Уже начиная с конца октября [1928 года] переписка Троцкого, его жены и сына, находившихся в Алма-Ате, была почти полностью приостановлена. Не доходили даже телеграммы о здоровье.

16 декабря уполномоченный ГПУ явился из Москвы к Троцкому и предъявил ему ультиматум: прекратить руководство работой оппозиции. Троцкий ответил на это следующим письмом ЦК и Президиуму Исполкома Коминтерна.

ЦК ВКП(б)
ИСПОЛКОМУ КОМИНТЕРНА

Сегодня, 16 декабря, уполномоченный коллегии ОГПУ Волынский предъявил мне от имени этой коллегии в устной форме нижеследующий ультиматум:

«...Работа ваших единомышленников в стране,— так почти дословно заявил он,— носит за последнее время контрреволюционный характер; условия, в которые вы поставлены в Алма-Ате, дают вам полную возможность этой работой руководить; ввиду этого коллегия решила потребовать от вас категорического обязательства прекратить вашу деятельность — иначе коллегия окажется вынужденной изменить условия вашего существования в смысле полной изоляции вас от политической жизни, в связи с чем встает также вопрос о перемене места вашего жительства».

Я заявил уполномоченному ГПУ, что могу дать только письменный ответ в ответ, в случае получения от него письменного же формулирования ультиматума ГПУ. Отказ мой от устного ответа вызывался уверенностью, опирающейся на все прошлое, что слова мои будут снова злостно искажены для введения в заблуждение трудящихся СССР и всего мира. Независимо, однако, от того, как поступит в дальнейшем коллегия ГПУ, не играющая в этом деле самостоятельной роли, а лишь технически выполняющая старое и давно мне известное решение фракции Сталина, считаю необходимым довести до сведения ЦК ВКП и Исполкома Коминтерна нижеследующее. Предъявленное мне требование отказаться от политической деятельности означает требование отречения от борьбы за интересы международного пролетариата, которую я веду без перерыва тридцать два года, т. е. в течение всей своей сознательной жизни. Попытка представить эту деятельность, как «контрреволюционную», исходит от тех, которых я обвиняю пред лицом международного пролетариата в попрании основ учения Маркса и Ленина, в нарушении исторических интересов мировой революции, в разрыве с традициями и заветами Октября, в бессознательной, но тем более угрожающей подготовке термидора. <...>

Теоретический разум и политический опыт свидетельствуют, что период исторической отдачи, отката, т. е. реакции, может наступить не только после буржуазной, но и после пролетарской революции. Шесть лет мы живем в СССР в условиях нарастающей реакции против Октября и тем самым — расчистки путей для термидора. Наиболее явным и законченным выражением этой реакции внутри партии является дикая травля и организационный разгром левого крыла. В своих последних попытках отпора открытым термидорьянцам сталинская фракция живет «обломками» и «осколками» идей оппозиции. Творчески она бессильна. Борьба налево лишает ее всякой устойчивости. Ее практическая политика не имеет стержня, фальшива, противоречива, ненадежна. Столь шумная кампания против правой опасности остается на три четверти показной и служит прежде всего для прикрытия пред массами подлинно истребительной войны против большевиков-ленинцев. Мировая буржуазия и мировой меньшевизм одинаково освящают эту войну: «историческую правоту» эти судьи давно признали на стороне Сталина.

Если бы не эта слепая, трусливая и бездарная политика приспособления к бюрократии и мещанству, положение трудящихся масс на двенадцатом году дик-

татуры было бы несравненно благоприятнее; военная оборона неизмеримо крепче и надежнее; Коминтерн стоял бы на совсем иной высоте, а не отступал бы шаг за шагом перед изменнической и продажной социал-демократией.

Неизлечимая слабость аппаратной реакции при внешнем могуществе состоит в том, что она не ведает, что творит. Она выполняет заказ враждебных классов. Не может быть большего исторического проклятия для фракции, вышедшей из революции и подрывающей ее.

Величайшая историческая сила оппозиции при ее внешней слабости в настоящий момент состоит в том, что она держит руку на пульсе мирового исторического процесса, ясно видит динамику классовых сил, предвидит завтрашний день и сознательно подготовляет его. Отказаться от политической деятельности значило бы отказаться от подготовки завтрашнего дня.

Угроза изменить условия моего существования и изолировать меня от политической деятельности звучит так, как если бы я не был сослан за 4000 километров от Москвы, в 250-ти километрах от железной дороги и примерно на том же расстоянии от границы пустынных провинций Китая, в местность, где злейшая малярия разделяет господство с проказой и чумой. Как если бы фракция Сталина, непосредственным органом которой является ГПУ, не сделала всего, что может, для изоляции меня не только от политической, но и от всякой другой жизни. Московские газеты доставляются сюда в срок от десяти дней до месяца и более. Письма доходят ко мне в виде редкого исключения, после месяца, двух и трех пребывания в ящиках ГПУ и секретариата ЦК. Два ближайших сотрудника моих со времени гражданской войны, тт. Сермукс и Познанский, решившиеся добровольно сопровождать меня в место ссылки, были немедленно по приезде арестованы, заточены с уголовными в подвал, затем высланы в отдаленные углы севера. От безнадежно заболевшей дочери, которую вы исключили из партии и удалили с работы, письмо шло ко мне из московской больницы 73 дня, так что ответ мой уже не застал ее в живых. Письмо о тяжком заболевании второй дочери, также исключенной из партии и удаленной с работы, было месяц тому назад доставлено мне из Москвы на 43-й день. Телеграфные запросы о здоровье чаще всего не доходят по назначению. В таком же и еще худшем положении находятся сейчас тысячи безукоризненных большевиков-ленинцев, заслуги которых перед Октябрьской революцией и международным пролетариатом неизмеримо превосходят заслуги тех, которые их заточили или сослали.

Готовя новые, все более тяжкие репрессии против оппозиции, узкая фракция Сталина, которого Ленин назвал в «завещании» грубым и нелояльным (недобросовестным), когда эти качества его еще не развернулись и на сотую долю, все время пытается через посредство ГПУ подкинуть оппозиции какую-либо «связь» с врагами пролетарской диктатуры. В узком кругу нынешние руководители говорят: «Это нужно для массы». Иногда еще циничнее: «Это — для дураков». Моего ближайшего сотрудника, Георгия Васильевича Бутова, заведовавшего секретариатом Реввоенсовета Республики во все годы гражданской войны, арестовали и содержали в неслыханных условиях, вымогая от этого чистого и скромного человека и безупречного партийца подтверждение заведомо фальшивых, поддельных, подложных обвинений в духе термидорианских амальгам. Бутов ответил героической голодовкой, которая длилась около 50 дней и довела его в сентябре этого года до смерти в тюрьме. Насилия, избиения, пытки физические и нравственные применяются к лучшим рабочим-большевикам за их верность заветам Октября. Таковы те общие условия, которые, по словам коллегии ГПУ, «не препятствуют» ныне политической деятельности оппозиции, и моей в частности.

Жалкая угроза изменить для меня эти условия в сторону дальнейшей изоляции означает не что иное, как решение фракции Сталина заменить ссылку тюрьмой. Это решение, как сказано выше, для меня не ново. Намеченное в перспективе еще в 1924 году, оно постепенно проводится в жизнь через ряд ступеней, чтобы исподтишка приучать придавленную и обманутую партию к сталинским методам, в которых грубая нелояльность созрела ныне до отравленного бюрократического бесчестия.

В заявлении, поданном нами Шестому конгрессу [Коминтерна], мы, отбросив клевету против нас, которая пятнает лишь ее авторов, снова подтвердили нашу несокрушимую готовность бороться в рамках партии за идеи Маркса и Ленина всеми теми средствами партийной демократии, без которых партия задыхается, окостеневает и крошится. Мы снова возвестили нашу незыблемую готовность словом и делом помочь пролетарскому ядру партии выровнять курс политики, оздоровить партию и Советскую власть дружными и согласованными усилиями без потрясений и катастроф. На этом пути мы стоим и сейчас. На обвинение нас во фракционной работе мы ответили, что ликвидировать ее может только снятие вероломно наложенной на нас 58-й статьи и восстановление нас в партии не как кающихся мнимых грешников, а как революционных борцов, не изменяющих своему знамени. И, как бы предвидя предъявленный сегодня ультиматум, мы писали дословно в «Заявлении»:

«Требовать от революционеров этого отказа (от политической деятельности, т. е. от служения партии и международной революции) могло бы только вконец развращенное чиновничество. Давать такого рода обязательство могли бы только презренные ренегаты».

Я не могу ничего изменить в этих словах. Снова довожу их до сведения ЦК ВКП и Исполкома Коминтерна, несущих полную ответственность за работу ГПУ.

Никогда мы не были так уверены в конечном торжестве защищаемых нами идей Маркса и Ленина, как сейчас[1].

Каждому свое. Вы хотите и дальше проводить внушения враждебных пролетариату классовых сил. Мы знаем наш долг. И мы выполним его до конца.

[После 16 декабря 1928 г.]

Месяц после отправки этого документа все оставалось внешним образом без изменений, если не считать еще более свирепой почтовой блокады и усиления слежки.

20 января тот же уполномоченный ГПУ явился в сопровождении многочисленных вооруженных агентов ГПУ на квартиру Троцкого и предъявил ему нижеследующее постановление ГПУ:

«Выписка из протокола Особого совещания при Коллегии ОГПУ
от 18 января 1929 г.

Слушали:

Дело гражданина Троцкого Льва Давыдовича по ст. 58-10 Уголовного кодекса по обвинению в контрреволюционной деятельности, выразившейся в организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против Советской власти.

Постановили:

Гражданина Троцкого Льва Давыдовича — выслать из пределов СССР.

20 января 1929 г.

Алма-Ата — Верно: Нач. Алмаатинского Окротдела ОГПУ».

Троцкий выдал уполномоченному ГПУ следующую расписку:

«Преступное по существу и беззаконное по форме постановление ОС при коллегии ГПУ от 18 января 1929 г. мне было объявлено 20 января 1929 г.
Л. Троцкий».

22 января Троцкий с женой и сыном были на автомобиле, затем на санях и снова на автомобиле отправлены под конвоем на станцию Фрунзе — 250 километров, оттуда по железной дороге в направлении на Москву. Еще в Алма-Ате Троцкий заявил уполномоченному ГПУ, что за границу его вообще не могут выслать против его желания, и в то же время категорически требовал указания предполагаемого места высылки. Только в районе Самары ему сообщили, что дело

[1] Выделенная фраза в рукописи вычеркнута. (Здесь и далее примечания публикатора.)

идет о Константинополе. Троцкий заявил, что, протестуя против высылки за границу вообще, он будет всеми доступными ему средствами сопротивляться высылке в Турцию. Это было по прямому проводу сообщено в Москву. Там, по-видимому, все было предвидено, кроме отказа Троцкого добровольно выехать за границу. Москва начала новые переговоры с заграницей. Тем временем особый поезд с Троцким и его семьей (из Москвы были в условиях глубокой тайны доставлены еще два члена семьи — прощаться) был переведен на глухую железнодорожную ветку в лесу и стоял там под метелями неподвижно 12 суток. Паровоз с вагоном отправлялся ежедневно за продуктами и обедом на ближайшую крупную станцию. Наконец 8 февраля новый уполномоченный ГПУ Буланов сообщил, что попытка Москвы добиться согласия на высылку Троцкого в Германию натолкнулась на категорический отказ германского правительства и что в силе остается поэтому решение о высылке в Турцию. На повторное заявление Троцкого, что он на границе заявит турецким властям о своем отказе следовать дальше, уполномоченный ГПУ Буланов ответил, что такое заявление ничего не изменит, ибо с турецким правительством вопрос согласован и на тот случай, если Троцкий откажется добровольно следовать в Турцию.

10 февраля особый поезд в составе нескольких вагонов, наполненных агентами ГПУ, доставил Троцкого в Одессу. Здесь предполагалась посадка на пароход «Калинин», но он замерз во льдах. Спешно был поставлен под пары другой пароход, «Ильич», в каютах которого еще царил в первые часы жестокий холод. Здесь руководство перешло к третьему уполномоченному ГПУ, Фокину. Троцкий заявил ему сперва устный протест, затем вручил нижеследующий документ:

«Уполномоченному ГПУ гр. Фокину.

Согласно заявлению представителя коллегии ГПУ Буланова Вы имеете категорическое предписание, невзирая на мой протест, высадить меня, путем применения физического насилия, в Константинополе, т. е. передать в руки Кемаля и его агентов.

Выполнить это поручение Вы можете только потому, что у ГПУ (т. е. у Сталина) имеется готовое соглашение с Кемалем о принудительном водворении в Турции пролетарского революционера объединенными усилиями ГПУ и турецкой национал-фашистской полиции.

Если я вынужден в данный момент подчиниться этому насилию, в основе которого лежит беспримерное вероломство со стороны бывших учеников Ленина (Сталина и К°), то считаю в то же время необходимым предупредить Вас, что неизбежное и, надеюсь, недалекое возрождение Октябрьской революции, ВКП и Коминтерна на подлинных основах большевизма даст мне раньше или позже возможность привлечь к ответственности как организаторов этого термидорианского преступления, так и его исполнителей.

12 февраля 1929 г.

Пароход «Ильич», при приближении к Константинополю.

Л. Троцкий».

Когда на пароход прибыл турецкий полицейский офицер, заранее предупрежденный из Одессы, что пароход везет Троцкого с семьей, Троцкий вручил ему следующее заявление на имя Кемаля:

«Его превосходительству г-ну Президенту Турецкой Республики

Милостивый государь!

У ворот Константинополя я имею честь известить Вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по собственному выбору и что перейти эту границу я могу, лишь подчиняясь насилию.

Соблаговолите, господин Президент, принять соответственные мои чувства.

12 февраля 1929 г. Л. Троцкий».

Турецкий полицейский офицер, как и предупреждал заранее уполномоченный ГПУ, сделал вид, что это его совершенно не касается. Пароход последовал дальше на рейд, и Троцкий после 22-дневного путешествия оказался в Турции.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В некоторых константинопольских газетах сообщается, будто в беседе с турецкими журналистами я сказал, что собираюсь 1) производить в СССР новую революцию; 2) строить четвертый Интернационал.

Оба эти утверждения прямо противоположны тому, что я сказал. Взгляды мои на эти два вопроса выражены в многочисленных речах, статьях и книгах.

С совершенным уважением,

22 марта 1929 г.

Л. Троцкий

ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б) И В ПРЕЗИДИУМ ЦКК

Совершенно секретно

История снова подошла к одному из великих поворотов. В Германии сейчас решается судьба немецкого пролетариата, Коминтерна и СССР. Политика Коминтерна ведет германскую революцию к гибели с такой же неизбежностью, с какой доведена была до гибели китайская революция, хотя на этот раз и с противоположного конца. Все необходимое на этот счет сказано мною в другом месте. Повторяться здесь нет смысла. Может быть, два-три месяца — в самом лучшем случае — остается еще на то, чтобы изменить гибельную политику, ответственность за которую лежит целиком на Сталине.

Я не говорю о ЦК, так как он по существу упразднен. Советские газеты, в том числе и партийные, говорят о «руководстве Сталина», о «шести указаниях Сталина», о «предписаниях Сталина», о «генеральной линии Сталина», совершенно игнорируя ЦК. Партия диктатуры доведена до такого унижения, когда невежество, органический оппортунизм и нелояльность одного лица налагают печать на великие исторические события. Безнадежно запутавшись в Китае, Англии, Германии, во всех странах мира, и прежде всего в СССР, Сталин, в борьбе за спасение личного дутого престижа, поддерживает сейчас в Германии политику, автоматически ведущую к катастрофе небывалого еще исторического масштаба.

Чтоб не создавать Сталину затруднений, доведенная до рабского состояния «партийная» печать вообще молчит о Германии. Зато много говорит о «троцкизме». Целые страницы снова заполнены «троцкизмом». Задача состоит в том, чтобы заставить поверить, что «троцкизм» есть «контрреволюционное» течение, «авангард мировой буржуазии». Под этим знаком созывается XVII партконференция. Совершенно ясно, что эта неизменная агитация преследует не какие-либо идеологические цели, а весьма определенные практические, точнее сказать, персональные задачи. Если кратко формулировать их, то придется сказать: на очередь поставлена туркулизация[1] политики по отношению к представителям левой оппозиции.

Через официальную политическую печать на Западе Сталин пустил разоблачения относительно замыслов белогвардейской террористической организации, скрыв в то же время эти факты от рабочих СССР. Цель напечатания разоблачений заграницей совершенно ясна: обеспечить Сталину алиби в его общем труде с генералом Туркулом. Имена Горького и Литвинова присоединены скорее всего для маскировки.

Вопрос о террористической расправе над автором настоящего письма ставился Сталиным задолго до Туркула: в 1924—25 гг. Сталин взвешивал на узком совещании доводы за и против. Доводы за были ясны и очевидны. Главный довод против был таков: слишком много есть молодых самоотверженных троцкистов, которые могут ответить контртеррористическими актами.

Эти сведения я получил в свое время от Зиновьева и Каменева после их перехода в оппозицию, притом в таких обстоятельствах и с такими подробностями, которые исключали какие бы то ни было сомнения в достоверности сообщений: Зиновьев и Каменев, как вы, надеюсь, не забыли, принадлежали к общей правящей «тройке» со Сталиным, стоявшей над ЦК: они были в курсе того, что было

[1] Троцкому сообщили, что бывший генерал русской армии А. В. Туркул (скончался в эмиграции в 1958 г.) планировал организовать на него покушение.

совершенно недоступно рядовым членам ЦК. Если Сталин вынудил Зиновьева и Каменева опровергнуть их тогдашние показания, никто этому не поверит.

Вопрос в 1925 году был снят; как показывают нынешние события — только отложен.

Сталин пришел к выводу, что высылка Троцкого заграницу была ошибкой. Он надеялся, как это известно из его тогдашнего запротоколированного заявления в Политбюро, что без «секретариата», без средств — Троцкий станет только беспомощной жертвой организованной в мировом масштабе бюрократической клеветы. Аппаратный человек просчитался. Вопреки его предвидениям оказалось, что идеи имеют собственную силу, без аппарата и без средств. Коминтерн есть грандиозная постройка, теоретически и политически совершенно опустошенная. Будущее революционного марксизма, а значит и ленинизма неразрывно связано отныне с международными кадрами левой оппозиции. Никакая фальсификация не поможет. Основные работы оппозиции изданы, издаются или будут издаваться на всех языках. Пока еще немногочисленные, но несокрушимые кадры имеются во всех странах. Сталин отлично понимает, какая грозная опасность — лично для него, для его фальшивого «авторитета», для его бонапартистского могущества — заложена в идейной непреклонности и упорном росте международной левой оппозиции.

Сталин считает: надо исправить ошибку. План его развертывается по трем каналам: во-первых, оглашены заграницей добытые ГПУ сведения о террористическом покушении на Троцкого, подготовляемом генералом Туркулом (в созданных для него Сталиным максимально благоприятных условиях); во-вторых, открыта «идеологическая» интернациональная кампания, которая должна завершиться резолюцией партийной конференции и Коминтерна: эта резолюция нужна Сталину как своего рода политический мандат на сотрудничество с Туркулом; в-третьих, руками ГПУ Сталин подбирает и подчищает с поистине зверским неистовством все подозрительное, ненадежное, сомнительное, чтоб обеспечить себя от контрударов.

Я, разумеется, не посвящен в технику предприятия: Туркул ли будет подбрасывать дело рук своих Сталину, Сталин ли будет прятаться за Туркула — этого я не знаю, но это хорошо знает кое-кто из Ягод, играющих роль посредников при несомненном содействии знаменитого «врангелевского офицера».

Незачем говорить, что планы и замыслы Сталина ни в какой мере и ни с какой стороны не могут повлиять на политику левой оппозиции и на мою в частности. Политическая судьба Сталина, развратителя партии, могильщика китайской революции, разрушителя Коминтерна, кандидата в могильщики немецкой революции, предрешена. Его политическое банкротство будет одним из самых страшных в истории. Вопрос идет не о Сталине, а о спасении Коминтерна, пролетарской диктатуры, наследия Октябрьской революции, о возрождении партии Ленина. Большинство чиновников, на которых опирается Сталин, в СССР, как и во всех секциях Коминтерна, разбежится при первых раскатах грома. Левая оппозиция останется верна знамени Маркса и Ленина до конца!

Настоящий документ будет храниться в ограниченном, но вполне достаточном количестве экземпляров, в надежных руках, в нескольких странах. Таким образом, вы предупреждены!

Кадыкей
4 января 1932 г.

ПИСЬМО В ПОЛИТБЮРО ВКП(б)

секретно

Я считаю своим долгом сделать еще одну попытку обратиться к чувству ответственности тех, кто руководит в настоящее время советским государством. Обстановка в стране и в партии вам видна ближе, чем мне. Если внутреннее развитие пойдет дальше по тем рельсам, по которым оно движется сейчас, катастрофа неизбежна. Нет надобности давать в этом письме анализ действительного положения. Это сделано в № 33 Бюллетеня, который выходит на днях. В другой

форме, но враждебные силы в сочетании с трудностями ударят по советской власти с не меньшим напором, чем фашизм ударил по немецкому пролетариату. Совершенно безнадежной и гибельной является мысль овладеть нынешней обстановкой при помощи одних репрессий. Это не удастся. В борьбе есть своя диалектика, критический пункт которой вы давно оставили позади. Репрессии будут чем дальше, тем больше вызывать результат, противоположный тому, на какой они рассчитаны: не устрашать, а наоборот, возбуждать противника, порождая в нем энергию отчаяния. Самой близкой и непосредственной опасностью является недоверие к руководству и растущая вражда к нему. Вы знаете об этом не хуже меня. Но вас толкает по наклонной плоскости инерция вашей собственной политики, а между тем в конце наклонной плоскости — пропасть.

Что надо сделать? Прежде всего возродить партию. Это болезненный процесс, но через него надо пройти. Левая оппозиция — я в этом не сомневаюсь ни на минуту — будет готова оказать ЦК полное содействие в том, чтоб перевести партию на рельсы нормального существования без потрясений или с наименьшими потрясениями.

По поводу этого предложения кто-нибудь из вас скажет, может быть: левая оппозиция хочет таким путем придти к власти. На это я отвечаю: дело идет о чем-то неизбежно большем, чем власть вашей фракции или левой оппозиции. Дело идет о судьбе рабочего государства и международной революции на многие годы. Разумеется, оппозиция сможет помочь ЦК восстановить в партии режим доверия, немыслимый без партийной демократии, лишь в том случае, если самой оппозиции будет возвращена возможность нормальной работы внутри партии. Только открытое и честное сотрудничество исторически возникших фракций, с целью превращения их в течения партии и их дальнейшего растворения в ней, может в данных конкретных условиях восстановить доверие к руководству и возродить партию.

Опасаться со стороны левой оппозиции попыток повернуть острие репрессий в другую сторону нет оснований: такая политика уже испробована и исчерпала себя до дна; задача ведь и состоит в том, чтоб общими силами устранить ее последствия.

У левой оппозиции есть своя программа действий как в СССР, так и на международной арене. Об отказе от этой программы не может быть, конечно, речи. Но насчет способов изложения и защиты этой программы перед ЦК и перед партией, не говоря уж о способах ее проведения в жизнь, может и должно быть достигнуто предварительное соглашение с той целью, чтоб не допустить ломки и потрясений. Как ни напряжена атмосфера, но разрядить ее можно в несколько последовательных этапов при доброй воле с обеих сторон. А размеры опасности предполагают эту добрую волю, вернее, диктуют ее. Цель настоящего письма в том, чтоб заявить о наличии доброй воли у левой оппозиции.

Я посылаю это письмо в одном экземпляре, исключительно для Политбюро, чтоб предоставить ему необходимую свободу в выборе средств, если б оно, ввиду всей обстановки, сочло необходимым вступить в предварительные переговоры без всякой огласки.

Принкипо, 15 марта 1933 г. Л. Троцкий

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ 1933 ГОДА

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ

Итак, на наших паспортах проставлены отчетливые и бесспорные французские визы. Через два дня мы покидаем Турцию. Когда мы с женой и сыном прибыли сюда — четыре с половиной года тому назад — в Америке ярко горело солнце «просперити». Сейчас те времена кажутся доисторическими, почти сказочными.

Принкипо — остров покоя и забвения. Мировая жизнь доходит сюда с запозданием и в приглушенном виде. Но кризис нашел дорогу и сюда. Из года в год на лето из Стамбула приезжает меньше людей, а те, что приезжают, имеют все меньше денег. К чему обилие рыбы, когда на нее нет спроса?

На Принкипо хорошо работать с пером в руках, особенно осенью и зимою, когда остров совсем пустеет, и в парке появляются вальдшнепы. Здесь нет не только театров, но и кинематографов. Езда на автомобилях запрещена. Много ли таких мест на свете? У нас в доме нет телефона. Ослиный крик успокоительно действует на нервы. Что Принкипо есть остров, этого нельзя забыть ни на минуту, ибо море под окном, и от моря нельзя скрыться ни в одной точке острова. В десяти метрах от каменного забора мы ловим рыбу, в пятидесяти метрах — омаров. Целыми неделями море спокойно, как озеро.

Но мы тесно связаны с внешним миром, ибо получаем почту. Это кульминационная точка дня. Почта приносит новые газеты, новые книги, письма друзей и письма врагов. В этой груде печатной и исписанной бумаги много неожиданного, особенно из Америки. Трудно поверить, что существует на свете столько людей, кровно заинтересованных в спасении моей души. Я получил за эти годы такое количество религиозной литературы, которого могло бы хватить для спасения не одного лица, а целой штрафной команды грешников. Все нужные места в благочестивых книгах предупредительно отчеркнуты на полях. Не меньшее количество людей заинтересовано, однако, в гибели моей души и выражает соответственные пожелания с похвальной откровенностью, хотя и без подписи. Графологи настаивают на присылке им рукописи для определения моего характера. Астрологи просят сообщить день и час рождения, чтоб составить мне гороскоп. Собиратели автографов уговаривают присоединить мою подпись к подписям двух американских президентов, трех чемпионов бокса, Альберта Эйнштейна, полковника Линдберга и, конечно, Чарли Чаплина. Такие письма приходят почти исключительно из Америки. Постепенно я научился по конвертам отгадывать, просят ли у меня палки для домашнего музея, хотят ли меня завербовать в методистские проповедники или, наоборот, предрекают вечные муки на одной из вакантных адских жаровен. По мере обострения кризиса пропорция писем явно изменилась в пользу преисподней.

Почта приносит много неожиданного. Несколько дней тому назад она принесла французскую визу. Скептики — они имелись и в моем окружении — оказались посрамлены. Мы покидаем Принкипо. Уже дом наш почти пуст, внизу стоят деревянные ящики, молодые руки забивают гвозди. На нашей старой и запущенной вилле полы были этой весной окрашены такого таинственного состава краской, что столы, стулья и даже ноги слегка прилипают к полу и сейчас, четыре месяца спустя. Странное дело: мне кажется, будто мои ноги немножко приросли за эти годы к почве Принкипо.

С самим островом, который можно пешком обойти по периферии в течение двух часов, я имел, в сущности, мало связей. Зато тем больше — с омывающими его водами. За 53 месяца я близко сошелся с Мраморным морем при помощи незаменимого наставника. Это Хараламбос, молодой греческий рыбак, мир которого описан радиусом примерно в 4 километра вокруг Принкипо. <...>

В библиотечном помещении зияют пустые полки. Только в верхнем углу, над аркой окна, продолжается старая жизнь: ласточки слепили там гнездо и прямо над британскими «синими книгами» вывели птенцов, которым нет никакого дела до французской визы.

Так или иначе, под главой «Принкипо» подводится черта.

Принкипо
15 июля 1933 г.

Л. Троцкий

ПЕРЕЕЗД ВО ФРАНЦИЮ

В феврале 1929 года мы прибыли с женой в Турцию. 17 июля 1933 г. мы выехали из Турции во Францию. Газеты писали, будто французская виза была выдана мне по ходатайству... советского правительства. Трудно придумать более фантастическую версию: инициатива дружественной интервенции принадлежала на самом деле не советской дипломатии, а французскому писателю Maurice Parijanine, переводчику моих книг на французский язык. При поддержке ряда писателей и левых политиков, в том числе депутата Guernot, вопрос о визе получил на этот раз благополучное разрешение. За четыре с половиной года моей третьей эмиграции не было недостатка в попытках и с моей стороны, и со стороны моих благожелателей открыть мне доступ в Западную Европу. Из отказов можно было бы составить изрядный альбом. На его страницах значились бы подписи социал-демократа Германа Мюллера, рейхсканцлера Веймарской республики, британского премьера Макдональда, в то время еще социалиста, а не полуконсерватора, республиканских и социалистических вождей испанской революции и многих, многих других. В моих словах нет и тени упрека: это только фактическая справка.

Вопрос о Франции встал после последних выборов, давших победу картели радикалов и социалистов. Дело, однако, заранее осложнялось тем обстоятельством, что в 1916 г., во время войны, я был выслан из Франции министром внутренних дел Мальви за так называемую «пацифистскую» пропаганду, на самом деле по настоянию царского посла Извольского. Несмотря на то, что сам Мальви был, примерно через год после того, выслан из Франции правительством Клемансо, опять-таки по обвинению в пацифистских происках, приказ о моей высылке продолжал сохранять свою силу. В 1922 г. Эдуард Эррио, во время первой своей поездки в Советскую Россию, прощаясь после любезного посещения военного комиссариата, спрашивал меня, когда я думаю посетить Париж. Я напомнил ему шутя о моей высылке из Франции. «Кто же теперь об этом вспомнит!» — ответил со смехом Эррио. Но учреждения имеют более твердую память, чем люди. Сходя с итальянского парохода в Марсельском порту, я подписал доставленное мне инспектором Sûreté Générale извещение об отмене приказа 1916 года: должен сказать, что давно уже я с таким удовольствием не подписывал официальных бумаг. <...>

Чтобы избежать каких-либо манифестаций и осложнений при высадке в Марселе, мои французские друзья решили выехать на моторной лодке навстречу пароходу в открытое море. Из этого простого замысла выросли новые осложнения. Владелец моторной лодки, почтенный г. Panchetti, которому не открыли заранее цель поездки, не спал всю ночь, ломая себе голову: зачем двум молодым людям выезжать на рассвете, без дам, в открытое море. Таких случаев еще в его практике не бывало. Между тем в эти самые дни шел в Тулоне процесс двух бандитов, убивших в море лодочника и овладевших его имуществом. Хоть и связанный задатком, г. Panchetti решил все же уклониться от опасного путешествия: в самый критический момент он заявил, что мотор отказывается работать. Найти в этот час поблизости другого лодочника не было никакой возможности. Только привлечение к делу инспектора Sûreté, удостоверившего мирные намерения обоих молодых людей, спасло положение. Лодочник покаялся в своих подозрениях и благополучно доставил пассажиров с парохода на берег, далеко от пристани. Два дожидавшихся нас здесь скромных «форда» были вскоре превращены прессой в два автомобиля исключительной мощности.

Те же газеты писали, что нас встречали в Марселе и сопровождали по Франции многочисленные полицейские. На самом деле, кроме инспектора, успокоившего лодочника, официально объявившего мне об отмене изгнания и тут же откланявшегося, мы не соприкасались ни с одним полицейским. Чтобы дать понять, какую привлекательность имело для меня путешествие по югу Франции в автомобиле, без надзора и охраны, отмечу, что, начиная с 1916 года, следовательно, в течение последних шестнадцати лет,— более старые периоды жизни оставляю в стороне,— я передвигался не иначе, как в сопровождении «охраны», дружественной или враждебной, но всегда охраны.

Но мы ни слова не сказали до сих пор о самом главном: о цели нашего путешествия во Францию. Во всяком случае этой целью не может быть ни медицинская помощь, ни богатые книгохранилища, ни другие блага французской культуры. Должна быть другая, «настоящая», тщательно скрываемая цель. На следующий день мы узнаем о ней из газет: путешествие во Францию предпринято... для свидания с Литвиновым. Я протираю глаза: с Литвиновым? Из тех же газет я впервые узнаю, что народный комиссар по иностранным делам находится на одном из французских курортов. Наиболее проницательные из журналистов не оставляют нас в неведении и насчет того, зачем собственно понадобилось это свидание. Оказывается, я за последнее время целиком нахожусь во власти мечты: умереть в России и быть похороненным в родной земле. Самому мне, правда, до сих пор казалось, что вопрос о том, где и как я буду похоронен, составляет наименьшую из моих забот. Фридрих Энгельс, в котором я привык видеть одну из наиболее обаятельных человеческих фигур, завещал сжечь себя, а урну со своим пеплом утопить в океане. Если что и удивляет меня в этом завещании, так не безразличие Энгельса к почве родного Вупперталя, а самый факт заблаговременных размышлений о том, как ликвидировать собственный прах. Почему именно в океане? Но проницательность прессы неумолима. Сегодня я снова читаю о моей попытке добиться через Литвинова и Сурица, советского посла в Турции, который также находится на курорте Royat, права вернуться в Советский Союз. Оба дипломата отказали, однако, мне в свидании начисто, и это явилось «самым страшным потрясением» моей жизни. Еще бы: Литвинова должна была не менее, чем меня, удивить мысль о том, что я мог пытаться именно через него вести переговоры о возвращении в Россию. Такие вопросы решаются в Москве исключительно в партийном порядке, а в аппарате партии Литвинов уже задолго до Октябрьской революции не играл никакой роли. При советском режиме он не выходил за рамки чистой дипломатии. Упоминание в этой связи Сурица является еще большим недоразумением. Вся эта история в целом — да простят меня проницательные журналисты — представляет собой образец патетической чепухи. Я не был в Ройа и не пытался видеться с Литвиновым. У меня не было ни малейших оснований для такой попытки.

Можно было бы написать поучительное исследование о тех сложных путях, какими истина прокладывает себе дорогу через прессу. Чтоб убить человека в современной войне, нужно изрядное количество тонн чугуна. Сколько нужно тонн типографского свинца, чтоб установить тот или другой факт? Ошибка прессы в данном случае в том, что она ищет загадки там, где ее нет. Мое отношение к нынешнему советскому правительству не составляет тайны: со времени моей высылки в Турцию я ежемесячно откликался в Бюллетене русской оппозиции (Берлин, Париж), как и в иностранной печати, на вопросы внутренней и внешней политики СССР. Вместе с моими единомышленниками я неоднократно заявлял в печати, что каждый из нас готов по-прежнему, на любом посту, служить советскому государству. Но сотрудничество с нами не может быть достигнуто путем отказа с нашей стороны от наших взглядов и от нашей критики. Между тем к этому сводится как раз весь вопрос для правящей группы. Она успела полностью израсходовать свой авторитет. Не будучи в силах обновить его через нормальный съезд партии, она нуждается все в новых и как можно более громких признаниях своей непогрешимости. Но именно этого она не может ждать с нашей стороны. Лояльное сотрудничество — да! Покрытие ее ложной политики перед общественным мнением Советов и всего мира — нет! При такой ясности взаимных позиций нет никакой надобности нарушать летний отдых народного комиссара по иностранным делам. <...>

11 августа 1933 г.

Публикация Ю. Г. Фельштинского.

Окончание следует

Критика

Л. Сараскина

ПРИМИРЕНИЕ НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

(РОССИЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ В БОРЬБЕ ЗА ВЛАСТЬ)

«Вот у нас все говорят: народ, народ, народ! Но мы страшно далеки от народа и дождемся того, что ждать от нас ничего не будут».

(Из выступлений на VII пленуме правления СП РСФСР)

Клятвенно заверяю, что своими заметками я не хочу оскорбить чью-либо душу, чьи-либо чувства. Больше всего на свете я не желаю, чтобы кто-нибудь, прочтя мною написанное, пришел в «конвульсивную ярость» и в этой ярости что-нибудь «наговорил, натворил, выкрикнул»[1]. Даю также честное слово — нет у меня в намерениях и в порядке ответного хода спровоцировать «хоть какой-нибудь скандальчик, погромчик». Не любитель я таких «инцидентов». Кроме того, настаиваю, что образное выражение С. Куняева «слюна течет от вожделения» ко мне не относится: уж какое там вожделение в нескончаемых литературных дрязгах — в горле пересыхает, и голова болит. Ни наносить «дьявольски продуманные оскорбления», ни «варить русофобскую похлебку» я не собираюсь — не умею.

А движет мною очень простая мысль, лишенная и тени коварства: почему на выборах в российские депутаты русские писатели потерпели сокрушительное поражение? Кто и что тому виной? Может, ошиблись все те, кто голосовал? А может наоборот? Все-таки странно, что Россия и ее народ отвергают целую когорту русских писателей и не хотят пропускать их к рулю власти. Странно и обидно и за народ (не любит он своего писателя), и за писателя (не любит его народ). Мне, конечно, могут возразить: это не тот народ или не тот писатель. Вот именно: во всем таком я и хочу разобраться. Ведь не зря сказано: «Воистину и ты виноват в том, что никто не хотел тебя слушать».

КТО НАРОД

Для начала совсем немного цифр. Передо мной «Литературная Россия» № 8 за 1990 г. Здесь опубликован список кандидатов в народные депутаты РСФСР — москвичей, поддерживающих платформу «За политику народного согласия и российского возрождения». В списке 61 (шестьдесят один) кандидат, среди них хорошо известные имена людей литературы, искусства, пропаганды: С. Рыбас, В. Бондаренко, И. Глазунов, В. Свининников, С. Куняев, А. Салуцкий, В. Клыков, Н. Дорошенко, Э. Сафонов, З. Володин, А. Казинцев и др. Еще передо мной «Московская правда» от 20 марта 1990 г. В ней сообщение окружных избирательных комиссий об итогах повторного голосования по выборам на-

[1] См. реплику С. Куняева, опубликованную в «Литературной России»: «Им нужно оскорбить нашу душу, нашу историю, наши чувства так сильно и больно, чтобы мы пришли в конвульсивную ярость, чтобы мы в ярости что-нибудь наговорили, натворили, выкрикнули» и т. д. («ЛР», 1990, № 13).

родных депутатов РСФСР от территориальных и национально-территориальных округов. Простое сопоставление двух газет показывает: уже на первом туре голосования потерпели поражение сорок четыре кандидата из шестидесяти одного. На втором туре из оставшихся смогли стать победителями только трое: 3 из 61. Ни один человек из приведенного выше именного списка не прошел.

Вряд ли С. Куняеву, В. Клыкову, Э. Сафонову или И. Глазунову, которые баллотировались во втором туре, нужна была какая-то особая агитация. Московский избиратель, подписчик периодики и телезритель, прекрасно знает этих кандидатов. И все-таки он, избиратель, голосовал против: тех москвичей, кто не хотел видеть данных московских деятелей литературы и искусства в Верховном Совете,— сотни тысяч [1].

Может быть, налицо махинации, поголовный обман избирателей, которые не поняли, кто Куняев и кто Сафонов? Нет, не обман, ибо другие десятки и другие сотни тысяч москвичей голосовали за этих людей [2]. Просто тех, кто за, было втрое меньше, чем тех, кто против.

Но не верит русский писатель своему народу-избирателю. Не верит в его добрую волю и право на предпочтение, видит вокруг лишь козни и интриги [3]. Да и народ ли это, тот ли это народ? У кандидатов в депутаты, поддерживающих программу «Народного согласия» и российского возрождения», есть на этот счет, по-видимому, серьезные сомнения.

Я хочу сослаться на одну любопытнейшую публикацию, которая, как мне кажется, отчасти проливает свет на сложный вопрос о народе — кто он такой и кого поддерживает. «Читатели о своем журнале» — так называется обзор ответов на анкету «Молодой гвардии» (1989, № 1), органа, также стоящего на платформе «Народного согласия и российского возрождения».

«Ответы на анкету,— сообщает сотрудник-социолог,— далеко вышли за рамки напечатанного и вылились в активную поддержку позиции журнала и его авторов на нынешнем этапе перестройки».

Не сомневаюсь, что у журнала с семисоттысячным тиражом есть читатели-единомышленники с многолетним стажем; что таких читателей гораздо больше, чем экземпляров журнала. Но это далеко не весь народ, как пытается нам внушить молодогвардейская социологическая служба [4].

Посмотрим, однако, как нечаянно происходит подмена; как категория «читатель журнала» переходит в категорию «народ».

«Читатели высказывают **сугубо народный взгляд** [5] на происходящее»,— читаем мы, а семью строчками ниже следует итоговый вывод: «Исследование убеждает в давней истине: **народ**, если и можно обмануть, то ненадолго. Затем следует прозрение, несущее «гроздья гнева» для политиканов». Под политиканами подразумеваются «экономисты и прочие специалисты», или, как их презрительно называет журнал, «прорабы перестройки», «толпой стоящие у трона».

Далее весь анализ строится только на одной оппозиции: читатели журнала или народ, с одной стороны, «прорабы» или чернь, окружившая трон,— с другой.

И вот как — с точки зрения предвыборной агитации, а также прогнозов избирательной кампании — выглядит основное социологическое предчувствие: «Ну признались бы народу «прорабы перестройки»: дескать, наломали дров, не такие мы большие ученые, за каких себя выдавали! Так нет же! Они, как ни в чем не бывало, опять выступают застрельщиками и передовиками, пытаются выхватить знамя России у тех, кому оно принадлежит по праву. **Вот уж этого народ-то и не терпит. Наступает час прозрения и презрения.** И чем больше эти обанкротившиеся политиканы мелькают на экранах телевизоров, чем сильнее лезут в душу, тем мощнее **реакция их отторжения у простых людей. Народ все яснее видит**, что «прорабы перестройки» преследуют свой эгоистический интерес, выдавая его за всеобщий. **Люди уже произвели свой политический анализ** ситуации и... имеют свое суждение о целях и методах «прорабов».

Если под «часом прозрения и презрения» имелись в виду предстоящие выборы, а под «прорабами» — кандидаты «Демократической России», то социологам «Молодой гвардии» можно только посочувствовать: опять народ обманул их ожидания или обманулся сам, поверив «застрельщикам». Во всяком случае, читатели «Молодой гвардии» перешли из категории народа в категорию избирателей, оставшихся в меньшинстве.

Нельзя сказать, что в «Молодой гвардии» даже и не подозревают о существовании среди «народа», «простых людей» и «честных тружеников» лиц другой политической ориентации. Почти со вздохом исследователь-социолог признает их наличие, но, используя спортивную терминологию (не находится других слов!), называет своих политических противников «фанатами» «Огонька». Это нехорошая категория читателей. Хотя таких «всего шесть процентов», они, по описанию социолога, чрезвычайно агрессивны и подозрительны, не терпят вопросов о национальной принадлежности, наперебой уличают «Молодую гвардию» в антисемитизме и юдофобстве, требуют сменить главного редактора, распустить редколлегию и набрать новую. Конечно же, согласно демографическим представлениям журнала, «фанаты» «Огонька» — это не народ или народ испорченный. На него нет смысла опираться, ибо «идейная ориентация «прорабов» зеркально отражается в их фанатичных сторонниках».

[1] Против С. Куняева голосовало 44 659 избирателей, против Клыкова — 35 190; против Сафонова 40 426; против Глазунова 409 955.

[2] За Куняева голосовало 19 261 избиратель; за Клыкова — 11 237; за Сафонова 14 945; за Глазунова 146 941.

[3] Так, не поверил в результаты голосования именно С. Куняев и подал жалобу в центральную избирательную комиссию; дескать, его соперник, М. Г. Астафьев, нарушил правила предвыборной кампании. После рассмотрения жалобы комиссия, однако, сочла поражение С. Куняева справедливым: никаких нарушений не обнаружилось.

[4] Вопреки существующей практике журнал не дает число полученных ответов, поэтому не ясно, скрываются ли за словом «читатели» десятки, сотни, тысячи или миллионы людей.

[5] Здесь и далее в цитатах подчеркнуто мной.— **Л. С.**

Иное дело «тот народ, который любит «Молодую гвардию».

Для такого народа «Молодая гвардия» (как и «Наш современник», «Москва») — «подлинно народные журналы». Позиция журнала, «четко выраженная, **народная, патриотическая, нравственная...** во все века необходима **нашему** народу, а в настоящее время особенно».

Народ, по мнению социослужбы «МГ», — это те, кто считает, что взгляды, оценки, подходы журнала «принципиальны и высоконравственны», а позиция «порядочная», «позиция гражданина Отечества».

У народа молодогвардейской ориентации свое, особое отношение к другим читателям, на него непохожим, с ним несогласным: «по отношению к журналам «Молодая гвардия» и «Наш современник» мы определяем порядочных людей» (от социологов «МГ», по-видимому ускользнула двусмысленность заявления).

И вот «фанаты» «Огонька» одерживают убедительную победу над читателями «Молодой гвардии». Народы России делают свой выбор в пользу тех, кто, если верить «МГ», одержим русофобией, космополитизмом, кто противопоставил ценности демократические ценностям национально-патриотическим. Социологическая картина резко меняет свои знаки: народом оказывается свободно сделавшее выбор и проголосовавшее большинство, а читатели «Молодой гвардии» — группой поддержки проигравшего соперника.

Не буду утверждать, что победителей не судят и что большинство всегда право. Отнюдь: но когда большинство заявляет свою **свободную волю**, есть смысл пристальнее вглядеться в суть волеизъявления. Иными словами, вопрос все тот же — о народе и его писателях, добавлю лишь один новый оттенок: понимает ли писатель, за что не любит его народ? Разбирается ли в истинных причинах своего поражения?

ПРИХОТИ ДЕМОКРАТИИ

Сразу после подведения итогов первого и второго туров голосования «Литературная Россия» стала публиковать возмущенные отклики под общей рубрикой «Гримасы демократии». Не понравились газете столь плачевные результаты — с треском провалились все без исключения ее постоянные авторы и даже главный редактор. Однако что любопытно: **народ как таковой и как субъект избирательной кампании уже не упоминался:** не могла газета, считающая себя народной, виноватить в своем поражении сам народ. Виноватыми оказались другие.

Направляя «жалобные» письма в многочисленные инстанции — от Горбачева до прокуратуры РСФСР, российские кандидаты из «Народного согласия» объясняли свою акцию так: «На этот крайний шаг нас, советских патриотов, толкает острая озабоченность и тревога за судьбы Родины, социализма и советского трудового народа в связи с разгулом деструктивных мафиозных сил в РСФСР, нагло попирающих все человеческие законы в борьбе за захват власти в условиях растерянности и беспомощности советского руководства при возможном предательстве некоторых его членов».

При этом соперники-демократы квалифицировались (накануне второго тура голосования!) как сторонники плутократии, «теневой» экономики, мафии и других деструктивных сил, заключивших политический союз в оголтелой борьбе за власть, чтобы отобрать ее у бюрократии (командно-административной системы) и не допустить к ней трудящиеся массы... [1].

Я не хочу сейчас обсуждать вопрос о том, насколько красиво «стучать» в прокуратуру на своего соперника в разгар выборов. Меня интересует другое—среди кого искали главного вредителя? Во-первых, пришлось разочароваться в народе: соотечественник оказался слаб, подвержен русофобской пропаганде и проявил плохое классовое чутье.

Он, соотечественник, выбрал в депутаты «всего одного рабочего, не выбрал ни одного писателя... зато в народные депутаты легко прошел кооператор А. Тарасов» (цит по: «ЛР», 1990. № 13). Но главная заноза была не в народе, и даже не в «возможном предательстве» некоторых членов советского руководства. Процитирую еще один замечатель-

[1] «Литературная Россия», 1990, № 12. Любопытно, что среди подписавших обращение к начальству были только те литераторы, кто уже успел провалиться в первом туре, как-то: А. Казинцев, Т. Пономарева, С. Рыбас, С. Лыкошин. Те же, кому еще предстояло бороться во втором туре, на всякий случай осмотрительно от подписей воздержались.

ный пассаж. «Есть, однако, помимо всего прочего,— сообщает газета,— факт просто потрясающий. Мог ли кто вообразить себе в канун выборов, что народными депутатами России, Федерации со 150-миллионным населением, станут пять представителей одного трудового коллектива? А ведь такое случилось. И речь вовсе не о таких гигантах, как ЗИЛ или «Серп и молот». Речь даже не о многотысячном коллективе МГУ, он дал двух депутатов. Речь идет о некоей скромной редакции, а именно о еженедельнике «Аргументы и факты»!

Эта прихоть демократии, по которой несмышленый народ так безоглядно доверяет свою судьбу «непатриотическому» изданию и клюет на его сотрудников, была самой болезненной, самой жестокой неудачей сторонников «Народного согласия», своего рода общественной пощечиной.

И опять же: в моих размышлениях нет, я это утверждаю, ни тени злорадства. Пытаясь прочертить рисунок политического поведения лидеров «Народного согласия» и понять логику российского поэта-писателя в ситуации поражения, я лишь хочу уловить тот момент, когда хоть кто-нибудь из них, литераторов-кандидатов, устанет от поиска врагов-вредителей и задумается о своей непопулярности у народа всерьез.

Такой момент настал на VII пленуме правления СП РСФСР, состоявшемся на следующий день после 18 марта, даты повторных выборов. Из шестидесяти писателей, выступивших на пленуме, пятьдесят пять вопрос о выборах благополучно обошли. Судя по речам остальных пяти литераторов, трудно сказать, что они достойно встретили свое поражение. Победа «Демократической России» представилась как почти антигосударственный заговор, который вот-вот потрясет все здание до основания. Диапазон виновников чрезвычайно расширился; звучали страшные рассказы о том, как людей нанимали за деньги для агитационной работы и для дежурства на избирательных участках, как спаивали вином избирателей едва ли не возле самих урн.

«Взяли имя нашей России, имя нашей демократии и под этим именем буйствовали на выборах»[1],— гневался, например, В. Чикин на соперников. Но уже А. Салуцкий решил махнуть рукой на мелкие подробности избирательной кампании и посмотреть в корень проблемы. «... Необходимо **заново и поровну переделить** средства массовой информации между различными общественно-политическими течениями, что сразу смягчит обстановку в обществе. Ибо яковлевский газетно-журнальный передел восемьдесят шестого года был сугубо административным, волевым, нарушившим равновесие в обществе. Он дал фору одним за счет других. **Невиданное для цивилизованного мира комичное** избрание трех ведущих телепрограммы «Взгляд» и половины редакции «Аргументов и фактов» народными депутатами окончательно обнажило гримасы и несчастья нашей молодой демократии, оказавшейся заложницей тех, кто завладел монополией на печать и телевидение»[2].

Говорят, женщины-игроки особенно тяжело переживают свой проигрыш. По-видимому, это так и есть: не прошедшая и первого тура выборов В. Г. Брюсова, искусствовед, значительно расширила круг вредителей, загубивших избирательную кампанию. Оказалось, что возлюбленный наш русский (российский) народ, не послушный ни голосу разума, ни зову сердца, ни агитации родных российских кандидатов, внимал только вражеским западным голосам («Свободе»), которые и подсказывали ему, кто есть кто, и учили «правильной демократии», и предопределили выбор. Во всяком случае, по заключению искусствоведа, «выборная кампания, проведенная по рецептам «западной демократии», вылилась в очередной обман народов, и не только российских. К управлению Россией готова приступить шайка политических гангстеров, приведенная к власти нашими беспринципными политиканами и не без помощи дядюшки Сэма».

Горе побежденным! Особенно тогда, когда в своем негодовании они теряют даже и эстетический вкус.

Итак, самое время подвести некоторые моральные итоги борьбы за российскую власть.

Во-первых (цитирую В. Г. Брюсову): «В борьбу вступили наши лучшие силы, буквально — цвет российской интеллигенции, и среди них немало известных и уважаемых писателей, поэтов, литературных критиков».

Во-вторых: народ, то есть избиратель, отверг «наши лучшие силы», несмотря на всю их известность.

В-третьих: «цвет российской интеллигенции», едва проиграв, рассылает жалобы на соперников в органы Прокуратуры, а самих соперников, теперь ставших российской властью, именует гангстерами, шайкой авантюристов и т. п., забывая, между прочим, что их выбрал «сам» народ.

В-четвертых: «немало известных и уважаемых писателей, поэтов, литературных критиков», пытаясь объяснить и как-то оправдать свое поражение, пошли привычным традиционным путем: найти и обезвредить противника, виновного во всех бедах.

В-пятых: никто «из известных и уважаемых» (за малым исключением, речь о котором впереди) не смог произнести простых и понятных слов: виноваты сами.

[1] «Литературная Россия», 1990, № 12. Здесь и далее материалы VII пленума правления СП РСФСР цитируются по «ЛР», 1990, №№ 12, 13.

[2] Хотелось бы все-таки возразить А. Салуцкому по крайней мере в одном пункте: что тут комичного? Сотни тысяч избирателей (тот самый народ), очень хорошо зная троих ведущих «Взгляда», а также чрезвычайно уважая газету «Аргументы и факты», как раз и проголосовали за них. Уверен ли А. Салуцкий, что, появляйся он на экранах телевизоров так же часто, как, скажем, А. Политковский, его дела на выборах были бы лучше?

КОНЦЕПЦИЯ ВЛАСТИ: НАД УМАМИ ИЛИ НАД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Малое исключение — это на самом деле два литератора. Первый из них, В. Крупин, произнес речь поучительную, для «заединщиков» не характерную, для пленума — из ряда вон выходящую. Прислушаться бы к его словам.

«Мы без конца оправдываем свои недостатки тем, что еще только учимся демократии. Но зачем ей учиться, когда есть обыкновенная человеческая порядочность!»

«Нас не слушают? Значит, мы плохо говорим. Говорим: «Все захвачено кругом». Но нам тоже дают возможность публиковаться! Значит, плохо пишем».

«Мы без конца занимаемся как бы доносами — все пишем в правительство, все просим. Уж если обращаться, то прямо к народу».

«Мы — организация творческая, наше дело, повторяю, нравственность! А какие же образцы нравственности мы, совесть народа, демонстрируем?»

«А мы все клянемся в любви к народу, а от народа все дальше и дальше уходим».

Странно и чудно было читать в «Литературной России» такие признания. Удивительно, что произнесены они не извне, а изнутри «Народного согласия и российского возрождения». Важно, что не читатель, а писатель **сам** сказал о себе и своих собратьях: «Кому что удастся написать на этой грешной земле, тот тем и останется. И ведь как раз бездарности ввязываются в политические игры. Талантливый человек шарахается от политики и политических драк».

Однако В. Крупин с его покаянным порывом и принципом неучастия писателя в политике остался среди своих единомышленников в полной изоляции. Все остальные были или идеологами борьбы, или стратегами, или тактиками — независимо от величины таланта.

В полном смысле слова уникальным было выступление В. Бондаренко. В его признании тотального поражения («мы... проиграли везде, где могли») ощущался размах игрока, далекого от сентиментальных призывов плюнуть на политику. Его аналитический разбор ситуации был откровенен — в стиле «карты на стол». Сам В. Бондаренко использовал, правда, шахматную терминологию, когда объяснял причины перманентного проигрыша. «Мы постоянно проигрываем, мы теряем нашу российскую молодежь, теряем российскую народную интеллигенцию, **потому что мы всегда играем черными...»**

По-моему, В. Бондаренко в порыве самоанализа выдал тайны своей партии. Я-то думала, что национал-патриотическая тенденция защиты чести и достоинства И. В. Сталина, а также обеления сталинизма входит в число тех самых неколебимых принципов, пусть и догматического свойства, но зато идущих от сердца и совести. Оказалось, это игральная карта не той масти или (по В. Бондаренко) черная фигура. «Попытки защитить диктатуру антинациональных сил приводят к последовательной потере уважения к Союзу писателей России у русского и других народов». А поэтому: «Это мы, российские писатели, должны были начать кампанию десталинизации», то есть сыграть **белыми...**

Я-то думала, что именно патриотические лозунги — основа основ партии «Народного согласия и российского возрождения», которая термин «демократия» приемлет только в кавычках или с нехорошими прилагательными. Оказалось: ничего подобного — тактическая ошибка, не та пешка. «Это **наш** национальный лозунг (т. е. демократия.— **Л. С.**), и отдавать его разного рода экстремистам, начисто лишенным демократического сознания,— одна из наших глобальных ошибок... Из-за этого мы потеряли и теряем миллионы голосов избирателей и читателей». А поэтому: «Это мы, российские писатели, должны были написать на собственном знамени: «Демократическая Россия».

Я-то думала, что альянс «Народного согласия» с партаппаратом проистекает от глубокой привязанности национал-патриотов к «родной Коммунистической партии, которая...» и т. д. Оказалось, тактический прием, к тому же себя не оправдавший («наши лидеры искренне считают, что нам поможет контакт с партаппаратом»). «Теряя поддержку у народа, мы опираемся на партийные коридоры власти, а они громогласно предают нас оптом и в розницу». А поэтому: «Это мы, российские писатели, должны были»...

Итак, перед нами новая шахматная композиция.

Фигуры черные. Российские писатели «робко следуют очередным указаниям

Пленума ЦК КПСС»; союз писателей России занимается «дурной» политикой, состоит в блоке с партаппаратом, нелепо переиначивает столыпинскую фразу в «Платформе патриотических сил». Руководство СП РСФСР не отвечает за свои действия, не выполняет собственных решений, «подставляет» людей.

Фигуры белые. Расторжение союза с партаппаратом. Отказ от дурной политики и старых идеологических догм; полная деидеологизация патриотического движения. Отказ от сектантства. Признание многопартийности. Объединение российской культуры и ее деятелей под одним знаменем: любовь к России. Независимость писателей России от любых общественных и партийных структур.

«Хватит играть черными,— завершает свою программу В. Бондаренко.— Россия должна играть белыми».

Здесь мне бы хотелось сделать ряд уточнений. **С кем** Россия должна играть белыми (или черными)? Кто противник? Кого имеет в виду В. Бондаренко, когда говорит: «Мы постоянно проигрываем»? И с другой стороны: кто должен играть белыми? «Мы», т. е. единомышленники В. Бондаренко, или Россия? Или же это одно и то же? Но как же быть с российским избирателем, игравшим за другую команду? Или они не Россия?

В. Бондаренко лукавит, когда во всеуслышание провозглашает отказ от политики.

«Мы» должны играть белыми — это и есть самое пекло политики: ставка только на беспроигрышные варианты. Не так уж, оказывается, оно и страшно: поступиться принципами, если нужно отыграться. Я, признаться, сочувствую В. Бондаренко, мне понятны его раздражение против черных фигур и его досада. Смущает одно: а ну как опять фигуры поменяются местами, и сегодняшнее белое опять станет черным? Что будет со стратегией и тактикой, что будет с политиками и писателями? Волнует и другое: если игрок начинает ходить фигурами противника, то он играет как бы ЗА него, а не ПРОТИВ него. Если демократические ценности не противопоказаны патриотам (так же, как и демократам не противопоказаны ценности патриотические и национальные), то где же проходит барьер, отчего вражда? Если и тем и другим нет дела до дурной политики, а есть дело до счастливой и свободной России, то в чем вопрос? Да и кто же играет в духовное и нравственное возрождение России, коль скоро оно — главная белая фигура В. Бондаренко? Почему не МЫ и ОНИ вместе?

Думаю, потому, что, к сожалению, на втором месте почти всегда Россия. А на первом почти всегда МЫ: право первородства.

«МЫ» — ПЛАТФОРМА

Авторы предвыборной платформы «Народное согласие и российское возрождение» выступают в роли спасителей Отечества... Мы знаем, кто во всем виноват!.. Мы знаем, куда надо идти!.. Мы знаем, где истина и как ее искать! Мы, а не другие какие-нибудь! Просим не путать!

Ни вопиющие противоречия платформы патриотических сил, ни предельная идеологизация их политической программы, ни ее агрессивная энергия («пора прекратить», «никто не имеет права», «не позволим» и т. п.) так не настораживают, как это «мы», «нам», «наше».

Где, к примеру, были эти «МЫ», когда один за другим режимы загоняли страну в тупик, унижали и разворовывали ее? Правильно: кто где. Но теперь, когда об этом хоть сказать можно, «МЫ» собрались вместе и, крича «Отечество в опасности!», предают анафеме день сегодняшний, а не минувший, то есть ту самую демократию, которая обеспечила им возможность быть в патриотическом блоке.

Среди «МЫ»-идеологов, если судить по подписям в программных документах патриотического блока, есть и писатели, и экономисты, и публицисты. Задумался ли кто-нибудь из них о цене, хотя бы приблизительной, того пути выхода из кризиса, которым якобы располагает блок? Я имею в виду самый вроде невинный пункт — вывести столицу страны за пределы Москвы, отдав город в ведение Советской России. Каких же еще трудовых свершений и лишений потребует от людей труда, за чьи интересы ратует блок, и прежде всего от российских людей, чтобы где-то в другом месте построить новую столицу страны, со всеми дворцами съездов, представительствами и посольствами. Вчитываясь в текст платформы, я все больше проникаюсь ощущением, что судьбы «простых тружеников» не слишком заботят «МЫ»-патриотов. Простой труженик, сколько он живет и трудится в Советском государстве, столько и слышит о трудовом подвиге во имя высоких целей, например, коммунизма или первого места в соревновании систем. «Нам нужна великая Советская Россия! Россия всегда была и останется мировой державой! Она сделает все, чтобы таким был и остался Советский Союз»,—провозглашает патриотический блок. То есть опять людям труда, полуголодным и нищим, предлагают гордиться общественным строем, богатством полезных ископаемых и огромностью территории; опять рекомендуют быть патриотами великой державы; опять вместо сносных условий существования людям сулят радости национального высокомерия и комчванства. Как говорил классик: здесь столько любви к народу, «сколько в спичке яду».

Сколько чернил и бранных слов было истрачено в спорах о пресловутых «детях Шарикова» и «внуках Швондера». Сейчас я хочу воздержаться от употребления притяжательных прилагательных. Меня интересует сам основополагающий принцип идеологии и политики патриотического блока: все поделить поровну.

Союзу писателей нужна одна «Литературная газета» для всех союзных республик, один журнал «Дружба народов». Все остальные органы печати — от «Нового мира» до «Юности» — должны принадлежать России...» — это из программной речи В. Бондаренко.

«Мы требуем справедливого перераспределения в пользу России печатных средств массовой информации, которое соответствовало бы материально-экономическому вкладу РСФСР в бумажный фонд «страны» — это из «Письма писателей России» к властям («ЛР», 1990, № 9).

«Ограничить на российской территории союзное вещание, которому оставить время информационных передач, и создать Гостелерадио РСФСР... Мы против так называемых «личных» средств массовой информации... Народное хозяйство Советской России основано на общественной собственности. Этот выбор сделан в 1917 году самим народом, и никакой парламент, никакое правительство не правомочны его изменить» — это из платформы блока.

Программа выхода из кризиса, предложенная идеологами «МЫ»-платформы, в которой житель Советской России будет «хозяином» общественной собственности и не позволит богатеть соседу («а паразиты — никогда»); в которой для россиянина окажутся под запретом не только западные, а уже и союзные источники информации; в которой все толстые журналы, кроме «Дружбы народов», станут, как «Молодая гвардия»,— такая программа не показалась особенно «светлой» российскому избирателю. Ответственность же за то, что высокая и прекрасная идея российского возрождения прошла мимо россиян, целиком лежит на российских писателях, идеологах «МЫ»-платформы.

«НЕ МЫ, А НАС»

Дело в конце концов не только в платформе. Главные ее идеи вырабатывались в многочисленных литературных дискуссиях, прорастали в стихах и беллетристике, апробировались в журнальной публицистике, концертных залах и на стадионах. Не рискуя сильно преувеличить, выскажу предположение: самое заметное, вызывающее, скандальное в программе патриотических сил — это ее разоблачительный, обвинительный пафос, это неустанные, самозабвенные и яростные поиски Основного Виновника Всех Бед.

Писатели России не любят, когда им напоминают о «Памяти», сравнение с этой организацией их раздражает, а то и приводит в негодование. «Провокационно раздувается жупел «Памяти», которую выдают за могущественно-агрессивную силу — нечто вроде гитлеровского абвера, хотя речь идет, по сути, о нескольких маскарадных фигурах, которые во всех случаях **не могут быть признаны выразителями мировоззрения целого народа**»,— пишут писатели России в письме к властям.

И еще отсюда же: «Глубоко провокационно и назойливое стремление «слить» СП РСФСР с ряжеными крикунами из тщеславного крыла «Памяти»—несколькими «присяжными» манифестантами».

Я совершенно согласна с обоими утверждениями: конечно, «Память», слава Богу, не выражает мировоззрение целого народа, и крикуны на ее митингах — это пока не члены СП РСФСР. Но, стараясь не быть назойливой, я все же очень кратко прослежу за развитием одной не совсем музыкальной темы.

Цитирую программу «Памяти», опубликованную в газете «Энергетик» (1990, 18 января). «... Есть одна национальность, которая имеет больше прав, чем остальные. Это — евреи, «ассимилированные» евреи и породненные с евреями лица». Итак, совершенно ясно, «кому на Руси жить хорошо». И далее: «А кто был у власти? Евреи. Они же занимали доминирующее положение и во времена И. В. Сталина... Особенно широко евреи занимали столь большое количество ответственных постов в те годы, на них лежит пропорциональная доля ответственности за репрессии культа личности, за раскулачивание, уничтожение интеллигенции, голод 1931—1933 гг., за огромные потери в годы Великой Отечественной войны и т. д. А поскольку они доминировали в науке, средствах массовой информации, высших руководящих органах в годы застоя, на них лежит пропорциональная доля ответственности и за сам застой. В том числе за алкогольный геноцид народа».

Виновник назван. Но разве не этот же виновник обличается идеологами «Народного согласия»? Разве не о «Малом народе» как об источнике зла писал, например, И. Шафаревич? Или В. Белов в романе «Все впереди»? Разве не наполнены процентами евреев и неевреев публицистические выкладки «Молодой гвардии» и «Нашего современника»? Разве не в «Письме писателей России» идет речь о том, что сокрытие национальной принадлежности, и, напротив, спекулирование ею (ее льготным статусом), и национальное самозванство (маскировка под чужим именем) «обеспечивают в итоге свободу от исторической ответственности, а тем паче от того национального «покаяния», которое вымогают у других народов страны, в первую очередь у русского народа»? Да, литераторы-патриоты, члены СП РСФСР не являются членами «Памяти». Но зафиксированные в многочисленных текстах и стенограммах их выступления по поводу «Малого народа» ни в чем, ни в букве, ни в духе, не отличаются от уставного документа «ряженых крикунов».

Виноваты во всем НЕ МЫ — таков пафос «МЫ»-платформы. НАС оскорбляют, НАС угнетают, НАС разоряют, НАС готовы запродать, растащить, распылить. Как же не доверяют патриоты своему народу, представляя его несмышленым дитем, младенчески невинным и недееспособным!

Что же можно ожидать от народа, который десятилетиями позволял, чтобы «НЕ ОН, а ЕГО»? Откуда взять ему силы, ему, невинному, хилому, не умеющему себя защитить? Да полно: об этом ли народе идет речь? «Письмо писателей России» завершается призывом: «Несмотря на все беды, угнетение, унижение... ежедневно помните, что мы, русские, — высокоталантливый, геройски отважный, знающий радость осмысленного, созидательного труда, могучий духом народ». Но как же такой народ допустил, чтобы его почти столетие угнетала другая нация, малочисленная и не коренная? Значит, татар одолели, шведов проучили, французов прогнали, фашистов-германцев разгромили, а *этих* все терпим?

И кочует по газетам и журналам оскорбительное для русского человека, столько раз воевавшего, столько раз победившего, унизительное клеймо «НЕ МЫ, а НАС», припечатывая великоросса и в прозе, и в стихах.

И думают изобретатели патриотической идеологемы, что именно она вдохновит россиянина на подвиг, подымет на святое дело...

И творит поэт легенду...

Не мы заблудились,
А нас заблудили.
Не мы оступились,
А нас обступили,
Убили,
С землею сровняли,
Собой подменили...

И ловит поэт врага:

С дороги,
Эй, вы, уловители душ,
Хитрословы!
У коней у наших,
Как в сказке,
В алмазах подковы.
Убили?
Ан нет, не убили.
Герой на коне
Возродился
Из праха и пыли.
И мир удивляется чуду,
От счастья хмелея,
А всадник
Копьем поражает
Поганого змея[1].

Но поэтический жанр, особенно со сказочными мотивами, вместителен и безответствен: можно придумать лирического героя, можно вообразить змея-врага, а потом в порядке чуда поразить его и даже захмелеть.

Можно из литературного противника сделать врага страны и мира, христопродавца:

Стало трудно дышать на свете.
Как бы нам совсем не
пропасть —
Ополчились Арбата дети
На тебя, Советская власть!
. . . .
Чтоб страна в состоянье
скотское
Впала, злобою налита,
Ждут теперь воскрешенья
Троцкого
Больше, чем самого Христа[2].

Слабовольный девиз «НЕ МЫ, а НАС», проникая в сознание литератора-патриота (то есть члена патриотического блока), рождает не только сказочные, но и детективные образы, возбуждает «патриотическую» подозрительность и национальную бдительность.

«Диверсия» — так символически называется поэтическая декларация, помещенная в «Нашем современнике» (1990, № 3). Впечатление — будто наняли средней руки пародиста и он быстренько зарифмовал что-нибудь из выступлений С. Куняева или Т. Глушковой. Но это, увы, не пародия. Это стихи серьезные.

...Откуда опять нанесло и
нагнало
Нахальных и ветреных птиц?
Свободы им мало,
И денег им мало,
И мало продажных девиц.
Взывают они к трудовому
народу,
Всегда презиравшие труд,
Едят нашу кашу и пьют
нашу воду,
А песни не наши поют...

[1] В. Гончаренко. Мы многое можем. «Литературная Россия», 1990, № 2.
[2] И. Савельев. Защити себя, Революция! «Молодая гвардия», 1990, № 2.

Кто такие «нахальные и ветреные птицы», каков их социальный статус (национальный ясен из выше приведенных строк), разъясняется в другой части стихотворения:

...Не дремлет и враждебная
прослойка:
Везде гудит, скрежещет и
трещит —
Не просто так дается
перестройка.
Никак с концами не сведем концы,
Огни неясно видимы в тумане:
Не зря объединились подлецы
И держат кукиш в собствен-
ном кармане.
Втихую сыплют в шестерни
песок,
Внедряют лжепроекты водовода.
У них отняли лакомый кусок,
И наплевать им на судьбу
народа.
Их в пору обличать через пе-
чать,
Громить из телерадиоорудий.
«Отечество в опасности!» —
кричать.
Но там сидят
Пока
Другие люди...

Обличать, громить и кричать не самое, конечно, главное в поэтическом деле; поэт-обличитель, поэт-громила и поэт-крикун, согласимся, все-таки малоприятное зрелище. Другое дело, когда этим занимаются «маскарадные фигуры» и «присяжные манифестанты»: здесь эти три энергичных глагола вполне к месту.

«Пугают жупелом «Памяти»,— жалуются российские писатели в письме. А мне странно, что авторы «Письма 74-х» так походя и в словах неуважительных отрекаются от своих идейных близнецов, от людей своего, как сейчас принято говорить, менталитета.

«Но там сидят Пока Другие люди»,— злится поэт. Все правильно: тема «Других людей» — самая ударная часть всех без исключения программ патриотического блока: от «Памяти» до «Народного согласия». И здесь формула «НЕ МЫ, а НАС» несколько видоизменяется и получает новый оттенок — с привкусом досады: «ОНИ, а почему не МЫ?»

Программа союза «Память» заявляет: «Союз требует осуществления принципа национально-пропорционального представительства евреев и породненных с ними лиц на всех ступенях общественной лестницы. Для этого необходимо впредь, до исправления создавшейся диспропорции, не допускать евреев и породненных с ними лиц к защите диссертаций, к получению званий и степеней, к вступлению в ряды КПСС, необходимо довести количество евреев и породненных с ними лиц до полагающегося процента на всех уровнях в государственных и общественных организациях; не избирать их в Советы, суды, на руководящие партийные, советские и другие должности (больше полагающегося им процента)».

Но зачем же так несправедливы российские писатели к «Памяти», зачем пинают ее, если сами высказывают то же самое: в «Письме 74-х» упомянуты и антирусская кампания, развернутая в средствах массовой информации «смуглыми соотечественниками», и «неисторичная планомерная идеализация — испытанное средство формирования представлений о «супернации» (что-то вроде процентной нормы на звание супермена).

Или, скажем, еще один прямо-таки захватывающий аспект темы о «других людях». Красной нитью (лейтмотивом) проходит через все документы «Памяти» тема очень «другого» человека, я бы даже сказала, **главного** «другого» — А. Н. Яковлева. От хулиганских анонимных листовок, где А. Н Яковлев выступает как «субъект без национальности и почетный гражданин Израиля» (и это единственные из характеристик, которые имеют цензурный характер), до, например, выступления А. Салуцкого на VII пленуме правления СП РСФСР о «яковлевском газетно-журнальном переделе» — везде имя Главного Другого употребляется как синоним дирижера, худрука и организатора русофобии.

Я уже не говорю о самой русофобии, этой инфернальной и зловещей даме-отравительнице, которая вытеснила со страниц патриотической печати всех остальных женщин с их грехами и страстями. Кроме глупости, личного хамства и дремучего невежества отдельных авторов, сводящих счеты с Россией как с местом, где жить плохо, голодно и некомфортно, нет пространства для пребывания этой фурии русофобии. Вожделеют же к ней, мифической Медузе-Горгоне журнальных драк, те, кто как-то отбился от привычных литературных жанров, пресных после мордобоя. Пусть простят меня литераторы, бойцы антирусофобии, часто их обличительная пылкость очень уж напоминает тренировочный разогрев. «Полировать кровь» — к сожалению, на это занятие уходят силы, страсть, азарт, а может, и талант нашей нынешней литературы.

«Наше дело правое! Мы победим!» — обещает программа союза «Память». Но если иметь в виду борьбу с «фобиями», в которую втягиваются все новые и новые бойцы, бросая цивильные занятия, то здесь победителей нет, здесь все — пораженцы. И разделят они русскую литературу на два гетто, и всех писателей — на два лагеря: русофобов и юдофобов, и всех читателей — на юдофилов и русофилов; и будет читатель-юдофил признавать только писателя-русофоба, а читатель-русофил — только писателя юдофоба. И будут секретари писательских союзов выполнять одну-единственную обязанность: нюхать, принюхиваться, вынюхивать, разнюхивать, снюхиваться — короче, работать носом. Как

там у нас с русским духом? Чем тут у нас пахнет? Нет ли «других» запахов?[1]

И будет наша литература не великая, а — увы — пахучая... И нету этому безумию конца-края, потому что двух лагерей окажется мало, и драться начнут «свои» — кто, братцы, из нас более русский? кто самый русский? И кончится все весьма знакомо, буднично, «уважительно».

Вот, кстати, и об «уважении». Очень выразительно прозвучал обмен репликами на эту тему на VII пленуме правления СП РСФСР:

— А чего добились за пять лет литературной вражды? Что народ, о котором все так любят говорить с этой самой трибуны, не уважает писателя как такового, не разбираясь, справа он или слева. Считает нас богачами, миллиардерами, со страшной силой борющимися за кусок пирога... (Л. Васильева).

— Не могу согласиться с Ларисой Васильевой, сказавшей, что «писателей не уважает народ». Кого? Каких писателей? Можно называть имена многих сидящих здесь в зале писателей, которых народ уважает (Ю. Прокушев).

В контексте такого диалога не комично ли выглядит третья ремарка: «А почему нашим президентом или руководителем президиума не может быть самый авторитетный писатель?..» (В. Чикин).

Какой? — позвольте спросить. Из «наших» или из «других»? Антирусофоб, обер-русофоб, контрантирусофоб или Главконтррусофоб?

И снова возвращаюсь к человеческому голосу — не все, слава Богу, сошли с ума: «Нас не слушают? Значит, мы плохо говорим. Говорим: «Все захвачено кругом. Но нам тоже дают публиковаться. Значит, плохо пишем».

Мы — плохо говорим. Мы — плохо пишем. Русская культура — это культура исповеди и покаяния, русская стихия — это стихия личного греха и собственной вины, а также подвига, только не проповедуемого, а совершаемого. Ничего общего с русской идеей, русской духовностью, русской мыслью малодушное, боязливое и подозрительное «НЕ МЫ, а НАС» не имело и не имеет.

В высоком стремлении возродить российскую культуру и жизнь, в поединке за Россию свободную и счастливую и русофобские и юдофобские обличения-разоблачения — карты крапленые. Занятие для шулеров.

АЛХИМИЯ ПАТРИОТИЗМА

Есть в пунктуации один ловкий знак препинания — запятая. Соединишь этим знаком два слова — и готово: уравнял в правах. По отношению же к понятию «патриотизм» запятая и вовсе играет роль химического элемента, проделывая с общим смыслом искомого хитроумные реактивные преобразования. О том, что в словосочетании «русский, советский патриотизм» прилагательные идут через запятую, я уж и не говорю. Этот монолит привычен, и никакие цитаты вроде «слава, купленная кровью» здесь не помогут; на том выросли, на том стоим: государственный патриотизм в идеологии официоза всегда считался доблестью более высокого ранга, нежели «любовь к отеческим гробам» и иные несущественные сентиментальности. Так что, переделав девиз Столыпина «Нам нужна великая Россия» в лозунг «Нам нужна великая Советская Россия», идеологи патриотической платформы не то чтобы совершили подлог (или высокую политику превратили в фарс, как считает В. Бондаренко). Они решили воспользоваться старинным методом превращения ртути в золото, употребив в роли философского камня магическое слово «советская». Но даже и в средние века любой начинающий алхимик знал, что для химической реакции нужны вещества, способные вступать во взаимодействие. В какое взаимодействие может вступить план Столыпина, где частная собственность во главе угла, с платформой «Народного согласия», где частная собственность предается анафеме? Если же идеологам «Народного согласия» Столыпин нравится только за то, что его убил еврей Богров, не следует удивляться неудаче с философским камнем: железо, опущенное в раствор медного купороса, не превращается ни в медь, ни в золото.

И все-таки быть патриотом России, Советской России — это нормально, естественно (хотя никогда точно не знаешь, что тебе опять подсунут под маркой «советское»); была бы Россия... Но когда в результате ХИМИИ тебя вынуждают быть патриотом ХИМЕРЫ — это уже не фарс. Когда боль за Отечество путем закаливания, настаивания и выпаривания преобразуется в борьбу за торжество догмы — тут извините. Я такого патриотизма не признаю. Родина одна, а теорий много, и вот уж где не надо путать Божий дар с яичницей.

Что такое в этом смысле патриотизм «Памяти» и ее борьба «за социалистический выбор русского народа»? «Союз «Память» решительно отвергает планы восстановления капитализма в СССР, с которыми выступают бывшие диссиденты и обманутые ими люди. Чем будет такой капитализм отличаться от дореволюционного? Только тем, что подавляющее большинство капиталистов будет евреями».

[1] Я намекаю, разумеется, не на пушкинское «Лукоморье».

Что такое идеологический патриотизм предвыборной платформы патриотического блока? Это когда любовь к Родине трактуется расширительно и, помимо лесов, полей и рек, гражданину надлежит любить армию, милицию и госбезопасность. Даже при царском режиме, когда патриотический набор включал Бога, Царя и Отечество, никто не призывал испытывать нежные чувства к жандармскому корпусу или к тайной полиции. Улан, гусар и кавалергардов же любили и так. А ныне «наши доблестные вооруженные силы» и «наши славные органы», испытывая всевозможные мужские комплексы, как-то уж очень шумно домогаются у населения ответных эмоций, налагая на свободу переживаний цепи долга. Понятливая «Память», помимо эфемерной любви, сулит мужчинам с погонами и нечто более существенное: «Союз требует увеличения ассигнований на нужды Комитета государственной безопасности и других ведомств, выполняющих аналогичную работу, и ориентации их усилий на борьбу с сионизмом и масонством». Вот она, алхимия патриотизма: уж если ведомства сориентировать и хорошо заплатить — будут масоны, будут! Из пробирки родятся, из воздуха материализуются.

Многогранно и многоцветно патриотическое чувство! Куда, например, Лермонтову с его странною любовью. Ни за что не поверил бы ни он, ни другой русский человек прежней закваски, что самая сильная патриотическая привязанность может относиться к... господствующей идеологии, к экономическому учению, к правящей партии, к какому-нибудь пункту в Конституции. А у нас, в Советской России, есть такие патриоты! Вот В. Чикин — патриот: он очень переживает за Отечество! «Мне думается,— говорит он,— что сейчас, когда мы с вами всенародно избрали Президента, вычеркнули из Конституции 6-ю статью, наверное, что-то произойдет. Произойдет нечто такое, что, в общем, несколько отторгнет партию от ее функций, от ее консолидирующего, стержневого действия».

Вот И. Савельев («МГ», 1990, № 2), поэт-патриот, тоскующий о призраке:

Иной подход, иная призма.
И свет иной горит в душе...
Не обещают коммунизма
В столетье нынешнем уже.
Не знаю, что из планов
выйдет,
Насколько планы по плечу,—
Но я хочу его увидеть,
Пусть даже призрак, но —
хочу!..

А вот Ф. Чуев. Он больше всего в своих патриотических переживаниях болеет оттого, что «некоторые наши идеологи на деле отошли от основных, коренных положений теории марксизма». Ф. Чуев страдальчески недоумевает: во всех капиталистических странах властвует диктатура буржуазии, золотой телец, а «у нас рабочий класс останется без диктатуры». И далее показывает свое диалектическое понимание вопроса: «Могут возразить: против кого у нас диктатура? Да хотя бы против мещанства, на которое работает современная массовая информация».

Логика Ф. Чуева, патриота, поразительна. Процитирую еще немного: «Говорят, социализм не оправдал себя. Но его-то строили всего (!) 70 лет, это же мгновение в истории. Да еще с такими помехами строили, а он еще не победил полностью, ибо существует империализм... Значит, все было напрасно, надо поднять руки перед Западом, предать международное коммунистическое движение, не доводя дело до победы, не выдержав, не устояв. Не думали, не гадали наши противники, что им без боя привалит такая радость».

Патриоту, а тем более поэту хорошо бы не думать о мгновеньях свысока, даже если он рассуждает в историческом аспекте. Семьдесят лет хоть и капля в вечности, но все же люди, в том числе и «свои», русские, их судьбы, их единственные жизни. Патриоту хорошо бы поменьше сокрушаться по поводу радости противника, а побольше приглядываться к «своим», отчего же они так безрадостны. И уж, конечно, кому как не патриоту нужно изо всех сил стараться, чтобы уберечь соотечественников от последнего, решительного боя за победу химеры. Россия не выдержит такой победы. Ведь сам же Ф. Чуев призывает: «Хватит проводить эксперименты над русским народом и другими россиянами, которым пора стать хозяевами своей земли и своей судьбы! Хватит издеваться над Россией!»

Все-таки хорошо, что звучат эти слова — пусть и в специфическом смысле. А то ведь порой нет-нет да и мелькнет мысль: иному благодетелю до России — как до здоровья серой кошки. Соберутся, составят план, где-то укрепят 6-й пункт, где-то усилят 5-й, потом все отберут, поделят и раздадут, сориентируют и заплатят ведомствам за «нужную» работу, проведут кампанию по «чистке наших рядов», снабдят единственно верным (оно же научное) мировоззрением, провозгласят диктатуру против мещан и инородных лиц, обзаведутся «своими» органами, где будет печататься «своя» обойма, остальных засудят «за клевету», покажут длинный нос закордонному противнику-ротозею, провозгласят далекую цель, наметят ближайшие жертвоприношения — и привет! Глядь, а «великая Советская» уже и есть, стоит за окном и сияет.

Да вот только разве такой России еще у нас не было?

Говорят, что, несмотря на свой «дьявольский» характер, средневековая алхимия не только не подвергалась гонениям, но и находила большую поддержку. Говорят, что даже короли занимались ею: отдавали распоряжения духовенству молиться о божественной помощи алхимикам в деле нахождения философского камня. Среди государей были и такие, кто, стремясь к легкой наживе, тратил подлинное золото из казны на опыты фокусников и шарлатанов и затем чеканил из «алхимического золота» свою монету. Однако, получая из благородного металла низкопробные сплавы, они кончали всегда одним и тем же — полным и сокрушительным разорением.

ПРИМИРЕНИЕ НА ЛОБНОМ МЕСТЕ

Если судить о платформе блока общественно-патриотических движений можно было бы только по названию, я бы обязательно голосовала за: «народное согласие и российское возрождение» — чего же еще надо! Однако тон, атмосфера и пафос программы заставляют сильно усомниться: точно ли о народном согласии идет речь в программе блока.

«Бездумно разрушаются», «со столь откровенным садизмом подвергались поношению», «лживая концепция», «систематическое оскорбление», «циничными политиканами» и т. п. — от лексики документа (а это только преамбула) веет духом Ветхого Завета, где око за око и зуб за зуб. Бранчливая, драчливая, агрессивная, обидчивая и подозревающая всех и вся преамбула программы как-то не настраивает на волну народного согласия. Напротив: КПСС обвиняется как раз в том, что «фактически заняла оборонительно-соглашательскую позицию».

«Отечество в опасности» — провозглашают авторы-патриоты, как-то забывая, что по меньшей мере неловко в мирное время и в невоюющей стране идти на демократические выборы под лозунгом последней войны.

Или вот пункт о денежной реформе. Ну, допустим, она необходима. Ну, обменяют деньги с условием их трудового происхождения. Ну, предъявят люди свои декларации. Ну, восторжествует социальная справедливость, когда разорятся спекулянты и мошенники. Но зачем призывать «огонь народного гнева»? «Пусть огонь народного гнева и правосудия опалит дельцов коррумпированной «теневой» экономики...» Зачем, помимо правосудия, нужны огонь народный и гнев? Для народного же согласия? Или не понимают авторы-патриоты, что поджигательные инициативы не работают на согласие, а огонь способен перебрасываться (как уже было в нашей недавней истории) по непредсказуемым адресам и опалять не тех, кого хочется?

«Праведный огонь», «гроздья гнева», «проклятия врагам» — этими стихиями до предела насыщены и сама программа «Народного согласия», и ее литературно-публицистическое сопровождение, так сказать, художественный гарнир, подаваемый читателю в «патриотических» изданиях.

Расколют страну скоро Гоги-
Магоги,
Библейское племя лихих дика-
рей?..
Приходит весна из-за чуждых
морей,
Да в избу не входит, стоит на
пороге.

Я, конечно, понимаю, что от стихов точного смысла никто и нигде не требует. Но все-таки: если бы у автора (И. Тюленева, «МГ», 1990, № 1) спросили: а кто эти Гоги-Магоги, которые скоро расколют нашу страну и не пустят в избу весну? Неформалы? Народные депутаты СССР еврейского происхождения? Инопланетяне? «Теневеки»? Что бы, интересно, ответил поэт, «поздний потомок из рода славян»?

Наверно, все-таки я чего-то не понимаю. Наверно, «Народное согласие» — это не согласие между живущими в России народами, а своего рода общественный договор, по которому всем сочувствующим рекомендуется выявлять представителей библейского племени, раскрывать их псевдонимы, вычислять проценты. Так, как это делает, скажем, «Молодая гвардия» из номера в номер (см. например, «МГ», № 3). А то ведь если «национальность, имеющая 0,69 процента населения в стране, составляет между тем в Союзе писателей 14 процентов, среди музыкантов — 23 процента, врачей — 14 процентов, а докторов и кандидатов наук — 44 процента» — какое тут может быть народное согласие. Только на путях последовательной борьбы «за пропорциональное представительство всех наций страны в администрации, прессе, телевидении и культуре» и обретут народы России искомое согласие — так считает «Молодая гвардия», заимствуя, впрочем, идею о пропорциях у Союза (как он себя именует) «За национально-пропорциональное представительство «Память»[1]. Так что ключ от народного согласия — в отделе кадров, где и про псевдоним известно, и про породненных лиц. Кому же такое согласие не нравится — разговор короткий:

Откройте же им ворота и
границы,
Оформите визы скорей...
Поймем их заботу,
Поймем их измену,
Икоркой в дорогу снабдим.
За них отстоим сверхурочную
смену
И вахту, крепясь, отстоим[1].

Устремленность идеологов-патриотов на специфическую политику народного согласия, мира и покоя всякий раз находит свой аналог в поэтическом слове. Но то, что уклончивое слово патриота-политика скрывает или маскирует, слово поэта обнажает, ибо передает чувство как бы без задней мысли, без общепринятых, «цивилизованных» условностей.

Поэтический эквивалент «Народного согласия» в пункте «пропорционального представительства» гораздо более откровенен:

Они — иль мы?
Одно из двух.
Нацелясь в нас, детей и
внуков,
Они из душ народных дух
Изгнать пытаются, как
духов[2].

Не мир, но меч сулит нам поэтический аккомпанемент к «Народному согласию», предвещая уже не только целенаправленный огонь народного гнева или народное презрение. Призрак куда более грозный проступает в рифмах и созвучиях:

В нас нацелены резолюции,
Желтой прессой отравлена
жизнь.
Защити себя, Революция!
Революцией — защитись!..[3]

Нет мира под оливами, нет согласия в душе поэтов, взыскующих революции, публицистов, призывающих огонь с неба на голову оппонента, кандидатов в депутаты, одержимых манией противостояния. Ведь, как считает, например, М. Любомудров, гарант будущей независимости политика — его «предшествующий общественный путь, его невключенность в какие-либо компромиссы или подыгрывания «Малому народу»[4]. Это вам не «Память», которую заботят только евреи и породненные с ними лица. Здесь уже продвинутый патриотизм — и чтоб в компромисс с евреем не вступал, и чтоб ему не подыгрывал, и рядом с ним не стоял, и во сне его не видел. Вот какой чистоты должен быть человек, депутат от патриотов. «Соотечественники, — далее призывает публицист, — будьте бдительны, бодрствуйте и берегитесь, чтобы кто не прельстил вас... И как говорилось в древних пророчествах, не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование крушения, а для вас спасение».

Такое вот народное согласие...

Но даже самые воинственные, самые непримиримые патриоты-писатели толкуют о мире, о примирении. И я все равно вслушиваюсь в их слова, я страстно хочу им верить.

«Если нам суждено уцелеть и разрушение государства будет остановлено, — мечтает Александр Проханов, не столько замкнутый на «Малый народ», сколько на Большое Государство, — пусть первым деянием власти станет вселенское, провозглашенное с лобного места примирение. Пусть никто не будет призван к ответу. Виноваты не нынешние люди, а пролитая прежде кровь»[5].

Я полностью разделяю пафос гражданского примирения. И все-таки читать манифест одного из видных «государственников» отчасти неловко. А главное — обидно. Обидно за бедную и больную державу, если исцелить ее предлагают по лукавой рецептуре, где все лекарства взаимно несовместимы.

«Была сметена, — пишет Проханов о первейшей беде отечества, — интегрирующая социалистическая идеология, исключен из развития коммунистический идеал, отвергнуты стратегические цели, которые объединяли нас в общий социум, примиряли противоречия, доставшиеся из прошлого».

Ну можно ли верить целителю русской государственности и его добрым намерениям, если скорбит он по идеологии Гулага и афганской войны, по доктринам тотальной лжи и двоемыслия? Можно ли следовать указующему персту нового кормчего, если он и впрямь полагает, будто истребление этой самой идеологии лишило народы общего будущего? Можно

[1] По-видимому, забота о пропорциях — одна из первостепенных у патриотических кандидатов. Как сообщает М. Любомудров, в его программе этот пункт звучит так: «Соблюдать принцип пропорционального представительства наций на всех уровнях, начиная от низкооплачиваемых физически тяжелых работ и кончая сферой управления» («МГ», 1990, № 2). Значит, если кого-то насчитывается 0,69%, пусть и грузчик, и композитор будут в этой же самой пропорции. И далее: «Восстановить справедливое, пропорциональное представительство наций в средствах массовой информации (газеты, журналы, радио, ТВ), при приеме на учебу, в сферах культуры и искусства, в области формирования научных и творческих кадров, их подготовке и аттестации». Значит, если кого-то больше, чем 0,69%, — уволить. Собственно говоря, программа «Памяти» это и предлагает (пункт 1): «Лица, отличающиеся русофобскими и другими расистскими, а также антисоветскими и антисоциалистическими взглядами, должны увольняться».

[1] В. Коротаев. Цикл. «До крайнего дня». — «Наш современник», 1990, № 2.

[2] И. Савельев. Конец восьмидесятых. — «Молодая гвардия», 1990, № 2.

[3] И. Савельев. Защити себя, Революция! — «Молодая гвардия», 1990, № 2.

[4] М. Любомудров. Поднять Россию из руин. — «Молодая гвардия». 1990, № 2.

[5] Здесь и далее цит. по: А. Проханов. Трагедия централизма. — «Литературная Россия», 1990, № 1.

ли надеяться на успех новой постройки, если зодчий утверждает, что семьдесят лет советской историн — это и есть путь к суверенности?

«Пусть никто не будет призван к ответу»,— пишет А. Проханов, но тут же сам находит виновных: «Вина за провалы пятилетней политики лежит иа либералах... Они, либеральные экономисты, писатели, историки, десятилетиями находясь в оппозиции к собственному государству...»

Всем сердцем откликаюсь на призыв А. Проханова: «Надо вырвать из спины топор... Надо, наконец, снести в общую братскую могилу красные и белые кости. Надо отслужить на этой могиле всенародную поминальную тризну, устроить братание и великое целование. Положить предел распре».

Замечательные, истинно человеческие слова. Но как совместить их с официозным косноязычием другого прохановского отрывка: «Философия нового мышления, примат общечеловеческих ценностей над классовыми на деле обернулись пренебрежением интересов социалистического государства и утолением амбиций империалнстических олигархий»? Как согласовать мирную проповедь с мрачными фантазиями о бастующей армин — об армии, «выходящей иа забастовку со своим боевым оружнем, с танками, самолетами, зенитно-ракетными комплексами»? [1]

Ах, государственникн, государственники! Ах, национал-патриоты! С их амбициями властителей дум и держателей истины, с их монополией на любовь к отечеству и народу, с их сверхъестественным нюхом на русофобию и жидомасонов, с их прогрессирующей страстью свалить вину за общее несчастье на инфернальных злоумышленников как-то не вяжется прекрасная мечта о великом целовании!

Поэтому хотелось бы — из суеверия, из недоверня — увести пока подобных миротворцев подальше от лобного места и от соблазнов власти. И пусть бы не на эффектном вселенском мероприятии, а тихо, каждый про себя, они остудили свой гнев на очередного захваченного русофоба и простили его по-христиански за вольная и невольная. И пусть призадумались бы все вместе над мучительно-несбыточным: «Любите врагов ваших...»

Может быть, не так страшно тогда будет идти всем вместе на Красную площадь, к Лобному месту. Может быть, не так безнадежны будут ожидания народа в отношенни писателей и их литературы.

[1] А. Проханов. Достаточная оборона.— «Литературная Россия», 1990, № 14.

ДОСТОЕВСКИЙ И КАНУН XXI ВЕКА

Сегодня, узнавая правду о собственной истории, мы все чаще обращаемся к Ф. М. Достоевскому. История нашей страны в XX веке во многом прошла, увы, по предсказанному им сценарию. Однако способны ли мы сегодня не только изумляться гениальным предвидениям, но понять и извлечь уроки, пусть запоздалые, но не менее насущные — ведь конец нынешнего века и век грядущий не будут проще минувшего? «Достоевский и канун XXI века» — тема книги известного советского литературоведа и философа Ю. Ф. Карякина. Ее обсуждению был посвящен литературный вечер, состоявшийся в посольстве США по инициативе посла США в СССР господина Дж. Ф. Мэтлока, знатока русской культуры и литературы (его эссе «Литература и политика: Федор Достоевский» увидело свет в июле прошлого года в журнале «Вопросы литературы»). В нем приняли участие многие видные деятели советской культуры: писатели Ф. Искандер, А. Ким, Л. Латынин, критики Л. Аннинский, Н. Иванова, А. Латынина, режиссер Э. Климов и другие. Сегодня мы публикуем (с некоторыми сокращениями) выступления советских литературоведов и нашего американского гостя, профессора Вассарского колледжа А. Климова, принявших участие в обсуждении.

Завершить публикацию мы решили одним из выступлений самого Ю. Ф. Карякина весной этого го а, наиболее точно, как представляется, выражающим его общественно-политическую позицию.

Представив участников встречи, г-н **Дж. Ф. Мэтлок** сказал:

Сегодняшняя встреча для меня — большое счастье. Именно Достоевский, а точнее, его роман «Преступление и наказание», дал мне в свое время толчок к изучению русского языка, русской литературы. И я долгие годы мечтал о том дне, когда можно будет организовать такой вечер-дискуссию по произведениям Федора Михайловича Достоевского.

Игорь Виноградов

Я вижу смысл нашей сегодняшней встречи в том, что, едва ли не впервые собравшись здесь сегодня в таком составе, мы имеем возможность обратиться в связи с книгой Ю. Ф. Карякина к тем фундаментальным духовным проблемам, которые еще в XIX веке поставил Достоевский, и попробовать совместно осмыслить и обсудить эти проблемы применительно к нашей сегодняшней жизни. Духовная проблематика Достоевского, этого первого, на мой взгляд, великого писателя XX века, приобрела сегодня для нашей страны поистине судьбоносный, как модно стало ныне говорить, характер. Какие активные, порой яростные дебаты идут в нашем зарождающемся парламенте в связи с обсуждением тех или иных политических, экономических, социальных структур и законов! Но до сих пор так ни разу еще, кажется, и не собралось сколько-нибудь серьезного и представительного форума, на котором поставлены были бы, наконец, проблемы духовного развития нашего общества, хотя они являются сегодня, в сущности, центральными проблемами нашей жизни. И то, что посол Соединенных Штатов Америки господин Дж. Ф. Мэтлок выступил инициатором подобного собрания,— собрания, я бы сказал, национально нам, русским, необходимого,— замечательно. Факт глубокой символической значимости, заставляющий вспомнить о лучших традициях в отношениях Америки к русскому народу, к русской культуре. Сохраняя верность этим традициям, Америка и дала еще пятнадцать лет назад приют второму великому каторжнику нашей литературы — Александру Солженицыну, получившему возможность работать в Вермонте над «Красным колесом», главной своей книгой, являющейся — как и другие его книги — в известном смысле прямым продолжением, подтверждением и развитием всего того, что сказал Достоевский еще в XIX веке.

Я не случайно назвал здесь это имя — Солженицын и не случайно поставил его в связи с именем Достоевского. Мне кажется, что как раз в подобном сопоставлении с особенной, может быть, ясностью, и проступает то, чем до сих пор особенно актуален для нас Достоевский, хотя сопоставление это обна-

руживает не только очевидную близость обоих писателей, но и глубокое различие.

В самом деле: творчество Достоевского (как и Толстого) уходит своими корнями в ту духовную ситуацию, связанную с всеевропейским кризисом традиционной религиозности, которая окончательно определилась в XIX веке, когда религиозность практически исчезла из жизни общества и, следовательно, все те прежние исходные основания морали, права и прочих ценностных установлений человеческого общежития, что восходили к божественному абсолюту, теперь рухнули. Так возникла ситуация открытого, разомкнутого сознания, которая потребовала постановки вновь всех «проклятых» исходных вопросов о смысле жизни, о природе добра и зла, об абсолютных и относительных критериях их разграничения, решавшихся ранее в системе религиозного миросозерцания. Ответы на них нужно было искать теперь заново. Это и стало главным духовным делом и основных героев Достоевского и Толстого, и их самих, прошедших каждый свой мучительный путь «перерождения» прежних, безрелигиозных убеждений. В этих поисках — духовная суть их творчества.

Солженицын являет нам тип художника, который только начинает там, где Достоевский и Толстой, в сущности, кончали. Хотя, как мы знаем, он тоже пришел к религии не сразу, пережив «перерождение убеждений» в лагерях и ссылке, однако в своем творчестве он исходно предстает перед нами писателем христианским, религиозным, уже нашедшим веру. Поэтому центральная ситуация его творчества — это ситуация не поисков веры, а жизни в вере. И притом жизни в условиях такого всепроникающего, господствующего во всей жизни общества тотального зла, где верность вере оборачивается истинным подвигом — подвигом смертной борьбы с тотальным злом. Потому-то Солженицын и ощущает себя постоянно неким Мечом в руке Божией, заговоренным на то, чтобы рубить и крушить зло. Таков, можно сказать, экзистенциальный центр его личности и его творчества. Отсюда и неизменный проповеднический пафос Солженицына, и многие другие особенности его искусства, и главный его враг — ложь, самое ядовитое жало и самое коварное прикрытие зла. **Жить не по лжи** — вот главная заповедь, которую оставляет нам Солженицын.

Таким образом, он предстает перед нами хотя и несомненным продолжателем дела Достоевского, но на том этапе, когда духовный поиск завершен, выбор сделан, вера обретена. Теперь в этой вере нужно выстоять — позиция, актуальность которой для нашего времени особо доказывать вряд ли требуется.

Но если сегодняшняя наша литература в лице крупнейшего ее представителя выдвигает на первый план именно этот императив прямого, жизненно-практического нравственного мужества в противостоянии злу и лжи, то не значит ли это, что проблематика духовных поисков, определявших собою творчество Достоевского, уже утратила свою живую актуальность, отодвинулась в прошлое?

Но ведь Солженицын — писатель, который как раз и невозможен был бы в своей готовности и жажде быть Мечом Божиим, если бы не был уже накоплен Достоевским весь тот духовный опыт, о котором рассказывают его романы, и если бы Солженицын не освоил, не принял, не сделал этот опыт своим, не положил его в основание своей позиции! Его пример и судьба более всего, может быть, как раз обнаруживают, насколько и в наш век актуален для нас Достоевский — даже более актуален, чем для своего времени. Разве действительно для нашего века менее характерна та ситуация открытого, разомкнутого сознания, которая рождается в духовном вакууме безрелигиозности? Разве и в наше время всякий, кто осваивает этот путь духовной свободы, не обречен на то, чтобы протащить себя через горнило тех же «последних» вопросов, которые терзают героев Достоевского, мучительно размышляющих над тем, можно или нельзя построить социальную гармонию на слезинке ребенка, все или не все «позволено» человеку и разрешается ли «кровь по совести»? Никто из нас не может обойти в своем духовном развитии все эти «проклятые» проблемы человеческого существования, а как можно разрешить их для себя (каково бы ни было это разрешение) без обращения к опыту их освоения Достоевским, вне духовного диалога с ним?

Мне кажется, что именно в такой диалог с Достоевским и вступает в своей книге Ю. Ф. Карякин. В этом ее пафос, ее специфика. Перед нами опыт осмысления Достоевского через нашу жизнь и опыт постижения нашей жизни через Достоевского. Ю. Ф. Карякин зафиксировал в своей книге, несомненно, опыт современного безрелигиозного гуманизма. Но, я бы сказал, опыт *стихийного* безрелигиозного гуманизма, опыт гуманизма, недостаточно отрефлексированного именно в этой своей безрелигиозности — то есть в тех исходных основаниях, на каких только и имеют «законное» право (если такое право действительно есть) появляться в избранной Ю. Ф. Карякиным мировоззренческой системе все те прекрасные вещи, которые он тоже утверждает вслед за христианином Достоевским как фундаментальные человеческие ценности,— добро, совесть, честь, любовь, милосердие, сострадание и т. д. А между тем именно такая рефлексия начинает приобретать сегодня все более неотложный характер не только в качестве задачи личной, индивидуальной, обращенной к каждому из тех, кто пы-

тается сформировать мир своих ценностей на безрелигиозной основе, но и в качестве задачи общественной. Особенно для нас, сегодня, в ситуации перестройки, когда мы все более отчетливо начинаем понимать, что нам нужно определиться прежде всего в отношении *духовных* основ того общественного здания, которое мы строим или собираемся построить.

Строго говоря, существует только два принципиальных «способа» подобного рода обоснований: либо это абсолютные нормы морали, мир безусловных ценностей, опирающихся на божественный абсолют, имеющих религиозную санкцию, либо это так называемая конвенциальная мораль, система ценностей, опирающихся на принцип общественного договора. В практически безрелигиозном обществе, в котором мы живем, путь построения «соборной» морали на религиозной основе, очевидно, невозможен — не вводить же религию насильно, загоняя в нее неверующих, составляющих большинство населения, с той же тотальной неукоснительностью, с какой загоняли недавно в Идеологию!.. Но, с другой стороны, разве еще в XIX веке Достоевский не выявил все опасные, разрушительные тенденции внерелигиозного нравственного сознания, не предсказал катастрофические последствия упрочения такого сознания? И разве Солженицын, обращаясь к чудовищным реалиям XX века, не показал, насколько прав был Достоевский в этих предсказаниях, как глубоко он заглянул в темные бездны человеческой природы и как неотразимо проницателен оказался в постижении едва ли не фатальной неизбежности появления — при попытке построить нравственное общество без Бога — того феномена «бесовства», с которым столь близко и страшно познакомилась наша страна после 1917 года?.. От ответа на все эти вопросы, значимость которых подтверждается не только нашим, но и западным опытом, нам сегодня уже не уйти, если мы действительно хотим нашей стране духовного выздоровления. Как тут быть, какой путь избрать? Неужели, действительно, здесь возможен только альтернативный выбор: или — или,— и неосуществим никакой, как ныне любят говорить, общественный консенсус? А может быть, как раз в условиях современного демократического правового государства, основанного на конвенциональной морали, и открывается путь для свободного развития и свободного влияния на общество и тех религиозно-духовных движений, которые стремятся к более надежным и прочным основаниям для общественной нравственности? Каковы в таком случае должны быть реальные условия соответствующего консенсуса между верующими и неверующими? Что для этого и те и другие должны делать?

Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы хотя бы на некоторые из этих важнейших вопросов мы и попытались сегодня ответить, обращаясь к духовной проблематике Достоевского...

Людмила Сараскина.

Больше всего в связи с книгой Ю. Ф. Карякина мне хотелось бы поразмышлять о ее авторе, или, если можно так выразиться, о феномене Карякина. Знаю с его слов, что в студенческие годы он написал дипломную работу о Сталине, вполне лояльную к «вождю и учителю» — как-никак был конец сороковых годов. И вот путь познания и самопознания человека от дипломной работы «верноподданнического» характера до последних публицистических статей, скажем, «Стоит ли наступать на грабли?» или «Ждановской жидкости» — это гигантский путь: духовный, политический и человеческий, путь очищения и отрезвления. Люди того поколения, к которому принадлежит Ю. Ф. Карякин, пережили очень много, преодолевая себя, свое время, свои убеждения, свои страхи. Несколько раз в течение жизни им пришлось менять систему мировоззренческих, политических координат — обжигаться, «уходить под лед» и т. д. Поэтому мне, представителю следующего поколения, не соблазненного и не совращенного догматикой и так называемыми «идеалами», не следует, наверное, судить об упомянутом феномене сколько-нибудь оценочно.

На той степени отстраненности от личности автора книги, которая вообще уместна в отношении литературы, истории, я и хочу поделиться своими соображениями. И, конечно, меня прежде всего интересует раздел книги, посвященный роману «Бесы». Считая «Бесы» главным романом не только Достоевского, но и главным романом русской литературы вообще, я вижу в Ю. Ф. Карякине человека, исследователя, который еще в 60-е годы сделал максимум для того, чтобы вызволить, реабилитировать репрессированное произведение великого русского писателя, а также для того, чтобы легализовать и узаконить возможность спокойного, научного изучения текстов и материалов, связанных с «пасквилем на революцию и революционеров» (как привычно именовали роман советские критики сталинской эпохи). Другое дело — какова цена этой реабилитации.

Раздел о «Бесах» в книге Карякина назван «Прозрения и ослепления». Если не вкладывать в эту формулу школярского смысла (дескать, были у Достоевского и достижения, были и ошибки), а воспринять ее концептуально, как прочтение романа-памфлета, открывается широкий простор для дискуссий. Ведь пропорция прозрений и ослеплений — касательно любого текста Достоевского, а тем более «Бесов» — величина отнюдь не постоянная. Да и кто может — будь то Ю. Ф. Карякин или его великий предшественник, исследователь Достоевского М. М. Бахтин — раз и навсегда определить, что из пророческих предвидений

Достоевского было прозрением, а что ослепленнем? В том-то и дело, что тайна этой формулы заключена в ее постоянной изменчивости: жизнь и время каждый раз по-новому расставляют акценты. И каждый раз оказывается: именно то, что мы считали ослеплением у Достоевского, было нашей очередной иллюзией. Мы тешили себя мыслью, будто неправ Достоевский в своем гневе, ярости, подозрении, а всякий раз выходило н а м расставаться с утешительным стереотипом.

Но в чем же все-таки видит Ю. Ф. Карякин сегодня ослепления Достоевского? «Ужаснувшись нечаевской бесовщине,— пишет Карякин,— восприняв и врагов ее непримиримых из революционеров, социалистов — как бесов, он и готов был (поначалу) заключить против них союз хоть с самим дьяволом, хоть с прежними, «привычными» бесами, «сверху»: лучше, мол, пусть все будет «по-старому», чем «по-новому». То есть, иными словами, Достоевский, обнаружив в русском революционном движении нечаевщину и совершив беспрецедентный акт обличения бесовщины, спутал в конце концов нечаевщину с революцией, позорным пятном бесовщины покрыл всех революционеров, вместе взятых, и далеко вперед. Ю. Ф. Карякин, вопреки «очернительству» Достоевского, отстаивает тезис о революционерах с чистой совестью, идущих путем революционного насилия не из врожденной любви к нему, а из ненависти.

Я позволю себе привести один отрывок из исторической повести Юрия Трифонова «Нетерпение» — о тех самых чистых революционерах, другого уже поколения: Желябове, Перовской. «Два, три года назад мы,— обращается Желябов к своим соратникам,— действительно, были далеки от него (речь идет о Сергее Нечаеве.— Л. С.) и имели право возмущаться, а сейчас, дорогие друзья, мы заметно к нему приблизились... Мы почти выполняем программу «Катехизиса». Там было сказано, что революционер должен проникнуть всюду, во все сословия, в барский дом, в военный мир, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец. Я помню отлично, потому что это место меня тогда поразило и показалось сказкой. Теперь мы знаем, что вовсе не сказка, все выполнено... Ведь мы собираемся в одно из ближайших воскресений казнить царя, а он — не шпион, не предатель, не личный враг. Но мы надеемся этой казнью приобрести н е к у ю в л а с т ь над историей, повернуть колесо российской фортуны. Убиваем ради блага России!»

В сознании русских революционеров — и тому доказательство вся история РСДРП, от первых марксистских кружков до «Краткого курса».— произошло необратимое: совершилась и нравственная адаптация к нечаевщине и ее историческая реабилитация. У русских писателей, свидетелей революции,— Бунина, Короленко, Волошина, Горького — возникла одна и та же ассоциация для характеристики тех, кто рвется к власти, а также их целей и средств. Вспомним хотя бы Горького, его воззвание «Вниманию рабочих» от 10/23 ноября 1917 года. «Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева («на всех парах через болото»).— И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к погибели в трясине действительности, очевидно, убеждены (вместе с Нечаевым), что «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно». И вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей... Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России...»

Так где же, в чем ослепления Достоевского? Ю. Ф. Карякин видит трагедию Достоевского в его сугубой тенденциозности и нетерпимости к «настоящим», «хорошим» революционерам, не нечаевцам. А на мой взгляд, трагичность мироощущения великого писателя вытекала из его глубинного понимания изначальной кощунственности принципа «крови по совести», идеи насилия во имя блага, социальной справедливости и лучшего будущего. Грязь и кошмар революции, ее Каинова печать — с одной стороны, вечный соблазн мятежа и его неизбежность в России — с другой — вот что мучило автора «Бесов», вот что давало импульс для создания романа-хроники, где с пугающей силой предвиденья были начертаны контуры российской смуты.

Конечно, справедливо принято обсуждать всякую книгу на основании того, что в ней есть, а не того, чего в ней нет. И все-таки я хотела бы отметить одно принципиальное зияние в разделе о «Бесах», резко бросающееся в глаза. Речь идет о теме «нечаевщина и русский большевизм», «Нечаев и Ульянов-Ленин». Ю. Ф. Карякин нашел великолепную формулировку тайного могущества великого романа: «Работают, работают «Бесы», боятся, боятся их бесы». Со мной могут не согласиться, но я убеждена, что эта формулировка в полной мере относится и к вождям революции.

Вот что писал в этой связи Н. Н. Валентинов-Вольский в своей книге «Встречи с Лениным», ссылаясь на В. В. Воровского: «Он (Ленин.— Л. С.) делит литературу на нужную ему и ненужную, а какими критериями пользуется при этом различении — мне неясно. Для чтения всех сборников «Знания» он, видите ли, нашел время, а вот Достоевского сознательно игнорировал: «На эту дрянь у меня нет свободного времени». Прочитав «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание», он «Бесы» и «Братьев Карамазовых» читать не пожелал. «Содержание сих обоих пахучих произведений,— заявил он,— мне известно, для меня этого предостаточно. «Братьев Карамазовых» начал было читать и бросил: от сцен в монастыре стошнило. Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургову Стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна,— что она мне может дать?»

Работают, работают «Бесы»... И мне кажется, Ю. Ф. Карякин сам недооценивает универсальность своей формулы. Но меня очень обнадеживает одно замечательное качество его книги — ее принципиальная незавершенность. В каждой строке, в каждом абзаце автор хочет поставить окончательную точку и сделать окончательный вывод. Но каждый раз эта точка и этот вывод взрываются и им самим, и читателем, потому что каждое его слово диалогично и требует ответной реплики. Открытость, отсутствие подавляющего финала, возможность включения в разговор и продолжения темы — самое, на мой взгляд, прекрасное свойство размышлений Карякина. В книге его могут быть догматические положения, но сам процесс постижения истины лишен какого бы то ни было доктринерства. В этом для меня, повторяю, главная ценность книги, главный результат многолетнего труда автора, о котором можно сказать: да, он пробился к Достоевскому.

Алексис Климов

Согласен с Ю. Ф. Карякиным в том, что Достоевский сумел гениальнейшим образом осветить темные стороны человеческой психологии, выявить разрушительную потенцию, заложенную в человеческой психологии, предугадав многие из чудовищных событий, которые грозят нам окончательной катастрофой.

Но тем не менее разрешу себе усомниться в том, что Достоевский станет для человечества тем учителем, который будет способен вывести его из кризиса в канун XXI века. Сомнения мои основываются на произведениях самого Достоевского.

Позвольте процитировать небольшой фрагмент из «Записок из подполья»:

«У меня, например, есть приятель... Эх, господа! да ведь и вам он приятель; да и кому, кому он не приятель! Приготовляясь к делу, этот господин тотчас же изложит вам, велеречиво и ясно, как именно надо ему поступить по законам рассудка и истины. Мало того: с волнением и страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах; с насмешкой укорит близоруких глупцов, не понимающих ни своих выгод, ни настоящего значения добродетели; и — ровно через четверть часа, без всякого внезапного, постороннего повода, а именно по чему-то такому внутреннему, что сильнее всех его интересов,— выкинет совершенно другое колено, то есть явно пойдет против того, об чем сам говорил: и против законов рассудка, и против собственной выгоды, ну, одним словом, против всего...»

Мысль эта, впрочем, была открыта людям задолго до Достоевского. Мы читаем в Послании апостола Павла к Римлянам: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». У апостола Павла речь идет о тяжелой внутренней борьбе совести с духовной природой человека. А Достоевский заостряет и развивает эту мысль, открывая нам страшную истину, что человек способен извлечь даже наслаждение из сознания своего унижения в подобной борьбе. Цитирую вновь «Записки из подполья»: «Наслаждение... именно от слишком яркого сознания своего унижения... В отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения».

Итак, Достоевский допускает, что человек способен не только отказаться действовать по предписанным ему средствам. Он может даже наслаждаться сознанием того, что наносит себе вред и приближает собственную гибель. Одним словом, Достоевский не особенно обнадеживает нас спасением человечества.

Мне могут возразить, что Достоевский в каждом произведении изобличает породу русских мечтателей 40-х годов. Однако это равносильно утверждению, что роман «Бесы» имеет отношение только к Нечаеву и его группе. Нет, конечно! Как правильно говорит Юрий Карякин, Достоевский писал и для нас, и о нас.

Для пояснения своей мысли хотел бы остановиться на одном художественном мотиве, при помощи которого Достоевский воплощает изложенную выше концепцию. Я имею в виду так называемое «преждевременное погребение».

Начну с биографического факта. По свидетельству брата писателя и ряда других лиц, Достоевский страдал от болезненного страха впасть в так называемый «летаргический» сон и быть похороненным заживо. Эта фобия мучила не одного Достоевского. Тут можно вспомнить и Гоголя; отразилась она и в других литературных произведениях XIX века. У Достоевского эта тема явлена только в переносном, духовном смысле. Уже само название «Записки из Мертвого дома» указывает на тюрьму как на место, где люди как бы погребены заживо. Напомню заключительные слова этого произведения: «Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых... Экая славная минута!»

Если внимательно вчитаться в текст «Записок из подполья», невольно бросается в глаза намек на то, что в подполье человек как бы похоронен заживо, причем, подчеркиваю, добровольно.

Уже само слово «подполье» имеет некоторый зловещий оттенок. А сам подпольный антигерой говорит о своей квартире так: «Моя квартира была... мой футляр, в который я прятался от всего человечества». Слуга подпольного

человека Аполлон читает по вечерам Псалтырь, «нараспев, точно как по мертвом», а Лизе антигерой навязчиво рассказывает о похоронах. Ввиду насыщенности текста подобной тематикой нельзя не обратить внимания и на то, что после встречи подпольного человека с Лизой в публичном доме (это было «в комнате узкой, тесной и низкой») Лиза приходит к нему домой именно на четвертый день. Как вы помните, подпольный человек жестоко надругался над Лизой, и она ушла навсегда. Потом он говорит, что тогда, при том эпизоде, он не догадался, что «она пришла вовсе не для того, чтобы жалкие слова слушать, а чтоб любить меня, потому что для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение...». Чего подпольный человек не понял, это того, что он выступает здесь как бы в роли «отрицательного Лазаря». Напомню сцену ухода Лизы: «Я отворил дверь и стал прислушиваться.— Лиза! Лиза! — крикнул я на лестницу, но несмело, вполголоса... Ответа не было, мне показалось, что я слышу ее шаги на нижних ступенях. — Лиза! — крикнул я громче. Нет ответа. Но в ту же минуту я услышал снизу, как тяжело, с визгом отворилась тугая наружная стеклянная дверь на улицу и туго захлопнулась. Гул поднялся по лестнице». Так навсегда захлопнулась крышка гроба над подпольным человеком.

Самое важное здесь, однако, что перед нами пример своевольного отказа от воскресения. Как повествует подпольный человек: «Спокойствия я желал, остаться один в подполье желал».

В иной форме этот мотив возникает затем в романе «Преступление и наказание», где он сопровождается евангельским повествованием о воскресении Лазаря. Мы все помним гробоподобную комнатушку Раскольникова и то, что на 4-й день после убийства Соня читает ему евангельский текст о воскрешении мертвеца, уже четыре дня пребывавшего во гробе. Достоевский опирается здесь на православную традицию, в свете которой грех рассматривается как смерть духа.

Раскольников воскрешен чудом любви Сони. В деле спасения человечества Достоевский делает ставку на чудо. Но мы знаем, сколько терпения потребовалось со стороны Сони, чтобы дождаться этого духовного возрождения. Более того: на примере подпольного человека Достоевский показывает нам, что от чуда можно еще и отказаться. В еще более жуткой форме эта же мысль высказана в рассказе «Бобок», не случайно тоже связанном с кладбищенской тематикой. Есть, увы, личности, которые не стремятся к спасению и возрождению, а, наоборот, сознательно смакуют процесс гниения и не желают покидать путь в небытие.

Да, Достоевского никогда не оставляло упование на победу светлого начала. Я только хотел бы отметить, однако, сколь существенно он оговаривает свои надежды и в каком трагическом свете видит всю человеческую жизнь.

Игорь Золотусский

Текст Достоевского обладает огромной силой обратной связи. Сближаясь с ним, вживаясь в него, исследователь невольно испытывает влияние его ритма, его интонации. И через этот ритм входят в его душу заветные идеи Достоевского.

Книга Юрия Карякина — документ об эволюции человека, бывшего когда-то марксистом и через Достоевского пришедшего к идеализму. Это не только книга о Достоевском и не столько книга о нем, сколько книга о самом авторе и драме его пути. В предисловии к ней Ю. Карякин — уже с высоты 1988 года — заявляет, что идеализм есть истинный реализм. И это высшая точка его собственного развития.

Она подтверждается в конце книги в статье «Стоит ли наступать на грабли?» — статье абсолютно политической, где автор, разоблачая своего анонимного антипода-догматика (и, кстати, сказать, марксиста), готов простить тому злобу и поношения. Это чувство, проросшее не только из личного опыта, и, смею думать, не только из умственных страданий, но и из Достоевского.

Книга движется от разоблачения самообмана человека (работа «Самообман Раскольникова») к разоблачению самообмана человечества. Человек обманывается в своем превосходстве над другими людьми, человечество — в превосходстве над природой. Самообман заключается в факте господства теории над жизнью, в абсолютизации теории, безраздельной веры в теорию, которая выше человека, выше чувства, выше сердца.

Драма книги Ю. Карякина — драма преодоления этой веры. Надо было встать над собой, признать то, что ты вчера отрицал,— истиной, более того, поклониться этой истине.

Через очищение от гордыни идеи — через работу о «Преступлении и наказании», через «Бесов» (наиболее чувствительных к настоящей минуте),— к «Подростку» с его знаменитой формулой «Все равно и по смерти любовь!» освобождается Ю. Карякин от химер и самообмана эпохи, ставшей проклятьем для его поколения.

Поколение Ю. Карякина было отрезано от прошлого. Тотальный нигилизм революции отринул почти все, что было до 1917 года, были преданы анафеме и осмеянию заветы дедов и прадедов (заметим, что Достоевский по возрасту нам прадед). Детям отцов, сделавших революцию, нужно было навести мосты к прошлому. Их нужно было навести через головы отцов, которых они любили и которые своей жертвой (отречением от прошлого) и последовавшей за ней расплатой, может быть, спасли им жизнь.

Внутренняя тема этого несчастного поколения — освобождение духа, которое кровно связано с освобождением внешним. Освобождение себя столь же прямо связывается с освобождением других. Отсюда борьба, политика, просветительство. Книга Ю. Карякина несет на себе печать этого публичного освобождения, освобождения, что называется, на миру, на людях, перед лицом всех. Это определяет ее тональность — тональность речи на площади, исповеди, переходящей в проповедь, я бы даже сказал, агитации за свою мысль.

Отсюда приобретения и потери. Главное приобретение — искренность, душевность, личная нота, которая преобладает во всем. Тут темперамент автора накладывается на темперамент Достоевского. Потери — потеря философской глубины, ощущения Достоевского в контексте мирового и русского литературного процесса, политический, просветительский, разоблачительный уклон. Приобретения — борьба материализма с идеализмом, логики с чувством (а марксизм — это логика), выход из политики в область духовную. Потери — приспособление Достоевского к разного рода целям: от сокрушения литературных (и не только литературных) оппонентов до предотвращения мировой ядерной катастрофы.

С одной стороны, мы имеем раздирающую душу исповедь над могилой, в которой погребены убитые Пол Потом камбоджийцы, безоглядность и отвагу автора, не страшащегося никакой правды о жизни и о себе, с другой — попытку объединить вокруг Достоевского всех «наших», то есть тех, кто прямо или косвенно является предшественником самого Карякина. Это и Герцен, и Салтыков-Щедрин, и Чернышевский.

Так в главе о «Бесах» Карякин соединяет несоединимое — Достоевского и эти имена, причем пишет, что у всех у них были одни и те же «черти» — верхи общества, «одна десятая» наверху (в противоположность «девяти десятым» внизу).

«Сатира в романе на верхи,— читаем мы,— на «бесов» из верхней половины табели о рангах...— не второстепенность, не «боковой сюжет», не какой-то довесок к роману. Это один из глубинных и мощных смысловых потоков его».

Здесь срабатывает марксистская (или революционно-демократическая) доктрина о том, что виноваты богатые, что «одна десятая» всегда в долгу перед «девятью десятыми». Это и народническая, и социал-демократическая, и коммунистическая идея, нашедшая опору в чувстве вины русской интеллигенции перед народом и перемоловшая затем в своей мясорубке эту интеллигенцию, бросившуюся в революцию. Это не идея Достоевского, не христианская идея. И как Карякин, например, объяснит такое рассуждение Версилова из «Подростка»: «Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире,— тип всемирного боления за всех. Это — тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России». И далее (и эти слова Версилова я хочу особо подчеркнуть): «Нас, может быть, всего только тысяча человек,— может, более, может, менее,— но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут — мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало».

Вот вам и «одна десятая», и теория «одной десятой», и «девяти десятых»!

Вот вырубили одну десятую, и что получилось? Девять десятых, оставшиеся без одной десятой, тоже попали под нож.

Ненависть девяти десятых к одной десятой была использована большевиками для того, чтобы этой пропорции не существовало, чтобы все заменилось одной безликой и безличностной массой. «Девять десятых» поставляют «одной десятой» лучшее, что они могут произвести. Они отдают ей свой ум, свой опыт, свой гений предвидения. Пока мы этого не усвоим, мы будем гнать свою интеллигенцию, уничижать ее и оставаться без поводыря.

В прекрасной книге Ю. Карякина то тут, то там мелькают родимые пятна его прежних марксистских воззрений. Мы встречаем их в тех местах, где говорится о превосходстве «наших» над «не нашими», где Достоевский соединяется с Чернышевским, а о самом Достоевском Карякин категорически пишет: «Да, со многим у Достоевского мы никак не можем согласиться». Или вот это (тоже о Достоевском): «Ошибка? Да. Ограниченность? Болезненность? Да, конечно».

Я, честно говоря, ничего не знаю об ограниченности Достоевского. В другом месте, отделяя нечаевщину и верховенщину от социализма, Ю. Карякин пишет: «Нечаевщина, конечно, бросает тень и на социализм, и на революцию, но разве именно не за это ее разоблачали Маркс и Энгельс...» Получается, что «бесы» в романе Достоевского — это «псевдореволюционеры», «другие социалисты», а не настоящие социалисты, которых и защищает от Нечаева и Верховенского Юрий Карякин.

Но так ли смотрел на это дело Достоевский?

Повторяю, в книге Ю. Карякина заключен не только факт самоосвобождения, но и видны те черты, от которых еще предстоит освобождаться. Именно поэтому я воспринимаю эту книгу не как итог работы над Достоевским, а как то, что ждет своего продолжения и завершения.

Алесь Адамович

Юрий Федорович Карякин смотрит на мир через Достоевского. Он обручился с

Достоевским на всю жизнь. Это его судьба, рок, счастье, и поэтому, где бы он ни был, он первым делом стены все расписывает цитатами из Достоевского и сюжетными линиями, его мыслями, угадыванием — что к чему устремлено. Так и дома у него, в санатории, так в больнице. Думаю, если он попадет в тюрьму, и там, конечно, все стены будут расписаны, расчерчены, коли ему позволят, теми же схемами, стрелами, от какого романа к какому что ведет.

Работа над документальными книгами вывела меня на такую мысль, имеющую отношение к Достоевскому, а значит, и к Карякину.

Скоро появится книга Светланы Алексиевич про Афганистан. Вы начнете ее читать и, уверен, поразитесь одной вещи, которой поразился и я, когда делали мы «Блокадные дни», книгу о Хатынях — «Я из огненной деревни». Понимаете, есть у нас в стране тысячи и тысячи людей, которые способны понимать человека, проникать в глубину, в глубину собственной души на том уровне, на котором писал только Достоевский. И это великое несчастье наше, ведь досталось такое знание через тяжелейшие испытания и муки. Когда слышишь, как женщина-блокадница рассказывает: вот умер отец, мы его повезли на кладбище, не довезли, где-то оставили на полдороге, вернулись, мама слегла, стала умирать. А нас шестеро детей, мы забились в угол, и, когда она закрывала глаза, мы начинали кричать и плакать. Она открывала глаза снова. Потом начинала закрывать, мы снова начинали кричать и плакать. И тогда я поняла, вспоминает женщина, что мы ее мучаем, не даем ей умереть. Я поставила детей к стенке, чтобы они отвернулись, чтобы дать матери умереть... Это, конечно, сцена абсолютно «достоевская», на уровне того, чем он нас потрясает до глубины души в своих романах.

Или, допустим, рассказывает человек, который горел в сарае. Секретарь сельсовета, на каком-то канцелярском русско-белорусском диалекте изъясняется... Но понял он в этом сарае и увидел такое!.. Рассказывает: понимаете, я не могу выбежать из сарая, все горит, не могу выбежать, потому что огонь, во-первых; во-вторых — там, снаружи, немцы. И знаете, говорит, я понял, что в середине огня, как в свечке, когда горит свечка, в середине огонь менее жжет. И он смог стерпеть и выгадал какой-то спасительный миг...

Когда-то подобную правду о человеке, о недрах его души добывал «глубинным» бурением Достоевский, проникал в самые-самые глубины и извлекал оттуда всю правду о человеке. И вот век XX, прошла страшная война, десятилетия сталинского террора; лагеря, нечеловеческие страдания под гнетом тоталитарных систем — будто какой-то бульдозер вскрыл верхние пласты жизни, людские души. Открытым, так сказать, способом, стали добывать глубинную правду о человеке. И вот, представляете,— страна, в которой тысячи и тысячи Достоевских — по знанию своей души, по знанию тех бездн, которые в нас вскрыты пережитыми страданиями, по знанию той страшной правды, которая порой невыносима. Эти люди, конечно, несчастны, потому что это та правда, то знание, которое в простом человеке пробуждает великую скорбь. Художнику знание человеческих глубин дает радость открытия, счастье понимания. Даже если он и сострадает своим героям, переживает за них. Простым людям такое знание самих себя и знание человека дарит лишь состояние неизжитой трагедии и несчастья. Много знания — много скорби... И вот целый народ маленьких Достоевских с завистью смотрит сейчас на тот мир, который так глубоко себя не познал, так глубоко в себя не заглянул... Но может быть, в таком преимуществе знания — страдания и таятся возможности нашего духовного возрождения, возвращения к норме существования?..

Ю. В. Давыдов

Юрий Федорович давно присматривался к Нечаеву. Я тоже. Карякин шел от «Бесов», я — через лагерь. Во многом, как выяснилось, мыслили едино, но, само собой, не так, как нынешние «заединщики». (Вот уж кто краплен родимыми пятнами нечаевщины.)

Достоевский не фотографировал, а типизировал Нечаева. Многие полагают, будто нечаевщина — явление сугубо нашенское. Отнюдь! Двадцатый век — и европейский, и азиатский — представил кровавые аргументы и факты. Кстати сказать, кто, как не Карякин, написал о полпотовцах в аду Камбоджи? Но если пристальнее поглядеть на свой березовый ситец...

Знаю, знаю, основоположник нынче не в чести. На закате прошлого века русская интеллигенция, пусть не повально, но в числе значительном, приняла марксизм как третий завет. А на закате этого бурнотекущего явилось немало «выкрестов» из марксизма. Ну что ж, не следует думать по Марксу о том, о чем он сам в другую эпоху думал бы по-другому. (Да ведь и при жизни говаривал: если имярек марксист,— я не Маркс.) Нисколько не сомневаюсь в искренности неофитов христианства и даже, признаться, завидую. Однако и новообращенным вряд ли стоит забывать, что бесовщинка-то сидит в каждом из нас.

Так вот, основоположник предрекал России «грандиознейшую социальную революцию». Это нередко цитируют, обрывая отточием. В отточии топят боязнь заполучить тавро русофоба. Еще бы! Тавро это неровен час обернется меткой приговоренного к виселице. Но седобородого старика-еврея охранял лондонский бобби, дежуривший под окнами на Мейтлеид-парк-род, и Маркс, отметив неизбежность «грандиознейшей», бесстрашно прибавил, что сие произойдет в формах, соответствующих «уровню развития Московии».

Когда зарождалась партия «нового типа», Плеханов высказался красноречиво: покойный Сергей Геннадиевич Нечаев был бы очень доволен... Сталин времен хронической небритости, красного шарфа и тельняшки жадно читал комплект «Правительственного Вестника» 1871 года. Там печатались материалы судебного процесса революционеров-нечаевцев, убивших революционера Ивана Иванова. Там же был опубликован и «Катехизис революционера» все того же Сергея Геннадиевича, закоперщика и участника этого убийства едва ли не ритуального. Вот «Катехизис»-то и штудировал наш дорогой Коба, твердый желтый ноготь оставлял на газетной полосе «отметки резвые», но явно не онегинские.

Заповедано давным-давно: придите все к покаянию. Далеко-далеко не все послушны Ему. Но, вы знаете, нет-нет да и прорезывается глубоко душевная потребность в покаянии. На одном собрании «Мемориала» избирали не то председателя, не то еще кого-то. Предложили кандидатуру сравнительно молодого человека. Он поднялся и сказал: я, «сиделец» семидесятых годов, вел себя на допросах плохо, не вынес, не выдержал; прошу снять мою кандидатуру. Стали называть других, из зеков старших поколений. И что? Решительно ни один не нашел в себе ни сучка, ни задоринки... Вот он, вопрос совести, не так ли? Не знаю, зависит ли персональная «бес-совестность» от бесов; не знаю, каков градус этой зависимости от степени постижения третьего или Нового заветов. Но голосовал (и буду голосовать) против самоотводов таких, как тот, из диссидентов. Убежден, он сейчас один из читателей книги, которую мы обсуждаем.

Писал Карякин долго, трудно, одержимо — выстрадал. Если можно вообразить лик книги, то у карякинской — глубокие, как рытвины, морщины и темные подглазья.

Михаил Волькенштейн

Книга Ю. Ф. Карякина — подлинное сотворчество с Достоевским, овладение его художественным стилем, раскрытие значения Достоевского для нашего времени и нашей страны. Трагические ее судьбы были задолго до их воплощения увидены и поняты Достоевским, каждое слово которого на пороге XXI века звучит еще сильне, чем сто лет назад.

Черная ненависть к Достоевскому свойственна бесам и ведьмам, с которыми постоянно приходилось и приходится встречаться. Они ненавидят его потому, что он хорошо их понимал.

Ю. Ф. Карякин с полной ясностью показал главных бесов нашей эпохи, прямых наследников Петруши Верховенского — Пол Пота и Жданова. Эти «свежеватели живого мяса» (М. Волошин) главенствовали совсем недавно.

Очень упрощенно можно сказать, что главная истина, проповедуемая Достоевским, сводится к тому, что цель не оправдывает средства. Цель не оправдывает средства, ибо они неразделимы. И неизбежно далее они меняются местами — цель превращается в средство, а средство в цель. Идея социализма оказалась для Сталина средством, а целью был террор, геноцид.

Только в России возник такой роман-предупреждение, роман-предсказание «Бесы». В Германии, вырастившей своих бесов, не было ничего похожего. «Верноподданный» Генриха Манна пророчеством не стал.

Для Ю. Ф. Карякина Достоевский — совершенство. Но это не так, слишком он для совершенства сложен. В речи о Пушкине Достоевский сказал о всемирной отзывчивости великого поэта: «Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность... Мы не враждебно... а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий...» Это благородные слова. Но сам Достоевский за Пушкиным не последовал. Он не любил и презирал иноземцев и инородцев — немцев, французов, поляков, евреев. Исключение сделано лишь для англичанина Астлея в «Игроке». Не будем говорить о статьях в «Дневнике писателя». Но с враждебностью к нерусским людям мы встречаемся и в великих созданиях бессмертного писателя — в «Преступлении и наказании», в «Игроке», в «Бесах», в «Братьях Карамазовых». Мне возразят, что многие русские люди у Достоевского изображены еще хуже. Конечно, Свидригайлов гораздо страшнее Ахиллеса, на чьем лице «виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени». Но Свидригайлов плох не потому, что он русский, а потому что он Свидригайлов, в то время как Ахиллес или поляки в сцене в Мокром, на мой взгляд, изображены отрицательно именно потому, что они не русские. Так вот и получилось, что Достоевский, властитель дум самой передовой и мыслящей части общества, к которой принадлежит Ю. Ф. Карякин, кое в чем, как мне кажется, угодил Геббельсу и Шафаревичу.

Достоевский сказал проникновенные слова о возможной гибели человечества. Мысль о страшной угрозе — экологической или термоядерной — пронзительно звучит в книге Ю. Ф. Карякина. Занимаясь теоретической биологией, я не знал, что об этом написал еще Ламарк, текст которого приведен Карякиным. Если человечество самоуничтожится, то это будет означать, что Homo sapiens — тупиковый вид. Других тупиковых видов нет и не было — ископаемый ирландский

олень вымер не потому, что рога его весили около 30 килограммов, как это иногда утверждается, ведь и сейчас существует горный баран аргали, рога которого еще тяжелее. Но Homo sapiens рискует самоуничтожиться именно потому, что у него самый большой мозг.

Вячеслав Иванов

Для меня Достоевский прежде всего писатель, художник. Мне кажется, что не нужно из него «выуживать» идеологию.

Нам тоже нужно разоружение. Русская литература всегда исполняла чужие обязанности. Это давно известно. Она исполняла обязанности философии, обязанности правовых установлений, которых не было в России, обязанности новейшей истории. Александр Исаевич, о котором много сегодня говорили, по существу, сейчас не свою работу делает, а работу несуществующих историков России новейшего времени. Пора разоружиться. Пора дать возможность литературе быть литературой, искусству — искусством. И Достоевский уже был искусством. Его чудо, может быть, именно в этом. Он мог бы быть просто философом, просто религиозным проповедником. А он имел смелость при этом стать художником. Сегодня мне хотелось прежде всего об этом сказать. И мне кажется, что Юрий Федорович очень хорошо это почувствовал. Его книга самим распределением автографов Достоевского, всем проникновением в дух Достоевского — сама является произведением искусства, как каллиграфия Мышкина. Для чего Мышкину нужны росчерки? Именно для того, чтобы быть и оставаться художником, чтобы нас научить, что не буква важна, а росчерк на букве. Искусство — это избыточное.

Не будем продолжать унылую традицию, которая сводит искусство и литературу только к каким-то элементарным истинам. Мы и без Достоевского знаем, что Сталин очень плох. Может быть, более интересно то, что Сталин читал Достоевского и своей дочери говорил, что это великий писатель, а народу — я учился именно в это время,— не разрешал его читать. Достоевский, как вы помните, в школьных программах нашего времени отсутствовал. Как у О. Хаксли в романе «Этот прекрасный новый мир» диктатор держит Шекспира в своем сейфе и один его читает: вот так Сталин читал Достоевского. Это художественное произведение, вот этот факт. В этом соединении Сталина и Достоевского, а не в элементарных вещах. Ну, а если говорить о вещах не элементарных: что мне кажется удивительным у Достоевского — его прозрения. Приведу вам один пример подобного прозрения. Сейчас уже можно говорить о том, что братья Карамазовы имеют прототип. По-видимому, этот прототип — братья Соловьевы. Достоевский дружил также и с Владимиром Соловьевым, но его близким другом был Всеволод Соловьев. Как ни удивительно, но семья Карамазовых — это семья Соловьевых (если говорить о прообразах). И здесь есть один удивительный, загадочный факт. Иван Карамазов сочиняет известную вам повесть о Великом инквизиторе, которую потом напишет Владимир Соловьев, прообраз Ивана Карамазова, и назовет это «Повестью об Антихристе». Может быть, как раз XX и, увы, даже XXI век содержатся в этой повести, которую Соловьев написал, как бы помня, что Достоевский заранее все знал про него. Не только про XX и XXI век, но и про бедного Владимира Соловьева, который в конце жизни должен был написать эту повесть. Это мне кажется поразительным.

В Достоевском есть очень многое, что находится совершенно за пределами нашего понимания. Как, по-моему, в России, в нашем веке, а если он будет, то и в будущем веке интересно то, что нельзя вычислить. Интересно то, что выходит за рамки нашего понимания. Не то, что марксизм плох или хорош. А вот то, что Достоевский понимал нечто, что уходит куда-то далеко вперед, это поразительно и замечательно.

Карен Степанян

Все те, кто сколько-нибудь серьезно изучал творчество Достоевского, не могут сейчас не задаваться мучительными вопросами: почему же он, так гениально предугадав и предсказав все, что с нами будет, не сумел ничего предотвратить. Настойчиво звучит этот — пусть впрямую и не высказанный — вопрос и во многих главах книги Ю. Ф. Карякина. Почему не услышали Достоевского современники, те, кто мог бы еще вовремя одуматься? Как случилось, что народ, в святости и прочности нравственных идеалов которого в 70-х годах прошлого века автор «Братьев Карамазовых» был уверен, через пятьдесят лет — ничтожный, казалось бы, в масштабах истории срок — дошел до такого ужасающего ожесточения в гражданской войне, как мог он допустить т а к у ю коллективизацию и даже содействовать ей, как мог смириться с лагерями?

Размышляя над этими вопросами, в который раз перечитывая Достоевского, я вдруг открыл для себя нечто поразительное: высказывания его из «Дневника писателя» в оправдание русско-турецкой войны 1877—1878 гг. можно вполне использовать для оправдания революции. Приведу лишь несколько: «Именно для народа война оставляет самые лучшие и высшие последствия... Как ни освобождайте и какие ни пишите законы, неравенство людей не уничтожится в нынешнем обществе. Единственное лекарство — война»; «Уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока»; «... пролиянная кровь несомненно спасет... от вдесятеро большего излияния крови, если б дело отдалилось и еще раз затянулось»; «народ (в бой.— К. С.)... весь

пойдет, всей своей стомиллионной массой»; «пролитая кровь «за великое дело любви» много значит, многое очистить и омыть может, многое может вновь оживить и многое, доселе приниженное и опакощенное в душах наших, вновь вознести».

Русские войска шли спасать угнетаемых и истребляемых турками славян. Но ведь и революцию тогда считали войной за освобождение угнетенных и истребляемых...

Конечно, я понимаю всю условность такого сопоставления; можно было выставить здесь множество оговорок. Однако факт остается фактом: кровопролитие выдвигается как лучшее лекарство от насущных бед. Но ведь и первые поколения революционеров искренне верили в эту идею, и надежд на внутреннее моральное перерождение «верхов» у них было не больше, чем в 1876—1878 гг. — надежд на моральное раскаяние турок.

А как объяснить многочисленные уничижительные высказывания Достоевского в адрес англичан, французов, поляков, венгров, евреев, даже тех самых братьев-славян, которых шла освобождать русская армия?

И уж вовсе сбивает сейчас, особенно с е й ч а с, с толку согласие с рекомендациями по изгнанию из Крыма татар: «нечего жалеть о татарах — пусть выселяются, а на их место лучше бы колонизовать русских... Во всяком ведь случае, если не займут места русские, то на Крым непременно набросятся жиды и умертвят почву края...» В минувшем году в «Вопросах литературы» Людмила Сараскина, отвечая нашему сегодняшнему гостеприимному хозяину сэру Мэтлоку на его — сходные — недоумения по поводу подобных противоречий в наследии Достоевского, утверждала, что Достоевский призывал к очистительной войне с отчаяния от того ужасающего омертвения духа, которое наступало на Россию вместе с буржуазными порядками, и во имя святой идеи освобождения. Такое объяснение не представляется мне исчерпывающим. А призывы к выселению татар из Крыма, а утверждения, что нерусские силы и «либеральное мнение начали уже закупать, и продолжают это весьма успешно», а упомянутые отзывы о других народах Европы — тоже с отчаяния?

В 1881 г. обстановка на Востоке изменилась, овладение Константинополем перестало быть реальным, и Достоевский призывает бросить там все и начать завоевания в Средней Азии.

Что же до славянских народов, то, пишет ныне он, «славянские же народы мы можем по-прежнему поощрять и любить, даже помогать им чем можно п р и с л у ч а е. К тому же очень-то они не погибнут в какой-нибудь срок».

Мне кажется, что объяснение всему этому следует искать в глубинных пластах истории России. В науке принято считать, что быстрое, первоначально вводимое по распоряжению «сверху» принятие христианства — сразу как государственной религии — привело к тому, что язычество оказалось не в ы ж и т о естественным путем, а осталось как бы в подпочве христианского миропонимания на Руси и подспудно проявлялось во многих церковных празднествах, обрядах и суевериях вплоть до XIX века. Не отрицая этого, рискну выдвинуть еще одну причину.

Православие выделяется из всех христианских конфессий, пожалуй, именно тем, что налагает на человека очень большую личную ответственность, ибо предполагает максимально свободную ориентацию человека в мире и возможность как внезапного падения, так и мгновенного просветления; православие, далее, в наименьшей мере приспосабливается к практическому быту человека, а потому истинно православное существование требует постоянного и огромного духовного напряжения, что под силу далеко не всем. Потому на Руси просияли столь великие святые — и потому же у многих христианская защита оказалась достаточно тонкой и языческая природа, под влиянием процессов, которые происходили в те самые кульминационные полвека, вновь вышла на поверхность.

А один из главных признаков языческого мироощущения — разделение людей на своих родных (от слова «род») — и чужих. Поэтому отношение к чужим, обращение с ними находится вне норм морали. Такое деление началось, увы, задолго до сталинизма, не смог, как видим, противостоять ему и такой гигант, как Достоевский.

Прислушивается ли сейчас общество к словам тех писателей, которые утверждают, что левая пресса куплена известно кем, в Крым ни в коем случае нельзя пускать татар, все народы уступают русскому по своим нравственным качествам, а все сторонники радикальных общественных перемен — чужеродная народу сила? Вот и многие современники Достоевского по этой же причине не хотели прислушиваться к нему вообще.

Мы должны сегодня обязательно найти рецепты лечения этой трагической болезни духа — разделения людей на «своих» и «чужих».

Дмитрий Урнов

О Достоевском, при том, что в его произведения вчитываются с величайшим напряжением и вниманием, за последнее время стали распространяться устойчиво-превратные представления. Например, мы твердим: «Красота спасет мир, как сказал Достоевский», хотя Достоевский это не «сказал», а только повторил — следом за Шиллером, кумиром своей юности. Всю жизнь он вел внутренний диалог с Шиллером, и если для Шиллера красота — это гармония: мир спасется, когда гармонизируется, то у Достоевского красота — демоническая сила.

нарушающая все нормы и *поэтому* способная править миром. Мы повторяем опять-таки со ссылкой на Достоевского, самого Достоевского, фразу о «слезинке ребенка», но и эту фразу произнес не Достоевский, а его персонаж, теоретик, циник. Это рассуждение циника, проповедующего о недопустимости пролить детскую слезу и тут же проливающего фактически кровь отца, вдохновляющего отцеубийство. «Грош цена рассуждающим о слезинке ребенка!» — вот что, по существу, говорит Достоевский, а мы это преподносим как предостережение: «Не дай Бог пролить хотя бы слезинку!»

То же самое происходит у нас с идеей «всемирной отзывчивости», о которой мы толкуем, забывая, что у Достоевского она сочеталась с имперской политикой; так же и с его любовью к человеку: у Достоевского она была христианской, а не гуманистической, мы же упрямо называем его «гуманистом»,— но христианская любовь к ближнему, по-моему, исключает гуманизм — высокую оценку человеческой личности. Словом, почти на каждом шагу Достоевский имел в виду совсем не то, что мы у него сегодня вычитываем.

Ничего нового в такой ситуации нет: это происходило со всяким крупным духовным явлением, но почему бы нам не осознать, что ситуация с Достоевским ныне именно такова и что мы сами создаем эту ситуацию?

В чтении Достоевского мы как бы останавливаемся на известном пункте, между тем мысль писателя идет дальше; мы выбираем нас устраивающий смысл в его суждениях, тогда как он говорит еще о многом, что и показал, цитируя Достоевского, профессор Алексис Климов.

Об этом даже как-то странно говорить после М. М. Бахтина, однако мы ссылаемся на Бахтина и... действуем не по Бахтину. Совсем не по Бахтину! Так, для Бахтина не только мораль и политика несовместимы — это были, с его точки зрения, просто разные вещи, разные сферы деятельности, но даже истина не совпадала у него с проблемой добра и зла. «Когда речь идет об истине,— говорил он нам,— вопрос о добре и зле не принимается в расчет». Короче говоря, и у Достоевского, и у его мощнейшего истолкователя Бахтина — другая мысль, не наша и по характеру, и по направленности.

В этом, мне кажется, и заключена основная причина превратности нашего понимания Достоевского, или, точнее, преподнесения его наиболее влиятельными интерпретаторами нашей публике. Мы рассуждаем так, словно Достоевский, что называется, с нами. А он вовсе не с нами, он против нас! Мы же, передовые люди, по крайней мере, многие из нас именно так понимают свою современную роль, а Достоевский вместе с русской литературой в лице ее крупнейших представителей был против передовых людей. Передовые люди и передовые идеи — основной объект критики в произведениях великих русских писателей, что, подчеркиваю, и обеспечило мировое признание нашей литературы, признание, шедшее из-за рубежа, прежде всего с Запада. В этом ничего зазорного нет — это, напротив, хорошо, что не мы первыми заговорили о мировом значении собственной литературы, тем объективнее было признание этого значения. Нам остается только понять, в чем заключалась суть этого признания, его пафос, когда западные ценители, скажем, в кружке Флобера (куда входил американец Генри Джеймс, введенный в этот кружок Тургеневым) противопоставляли своей литературе, движимой идеей прогресса, нашу литературу с ее идеями не прогресса, а органического развития. Это большой и сложный вопрос, я не имею возможности хоть сколько-нибудь его раскрыть, мне хотелось бы только сказать о существе дела, часто упускаемом из вида.

Ни в чем превратность современного истолкования Достоевского, пожалуй, так не проявляется, как в отношении к наиболее злободневному его роману «Бесы». Мы предпочитаем толковать этот антиреволюционный роман «снизу», с той критики революционной демократии, которая в нем, конечно, содержится. Но прежде чем доходит дело до нечаевщины, там подвергается тотальной, систематической критике все общество, и притом начиная с верха. Вольнодумствующее, пригревшее протестантов начальство, страдалец-пророк — интеллигентский святой, передовой писатель-полуэмигрант, живущий на два дома сразу, на две страны, и уж потом как следствие всех этих разлагающих, «пригревающих» обстоятельств плодится нечаевщина. «Бесы» — это не критика революции вообще, это критика революции, начинаемой сверху и подхватываемой снизу. Сверху — фрондерство *, так сказать, рубка того самого сука, на котором те же самые «отцы общества» сидят, стремясь прослыть одновременно и столпами порядка и поборниками перемен к лучшему, а снизу — все, что уже неплохо устроилось, но хотело бы устроиться еще лучше. Так что если «Бесы» — это роман-предостережение, в чем мы все согласны, то давайте в самом деле прочитаем, что же в нем написано, иначе как бы нам с вами не составить сюжет, достойный пера Достоевского.

Юрий Карякин

Нам сплошь и рядом недостает ныне смелости, недостает, я бы сказал, тихого, надежного мужества, потому что коренные источники наших бед лежат не в экономике, не в политике, потому что та и другая программируются,— и это доказано — программируются установками духовно-нравственными.

* Стараюсь употреблять это понятие в исторически определенном смысле: привилегированные слои общества, желающие еще больших привилегий и поэтому выступающие против верховной власти с опорой — демагогической — на недовольство народа.

В чем корни бед? Мне кажется, в том, что в известном учении, а еще лучше сказать, в интерпретации этого учения был заложен такой первоначальный порок: невероятное, немыслимое, невозможное понижение цены жизни и цены личности, цены человека. Все было брошено на якобы достижение высоких целей любой ценой. И вот сейчас мы можем подытожить сделанное. Для меня эта фраза, которую я сейчас скажу, напоена кровью. **При такой-то цене — такие результаты...**

Мы занимаем сейчас все последние места по производительности труда, по смертности человека. Мы, поставившие выше всего человека, выше всего детей, занимаем худшее место по детской смертности. Почему? Потому что первое место семьдесят лет мы занимаем по лжи себе и другим, по обману и самообману. Не было в истории человечества общества с таким ложным самосознанием, которое не имело и даже сейчас еще не имеет представления о том, что оно такое на самом деле.

Недавно я был совершенно потрясен заявлением Егора Кузьмича Лигачева на февральском (1990 года) Пленуме. Признаком социализма, вообще исчерпывающим определением социализма, утверждает он, является то, что наш народ всегда (это у него несколько раз подчеркивается), всегда жил с уверенностью в своем завтрашнем дне.

Вы понимаете, ложь, она, как бы сказать, в по́рах уже, она не замечается, она произносится машинально. Но не становится от этого менее чудовищной. Это как же понимать изволите,— что, в 1929 году советский народ жил с уверенностью в своем завтрашнем дне, когда лучшее, что было в народе, что тысячелетием накапливалось в народе мужицком, в мужиках и бабах, было уничтожено? И эти люди жили с уверенностью в завтрашнем дне? Когда на Украине два-три миллиона погибли от голода, и людоедство было распространено? Спросили бы у Вавилова в тюрьме об этой «уверенности», у братьев Вавиловых.

Везде, в каждой стране есть гении, но я смею сказать,— не боясь никаких подозрений в шовинизме,— что у нас в России была гениальная интеллигенция, в целом гениальная интеллигенция. Нужно еще понять, как она образовалась и почему, но это факт. Что стало с нею?!

Возьмите список членов Политбюро за семьдесят два года, он опубликован, секрета, государственной тайны нет. Сама жизнь создала такую репрезентативную группу, какой не бывало, какая не снилась ни одному великому социологу, ни Спенсеру, ни Морено, никому,— это наше Политбюро. Никогда в истории не было такой репрезентативной группы, проанализировав которую, мы получим представление об обществе в целом. Причем эта методология, если угодно, соответствует главной и страшной особенности построения нашего общества: оно строилось и строится во многом сверху вниз. Политбюро сосредоточило в своих руках действительно необъятную власть, абсолютно необъятную. Главной фигурой сталинщины был Берия, то есть главной фигурой сталинщины был бандит. Если половина, больше половины сталинского Политбюро были уголовные убийцы, то около половины брежневского Политбюро (давайте протрем глаза!) — это же уголовные наживалы. Смена убийц на наживал как основная тенденция этого периода.

Нина Андреева говорит: свергаем авторитеты наших вождей. Кто свергает? Если в народе Черненко называли буфетчиком,— он ведь работал «по распределению», и то, что он стал в конце концов генсеком — в этом чудовищная гримаса сути этого общества с извращенными идеалами и идеями.

Вы спросите: а нынешнее Политбюро какое? Нынешнее Политбюро — сейчас, по-моему, это всем совершенно очевидно,— Политбюро, которое не имеет конституционной власти, оно внеконституционно.

У нас старое, неизжитое еще представление, идущее издавна,— что марксизм-ленинизм, дескать, высшее достижение мировой культуры, а при вступлении в партию тебя тем самым автоматически вдвигают на эту вершину мировой культуры, ставят на вершину, и тебе сразу прививается (я говорю о реальности, а не о каких-то неосуществленных идеалах), тебе сразу прививается хамство, ты уже заранее выше Гегеля, ты уже знаешь заранее, что Достоевский, Толстой полны пороков, недостатков, грехов и т д.

Нам не приходит в голову, что сейчас нам приходится платить. Уже не марксизм-ленинизм судит мировую культуру, а мировая культура ныне смотрит на марксизм-ленинизм... Пора нам платить по счету. Мы столько наобещали, как никто, и ведь реально ничего не выполнили.

Ни один сколько-нибудь серьезный политик не может, не имеет права заниматься политикой, если он не пропустил через всю душу, через весь свой интеллект «Бесы» и «Архипелаг ГУЛАГ». Почему «Бесы»? Почему я сейчас хочу переписать свою книгу, вернее, закончить ее главой, которую начал в 1965-м году?

Я был счастливым несчастным, что ли, человеком, потому что некоторые главы «Архипелага ГУЛАГ» мне автор давал в рукописи. Я читал тогда и думал: не верю, что это возможно, что когда-нибудь напишу «От «Бесов» до «Архипелага». От первого предупреждения, где прямо сказано: и заплатите — будут голоштанные попытки к прогрессу. Вот так Достоевский и пишет: голоштанные по-

пытки к прогрессу, при потере чувства чести. И будет заплачено 100, а то и 200 миллионов голов. А в масштабе всего «соцлагеря» это и заплачено.

И вот сейчас «От «Бесов» до «Архипелага «ГУЛАГ» — это законченный цикл. Там первое предупреждение у входа в Ад, а теперь мы на выходе из этого Ада, и Александр Исаевич дает нам совершенно чудовищный список, опись того, что потеряно... **При такой-то цене — такие результаты.**

Давайте посмотрим, тихо, спокойно подумаем над таким открытием Достоевского: Бога нет, и все дозволено. Бога нет в душе, Бога как источника нравственных ценностей. Произошел разрыв со всеми нажитыми человечеством ценностями. В науке количество знаний увеличивается теперь уже в пять лет в два раза. А в нравственности, в духе, в культуре? Я смею сказать: все, что наработано в культуре,— это уже 99 процентов доступного человечеству, тут не удваивается, не утраивается. Но мы ухитрились раз и навсегда, казалось, разорвать со всей мировой культурой, попавшись в такую западню: коммунистом можно стать только тогда, когда овладеешь всей суммой накопленных знаний. Значит — тут нужно быть последовательным,— у нас нет коммунистов. А если ты не знаешь эту культуру, то ее для тебя нет, поэтому уничтожить ее тебе ничего не стоит...

В мире журналов и книг

История и лира

Одна из поэтических книг Семена Липкина называлась «Очевидец». Не раз и не два поэт признавался в том, что начисто лишен фантазии. В стихотворении «Лира» он изложил свою творческую позицию так:

От незрячего Омира
Перешла ко мне моя
Переимчивая лира —
двуединая змея.

. . . .

И когда степняк иль горец
Жгли судьбу в чужом краю,
Робко трогал стихотворец
лиру — добрую змею.

И она повествовала
Не про горе и беду,
А про то, как жизнь вставала,
Как готовили еду...

Действительно, повесть Семена Липкина «Декада» — это, по существу, небольшой историко-художественный трактат или маленький роман: столько в ней различных срезов общества, планов и персонажей. Прежде всего тема национальная — судьба тавларов и гушанов, двух вымышленных народов Кавказа — «наказанного» и «ненаказанного». Говорят, что не так трудно написать произведение, как подобрать к нему эпиграф или заглавие. В этом смысле «Декада» — великолепное заглавие, многозначность которого раскрывается, впрочем, не сразу. Ведь что такое у нас декада? Это важное политическое мероприятие, праздник литературы или литературы и искусства такого-то народа в столице — казенный апофеоз планового творчества; это поочередный мандат на реализацию «народом» своего права на выражение счастья, дружбы и чувства семьи единой, о чем время от времени рекомендуется празднично напоминать; наконец, это просто десять дней, противопоставленных остальным тремстам пятидесяти пяти, на которые тем незазорнее можно наплевать, чем «успешней» прогремела декада; короче,— это емкий символ искусственности, показухи, фальши и бескультурья— неотъемлемых параметров тоталитарного общества в любой его стадии, террорной ли, застойной...

До озноба страшны сцены, описывающие насильственное переселение тавларов. Вот чекисты-десантники, сами замирая от страха на узкой обледенелой тропе, сгоняют вниз к грузовикам этих чернозадых предателей-чучмеков, как начальство представило им жителей заоблачного Куруша. Многие сорвались в пропасть, но, «достигнув середины тропы, все как будто по уговору, отдышась, оглянулись на мгновение наверх. Домов уже не было видно, только минарет сельского клуба, как одинокий замечтавшийся паломник на пути к Мекке, застыл отрешенно и благоговейно. Заря свободно разгорелась, и глазам открылся двуглавый Эльбавенд. Одна голова горы, казалось, венчала туловище, распятое утренним солнцем, а на другой, повязанной снежной чалмой, были опущены тяжелые ледяные веки: не хотела гора, не могла видеть великое горе своих сородичей. Исход народа? Угон народа?

Долго еще продолжало жить это мгновение в сердцах людей там, на далекой чужбине. А здесь мгновение прошло, и снова спуск... А горы стояли, смотрели, вспоминали и плакали, плакали никогда не замерзающими слезами родников».

Или эпизод на вокзале в Рузаевке, где капитан Бодорский наткнулся на вагон с тавларскими спецпереселенцами: «Капитан заглянул в лаз. Вагон, предназначенный для перевозки скота, был переоборудован для перевозки людей, но так, что людям было хуже, чем скоту. По обе стороны от узкого прохода были сделаны нары. Ни внизу, ни наверху люди не могли выпрямиться. Они скорчились в этом гноище, в грязи и вони. Былые пастухи стали отарами, гуртами. Беззубый старик в папахе, сидя на заплеванном, загаженном, с застывшими испражнениями полу скотского вагона, жадно дышал воздухом, сыро и мглисто врывавшим-

---

Семен Липкин. Декада. Летописная повесть. «Дружба народов». 1989, №№ 5—6.

ся сквозь лаз. В углу слева кричал новорожденный...».

Вернувшийся с войны Героем Советского Союза тавлар Мурад Кучуев застал в Куруше лишь «застывшую очажную золу родного дома». И Мурад поехал во Фрунзе — поехал к остаткам своего народа

От другого Героя Советского Союза, ныне начальника Гугирдского вокзала Авшалумова, он услышал «не совсем понятные, немного, кажется, обидные, но глубокие» слова, запавшие в душу: «Теперь судьба испытывает, останется ли народом твой народ... Будет ли он множеством песка или горстью жемчужин?..»[1]

Сегодня уже можно сказать, что тавлары, как и евреи, выдержали испытание на народ — говорю это о несуществующем вроде бы народе потому, что тавлары народ не вымышленный, а собирательный, вобравший в себя элементы и чеченской, и ингушской судьбы, и карачаевской, и балкарской[2], с редкостной достоверностью и цельностью воссозданный автором «Декады», имевшим возможность изучить и полюбить каждую из этих судеб.

...Средь уродливых, грубых диковин
В дымных стойбищах с их тишиной
Так же страстен и так же духовен
Поиск воли и доли иной.

(С. Липкин. «Тот же признак»)

Второй существенный срез общества, данный в «Декаде»,— номенклатура, партийное, советское, энкэвэдэшное и литературное начальство. Перед нами проходит целая галерея начальственных типов чуть ли не всех рангов — союзного, республиканского, районного. Некоторые, как Девяткин или Сулейман Нижмутдинов, прозорливо не веривший своим референтам, что Гомер — это пятый классик марксизма, показаны на излете карьеры, другие, как Парвизов, Амирханов, Жаматов, младший Азадаев, даны, по завету Белинского, «в их развитии». Некоторых писатель по-своему любит, отмечая их своеобразный ум или политическую прозорливость (например, яркий эпизод с Даниялом Парвизовым, спасшим гушанский народ от выселения с помощью умело подброшенной цитаты из приветствия Сталина к гушанским коммунистам). Поражает зоркость и наблюдательность С. Липкина, сумевшего столь точно отобразить и осмыслить — и художественно и, можно сказать, научно, этнографически — особый стиль, этикет, психологию и лексику этой «жировой» прослойки нашего общества.

Но при этом писатель показывает, что и в этом лживом и извращенном мире есть место не только для карьеристских расчетов, но и для бушевания страстей и характеров, ведь в кабинетах этих и впрямь решались судьбы людей и целых народов. Тот же Парвизов ведь не только умен, но и смел: прогнал из республики поэта-охотнорядца Башашкина, инстинктивно отшвырнув от себя нечисть антисемитизма, которой в тот момент уже принадлежало настоящее.

По-видимому, жизнь не обидела Семена Израилевича Липкина общением с начальством. Почти для каждого у него находятся индивидуальные штрихи и краски. Вот Биев, начальник Кагарского НКВД, с его комической присказкой «надо лучше», а вот секретарь ВКП(б) того же района Амирханов с фамильярно-подхалимским оборотом: «Золотом режу ваши слова!». По-своему выразительна бессмертная казенщина генерала НКВД товарища Семисотова: «Как добираются туда (в аул Куруш.— П. Н.) партийные и советские работники, как проводят колхозные собрания, не пускают же все на самотек, наконец, как жители аула спускаются вниз, если есть важное дело, например, участие в выборах?»

Оказалось, что номенклатура, воспитывавшая нас, а особенно себя, в духе социалистического реализма, совершенно не выдерживает испытания просто реализмом. Какой *славный* путь прошел в повести небезызвестный Мансур Азадаев с его лукавым и жестоким глазом (и с его, по гушанской пословице, длинными рогами, которыми он трется там, где ему удобно): от скромнейшего льстеца в прихожей Бодорского до мерзейшего барина у руля Союза писателей! С. Липкин умело владеет коварным приемом смазанного (иногда — намеренно) портрета. Словно в катаевском «Алмазном венце», подготовленного читателя манит соблазн отгадывания: Мусаиб Кагарский, «Гомер XX века» — это Сулейман Стальский? А кто такой Хаким Азадаев — Гамзат Цадаса? Парвизов — это Даниялов? И т. д. и т. п. Тот же прием применим и к главному герою повести — поэту и переводчику Станиславу Юрьевичу Бодорскому, охотно помогающему начальству ставить на ноги и проводить обе пресловутые декады в Москве. Это по-настоящему сложная и без преувеличения трагическая фигура, за которой угадывается наряду с авторской судьба одного из замечательных наших поэтов — Арсения Тарковского[3]. В сущности, это судьба целой плеяды талантливых русских поэтов (А. Тарковский, М. Петровых, А. Штейнберг, А. Кочетков, Вл. Державин, наконец, повторяю, сам Липкин, младший из этой плеяды), которым выпало сильно поджаться в этой жизни, чтобы уцелеть и распрямиться — каждому по-своему — или уже не распрямиться на закате дней. Когда Бодорский в Рузаевке принес в тавларскую теплушку ведро воды и хотел отдать свой паек, подавляя при этом страх за себя, и когда он ответил, тепло и серьезно, на письмо Алима Сафарова, посланное из казахстанских степей, и когда он, кляня себя, оставил похабного Мансура Азадаева наедине со «смачной» чешской журналисткой,— все это, надо полагать, такие же конкретные факты из собирательного портрета этой вполне трагической плеяды, который явлен в талантливом и усталом человеке — Станиславе Бодорском.

Другой герой «Декады» — Алим Сафаров. Мальчиком он рисовал портреты односельчан и вождей, мечтал о художественном училище, о красках. Тавларам такое счастье тогда еще не полагалось, и творческая сущность подростка нашла выход в другом — в писании. Но его отношение и к самой литературе, и к тому, что называют «литературным процессом», в высшем смысле серьезно и противоположно отношению того же Мансура Азадаева. На декаду в Москву, в частности, он ехать не хочет — он не только знает «цену» мероприятию, но и не желает соучаствовать в платеже. Он пишет прозу, но главное даже не проза его, а записная книжка, которую он ведет для себя и которую не раз и с удовольствием «цитирует» Липкин. Вот только одна выдержка для примера:

«Я плохо знаю Коран. Я читаю его по-русски. Надо изучить арабский язык. Пока я знаю только алфавит. Когда я написал о сознании своего греха, я был скорее христианином, чем истинным мусульманином. Вообще кто я? Для чего я пишу, если не всегда пишу так, как думаю, или не все то, о чем думаю? Станислав Юрьевич, как мне кажется и судя по его стихам, говорит со мной не всегда так, как думает. Однако на днях он поразил меня откровенным заявлением! «С советской властью,— сказал он,— нельзя хитрить. Она мудрее любого хитреца. С ней нельзя играть ни в какие игры: она любого обыграет». Почему он вдруг так со мной заговорил? Намекает ли он на то, что я веду игру? А я веду игру...»

Другой род вставных глав в «Декаде» мифологический. Быть может, это самые поэтичные главы повести, где автор уже не прозаик, не реалист, а некий демиург, творящий праисторию и прапоэзию. Не только глубокими знаниями и мудростью поражает здесь проза, а прежде всего поэтичностью, благоуханием мифа, словно лотос, распускающийся на наших глазах. И нам уже не надо никаких иных доказательств родства греков и гушанов, эллинского богоборца Прометея и горского героя Метея!

Как не надо и особых доказательств того, что склонившийся к суровой прозе Семен Израилевич Липкин не изменил себе и остался поэтом, но поэтом особого, ныне и вовсе редкого склада,— не медитирующим, а летописующим, ищущим и находящим в истории смысл.

Павел Нерлер

---

[1] Эту мысль горского еврея позднее подхватит немец, бывший профессор Ленинградского университета Николай Леопольдович Гензельт, сосланный в те же места, что и тавлары. Он говорил своим «ученикам» — учителю Берду Отарову и школьнику Алиму Сафарову: «И не потому вы перестаете быть народом, что вас выслали сюда, а потому, что вы забываете Бога».

[2] И даже лезгинской судьбы, если вспомнить, что Куруш — лезгинский аул, и постигла его в действительности почти такая же судьба, но в рамках не политической, а экономической кампании — «переселения отсталых горцев на передовую плоскость».

[3] Кстати, Тарки — это аул близ Махачкалы, бывшая столица шамхала Тарковского, одного из дагестанских феодалов.

В редакцию почти одновременно пришли две рецензии на книгу Натальи Астафьевой «Заветы»: профессионального критика Н. Старосельской и читателя из Симферополя К. Яковлева. Обе показались нам весьма содержательными, раскрывающими сущность поэзии Н. Астафьевой с разных сторон, в чем-то спорящими между собой и взаимно дополняющими друг друга. Не желая жертвовать какой-либо из них ради другой, мы решили предложить читателям два взгляда на одну книгу.

«...Обретаю древо, коего я — ветка»

Говорят, сейчас не время стихов. Слишком многое возвращается в нашу жизнь, слишком многое обновляется на глазах. Необходимо осмысление целой эпохи — замолчанной, но не забытой, не ставшей от этого молчания менее горькой. Необходимо трезвое осмысление сегодняшней реальности, иначе завтрашний день может снова оказаться днем непоправимых ошибок.

Наталья Астафьева. Заветы. Книга стихов. М., Советский писатель. 1989.

Все тянутся к фактам прошлого и настоящего — мемуарным свидетельствам, публицистике, даже статистике. Все ощущают себя включенными, втянутыми в бурление жизни, ангажированными, политически пристрастными. Рухнули еще недавно столь прочные стены, которые десятилетиями возводил почти каждый, отделяя себя от государственности любого рода — из страха или из равнодушия. До поэзии ли, когда все так смешалось в нашем доме?.. А если все же — до, то какие стихи могут оказаться действительно необходимыми нам сегодня? Явно не те, авторы которых быстро и легко «реагировали» раньше и «реагируют» теперь на меняющуюся конъюнктуру или очередную моду. Законы «выживаемости» поэзии в наши дни сложны и неоднозначны, но ясно одно: нам сейчас как воздух необходимо доступное только поэзии эмоциональное, личностное осмысление прошлого и настоящего — во имя будущего. Осмысление, ведущее к восстановлению нравственных ориентиров.

Именно такие стихи составили новую книгу Натальи Астафьевой.

Эти стихи создавались на протяжении нескольких десятков лет, словно бы с тайной уверенностью, что придет день, когда обрывки мыслей, воспоминаний, почти дневниковая интимность переживаний, попытки осознать свои корни сложатся, словно причудливые фрагменты калейдоскопа, в единое целое: образ трагической, но и неповторимой по своим идеалам эпохи.

Кто знаком с поэзией Н. Астафьевой по книгам и журнальным подборкам, возможно, и не очень удивится единому лирическому тону «Заветов», резко отличному по настроению, интонации, а главное — по неизменяемой твердости убеждений от многих стихов, приходящих или возвращающихся к нам сегодня. Уже в сборниках «Кумачовый платок», «Любовь», «В ритме природы» ощущались те черты личности — поэтической и человеческой,— что так отчетливо выступают со страниц «Заветов».

В семейном альбоме поэтессы (а, думается, именно так необходимо определить жанр книги «Заветы», продиктовавший Н. Астафьевой совершенно особую интонацию повествования) запечатлены, если не убояться высоких слов, образы вечно живых для нее людей: отца, матери, подруги матери — Натальи Кононовой, дяди Стефана, Марии Ульяновой — сестры Ленина, «четвертого следователя», допрашивавшего мать, деревенских школьников 1946 года...

Благодаря силе поэтического проникновения Н. Астафьевой все они становятся живыми для нас, поэтому и нельзя воспринимать «Заветы» лишь как реквием, хотя подобное настроение диктует открывающее сборник стихотворение:

Вот и кончилось поколенье.
Все повымерли. Никого.
Порассыпались, как поленья,
Как черты лица твоего.

. . . .

Ваши лица — фото архивные —
вдохновенны, чисты: как святые.
Не осталось вас. Никого.
Никого. Как отец, над землей
Звезды падают вниз головой.
Ни одной. Ни одного.

Это книга раздумий о поколении, идеалы которого наследовала поэтесса. Не сдавшаяся, несмотря на трагические грозы эпохи, смявшие фактически все близкое ее окружение. Не растерявшая крупицы того, что было заложено родителями в нее, девочку, рано оставшуюся без отца, едва не потерявшую заключенную в лагерь мать. Не только не забывшую ничего, но бережно сохранившую все, что было оставлено ей в наследство теми, кто делал революцию. Сохранившую по сей день и умножившую это драгоценное знание на поэтический талант.

...Нет отцовских бумаг, нет архивов
отцовских,
но не все истребительным временем
стерто.

Сохранились статьи и заметки
в газетах.
Стенограммы речей. Полицейские
снимки...
Песни, те, что я пела с отцом,
те заветы,
Сохранила я в сердце, до малой
кровинки.
И последнюю песню — «Беснуйтесь,
тираны!..»,
ту, что пела с отцом под стеной
кремлевской
в тридцать третьем, весной,—
петь я не перестану,
это память о жизни и смерти
отцовской!

Казалось бы, при столь трагических обстоятельствах потеряв отца (польский коммунист Ежи Чешейко-Сохацкий, арестованный в 1933 году, выбросился из окна во время допроса, оставив написанную кровью записку), пережив арест матери (Юзефина Чешейко-Сохацкая дожила до реабилитации и вернулась в Варшаву), испив горчайшую чашу отрочества и юности, окрашенных столь «одноцветно», естественно было бы внутренне сломиться, даже ожесточиться и уж, конечно, усомниться в том, ради чего шли на смерть самые близкие люди.

Наверное, многим памятно стихотворение Александра Галича о генеральской дочери, заброшенной судьбой в Караганду и сохранившей как самое светлое воспоминание прошлой жизни лишь «открыточный» облик города своего детства, Ленинграда,— «площадь с садиком, а на ней камень с Медным всадником». У кого достанет сил судить эту женщину и вместе с ней сотни и сотни таких

же, с разорванной надвое жизнью, отлученных от родителей, оклеветанных и опозоренных родителей, раздавленных страшной, чудовищной несправедливостью, отнюдь не искупленной посмертной реабилитацией?..

«Оправдать посмертно...»
Через четверть века
обретаю древо,
коего я — ветка.
Мне вернуло время
имя, род и племя...
Выходец шляхетский,
ставший коммунистом,
жизнь прошел отец мой
юношески чистым.
Мой отец, чье имя
шептала с опаской,
столько лет таила:
Чешейко-Сохацкий.

Внешне судьба Н. Астафьевой схожа с судьбой героини Галича, но она оказалась одной из тех, кто сумел сохранить и донести до нас внутреннюю чистоту помыслов и поступков своих отцов и матерей — столь скоро истребленных,— кто шел в революцию во имя счастья ближних, отдавая ради этого всю жизнь свою. Стихи, составившие сборник «Заветы», дышат незабытым, непреданным чувством глубинного родства поколений, корневой связи, неподвластной ветрам времени:

Тех выслали. Тех перебили.
Все имена перезабыли.
Все идеалы заменили.
А я о прежнем все пою.

Есть некая высокая преемственность, позволяющая подлинным поэтам, Орфеям всех времен, петь «гимны прежние». Над стихами Н. Астафьевой я, наверное, задумалась об этом впервые, усомнившись в нашем праве пренебрежительного всеотрицания...

Стержневая тема сборника не вынесла бы ни малейшей фальши, преувеличений, поэтических красот. Собственно, все это чуждо Астафьевой — ее муза скорее скупа на все внешние проявления, чересчур порой сурова и немногословна.

И стягивали до отказа,
и сдавливали до предела...
Но все равно —
не для показа
душа,
как колокол, гудела.

В гудении души — колокола, откликающегося на народную боль и народную радость всем богатством голоса — от счастливого звона до трагического гула, в умении затаить до времени эмоциональный всплеск и всегда вдруг, всегда неожиданно позволить ему прорваться наружу, чтобы тут же снова спрятать в оболочку самых простых и оттого особенно сильных слов,— подлинный дар поэта Натальи Астафьевой. Наследника традиций и нашего современника.

Все чаще и чаще обращаются сегодня (особенно на Западе) и поэты, и прозаики к жанру семейного альбома, пытаясь восстановить нарушенные связи времен и имен, стремясь объяснить, осознать себя в этом мире с помощью истории семьи, рода. Но нередко это стремление выглядит лишь данью моде, требующей непременного оформления книги фотографиями, придирчиво отобранными из пухлых конвертов или альбомов. В «Заветах» тоже есть фотографии отца и матери автора — видимо, те немногие, что почти чудом уцелели после ареста, сохранившись у нее или у родственников. Но они удивительно органично вписаны в книгу — кажется, невозможно после чтения стихов еще раз не обратиться к прекрасным лицам тех, кому посвящены «Заветы», тех, кто ценой жизни утвердил в душах потомков веру в незыблемость идеалов.

Столетия отец мой видел треть.
От нас все дальше, дальше это время.
Но мы обречены туда смотреть.
Чтобы осмыслить. Хоть в какой-то мере.

Наталья Старосельская

Устами младенца

Ключ к поэзии Астафьевой — в емкой формулировке истории нашей страны: «Все вынесла, глумленье и расправы и громкие слова, слова, слова...» («Когда в окно...»). В ее поэзии нет и никогда не было громких слов. Эта поэзия — кристаллизованная правда. Я долго думал, как выразить впечатление от нее. И наконец, по-моему, нашел определение: целомудренность. Стихи Астафьевой заставляют вспомнить «Ночную прогулку» Н. Заболоцкого о той самой фантастической и трагической эпохе, в которую они с Астафьевой жили: «Вечно светит лишь сердце поэта в целомудренной бездне стиха».

Сила поэзии Н. Астафьевой — в сдержанности при огромном творческом темпераменте. А это позволяет ей создать поэзию большого внутреннего напряжения. Вот как она пишет о военных годах:

«Война мне виделась Горгоной со змеями казахских кос» (поэтесса была в ссылке в Казахстане). Мне думается, что это было вообще лицо сталинского режима, который не только убивал людей, но и обращал в камень (подобно мифической Горгоне) оставленных в живых. Астафьева пишет о жизни-существовании, о людях, доведенных до скотского состояния:

Холод, голод, нищета...
Все последние годы
Жизнь моя была пуста
и полна невзгоды.
Мыслей нет в голове,
в сердце только злоба,
думаешь лишь о еде,
не подохнуть чтобы.

Это стихотворение 1944 года. Может быть, самое нескладное у Астафьевой — и все же поэтичное. Его неотшлифованность, его неровный ритм — тоже явление искусства. Поэтесса будто понимает, что о жизни, которая была «словно тяжелый жернов, ворочаемый» ею, «как мерзлый куль с углем», писать по-иному было бы кощунственно. Ее поэзия написана правдивым языком летописи.

Есть, конечно, своя красота в роскоши и яркости метафор. Но есть своя красота и в немногословности, в резком, почти кричащем в своей обнаженной простоте образе. Астафьева умеет показать «крупность трагической эпохи и резкость черт ее лица» («Не хлеб, а отруби с крапивой...»). Стиль ее поэзии порожден газетным стилем эпохи двадцатых годов, ее энергичным языком — «крепким н нагим» («Москва тридцатого года...»). Она была тогда совсем ребенком, но ведь поэт воспринимает время и пространство по-особому. Не ошибусь, если скажу, что художественным идеалом для Астафьевой была поэзия двадцатых годов и особенно поэзия Маяковского. Это видно из стихотворения «Мне книгу истерзали на куски...», опубликованном в ее подборке в № 10 журнала «Знамя» за 1987 год и, к сожалению, не вошедшем в ее сборник. Стихи Астафьевой близки плакату, графике. Она наследует публицистичность революционной романтической поэзии и ее космичность, хотя и переносит все это в сферу интимной лирики. Вот почему «лирический дневник» поэтессы исторически очень объемен, хотя она вроде бы пишет историю своей жизни. Она умеет обобщать и умеет несколькими словами очертить человеческую судьбу. «Я проросла, как желудь, на пустыре глухом»,— пишет она в стихотворении «Вся жизнь была тяжелой...». Это ведь образ-концепция, из которого может вырасти и действительно вырастает целая книга. Или вот как она пишет об отце в стихотворении «Над обомлевшей степью...»: «Меня, как солнце, грела отца большая тень». «Тень», призрак, прошлое были для поэтессы важнее, выше, ярче реальности — безжизненной и холодной. Убедительнее многих пространных рассуждений здесь выражена тотальная извращенность сталинской эпохи, поставившей вверх дном человеческий миропорядок

Астафьева, по-моему, глубоко народная по восприятию жизни поэтесса, и поэтому она предугадала через свою боль судьбу страны. Да, она продолжает героические традиции революционной поэзии двадцатых и тридцатых годов. Только это поэзия народного плача по загубленным героям. Может быть, потому, что жестокий удар обрушился на незащищенное детское сердце, в ее сборнике словно сконцентрирована вся боль, все слезы эпохи.

Настоящая, глубокая, народная по духу литература невозможна без трагедийности, без права не только ликовать и радоваться, но и плакать. Появление книги Астафьевой с ее грозовым внутренним напряжением — знамение коренного очеловечивания нашей литературы, ведь поэзия — исключительно чуткий и точный барометр нравственного состояния общества. Эта литературная Золушка при всей простоте и скромности ее наряда способна, уверен, завоевать читательское сердце. Она заставляет еще раз вспомнить старую мудрость: «Устами младенца глаголет истина».

К. Яковлев

г. Симферополь

Седьмая или тринадцатая?..

Шесть белых овец приносили шесть
белых овчин.
Седьмая овца была черная.
Шесть белых овец обучили шесть
белых овчат.
Седьмая — не обовчилась.
И стало на хуторе двенадцать белых
овец.
Седьмая стала тринадцатая.
Оделн в овчины двенадцать эстонских
людей.
Отъели овчатиной двенадцать
эстонских детей.
А черная овца — все черная.

Виктор Соснора. Избранное. Мичиган. Ардис. 1988; Возвращение к морю. Лирика. Л., Советский писатель. 1989.

«Овечья баллада» — один из текстов, что повторяется и в белом (по цвету обложки) ардисовском и в черном «совписовском» томиках. И, главное, это едва

ли не самый простой текст в двух книгах. Здесь нет синкопированного, в клочья рваного ритма, нет лексических экспериментов, парадоксальных согласований. Здесь—что у Сосноры встретишь нечасто — смысловая основа достаточно прозрачная и даже знакомая: лишняя овца в стаде... Паршивая не паршивая, но лишняя. Здесь и вопрос: седьмая овца (семерка — знак стабильности и удачи) или таки тринадцатая, чертова? Два числа, которые именуются «простыми» и которые ни за что не желают делиться ни на какое другое.

Мотив «лишней овцы» у Сосноры настолько постоянен, что и мотивом-то не может быть назван: это некая основа быта и бытия, данность. Уже в ранних его стихах — песнях Бояна — древнерусский сказитель, обязанный, казалось бы, быть плотью от плоти наигрываемого на гуслях орнаментально-фольклорного мира, оказывается от него как бы с л и ш к о м в стороне — пока еще не очень далеко, но дальше, чем это нужно для сохранения естественной авторской дистанции (в те времена минимальной). А вот Гомеру — из одноименного цикла — проявленная им из небытия страна кажется и вовсе чуждой: «Нет, я легенд не собирал, я невидимка, а не сфинкс, я ничего не сочинял. Эллада, спи, Эллада, спи». Это как блоковское: «молчите, проклятые книги...» — вдруг открывшаяся чуждость творений собственной душе, известное всем пишущим отчаяние от невозможности полного самовыражения. Что уж говорить о других душах, о других пространствах! «Как поводырь, кружу себя по лесу, ищу клюкой... Но чужд и лесу я». Нет, отнюдь не враждебность, а именно «чуждость»: злости никакой в Сосноре нет, да и враждебные-то миры ближе друг к другу — есть, во всяком случае, точки осуществления этой самой вражды. Чуждость, «лишность» — это тоскливее, это как камень в вату.

Соснора занимает в нашей поэзии очень странное место. Ну, то что книги с трудом выходили — это ясно (известно, у кого они легко выходили). Речь о резонансе, вернее — о его отсутствии: именно что как в вату. Если судить, скажем, по текущей критике (сегодняшней и вчерашней), места этого у Сосноры вроде бы и нет. Какие бы «списки» ни составлялись, какие бы обоймы-колоды ни тасовались-тусовались, из каких бы «команд» в какие поэты ни переходили, к Сосноре эти игры не относятся. Его имя и его стихи трудно использовать для доказательства какой-нибудь идеи, для подтверждения какой-нибудь концепции (оговорюсь, что если имя иного поэта в подобных целях используется, это отнюдь не унижает его: разные бывают концепции и идеи). Авангард, скажем, сегодняшний ни в ряды свои Соснору не включает, ни учителем своим или там предшественником его не называет, хотя и для того и для другого основания есть. В этой связи любопытен текст Сосноры «Прага-76», где автор, обращаясь к стихам А. Крученых с фантасмагорическим сюжетом, замечает, что вот ведь как писали задолго до Кафки, Ионеско и Беккета. Нет, не обида, а просто напоминание, что ли.

Другой пример: сейчас активизировалось обсуждение классической литературоведческой проблемы — что, собственно, отличает стихи от прозы? Ритм, метр, экспрессия? Тексты Сосноры («Тумбы афиш: темы билетоа там были. Тембры певиц — наше нужное эхо энтузиазма. Что-то чтецы? В царствах концерта царит Торичелли... и тогда — и т. д., и теперь — и т. п.» — весьма интересный для этих рассуждений материал. Но и этот материал никак не задействуется.

Или — это уже бытовое наблюдение — не больно-то читают Соснору в компаниях, собирающихся по давней отечественной традиции на кухнях малогабаритных наших квартир. «Трудную» поэзию декламируют: Бродского — и Парщикова, даже Рубинштейна. Соснору — нет.

Можно, видимо, выдвинуть несколько гипотез о причинах этого, но ясно, что ни одна из них не объяснит ситуацию с окончательной точностью и полнотой. Потому, не стремясь объять необъятное, остановлюсь на двух вариантах. Один из них, так сказать, «содержательный», другой — «формальный»; в действительности они, конечно, взаимообусловлены.

Мир Виктора Сосноры принципиально неупорядочен, несоразмерен, негармоничен. Более-менее ясен и строен он в ранних, «фольклорных» стихах: тут и слог прозрачен, и приоритеты просматриваются, и возможны довольно жесткие привязанности к разработанным культурным системам (скажем, «Скоморохи» — узнаваемые мотивы отечественного варианта «карнавальной культуры»). Но ясность вкупе с прозрачностью продержались недолго: хрупкая, ненадежная гармония обратилась в хаос («в существованье нищем нашем, в гниенье медленном амеб»). Рассуждать о причинах странно: они — тайны чужой души; можно лишь припомнить, что время вполне способствовало такому «обращению». Каждый, понятно, реагировал на время по-разному: кто-то ушел в скепсис, кто-то — в грустную элегичность, кто-то ухитрился успокоиться и устроиться в урезанной социальности, кто-то спрятался в иронии. Соснора нашел исход в трагизме. Трагизм, разумеется, присущ любому поэту (если он поэт), но трагизм Сосноры иного качества — до разлома, до потери ориентации, до сатанинской даже какой-то ауры.

Если тост — за Иуду тост!
Он легенду лишь дополнял.
Что Варавва и что Христос —
одинаково для меня.

Всегда, конечно, найдется читатель, который усмотрит в этих строках «нравственный релятивизм» или иную мораль-

но ущербную штуковину. В действительности же они весьма показательны в двух отношениях: свидетельство такой перевернутости, такого потрясения основ бытия, что и Варавва с Христом уравниваются, и возникающая отсюда неясность позиции Иуды, который (вариант, схожий с вариантом Леонида Андреева) сыграл якобы лишь необходимую служебную роль. Иными словами: насколько серьезно влияет человек на вековечную сшибку Добра и Зла (которая, казалось бы, слишком часто оборачивается победой последнего)? Можно, конечно, беспрестанно твердить миру, что, предположим, убивать нехорошо, но толку-то... Нравственный прогресс — вещь весьма и весьма проблематичная. Можно вспомнить тут слова В. Розанова: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали»,— не исключено, что Соснора бы к ним присоединился. Сам он считает так: «на пепелищах люди плачут, поэты — юродствуют». Соснора — юродствует. Ну, а традиции адекватного отношения к юродству публика как-то подрастеряла.

Поэт и в самом деле позволяет себе многое. Ардисовская книжка довольно обильно пересыпана ненормативной лексикой — словами, которые в нашей издательской практике в лучшем случае заменяются многоточиями (а обычно к текстам с такими словами издательская практика отношения просто не имеет). Словами пересыпана и соответствующими ситуациями.

Соснора, так скажем, не особенно нежен к читателю.

Аудитория — огул
уродливых холуев Хама.
Аудитория — аул
татар,
в котором нету храма,
где одинаково собак
и львов
богами назначают.
Аудитория — судьба,
моя судьба,
мое несчастье.
В аудиториях — в аду
(ад продан по абонементам!)
я провоцирую орду
на юмор и аплодисменты.
На сцене струйкою стою...
Мои глаголы награждает
неандертальский лай старух
и малолетних негодяев.

Необязательно, в общем, ассоциировать означенную аудиторию с читателем поэтических сборников. Но, честно говоря, ничто такой ассоциации и не мешает. Насчет собак и львов — это ведь правда, и Соснора действительно мало заинтересован во внимании такой аудитории. Аудитория платит тем же.

Все в мире Сосноры относительно и неопределенно, стороны света, верх — низ, лево — право, все перемешано. Рваный, скачущий ритм, синтаксические игры, упражнения в звукописи. Причем последние — от весьма изящных («Люди пусть в люди идут. У меня в ладошке лед: любят полакомиться льдом львы, а их — два») до весьма тривиальных («ГДЕ ВЫ, ХАРЧЕВНИ МОИ? ХАРИ ЧЕРНИ? ВЫНИМАЕМ ВИНА В МАЕ, НЕТУ ЖИЗНИ — НЕ ТУЖИ!»). Сюрреалистическая образность. Язык, как и мир, перемешан сам с собой, все лингвистические структуры относительны. Это, собственно, праязык, требующий нового упорядочения, как бы праречь. Качество, соотносящее Соснору с Хлебниковым (об этой параллели, но по другому поводу пишет в предисловии к ленинградскому изданию Я. Гордин), и отделяющее Соснору от «основного корпуса» сегодняшнего авангарда — Бродского, Жданова, Еременко, Парщикова и других. У них — сколь угодно «затемненная», на разных принципах организованная, но речь. У Сосноры — ее невозможность. Есть тут, однако, и общее: такой вот «разъятый», требующий «сборки» на новых началах мир. Но это тема отдельная.

Что касается современных авторов, мне кажется уместным соотнести Соснору с Геннадием Айги: поэзия их есть муки воплощения живого, не вписавшегося еще в языковую гармонию слова. «Черно-белый» Айги и язычески «цветной» Соснора («Снег, как павлин в саду — цветной, с хвостом, с фонтанчиком и женскими глазами»); предельная внешняя «опрощенность» и почти барочная чехарда деталей — вот, на мой взгляд, два полюса, между которыми осуществляются сегодня все искания в той области поэтического творчества, где создается новый мир из распавшихся его фрагментов.

Но разговор о «месте» Сосноры в русской поэзии еще, надеюсь, впереди. Ведь — «Я Альфа и Омега есть.— Я — дан». Он — дан.

Вячеслав Курицын

г. Свердловск

В. Высоцкий: «Для народа, который я люблю»

(ПИСЬМА ИЗ АРХИВА)

Со дня смерти Владимира Высоцкого в июле 1980-го и до потока публикаций о нем весны 1986-го непременным редакторским и цензурным условием выхода какой-либо статьи о его творчестве были фразы типа: «Его путь к песне и в песне был достаточно сложен и противоречив» (хотя никто никогда не удосужился уточнить, что же это за противоречия) или «Конечно, не все в его творчестве равноценно» (допускаю, что у иных «наших современников» равноценно все).

И это было понятно: ну как еще принизить значение Высоцкого в нашей литературе и в нашей жизни?

Но в последнее время среди определенной части членов Союза писателей и жаждущих попасть в их число принято стало говорить о якобы раздуваемом «пузыре Высоцкого», раскрывать читателям глаза на «байки» о «каких-то» его преследованиях.

Вот традиционный набор их доводов: никто Высоцкого не притеснял, не ограничивал, он «сразу после школы» поступил в вуз; «в 20 лет уже получил роль в кино», «прожив 42 года, снялся в 25 фильмах»; «он выступал где хотел и как хотел» и даже за рубежом; «имел в своем распоряжении целый театр, в любой день он мог без всяких помех полететь в любой конец земного шара». Да что говорить: «он, пожалуй, единственный из советских людей, кто отдыхал на острове Таити!». А тот факт, что «братья»-писатели всего однажды пустили Высоцкого на страницы своего издания[1], один из «хороших и разных» исхитрился преподнести следующим образом: «...а многим поэтам и этого не удавалось». Причем чтобы создать видимость достоверности своих утверждений, авторы, бывает, вскользь сообщают, что и сами были знакомы с певцом чуть ли не с юности[2].

Все эти «аргументы» были рассчитаны разве что на нынешних семнадцатилетних, незнакомых с предысторией вопроса: сегодня они часто слышат Высоцкого по радио и телевидению и знают, что он лауреат Государственной премии СССР, той самой, которой удостоен и длинный ряд представителей «секретарской» литературы. Но те, кто жил в 60-е и 70-е годы, прекрасно знают и то, что запоздалая дань — премия — была присуждена поэту через семь лет после его смерти, и то, чем были чреваты хулительные статьи того времени. Может, дело в услужливой забывчивости некоторых «воспоминателей»? Во всяком случае, не в неосведомленности. Ведь и характеристики поэта взяты из тех же памятных статей конца 60-х: «хрипун с гитарой»... Правда, прибавилась еще одна, модная и убийственная: «махровый цветок застоя».

Отвечать на каждое слово такого вздора можно, но бессмысленно: кто не ленится следить за многочисленными публикациями о Высоцком, может найти сотни свидетельств о том, какой кровью пробивалась каждая роль, каждая песня в кино, сколько на этом пути было шишек, унижений и потерь, сколько заранее объявленных выступлений не состоялось «по болезни артиста» или «занятости помещения».

---

[1] День поэзии. 1975. М., Советский писатель, 1975. Составитель — Петр Вегин.

[2] Статьи Н. Малахуты в ворошиловградской газете «Знамя победы» от 11 октября 1987 г. и Н. Кузьмина в «Молодой гвардии» № 8 за 1989 г.

Но раз об этом все же нет-нет да и заходит речь...

31 мая 1968 года в статье В. Потапенко и А. Чернова «Если друг оказался вдруг...» в газете «Советская Россия» пренебрежительно упомянуты песни Владимира Высоцкого. 9 июня та же газета разразилась скандально знаменитой своей некомпетентностью статьей «О чем поет Высоцкий», авторы которой Г. Мушта и А. Бондарюк характеризуют песни Высоцкого не иначе, как «клевету на нашу действительность», подтверждая свои выводы вырванными из контекста строками песен... Ю. Визбора, Ю. Кукина и др. Уже 16 июня в травлю включается «Комсомольская правда» статьей Руслана Лынева «Что за песней?». Это оттуда печально известная цитата, использованная позднее в первой редакции спектакля Ю. Любимова о Высоцком: «Где же... на каком дне наскреб бард эти «образы», эту лексику, этих героев — людей с социальными, да и клиническими отклонениями от нормы?». Эстафету подхватили газеты Тюмени и Краснодара: можно! ату его! И как следствие невозможность выступать с концертами, простои в кинодеятельности.

Недавно опубликовано письмо Высоцкого в ЦК КПСС[1], в котором он просит дать ему возможность ответить на статьи центральных газет в печати. Естественно, такой возможности ему предоставлено не было, а в архиве ЦК осталась запись: «Тов. Высоцкий приглашался на беседу в Отдел пропаганды ЦК КПСС, где ему даны разъяснения по затронутым в письме вопросам».

О чем говорили с Высоцким в ЦК КПСС, нам известно лишь по одной фразе из другого его письма, черновики и машинописные экземпляры которого сохранила мать поэта Нина Максимовна Высоцкая. Письмо не имеет шапки и, на наш взгляд, могло быть обращено в Министерство культуры СССР.

Уважаемые товарищи!

Я обращаюсь к вам, ибо в последнее время для меня и моей творческой работы сложилась неблагоприятная ситуация. Я имею в виду мои песни, а не работу в театре и кинематографе. К песням своим я отношусь столь же серьезно и ответственно, как и к своей работе в театре и кино. Любое творчество, а тем более песенное, требует аудитории — а ее-то я сейчас фактически лишен. Такая ситуация создалась в результате некоторых выступлений в печати. Например, газета «Советская Россия» опубликовала статью «О чем поет Высоцкий?», по поводу которой я обращался в отдел пропаганды ЦК КПСС, так как в статье имелись грубые ошибки, цитировались песни, мною не написанные, — и на них-то в основном строились обвинения в мой адрес, будто я «пою с чужого голоса».

После моего обращения в ЦК КПСС и беседы с товарищем Яковлевым[2], который выразил уверенность в том, что я напишу еще много хороших и нужных песен и принесу пользу этими песнями, в «Литературной газете» появилась небольшая заметка[3], осуждавшая тон статьи в «Советской России». Я продолжал работать, мной написано много песен к кинофильмам и спектаклям, но всякий раз эти песни проходили с большим трудом,— и отнюдь не потому, что редакторов смущало содержание или художественная сторона этих песен, а просто потому, что их автором являлся я. Такое отношение ко мне сложилось не только в результате статей, но и в значительной мере оттого, что большое распространение получили некоторые мои произведения, написанные мной 8—10 лет назад. На магнитофонных лентах в сотнях и тысячах экземплярах расходились и продолжают расходиться песни, о которых я сказал выше.

Свои ранние песни я исполнял в очень узком кругу и рассматривал их как поиски жанра и упрощенной формы. Их широкое распространение не соответствовало моим творческим задачам. Это были мои «лабораторные опыты». К сожалению, некоторые люди использовали их в каких-то неизвестных мне целях, и более того, до сих пор фабрикуются фальшивки и подделки «под Высоцкого». Мне довелось самому слышать эти подделки, сляпанные на крайне низком художественном уровне, убогие по содержанию и примитивные по форме,— «лишь бы хриплым голосом». Я категорически отказываюсь от участия

[1] Известия ЦК КПСС. 1989. № 12, с. 129—130.

[2] Яковлев Александр Николаевич — в то время первый зам. зав. отделом ЦК КПСС, ныне народный депутат СССР, член Президентского совета, член Политбюро, Секретарь ЦК КПСС.

[3] В. Левашов. «Критиковать — значит доказывать».— 1968, 31 июля.

в этих опусах. Мои ранние песни в течение последних лет не исполнялись мною даже в узком кругу. Поэтому я решил ознакомить вас с моим теперешним репертуаром[1]. Это песни, написанные мной в последние годы. Часть из них исполнялась в кинофильмах и спектаклях, другие не исполнялись нигде, ибо у меня нет возможности выступать перед широкой аудиторией.

Я получаю большое количество писем от граждан различных возрастов и профессий, от рабочих, солдат, интеллигентов, моряков и даже от пенсионеров. И все эти люди спрашивают меня, где можно услышать мои песни, о моих творческих планах и о том, где можно было бы услышать мои песни в авторском исполнении. Писем этих очень много,— и это позволяет мне думать, что мои песни нужны людям, что они приносят им радость. Но к сожалению, я почти никогда не могу ответить моим корреспондентам. Я даже не могу писать им, что мне запрещено петь, потому что никто официально не запрещал мне петь, ибо никто и не разрешал. Вокруг меня образовался вакуум, и хотя есть доля справедливости в упреках, адресовавшихся мне, но тем не менее песни последних лет являются новым этапом в моем творчестве, с которым я и хотел бы ознакомить вас.

Если у вас, по ознакомлению, возникнут какие-либо вопросы, пожелания, замечания, я был бы рад встретиться с вами лично.

С уважением, Владимир Высоцкий
Москва, 9 июня 1969 г.

Регулярные (правда, по-прежнему неофициальные) выступления Высоцкого на встречах со слушателями возобновились лишь к концу 1971 года, когда статьи подзабылись, а в Театре на Таганке прошла премьера «Гамлета» с Высоцким в главной роли. Но нападки на неподцензурного автора продолжались.

30 марта 1973 года газета «Советская культура» вышла с небольшой заметкой новокузнецкого журналиста М. Шлифера и более пространным комментарием-интервью сотрудника Росконцерта С. Стратулата безымянному корреспонденту газеты, где говорилось о том, что вопреки действующему приказу Министерства культуры СССР Высоцкий, не имеющий вообще права на сольную программу, дал в Новокузнецке 16 концертов за четыре дня. Комментарий изобиловал выражениями типа: «нарушив всяческие этические нормы», «коммерческая сделка», «халтура», «незаконная предпринимательская деятельность». Называлась публикация «Частным порядком» и заканчивалась словами: «Так произведена была купля и продажа концертов, которые не принесли ни радости зрителям, ни славы артисту...»,— и требованием редакции к властям «дать необходимую оценку».

Об истории этой поездки 7—11 марта 1973 года Высоцкий подробно писал сразу после выхода газеты в первоначально адресованном в отдел культуры МГК КПСС письме:

«...В феврале 1973 г. в Москве ко мне обратился директор Новокузнецкого драматического театра им. Орджоникидзе с предложением написать сценарий (песни, музыка, интермедии) для театра и приехать на несколько дней для выступлений в г. Новокузнецк.

Новокузнецкий театр попал в трудное положение из-за ухода трех ведущих актеров, и до ввода в строй новых спектаклей труппа встала на репетиционный период.

По положению актер театра имеет право работать по договору в других организациях с разрешения дирекции театра в свободное от театра время. На имя директора Театра на Таганке Н. Л. Дупака пришла телеграмма с просьбой разрешить мои выступления. Н. Л. Дупак ответил, что не возражает, если будет согласие Управления культуры, т. к. четыре дня я был свободен от работы в театре.

Согласие Кемеровского областного Управления культуры было получено, а также согласие областных и городских парторганизаций, и я провел за четыре дня 16 выступлений в помещении городского драматического театра в Новокузнецке. Также я выполнил все договорные обязательства — написал сценарий, который был принят Художественным советом Новокузнецкого театра им. Орджоникидзе. Расчеты со мной были произведены строго по договору. Количество концертов не было оговорено заранее, но по приезде я узнал, что из-за большого количества желающих число их было увеличено. За мои

[1] К письму прилагались тексты песен.

выступления театр заработал около 50 тыс. руб.— это примерно два месячных плана.

...Это были не 16 выступлений за 4 дня, а 16 выступлений за несколько лет, ибо ни одна московская концертная организация за 9 лет ни разу не предложила мне участвовать в концертах. Если бы у меня было больше времени в Новокузнецке, я бы с радостью провел еще несколько выступлений для трудящихся города, видя такой прием и интерес. Кстати, между выступлениями я еще успел побывать на комбинате, провести встречи в редакции рабочей газеты...

Странно, что редакция газеты «Советская культура» «проверила факты» в Росконцерте. Это все равно, что наводить справки о Магомаеве в Союзе писателей. И очень досадно, что редакция не обратилась ни в Театр на Таганке, ни ко мне.

...Все без исключения пункты заметки, а особенно комментария редакции, не соответствуют истине. Кроме того, за последнее время мною сделаны большие работы в кино, о которых пресса почему-то умолчала, несмотря на то, что я играл центральные роли[1]. А употреблять мое имя в непристойном контексте журналисты не стесняются, а, наоборот, крайне оперативны. Могу только сожалеть, что авторы комментария безнаказанны, и я не могу ответить на статью в печати и изложить все вышенаписанное мною публично...

Не пора ли концертным организациям и их руководителям решить наконец вопрос о моих выступлениях и дать мне возможность работать на эстраде со своими авторскими выступлениями, просмотрев и прослушав мой репертуар. И не отмахиваться, будто меня не существует, а когда выясняется, что я все-таки существую, не откликаться на это несостоятельными и часто лживыми обвинениями, каковыми являются основные положения вышеупомянутой статьи».

Это письмо допечатано, судя по всему, не было, но появилось другое письмо:

Кандидату в члены Политбюро,
Секретарю ЦК КПСС тов. Демичеву П. Н.[2]
от артиста Московского театра драмы
и комедии на Таганке Высоцкого В. С.

Уважаемый Петр Нилович!

В последнее время я стал объектом недружелюбного внимания прессы и Министерства культуры РСФСР.

Девять лет я не могу пробиться к узаконенному официальному общению со слушателями моих песен. Все мои попытки решить это на уровне концертных организаций и Министерств культуры ни к чему не привели. Поэтому я обращаюсь к Вам, дело касается судьбы моего творчества, а значит, и моей судьбы.

Вы, вероятно, знаете, что в стране проще отыскать магнитофон, на котором звучат мои песни, чем тот, на котором их нет. Девять лет я прошу об одном: дать мне возможность живого общения со зрителем, отобрать песни для концерта, согласовать программу.

Почему я поставлен в положение, при котором мое гражданственное творчество поставлено в род самодеятельности? Я отвечаю за свое творчество перед страной, которая поет и слушает мои песни, несмотря на то, что их не пропагандируют ни радио, ни телевидение, ни концертные организации. Но я вижу, как одна недальновидная неосторожность работников культуры, обязанных непосредственно решать эти вопросы, прерывает все мои попытки к творческой работе в традиционных рамках исполнительской деятельности. Этим невольно провоцируется выброс большой порции магнитофонных подделок под меня, к тому же песни мои в конечном счете жизнеутверждающи и мне претит роль «мученика», эдакого «гонимого поэта», которую мне навязывают. Я отдаю себе отчет, что мое творчество достаточно непривычно, но так же трезво понимаю, что могу быть полезным инструментом в пропаганде идей, не только приемлемых, но и жизненно необходимых нашему обществу. Есть миллионы зрителей и слушателей, с которыми, убежден, я могу найти контакт именно в своем жанре авторской песни, которым почти не занимаются другие художники.

[1] К тому времени на экраны вышли фильмы «Вертикаль» (1967), «Служили два товарища» и «Хозяин тайги» (1968), «Опасные гастроли» (1969), «Четвертый» (1972).

[2] Печатается по машинописному экземпляру из личного архива Н. М. Высоцкой. В списках распространен иной, по-видимому, более поздний вариант текста, несущий редакторскую — скорее всего не авторскую — правку. Известные нам копии этого варианта восходят к экземпляру, хранившемуся до 1980 года в рабочем кабинете бывшего директора Театра Николая Лукьяновича Дупака. Нынешнее местонахождение этого экземпляра нам неизвестно.

Вот почему, получив впервые за несколько лет официальное предложение выступить перед трудящимися Кузбасса, я принял это предложение с радостью и могу сказать, что выложился на выступлениях без остатка. Концерты прошли с успехом. Рабочие в конце выступлений подарили мне специально отлитую из стали медаль в благодарность, партийные и советские руководители области благодарили меня за выступления, звали приехать вновь. Радостный вернулся я в Москву, ибо в последнее время у меня была надежда, что моя деятельность будет наконец введена в официальное русло.

И вот незаслуженный плевок в лицо, оскорбительный комментарий к письму журналиста, организованный А. В. Романовым[1] в газете «Советская культура», который может послужить сигналом к кампании против меня, как это уже бывало раньше.

В Городке космонавтов, в студенческих общежитиях, в Академ<городке> и в любом рабочем поселке Советского Союза звучат мои песни. Я хочу поставить свой талант на службу пропаганде идей нашего общества, имея такую популярность. Странно, что об этом забочусь я один. Это не простая проблема, но верно ли решать ее, пытаясь заткнуть мне рот или придумывая для меня публичные унижения?

Я хочу только одного — быть поэтом и артистом для народа, который я люблю, для людей, чью боль и радость я, кажется, в состоянии выразить, в согласии с идеями, которые организуют наше общество.

А то, что я не похож на других, в этом и есть, быть может, часть проблемы, требующей внимания и участия руководства.

Ваша помощь даст мне возможность приносить значительно больше пользы нашему обществу.

В. Высоцкий

Читателям «Советской культуры» в редакционном отклике[2] сообщалось, что изложенные в заметке «факты полностью подтвердились», директор Новокузнецкого театра и начальник областного управления культуры наказаны, а «в целях улучшения концертного обслуживания трудящихся области разработан план мероприятий». Не исключено, правда, что обращение к Демичеву повлияло на решение Главного управления культуры исполкома Моссовета от 3 августа 1973 года о присвоении «артисту разговорного жанра» В. С. Высоцкому первой категории с разовой филармонической ставкой 11 руб. 50 коп.

13 февраля 1978 года приказом 103 Министерства культуры СССР, согласно записи в аттестационном удостоверении артиста № 17114, ему была присвоена высшая категория вокалиста-солиста эстрады и разовая ставка увеличена до 19 рублей. До конца жизни Высоцкий продолжал выступать на предприятиях, в институтах, в домах культуры, ездил на полуофициальные гастроли подальше от Москвы, где выступал в очередь с каким-либо эстрадным ансамблем, но, несмотря на все его усилия, так официального сольного концерта и не добился.

Здесь сыграла свою роль, безусловно, и еще одна кампания против Высоцкого и его соавторов по альманаху «Метрополь». Об истории этого возглавленного Ф. Кузнецовым[3] «идейного разгрома» в последнее время не раз писала пресса. Последствиями для Высоцкого стал запрет на упоминание имени поэта в печати. Но об этом подробнее могли бы рассказать, к примеру, работники другой, ворошиловградской газеты «Молодогвардеец», рискнувшие опубликовать в июне 1979 года стихотворение Высоцкого и добрую статью о нем[4].

Молчание вокруг имени Высоцкого было прервано лишь в августе 1980 года[5], через месяц после его смерти. Десять лет назад.

А. Крылов,
председатель комиссии по творческому наследию
В. С. Высоцкого при Всесоюзном совете клубов
самодеятельной (авторской) песни

[1] Романов Алексей Владимирович — с августа 1972 г. главный редактор «Советской культуры», до этого — с 1963 по 1972 г. председатель Госкино СССР, ныне — на пенсии.

[2] «Частным порядком» — 1973, 24 апреля.

[3] См., например: Конфуз с «Метрополем» — в кн.: Ф. Кузнецов. Размышления о нравственности.— М.: Советская Россия, 1979.

[4] Л. Гурзо. «Еще не близко высота».— 1979, 2 июня.

[5] 31 августа 1980 года в газете «Советская Россия» была напечатана статья А Демидовой «Таким запомнился».

Химера капитализма

Российская интеллигенция жить, видимо, не может, не впадая в крайности. Такая очередная крайность — преклонение перед рынком, перед капитализмом.

Типичными примерами мне представляются опубликованные в ноябрьской книжке «Знамени» статьи Бориса Пинскера «Бюрократическая химера» и Василия Селюнина «Плановая анархия или баланс интересов?». Но говорить я буду о первой статье, поскольку в определенном смысле она идет дальше других прокапиталистических выступлений. Многие авторы восхваляют те капиталистические страны, в которых сильны социалистические элементы. Иногда даже предлагают считать их истинно социалистическими странами. Но Пинскер стремится доказать, что социализм даже в умеренных дозах неприемлем, что он ухудшает и уродует жизнь капиталистических стран, в частности, усиливает бюрократизацию жизни [1]. Надо при этом отметить, что автор достойно потрудился и оснастил свою статью многочисленными ссылками. Беда только, что почерпнул он их, видимо, у самых крайних рейганистов и тэтчеристов и не посчитал нужным их критически осмыслить. Я понимаю, что очень уж приятно читать и брать на вооружение все, что безоглядно против социализма, против того, чему мы вчера еще поклонялись. Ах, как стыдно вспоминать! А получается новый стыд.

Разоблачая деятельность немецкой социал-демократии, Пинскер пишет: «Социал-демократическое государство.., повышая «качество жизни», строило театры, библиотеки, бассейны, спортивные комплексы. Кто скажет, что это плохо? Один только вопрос! Почему эти заведения стоят пустые или полупустые? Почему многие граждане не используют сооружения, построенные за их счет и им же преподнесенные как подарок от государства?»

Признаться, забавно было читать подобные строки в немецком городе Мюнхене! Я приглашаю Бориса Пинскера к нам в гости (и мы можем поехать с ним в любой другой город Западной Германии), чтобы он мог посмотреть, как пустуют здесь библиотеки, бассейны и т. д. И какого они качества!

Я помню, как в Нью-Йорке один эмигрант, показывая мне тамошний ч а с т н ы й клубный бассейн, говорил: смотри, мол, какие у нас бассейны! Посмотрел я и пришел в ужас, вспомнив «наши» социал-демократические немецкие бассейны! Здесь теснота, кругом асфальт, зелени нет, и все набито людьми, и при этом мой нью-йоркский друг не мог в тех бассейнах купаться: ему было не по карману! Бассейны в Мюнхене, да и в любом другом городе Западной Германии совсем иные: большие территории, лужайки, цветы, рощи... Бассейны здесь отдельно для взрослых, для подростков и для малышей. Есть где полежать, позагорать, есть где и в футбол погонять, и где подкрепиться. Как правило, есть даже отгороженная территория для нудистов.

В Мюнхене таких бассейнов около десяти. Зимних бассейнов значительно больше, они столь же хороши, как, впрочем, и все другие спортивные комплексы, которых тут великое множество. А какие здесь библиотеки, культурные центры! Один только «наш» мюнхенский «Гастайг» чего стоит! Многие работники советской культуры уже успели с ним познакомиться, хотя не уверен, что посетили они там помещения «народной школы», где люди всех возрастов под руководством профессионалов занимаются различными видами искусства, изучают языки. И все это — и бассейны, и культурные центры — общедоступно по цене и всегда з а п о л н е н о л ю д ь м и! Откуда Пинскер выкопал свои сведения, я просто ума не приложу. Объем социального сектора в Германии можно было бы

[1] Печатая статью Б. Пинскера о бюрократических химерах, мы, честно сказать, никак не углядели в ней мысли, что «социализм даже в умеренных дозах неприемлем»: химеры они и есть химеры — и при капитализме, и при социализме. Однако взгляд со стороны всегда интересен, тем более если основан на длительных наблюдениях и размышлениях. (Ред.).

увеличить минимум в полтора раза, хотя он и так в несколько раз больше, чем в «несоциалистических» капстранах.

Об утверждении Пинскера, что между числом стадионов в ФРГ, понастроенных, мол, социалистическими бюрократами, и числом безработных имеется прямая связь, и говорить даже не хочется, настолько это утверждение несерьезно. Социальный сектор в США, Франции, Англии, Италии значительно меньше, чем в Германии, Швейцарии, Скандинавии, а безработных там больше! Кроме того, в США, во Франции, Англии и Италии есть по сей день трущобы в городах, и еще есть многое из того, чего не должно быть в цивилизованных странах на рубеже XXI века. «Трущобы», правда, упоминаются Пинскером, но с таким пояснением: «То есть дешевое жилье для бедных». Опять же хотелось бы пригласить автора взглянуть на это «дешевое жилье» своими собственными глазами. И как бы не пришлось ему после этого вновь оказаться с разбитой верой теперь уже во всемогущий капитализм. Но если у Пинскера хватит смелости, я посоветовал бы ему поехать в Нью-Йорк, сесть на поезд до Вашингтона и внимательно смотреть в окно, когда он будет проезжать через Питсбург и Балтимору. «Хайвеи», по которым катают советских гостей, не идут через трущобы! (Экскурсию же в Гарлем или Южный Бронкс в самом Нью-Йорке я Пинскеру не рекомендую по той причине, что она весьма небезопасна.)

Так вот, зрелище, которое открывается, когда глядишь из окон поезда, воистину апокалиптическое: до горизонта стоят ряды ветхих двухэтажных, понапиханных вплотную домов, почерневших от вековой грязи, с не менее грязными, битыми окнами, в ржавом металле крыш и оформлении знаменитых американских пожарных лестниц по окнам. Улицы полны грязи и мусора и, как правило, тут вообще нет зелени. Такой вид, на мой взгляд, хорош для съемок фантастического фильма о последствиях атомной войны: дома уцелели, но людей живых не осталось. Однако люди там живут, и даже детишки бегают по улицам. Причем объем этих «кварталов для бедных», как, впрочем, и совсем брошенных районов, в США продолжает увеличиваться. Большие города превращаются в подлинные язвы. Некоторые эмигранты из СССР объясняют это так: трущобы, мол, «дело рук» негров, пуэрториканцев, мексиканцев, а также американских социал-демократов, то бишь демократов (по партии) и либералов. В Америке либерал все равно, что в Европе «левый». Демократы, мол, развращают цветных «велфером» (пособием), а те ленятся ремонтировать свои дома и даже разрушают их. Это столь же серьезное объяснение, как и то, что между числом стадионов в ФРГ и количеством безработных есть связь. Подобное объяснение, конечно, делает честь нравственному облику недавних советских граждан, но, увы, оно далеко от истины.

Лично я не могу найти причины этого явления. Мне лишь ясно, что ликвидировать эти трущобы и причины их появления было бы по силам Америке, имей государство больше средств и носи демократия там иной характер. Иными словами, если бы в США был другой строй. (Какой — об этом дальше.) Сейчас же львиная доля капиталов в частноакционерных руках, и между владельцами этих капиталов идет ожесточенная агрессивная конкуренция в накоплении капиталов. Деньги вкладываются лишь туда, где можно получить максимальную прибыль. В Атлантик-Сити на берегу океана высится цепь шикарных игорных небоскребов и тут же впритык — трущобы. В игорные дома деньги вкладывать выгодно!

Описывая Запад, Б. Пинскер представляет дело так, будто история «рейганизма» началась только в 80-х годах. Однако чехарда, при которой к власти приходят то социал-демократы, то консерваторы, имеет историю давнюю. После двух мировых войн события развиваются по одному стандарту. Надвигается социальный кризис — к власти приходят социал-демократы (социалисты). Они немного зажимают капиталистов, увеличивают налоги со среднего класса, усиливают социальные программы для класса низшего, совершенствуют трудовое и социальное законодательство. Строй при этом остается, конечно же, капиталистическим, и потому-то деловая активность начинает падать, безработица — расти, и к власти, как правило, приходят консерваторы. Те раскручивают гайки над капиталом, уменьшают налоги, урезают социальные программы... Деловая ак-

тивность идет вверх, безработица уменьшается, хотя и не кардинально. При этом жизнь для малоимущих становится дороже, растут государственные долги, поскольку налогов стало меньше. Начинают экономить. На ком? Опять же на бедных, и те становятся еще беднее, зато богатые — богаче. На поверхность выходит знаменитый принцип капитализма, гениально сформулированный, если не ошибаюсь, Генрихом Гейне: «Если много ты имеешь, то тебе еще дадут, если мало ты имеешь, это малое возьмут». Из-за уменьшения платежеспособности населения начинает попахивать новым кризисом, и к власти вновь приходят левые, которые берутся спасать положение. Похоже, что и сейчас в Англии и ФРГ приближается такой момент, и, рассуждая здраво, можно сказать, что именно социал-демократы со своим «бюрократическим» вмешательством государства в экономику спасли капиталистический мир, ликвидировав такие кризисы перепроизводства, от которых капитализм ни за что не оправился бы. Благодаря социал-демократам значительно возросла правовая и социальная защищенность рядовых граждан, рабочих и служащих. Можно сказать, что социал-демократы трансформировали капитализм в строй с «человеческим лицом» или, иначе, надели на него демократический намордник. Не знаю уж, какой образ вернее.

В США, к примеру, работа по «очеловечиванию» капитализма продвигается значительно медленнее, чем, скажем, в ФРГ, и контрасты бьют в глаза. Уволить человека тут ничего не стоит, даже и предупреждать его не надо. Вы приходите на работу, а на вашем столе вас ждет конверт с извещением об увольнении с данной минуты. Будет компенсация или нет — тут все зависит от хозяев. Никакой суд вам не поможет, если только вы не докажете, что уволили вас по расовым или национальным мотивам. («Проделки» американских либералов!)

В ФРГ же уволить работника почти невозможно. Трудовое законодательство таково, что увольнение допускается лишь в случае грубейших, четко оговоренных в законе нарушений. Полагается заранее предупредить об этом, выплачивать солидное выходное пособие в зависимости от стажа работы. Большое значение для судов имеет мнение бетрибсратов (рабочих советов) и профсоюзных ячеек; судьи очень к ним прислушиваются и, возвращая людей на работу, заставляют работодателя выплачивать неполученную за время увольнения зарплату. В 1985 году я имел честь быть уволенным за печатную критику работодателя, однако трудовой суд города Мюнхена в одном заседании принял решение о незаконности увольнения. Через суд можно добиться повышения зарплаты или опротестовать ее понижение.

В США все это невозможно, рабочих советов на предприятиях там и в помине нет, а профсоюзы охватывают всего лишь около 20% работающих по найму. До сих пор работодатели ведут борьбу против профсоюзов, стараясь или избавиться от них или не допустить их создания у себя на предприятии или в учреждении. Идут даже на фиктивные банкротства, чтобы, открывая «новое» предприятие, уже не допустить на нем организацию профсоюза. По логике примитивного антисоциализма, эффективность производства в ФРГ должна быть значительно ниже, чем в США, но это не так! Доказательством тому процветание и конкурентоспособность немецкой экономики.

Вообще, двигаясь с Востока на Запад, от Москвы к Нью-Йорку, замечаешь интересную закономерность: наивысшее качество жизни наблюдается в пограничных районах по обеим сторонам границы, разделяющей два лагеря — в зоне диффузии и смешения двух укладов, социализма и капитализма. С восточной стороны границы — это Венгрия, Чехословакия, ГДР, а с западной — это Австрия, ФРГ, Скандинавия.

По мере движения от Москвы на Запад качество жизни повышается, достигая максимума в западных приграничных государствах, а при дальнейшем движении к океану — Франция, Италия, Англия — снова начинает падать. Города становятся грязнее, беднее, появляются трущобы, ухудшается общественный транспорт, гостиницы, тощает общественный сектор (меньше бассейнов и стадионов!), ухудшается экологическое положение. А «совсем» на Западе — в США — уже подмечаешь знакомые советские черты. Когда мы, эмигранты, прибыли впервые в Нью-Йорк, нас поселили в отеле, который мало чем отличался от совет-

ской гостиницы — в холодильниках и укромных местах кишмя кишели тараканы, в туалете унитаз был выломан и лежал на боку. Дверь в коридором туалете открывалась только снаружи и выйти из него было нельзя без помощи извне. Конечно, отель был не из дорогих, но в ФРГ таких отелей просто не существует. Самый дешевый отель там чище и добротнее дорогого по цене американского. (В супердорогих, миллионерских я не бывал, поэтому говорить о таких не буду.) Бедными, грязными и ветхими оказались и квартиры, которые мы сняли по цене, близкой «к средней». В Италии под Римом мы жили в рабочем поселке (Витиния), снимали дешевые квартиры, но и они были значительно лучше нью-йоркских.

Качество американского ширпотреба, дешевых массовых товаров напоминало качество советских товаров. Я, например, купил сумку с ремнем, чтобы можно было носить ее на плече, и ровно на второй день ремень оторвался, поскольку нитки оказались гнилыми. Купил цепочку на дверь (не дешевую!), но она была почти не заклепана и оборвалась при слабой нагрузке.

Хуже и безвкуснее по сравнению с европейскими были тут продукты, а особенно хлеб. Поражала стандартность домов, их словно бы выстроила одна фирма по типовому проекту, и отсутствие покрытия стен: только голый кирпич или цемент. Помню, спросил хозяина нашего дома о наружной отделке здания — почему ее нет? «Дорого стоит»,— ответил хозяин. По причине дороговизны индивидуальных проектов были однообразно-серыми дома. Что же получалось? В «бедной» Италии на отделку и индивидуальные проекты денег хватало, а в США — нет?

Но куда же тогда девалась конкуренция? Как я понял вскоре, хозяин нашего домв был лишь мелким совладельцем, фактически служащим главного хозяина — какой-то финансовой империи, которая и пекла эти дома-коробки, соревнуясь с Госстроем СССР! Рыночная конкуренция тут придавлена агрессивной конкуренцией в накоплении капиталов между гигантскими концернами, монополистами. Полгорода застраивалось одним-единственным концерном, и ждать, что он уменьшит свои прибыли расходами на отделку или индивидуальные проекты, не приходилось.

Жертвой подобной агрессивной конкуренции стал в США и общественный транспорт. В пригороде Нью-Йорка я ездил в вагонах, изготовленных в каком-то девятисотом году и, похоже, с тех пор не ремонтированных! Ну, а нью-йоркское метро — это уж просто зона риска: грохот, грязь, дикие перепады температуры, тряска. И это при том, что почти весь транспорт в частных руках! В Германии — в государственных, но это уже нечто прямо противоположное!

Б. Пинскер пишет, что государственные железные дороги в Японии убыточны. Но вот вопрос: а должны ли они быть обязательно прибыльными? Чтобы они были прибыльны, нужно, например, чтобы поезда ходили не слишком часто и были бы достаточно заполнены. Для удобства же людей они должны ходить чаще. Как тут быть?

Но вернемся к США. В целом, там хорошо видно (в сравнении с СССР), как сходятся противоположные крайности: наиболее радикальные формы социализма и капитализма, экономика, предельно зажатая государством и максимально свободная от государственного регулирования. В СССР экономическая конкуренция отсутствует (пока что), а в США она придавлена монополиями. Государство меньше вмешивается в экономику, чем в Европе, и процесс монополизации заходит дальше.

В итоге, когда переехал я из Нью-Йорка в Мюнхен, я словно бы второй раз эмигрировал, настолько выше почти во всем было качество жизни в Германии! Конечно, многое зависит и от уровня добросовестности людей, от уровня трудовой морали, но и она почему-то выше именно в пограничной зоне. Причем с обеих сторон! Может быть, чистый капитализм тоже разрушает трудовую мораль, как и чистый социализм, хотя, разумеется, в меньшей степени?

Справедливости ради надо отметить, что не все, конечно, в Америке хуже, чем в Европе или в той же Германии. США близки к идеалу в решении национальных проблем — не могу не сказать о поразительной свободе жизни нацио-

нальных меньшинств и о взаимной терпимости между людьми разных национальностей и культур. Больше в США свободы, разумеется, и для предпринимательской деятельности. Это хорошо подметила моя жена, которая сформулировала свои наблюдения так: в Америке больше свободы, а в Германии — демократии!

И все-таки я не за смесь свободы и демократии, капитализма и социализма. Смесь эта весьма нестабильна, да и невозможна она в больших странах. Паллиативные режимы могут ужинваться только в маленьких странах, и то до поры до времени. В США немыслим строй Швеции, а в СССР — Венгрии. В больших странах выше накал противоречий, мощнее противостоящие классы, и всякое развитие доходит или до своего логического конца, или, увы, до крайностей. Я не за смесь еще и потому, что это не может изменить основы строя, будь то капиталистический строй или социалистический. Что-то всегда будет доминировать. В той же Германии доминирует капитализм — и оттого-то сохраняются эксплуатация, отчуждение, безработица, инфляция и, главное, авторитаризм в трудовых ячейках общества, который становится все более опасным для психического здоровья людей по мере их интеллектуального и духовного развития. И что, может быть, еще важнее — сохраняется эксплуатация природы и стран третьего мира. При агрессивной конкуренции и человек, и природа, и слаборазвитые страны остаются средством накопления капитала, так как остается главной целью накопление капитала. Кто отстает, того бьют — разоряют, скупают. Тут мало успевать на рынке (в рыночной конкуренции), надо успевать делать накопления быстрее конкурентов, а для этого снижать расходы где только можно, вкладывая деньги только туда, где можно получить максимальную прибыль. Государство, конечно, пытается бороться — ограничивает эксплуатацию людей, природы,— но экологическая ситуация продолжает ухудшаться, развивающиеся страны — отставать. Это несомненно, об этом говорят и ООН, и папа римский, и независимые ассоциации ученых. Да что третий мир, развитые страны не могут даже у себя ликвидировать зоны бедствий, трущобы. Экологическая ситуация ухудшается на наших глазах и в ФРГ! Загрязняются реки, гибнут, заболевая, леса, а в Северном море плодятся голубые водоросли.

Я не за смесь еще и потому, что Советский Союз, перейдя в основе на капиталистические рельсы, не въедет по ним в рай, а въедет в... третий мир, поскольку сейчас уже исчезли условия для появления новых развитых капиталистических стран, особенно для таких крупных, как СССР.

В итоге я за строй-синтез, то есть за совершенно новое качество. Что это такое? Коротко — это прежде всего демократическое самоуправление трудовых коллективов, когда совет коллектива играет роль парламента, а дирекция — роль исполнительной власти. Это — главное. Это ликвидация наемного труда, замаскированного продолжения рабства и крепостничества, ликвидация авторитаризма в трудовых ячейках общества и, следовательно, новый этап в развитии демократии и человечества.

Для обеспечения демократического самоуправления необходима групповая трудовая форма собственности на средства и продукты производства, синтез коллективной и частной собственности. Ее принцип: владеют все, кто работает, и только те, кто работает, и до тех пор, пока работает. Прибыли распределяются согласно трудовому вкладу или поровну — это решает коллектив. Уходящий получает деньгами стоимость его доли группового капитала, приходящий — эту долю выплачивает (обычно в рассрочку). Наемный труд применяется в порядке временного исключения. Никаких акций, продающихся вовне, и паевых вкладов извне. Кто не работает, тот не владеет![1] Стимул работников — «накопление» собственного благополучия и улучшение условий труда. Деньги — средство, а не цель. (Формула производства: Товар — Деньги — Товар.) Развитие производства только интенсивное — за счет развития техники, технологии, организации труда.

Далее, необходима рыночная экономика, но без агрессивной конкуренции!

[1] Акции — атрибут капитализма, проценты обеспечиваются за счет эксплуатации, и акции рано или поздно концентрируются в немногих богатых руках. Совладельцы групповых предприятий в этом случае вновь превратятся в наемных работников без участия в управлении и прибылях.

Для этого расширенным воспроизводством должно заниматься государство (инвестиционный фонд). Должно строить или финансировать строительство новых предприятий и учреждений и продавать их в групповую собственность новым коллективам. В этом случае свободные трудовые ресурсы будут стягиваться на эти новые предприятия (учреждения), и частное расширенное воспроизводство сделается невозможным. Не будет желающих идти внаем, в эксплуатацию. Люди предпочтут стать совладельцами новых групповых предприятий. Групповой самоуправляющийся сектор будет расширяться, частный и кооперативный — сужаться. В итоге стабильно будут существовать три сектора: групповой, государственный (там, где необходима централизация управления и невозможна конкуренция: энергетика, транспорт, связь и т. п.) и частный индивидуально-семейный. От утопии здесь нет ничего. Групповые трудовые предприятия существуют и распространяются на Западе и, как правило, бьют по всем пунктам подобные капиталистические — прибыльность тут в среднем выше на 50%, а среднегодовой прирост производительности труда выше в два раза. (Данные «Национального исследовательского центра предприятий, принадлежащих рабочим и служащим». Сходные данные приводятся и финансовой комиссией Сената США.) Модель государственного расширенного воспроизводства с успехом функционирует в больших капиталистических концернах, где роль государственного инвестиционного фонда играет центральное правление концерна. Филиалы ведут только рыночную конкуренцию за счет интенсивного развития производства. В еще более чистом виде такая модель функционирует в Испанской федерации групповых предприятий «Мандрагона» в Басконии, в которую входят около 100 предприятий разного профиля и 25 тысяч работников. Создание новых групповых предприятий финансирует инвестиционный банк федерации, созданный на паях и руководимый, а точнее, контролируемый Советом представителей предприятий федерации. Он же финансирует технические училища и научно-исследовательский центр. «Мандрагона» — миниатюрное государство самоуправления![1]

При развитии самоуправления в социалистическом государстве инвестиционный фонд (банк) первоначально может создаваться за счет продажи государственных предприятий и учреждений в собственность трудовым коллективам.

И вот на такие «формы будущего, вызревающие в недрах», считаю, и надо было бы обращать главное внимание советским реформаторам. Кроме всего прочего, им надо иметь в виду: государство, владея совокупным капиталом для расширенного воспроизводства и свободное от необходимости поддерживать нерентабельную промышленность, будет богатым государством. Такое государство сможет всерьез заняться экологическими и гуманитарными проблемами, а также проблемами помощи третьему миру. В условиях демократического самоуправления и групповой трудовой собственности снимается и острота проблем сокращения избыточной рабочей силы, перехода к рыночной экономике и дифференциации доходов. Это все будет делом самих коллективов! Тут открывается целый континент возможностей, и надо бы сосредоточить все усилия на их изучении и внедрении.

Ну и последнее, что в этом ряду стоило бы понять и признать — это то, что именно синтезный строй самоуправления представляет собой «конкретный аспект здоровой конвергенции»,— как сказал об этом академик А. Д. Сахаров. А конвергенция, как не уставал повторять Сахаров, в конечном итоге дает шанс на спасение и процветание человечества.

Вадим Белоцерковский,
комментатор радио «Свобода»

г. Мюнхен, ФРГ.

[1] Подробнее о теории и практике самоуправления я пишу в книгах «Самоуправление» (Мюнхен, 1985 г.) и «Россия перед выбором» (на немецком, изд. Хердер, Фрайбург. Вена. Базель. 1989 г.).

Советуем прочитать

Дневники М. А. Булгакова. Театр, № 2, 1990.

Этот материал впервые приходит к читателю. Дневник, который Булгаков вел в 1923—1925 гг., был изъят у него при обыске вместе с рукописью повести «Собачье сердце». Повесть писателю удалось вернуть — дневник свой он не увидел больше никогда. Очень точное название дал ему сам автор — «Под пятой».

Публикаторы К. Н. Кириленко и Г. С. Файман правы, утверждая, что материалы булгаковского дневника заставят исследователей в чем-то по-новому посмотреть на его творчество первой половины 20-х годов, а перед читателями предстанет облик самого М. А. Булгакова, реставрированный не по воспоминаниям о нем, а по первоисточнику.

Однако «шок», предвидимый автором вступительной заметки Г. Файманом, будет, вероятно, меньше, чем предполагает публикатор. Далеко не все исследователи литературной журналистики Булгакова были склонны преувеличивать автобиографическое начало в его «московских хрониках». Вряд ли можно сказать и что изображение 20-х годов в дневнике Булгакова так уж расходится с нашим нынешним знанием об этом периоде: все то, что трагически разыгралось в 30-е годы, начиналось уже тогда.

Но публикуемым материалам действительно нет цены. Мы слышим голос самого писателя. Сомнение, противостояние все более сгущающейся атмосфере — и суд над собой. Стойкость в противостоянии, одиночество и беспощадная правда, оплаченная по высшему счету — беспощадностью к самому себе, и поражает больше всего в этом уникальном документе.

А горькая трезвость взгляда и проницательность суждений писателя говорят о том, что он уже тогда видел больше и дальше многих своих современников. «Великолепное презренье», о котором писала А. Ахматова в стихотворении на смерть Булгакова, явлено здесь во всей своей горечи — но и в блеске.

Алла Марченко. Поэтический мир Есенина. М., Советский писатель, 1989.

Книга названа по-литературоведчески честно и посвящена исследованию поэзии Есенина как единства; она встанет на полки специалистов как еще один, и, будем надеяться, качественно новый труд о великом русском поэте. Ввести сейчас какие-либо новые факты в его научную биографию весьма сложно. Но автор эту задачу выполняет. Поэтический мир Есенина воссоздается на широком историко-литературном фоне. В особенности интересными и до сих пор лишь отчасти изученными представляются творческие связи Есенина с современными ему поэтами, а также с литературой XIX века, прежде всего с Пушкиным и Гоголем.

Но А. Марченко имела в виду и еще одного адресата — самый широкий круг читателей Есенина. Она права: не только книги стихов самого поэта, но и литература о нем пользуется сейчас очень большим вниманием читателей.

«Легенды» о Есенине существовали всегда — существуют они и сегодня. Сегодня они обрели особую остроту, и искажение истинного облика поэта превращением его в «чисто» русского (в противовес, например, Ахматовой и Цветаевой) — быть может, легенда наиболее лживая и опасная, так как не «влюбленность застит глаза» нынешним создателям легенды, а причины, уже не имеющие никакого отношения к самому поэту. Оставлять все это без внимания А. Марченко как критик не может.

И все же в поле зрения автора книги — прежде всего Есенин как поэт. Вся его биография и даже гибель предстают в книге как жизнь Поэта, и как смерть Поэта.

«Человек, у которого в жизни не осталось ничего, кроме стихов, мог принести им и эту, последнюю жертву — смертью выиграть победу...»

Светлана Кармалита, Алексей Герман. Гибель Отрара. Киносценарий. Искусство кино. №№ 1—2, 1990.

1219-й год — такой далекий от «Лапшина» и «Торпедоносцев», от «Проверок на дорогах» и «Двадцати дней без войны», с которыми накрепко связаны имена С. Кармалиты и А. Германа. В том далеком году пал под натиском полчищ Чингисхана среднеазиатский город Отрар, долго не сдававшийся завоевателям. Самонадеянность одних его правителей, предательство других привели к гибели крупного центра древней цивилизации... Отрар пал, но не умер дух населявших его кипчаков — народа-воина, народа-труженика, символом которого становится много раз умиравший и воскресавший герой киноповести Унжу.

«Мы исходили из убеждения,— пишут авторы в предисловии,— что во все эпохи люди одинаковы, а эпохи отличаются лишь суммой знаний, ибо повторяются даже обстоятельства». Кому-то эти повторяющиеся, обстоятельства, возможно, покажутся слишком искусственными, надуманными, но авторский вымысел в сценарии опирается на внимательно изученные исторические документы, сплавлен с ними. «История с удивительной последовательностью еще раз доказала нам, что все, связанное с тиранией, повторяется в таких подробностях, что можно заплакать».

Неназойливость проводимых авторами параллелей, удачное соединение исторических фактов с детективной интригой делают эту

киноповесть еще и своего рода «воспоминанием о будущем», предупреждением, совсем не лишним в наше беспокойное время.

Николай Сафонов. Записки адвоката. Крымские татары. М., совместное советско-западногерманское предприятие «Вся Москва», 1990.

«Вынужден сознаться: к стыду своему, до мая 1969 года я совершенно не знал, что у нас в стране существует проблема крымских татар». Вместе с автором книги, адвокатом, мы тоже, к стыду своему, должны спросить: о всех ли нравственных и политических болях нашего общества мы и сейчас достаточно осведомлены и говорим в полный голос? Книга эта шире обозначенной в заглавии темы, она вопиет о многих беззакониях, творимых и с народами, и с отдельными личностями. Само понятие «крымские татары» стало символом тоталитарного произвола и гражданской безысходности. В одну майскую ночь 1944 года целый народ из нашей братской союзной семьи потерял родную землю, книги, памятники старины, могилы предков. И долгое время — ни одного публичного слова о его борьбе за восстановление своих прав. Между тем эта борьба не прекращалась ни на минуту, принося в жертву беззаконию молодых и старых, женщин и мужчин, простых рабочих, крестьян и образованнейших интеллигентов. Даже опора на вновь принятые «послабляющие» постановления и указы приводили крымско-татарских правозащитников к суду по уголовным статьям. Автор, их адвокат, и сам немало натерпелся за «политическую незрелость», отстаивая собственную честную позицию. Он был выброшен из адвокатуры, оставаясь профессионально репрессированным до самого выхода этой книги...

Знакомя читателя со своими героями-подзащитными, автор борется с политической ложью, отстаивает историческую правду, как бы тяжела она ни была. Горькое, но необходимое знание дает эта книга.

А. Я. Аврех. Масоны и революция. М., Издательство политической литературы, 1990.

Вышедшая в свет уже после смерти автора книга посвящена деятельности тайных масонских организаций в России в начале XX века — проблеме, наименее разработанной отечественными учеными вследствие ее искусственной «закрытости» для исследований. Это первая научная разработка темы русского масонства, появившаяся в СССР за годы Советской власти. До этого решение проблемы сводилось в основном к ее полному отрицанию, тогда как за рубежом время от времени появлялись публикации, основанные на материалах сомнительной исторической ценности, дававших, впрочем, обильную пищу для разного рода слухов и домыслов относительно роли масонства в Февральской и Октябрьской революциях.

В исследовании А. Я. Авреха нет ни слепого отрицания существующих проблем, ни попыток придать им незаслуженную сенсационность. Опираясь на редкие исторические документы и мемуарные публикации, автор стремится только к одному — достижению строгой научной истины, установлению той действительной роли, которую тайные масонские ложи играли в общественно-политической жизни России накануне буржуазной и пролетарской революций.

Книга «Масоны и революция» интересна прежде всего тем, что впервые раскрывает перед читателем так называемую загадку «масонского парадокса» — т. е. того несоответствия между историческим явлением масонства и его кажущимся значением, которое, собственно, и являлось основной почвой для бытования легенд о грандиозном «масонском заговоре» в России.

Последний этаж. Сборник современной прозы. М., Издательство «Книжная палата», 1989.

Название книге дал рассказ Николая Шмелева. В контексте этого рассказа «последний этаж» надо понимать, по-видимому, так: герои собранной под одной обложкой прозы — люди обыкновенные. Критик И. Дедков в послесловии пишет о «метаморфозе маленького человека», о «трагедии и фарсе обыденности». Таким образом, традиционно важный для русской литературы герой вновь утверждается в ней.

Но неблагодарным делом занялся бы тот, кто захотел свести современного маленького человека к одному-единственному характеру. А если учесть, что в книгу вошли повести и рассказы Н. Шмелева, Б. Окуджавы, М. Кураева, И. Грековой, Е. Попова, Л. Петрушевской, С. Каледина, Ф. Искандера, Г. Головина, то станет ясно: единственный критерий, которым руководствовался составитель С. Каледин,— это литературное качество представленной прозы.

С этой точки зрения закономерно, что открывается сборник повестью Л. Чуковской «Софья Петровна», лишь недавно впервые опубликованной в отечестве. Эта проза, написанная полвека назад, действительно задает сегодняшней литературе высокий критерий.

Еще одна особенность книги: после каждой публикации помещены своеобразные автобиографии, либо творческие кредо авторов, написанные также ими самими. Это — как будто еще одно свидетельство доверия к писателю, желание дать ему возможность обратиться к читателям без посредников, самому рассказать о главном в своей духовной биографии.

В. Дубровский. Наталья Гундарева. Пятнадцать лет спустя. М., Искусство, 1989.

В отличие от множества юных и романтических сердец, грезящих о славе кино-

звезды, московская девочка Наташа Гундарева стать актрисой не собиралась и по совету мамы готовила себя к другой, более практической профессии.

Но тут вмешался его величество Случай, и по его воле юная Гундарева оказалась в Щукинском училище, на курсе Ю. В. Катина-Ярцева. Уже в студенческих этюдах и спектаклях, а затем и в первых небольших работах в Театре имени Маяковского, куда по окончании училища пригласил ее Андрей Гончаров (она верна своему выбору вот уже двадцать лет), проявились свойства ее таланта. Органичность, подлинность — от природы. К счастью, вместе с этим — работоспособность, терпение, самокритичность.

Наталью Гундареву за прошедшие два десятилетия узнали и полюбили не только московские театралы, но и многомиллионный зритель страны. И ее сладкую несчастную женщину, и всегда влюбленную гражданку Никанорову, и многодетную маму Кругловy, и сваху-девицу из фабричного общежития, и хозяйку детского дома... Автор книги пытается проследить: как же складывался этот путь для актрисы — от первых массовых сцен и крошечных киноролей до того, как она сама стала выбирать себе роли, а нередко и отказываться от них. Режиссеры, которые работали с Н. Гундаревой, несмотря на ее успехи, уверяют, что еще не написано, не придумано такой роли, которая бы выявила ее дарование полностью. Андрей Гончаров, который это дарование открыл и в течение многих лет продолжает высвечивать все новые и новые его грани, назвал ее «современной русской мадонной». Зрители признают ее символом и олицетворением русской женщины. Не тут ли кроется неиссякаемость столь доброго и щедрого таланта? Книга В. Дубровского дает возможность узнать и об этом.

А л е к с а н д р Р а б и н о в и ч. Большевики приходят к власти. Революция 1917 года в Петрограде. Перевод с английского. М., Прогресс, 1989.

Мы уже, кажется, привыкаем узнавать подробности собственной истории из работ зарубежных авторов. Американский историк А. Рабинович, сын эмигрантов из России, дает свою версию подготовки и хода Октябрьской революции, основанную на многолетнем изучении документов и исследований, в том числе и тех, которые вплоть до последнего времени в нашей стране игнорировались.

Работу отличает научная непредвзятость, самостоятельность. Автору чужда преобладавшая еще недавно в западной историографии «точка зрения, согласно которой Октябрьская революция была не чем иным, как хорошо организованным переворотом сравнительно небольшой изолированной кучки руководимых Лениным радикальных фанатиков». Но в равной мере чужда ему и долгое время господствовавшая у нас в стране догматическая, односторонняя концепция революции, основанная на пресловутом «Кратком курсе истории ВКП(б)». Работа насыщена фактическим материалом, причем автор, как правило, приводит различные трактовки одних и тех же событий, давая возможность читателям самим взвесить все «за» и «против».

Сам же он честно признает, что «на главный вопрос о том, почему большевики победили в борьбе за власть в Петрограде в 1917 году, нельзя дать однозначного ответа». И, верный принципу объективности, оценивает все многообразие факторов, сделавших победу Октябрьской революции исторической реальностью.

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. А л е к с е е в а.

Сдано в набор 07.05.90. Подписано к печати 05.06.90. А 03105. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—354 866 экз.). Заказ № 2296. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.